

АВТОРИТЕТ ТАКЖЕ

Евгений Авилов

ЖЕНЩИНЫ НА РОССИЙСКОМ ПРЕСТОЛЕ



ПИТЕР

Евгений Анисимов

Женщины на российском престоле

Евгений Викторович Анисимов

Автор и ведущий телепередачи «Дворцовые тайны», известный историк и писатель Евгений Анисимов рассказывает о пяти властительницах огромной страны. О женщинах, чье правление вошло в историю России под названием «век женщин», – Екатерине I, Анне Иоанновне, Анне Леопольдовне, Елизавете Петровне и Екатерине II. Все они вступили в борьбу за власть, дорого заплатив за свое место на российском престоле; все принесли в жертву идолу власти свои мечты о любви и обыкновенном женском счастье, мир и уют семейной жизни, радости материнства, внутренний покой.

Автор предлагает читателем взглянуть на них с сочувствием и пониманием. Ведь их судьбы стали и судьбой России – страны, у которой, как писал Николай Бердяев, женская душа; страны, которая до сих пор ищет и не находит мира и покоя.

Предисловие

Российский XVIII век некоторые историки называют веком женщин. И действительно, после смерти Петра Великого в 1725 году и до конца столетия Россией почти непрерывно правили женщины, сменяя одна другую на императорском троне. Перед вами, читатель, основанное на документах историческое повествование о повелительницах Российской империи XVIII века: Екатерине I (1725–1727), Анне Иоанновне (1730–1740), Анне Леопольдовне (1740–1741), Елизавете Петровне (1741–1761) и Екатерине II (1762–1796).

Цель, которую я как писатель и историк ставил перед собой, – не просто изложить факты биографий этих женщин, вознесенных судьбой на самую вершину власти, а попытаться с возможной точностью нарисовать пять историко-психологических портретов и, размышляя о судьбах моих героинь, еще раз задуматься вместе с читателями о судьбе России.

Я не собираюсь взвешивать на весах истории достижения и неудачи правления каждой из пяти женщин, восседавших на российском престоле. Думаю, что мы, люди грешного XX века, не вправе безапелляционно судить о прошлом. За истекшие два столетия мы не стали ни добрее, ни умнее наших предков, которые хотя и не были знакомы с самолетами, телевидением и компьютерами, но зато не знали такого дикого ожесточения и такой ненависти, какие принес с собой наш железный век. Несмотря на очевидные успехи науки мы немногого достигли в понимании истории, и самое большее, на что может решиться ученый, – осторожно заглянуть в этот хрупкий мир, сознавая, что малейшим небрежным движением руки, которая держит лупу познания, рискуешь «сбить фокус», безвозвратно исказив облик прошлого.

Работая над этой книгой, я исходил из представления о том, что читателям важны даже не столько исторические факты и даты (хотя их точность и полнота, безусловно, необходимы), сколько сами люди прошлого, их черты и характеры, привычки и причуды, слабости и достоинства, словом, их жизнь, в чем-то так похожая и так непохожая на нашу. Для меня будет большой радостью, если, прочитав мою книгу, читатель не просто получит сумму знаний об исторических событиях, но увидит как живых и запомнит этих женщин, которые любили и ненавидели, совершали ошибки и преступления, страдали сами и мучили других. Все они, как и наши современницы, такие разные, и у каждой своя, необычная судьба. Но в чем-то они и близки. Все они, кроме несчастной Анны Леопольдовны, оказались на престоле в том возрасте, который для женщины XVIII века считался достаточно почтенным, и прежде чем испытать упоение властью, каждая успела познать горечь униженности и зависимости.

Бесспорно, самая фантастическая судьба у латышской крестьянской девушки Марты, ставшей женой Петра Великого, а потом самодержавной императрицей. На нее так не похожа царская дочь Анна Иоанновна, но превращения ее судьбы не менее удивительны. Вот тихая, скромная Анна Леопольдовна, которая безропотно подчинилась насилию, но и в заточении сохранила до конца своих дней достоинство и честь. А вот терзаемая вечным страхом и завистью ослепительная красавица Елизавета Петровна, которая стремилась обратить ночь в день, а жизнь – в вечный бал, где она одна могла бы сиять королевой красоты. Понятнее и ближе других кажется нам самая яркая и талантливая из всей вереницы

женщин на троне Екатерина II – деятельная и энергичная, умная и веселая, остроумная собеседница, чья сердечность и простота удивительно сочетались с истинным величием и мудростью гениального правителя.

И еще одно очень важное обстоятельство. Все героини этой книги – властительницы огромной страны и в то же время, как ни странно, жертвы судьбы, тех самых волшебных, случайных, заурядных, роковых обстоятельств, благодаря которым они остались в истории. Их жизни были исковерканы государственной машиной, потому что все они вольно или невольно подчинялись безжалостным по своей сути законам борьбы за власть, которая завораживает и ослепляет любого, кто приближается к ее сияющим вершинам. Поистине каждая из этих женщин дорого заплатила за свое место на российском престоле, и не только политическую цену. Они принесли в жертву идолу власти свои мечты о любви и обыкновенном женском счастье, мир и уют семейной жизни, радости материнства, уверенность и покой. Но все это было не только их личной трагедией. Их судьбы с печальной неизбежностью стали и судьбой России – страны, у которой, как писал Николай Бердяев, женская душа, страны, которая до сих пор ищет и не находит мира и покоя.

Е. В. Анисимов, доктор исторических наук, профессор

Глава 1

История лифляндской Золушки: Екатерина Первая

Смерть Отца Отечества



Петр Великий скончался рано утром 28 января 1725 года в своем маленьком кабинете – «конторке», на втором этаже Зимнего дома. Он умирал долго и тяжело – страшные боли измучили его тело, ухищрения опытных врачей не помогли, и смерть стала избавлением от нечеловеческих страданий.

Но император, как почти каждый человек, не хотел умирать. Не раз смотревший в глаза смерти на поле боя и в штормовом море, сейчас он отчаянно цеплялся за жизнь и, как пишет

современник, «сильно упал духом и выказывал даже мелочную боязнь смерти», горячо и истступленно молился, не единожды исповедовался и причащался. Священники не отходили от его ложа, он плакал и хватал их за руки. Казалось, что их сияющими при неверном свете свечей ризами он пытается заслониться от смерти, которая смотрела на него из ночной тьмы. По обычаю предков, во спасение души царь, всегда беспощадный к нарушителям своих суровых указов и регламентов, распорядился выпустить из тюрем преступников, простить всем казенные долги и штрафы. До самого конца он надеялся на Божью милость и крепость своего тела – ведь ему шел всего лишь пятьдесят третий год.

Можно с уверенностью сказать, что в последние часы жизни не меньше физических страданий мучили Петра тягостные размышления о будущем созданной им империи. Ради нее он трудился, не щадя сил и здоровья, ее именем заставлял подданных учиться, строить, плавать по морю, умирать в боях и на непосильных работах. И теперь, прощаясь с жизнью, он не знал, кому передать великое наследие – трон, Петербург, армию, флот, Россию. Как и несколько лет назад, в 1717 году, окончательно порывая с ненавистным сыном – царевичем Алексеем, он мог бы вновь воскликнуть с горечью и отчаянием: «Я есмь человек и смерти подлежу, и кому вышеписанное с помощью Вышнего насаждение и уже некоторое возвращенное оставлю?!» Ответа не было.

Существует легенда о том, что в свой смертный час царь пытался написать завещание, но смог лишь нацарапать на бумаге два слова: «Отдайте все...» – и рука больше не слушалась его. Факты говорят, что эта легенда недостоверна. Последнее, что услышал из уст Петра архиепископ Феофан Прокопович, было слово «после», которое умирающий сопровождал нетерпеливым, изгоняющим жестом руки. «Уйдите все, оставьте меня в покое, потом, потом я все решу, после, после!..» – вот что, вероятно, он хотел сказать этим словом людям, склонившимся над ним.

Император Петр I

Но «после» уже не наступило – смерть пришла под утро, и в 5 часов 15 минут 28 января 1725 года первого императора России, правившего страной больше тридцати лет, не стало. Кончилась великая эпоха, наступали новые, тревожные времена...

В борьбе за власть

За стенами конторки, в которой умирал Петр, царили смятение и тревога. Отсутствие завещания создало драматичную ситуацию: судьба престола дома Романовых должна была решиться в столкновении придворных «партий» – группировок знати.

Таких «партий» было две. Одну составляли ближайшие сподвижники Петра – государственные деятели, пришедшие к власти благодаря своим способностям и милости царя-реформатора, который «годность» человека всегда почитал выше его «породы» – происхождения. Первым из них по праву считался Александр Данилович Меншиков – человек с темным прошлым, фаворит царя, вознесенный по его воле из денщиков в генерал-фельдмаршалы и светлейшие князья. Его союзниками выступали канцлер Гаврила Иванович Головкин, архиепископ Феофан Прокопович, начальник Тайной канцелярии Петр Андреевич Толстой, генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский и кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Эти и другие «новые» люди хотели возвести на престол жену Петра – императрицу Екатерину Алексеевну, которая была с ними одного поля ягода: незнатна по происхождению, но предана царю-реформатору, решительна и предприимчива.

Меншикову, Екатерине и их союзникам было кого опасаться. Им, беспородным и нахальным выскочкам, противостояли родовитые потомки Рюриковичей и Гедиминовичей – князья Долгорукие и Голицыны. Дети влиятельных бояр, они хотели, чтобы престол Романовых отошел к великому князю Петру Алексеевичу – сыну покойного царевича Алексея. Внуку Петра Великого шел всего лишь десятый год, но за ним были традиция престолонаследия по мужской нисходящей линии, поддержка родовитой знати, симпатии всех, кто хотел смягчения жестокого режима, кто мечтал о передышке в той бешеной гонке, которую некогда начал Петр.

И сторонники Екатерины, и сторонники великого князя готовились к схватке. Голштинский сановник граф Бассевич – участник и свидетель событий драматической ночи 28 января – писал: «Ждали только минуты, когда монарх испустит дух, чтобы приступить к делу. До тех пор пока оставался в нем еще признак жизни, никто не осмеливался начать что-либо: так сильны были уважение и страх, внушенные всем этим героем». Очень точные слова – магия власти такой яркой личности необычайно сильна до последнего мгновения.

Но все-таки Меншиков и Екатерина успели лучше, чем их противники, подготовиться к этой роковой минуте. Въезд в столицу и выезд из нее перекрыли нарядами солдат, государственную казну перевезли под надежную охрану. Однако важнее другое – они сумели склонить на свою сторону гвардию. Незадолго до кончины Петра гвардейских офицеров пригласили в апартаменты царицы, где уже собрались ее сторонники – Меншиков, Макаров и другие. Несчастный вид Екатерины, ее трогательные и ласковые слова, обращенные к ним – осиротевшим птенцам гнезда Петрова, наконец, тут же предложенные богатые подарки и обещания новых милостей – все это сыграло свою роль, и в решительный момент гвардия без колебаний встала на сторону Екатерины.

Триумф Екатерины

Сразу же после смерти Петра Великого в Зимнем доме начался последний акт политической драмы. Сюда съехались все высшие чины государства: сенаторы, архиепископы, президенты коллегий, генералы и старшие офицеры. И вот в ярко освещенный зал, заполненный придворными и сановниками, быстро вошли Меншиков, Головкин, Макаров и другие «первейшие», а следом – сама Екатерина. Прерывающимся от рыданий голосом она объявила о смерти возлюбленного супруга – императора и произнесла явно подготовленные заранее слова о том, что будет, как и раньше, заботиться о благе империи и подданных, следуя заветам Петра, который «разделил с ней трон».

Из слов кабинет-секретаря Алексея Макарова собравшиеся в зале узнали, что царь умер, не оставив никаких распоряжений о наследнике престола. Это было чрезвычайно важное заявление. В подобных случаях по традиции новый монарх избирался «согласным приговором государства» – высших военных, гражданских и придворных чинов. Но Меншиков и его сторонники не могли ни в коем случае пойти на это. На разные голоса они стали убеждать присутствующих попросту признать, что престол теперь переходит ко вдове императора. Они ссылались на то, что незадолго до смерти, в 1724 году, Петр короновал Екатерину в главном храме России – Успенском соборе Московского Кремля.

Это не убеждало противников хуродной царицы. Видя, что завещания в пользу Екатерины нет, что большая часть сановников колеблется, Голицыны и Долгорукие стали требовать передачи престола законному наследнику – внуку Петра Великого. Спор разгорелся не на шутку. Аргументы сторонников Екатерины были откровенно слабы. Так, Феофан пустился в воспоминания о том, что где-то когда-то царь в застольной беседе с близкими ему людьми якобы открыл им свое намерение передать престол жене. Однако воспоминания записного златоуста о речах на дружеской попойке не могли заменить официального документа о престолонаследии. Иерарха подняли на смех. Спор становился все ожесточеннее, и неизвестно, во что он мог бы вылиться...

И вот тут сработало «секретное оружие», приготовленное «партией» Екатерины и Меншикова. Вдруг раздался грохот полковых барабанов, все бросились к окнам и сквозь затянутые сеткой инея стекла увидели, как мелькают перед дворцом зеленые мундиры преображенцев и семеновцев. Дворец был окружен! Президент Военной коллегии фельдмаршал князь А. И. Репнин – сторонник великого князя Петра – пытался выяснить, кто посмел без его приказа вывести полки из казарм... Но было уже поздно – его грубо оборвали, и в зал повалили разгоряченные и возбужденные гвардейцы.



Императрица Екатерина I

Все предложения сторонников великого князя тонули в выкриках гвардейцев в честь матушки-государыни и бесцеремонных угрозах «расколоть головы боярам», если они не передадут престол Екатерине Алексеевне.

Улучив подходящий момент, Меншиков, перекрывая шум, громко крикнул: «Виват наша августейшая государыня императрица Екатерина!» – «Виват! Виват! Виват!» – подхватили гвардейцы. «И эти последние слова, – вспоминает Бассевич, – в ту же минуту были повторены всем собранием, и никто не хотел показать виду, что произносит их против воли и лишь по примеру других. К восьми утра был составлен довольно туманный по содержанию манифест о восшествии на престол Екатерины. Его подписали и победители, и побежденные. Все было кончено. Гвардейцам раздавали водку... На российском престоле оказалась императрица Екатерина I.

Новые янычары

Так 28 января 1725 года гвардейцы впервые сыграли свою политическую роль в драме русской истории. Создавая в 1692 году гвардейские полки, Преображенский и Семеновский, Петр хотел противопоставить их стрельцам – привилегированным пехотным полкам московских государей. «Янычары!» – презрительно называл стрельцов Петр. У него были причины для ненависти. Навсегда он запомнил жуткие сцены: в 1682 году на глазах десятилетнего мальчика пьяные и разъяренные стрельцы растерзали его дядю и других близких родственников. Но не успел основатель и полковник Преображенского полка закрыть глаза, как его любимцы превратились в новых янычар.

История гвардии XVIII века противоречива. Прекрасно снаряженные, образцово вооруженные и обученные, гвардейцы всегда были гордостью и опорой русской армии. Их мужество, стойкость, самоотверженность много раз решали судьбу сражения, кампании, войны в пользу России. Не одно поколение русских людей замирало в трепетном восторге, любясь на «однообразную красоту» гвардейских батальонов во время их торжественных маршей по Марсову полю. Но в летописи гвардии есть иная, менее героическая страница. Гвардейцы – эти красавцы, волокиты, дуэлянты, избалованные вниманием столичных дам, – составляли особую, привилегированную воинскую часть, со своими традициями, обычаями, психологией. Гвардейцы охраняли покой и безопасность двора и царской семьи. Стоя на часах в царском дворце, они видели изнанку придворной жизни. Мимо них в царские опочивальни прокрадывались фавориты. Часовые слышали сплетни и ссоры, без которых не мог жить двор. Гвардейцы не испытывали благоговейного трепета перед блеском золота и бриллиантов, иерархией чинов, торжественными церемониями, пышность которых поражала стороннего наблюдателя, – на все у них было свое особое, часто нелестное мнение.

Важнее же то, что у гвардейцев было преувеличенное представление о своей роли в жизни двора, столицы, Отечества. Между тем оказывалось, что «свирепыми янычарами» можно успешно управлять. Лестью, обещаниями и посулами, деньгами иные придворные дельцы умели направить раскаленный гвардейский поток в нужное русло, так что наши красавцы даже не подозревали, что они лишь марионетки в руках интриганов.

Впрочем, как обоюдоострый палац, гвардия была опасна и для тех, кто вздумал бы воспользоваться ее услугами. Власть императоров и первейших вельмож нередко становилась заложницей необузданной и капризной вооруженной толпы новых янычар. Уже в январе 1725 года это понял посланник Людовика XV французский дипломат Жан-Жак Кампредон. Сразу после переворота он писал: «Решение гвардии здесь – закон». И это была истинная правда. XVIII век вошел в русскую историю как «век дворцовых переворотов», и все эти перевороты делались руками гвардейцев. А начало этому было положено глухой январской ночью 1725 года.

Лифляндская Золушка

Кто же она – «Всемиловитейшая и Всепресветлейшая государыня императрица Екатерина Алексеевна»? Откуда она родом? «Екатерина – шведка!» – говорят одни историки. Она родилась в Швеции, в местечке Гермюнаведе, в семье квартирмейстера Эльфсборгского пехотного полка Иоганна Рабе. После смерти мужа мать Екатерины перебралась с девочкой в Ригу, к своим родственникам, и вскоре сама умерла. Екатерина попала в приют, откуда ее взял пастор Глюк – личность известная в маленьком лифляндском городке Мариенбурге (ныне Алуksне в Латвии) на дороге Псков – Рига.

Есть факты, которые могут подкрепить это мнение. В письме к Екатерине Петр, поздравляя ее с годовщиной взятия Нотебурга – Шлиссельбурга, шутливо писал, что захватом этой шведской крепости в 1702 году «русская нога в *Ваших* землях фут взяла», то есть сделала первый шаг. В 1725 году в разговоре с французским посланником Кампредоном Екатерина вдруг перешла на шведский язык. Она хотела, чтобы ее понял только Кампредон, долго живший в Стокгольме. И он подхватил беседу...

«Ну и что? – резонно восклицают оппоненты „шведской версии“. – Что же здесь странного? Ведь Лифляндия была шведским владением, потому и Екатерина была подданной шведского короля, этим и объясняются и шутки Петра, и знание ею шведского языка». Действительно, гораздо больше фактов говорят за то, что Екатерину звали раньше Мартой Скавронской, происходила она из латышских простолюдинов – крестьян или горожан, родилась она 5 апреля 1684 года и была окрещена в лютеранскую веру, а осиротев, в двенадцать лет попала в дом пастора Глюка. С последним согласны все спорящие, хотя никто наверняка не может сказать, как ее воспитывали и чему учили. Но ясно одно – девочка-сирота была прислугой в большом доме пастора, работала на кухне и в прачечной. В восемнадцать лет Марта была здоровой, красивой девушкой, чей добрый характер, ум и обаяние не остались без внимания местных парней.

Вообще же юность Марты пришлась на печальную эпоху в истории Лифляндии. В 1700 году началась Северная война, и на южную Лифляндию как туча стала надвигаться русская армия фельдмаршала Б. П. Шереметева. Война велась на уничтожение. Беженцы с русско-шведской границы приносили в Мариенбург плохие вести: русские сжигают все на своем пути: хутора, постройки, посевы. Они угоняют скот и людей – всех без разбора – в Россию. Так получилось, что, воюя в это время в Польше, шведский король Карл XII в сущности бросил Лифляндию и Эстляндию на произвол судьбы. Слабый корпус генерала Вольмара Антона Шлиппенбаха не мог защитить от многочисленного неприятеля. Но жизнь шла своим чередом, и летом 1702 года произошло важное событие – Марта вышла замуж за шведского солдата-трубача. Увы, молодоженам не довелось насладиться семейным счастьем. Уже в августе война вплотную придвинулась к стенам Мариенбурга – войска Шереметева окружили город и приступили к осаде.

Судьба полонянки

Комендант Мариенбурга – довольно слабой крепости – майор Флориан Тило здраво оценил свое незавидное положение и согласился сдать Шереметеву крепость «на аккорд» – соглашение, по которому победители занимали укрепления и склады, забирали артиллерию, а гарнизон и жители уходили из города на все четыре стороны. Майор открыл ворота и выехал навстречу Шереметеву, чтобы передать ему ключи от города. Все шло мирно: русские полки стали втягиваться в город, а жители – выходить из него. И вдруг... произошло непредвиденное.

Обратимся к «Журналу, или Поденной записке» Петра Великого, куда внесены все мало-мальски приметные события Северной войны: «Комендант майор Тиль да два капитана вышли в наш обоз для отдания города по аккорду, по которому аккорду наши в город пошли, а городские жители стали выходить вон. В то же время от артиллерии капитан Вульф да штык-юнкер, вошед в пороховой погреб (куда штык-юнкер и жену свою неволею с собою взял), порох зажгли, где сами себя подорвали, отчего много их и наших побито, за что как гарнизон, так и жители по договору не отпущены, но взяты в полон».

Когда раздался оглушительный грохот, содрогнулась земля и обломки крепостных сооружений стали падать на головы русских солдат, Шереметев порвал договор о добровольной сдаче крепости. Это означало, что Мариенбург приравнивается к крепостям врага, взятым штурмом, и отдается на разграбление штурмующим войскам, а жители и гарнизон поголовно становятся пленными. Безумный поступок капитана Вульфа круто и бесповоротно изменил судьбу Марты. Если бы Вульф не взорвал пороховой погреб, никогда бы она не стала Екатериной, женой Петра Великого и российской императрицей. Вместе с другими жителями Мариенбурга она отправилась бы в путь и, скорее всего, в начале сентября дошла бы до Риги, где – по некоторым сведениям – в это время находился ее муж, и судьба ее была бы, возможно, счастливой, но неизвестной.

Но случай – этот капризный и властный пасынок истории – изменил все: разъяренные русские солдаты бросились в город. Они врываются в дома, хватали вещи, вязали жителей и гнали их в лагерь. Лик войны всегда страшен. Крики, плач, ругань неслись над горящим, разграбленным городом. В числе других полоняников оказалась и Марта. Судьба полоняников в древние времена была печальна и позорна. Они не были просто пленными в современном смысле этого слова. Полоняник – это живой трофей, приз воина. Он – холоп, раб, которого можно убить, продать, подарить и обменять. В таком отношении к пленным сказывалось сильное влияние ордынского обычая – беспощадно расправляться с не покорившимися сразу городами. Документы говорят, что именно в первые годы Северной войны, как раз тогда, когда русские войска захватывали Прибалтику, резко увеличилось количество полных холопов, то есть полностью бесправных рабов, в имениях псковских, новгородских и тверских помещиков. Все это был «лифляндский полон».

Путешественник де Бруин, посетивший Москву, записал, что 14 сентября 1702 года «привели в Москву около 800 шведских пленнх: мужчин, женщин и детей. Сначала продавали многих из них по 3 и по 4 гильдена за голову, но спустя несколько дней цена на них возвысилась до 20 и даже до 30 гильденов. При такой дешевизне иностранцы охотно покупали пленнх, к великому удовольствию сих последнх, ибо иностранцы покупали их

для услуг своих только на время войны, после которой возвращали им свободу. Русские также покупали многих из этих пленных, но несчастнейшие из них были те, которые попадали в руки татар, которые уводили их к себе в рабы, в неволю: положение самое плачевное». Судя по времени распродажи, это были как раз жители Мариенбурга. Но нашу героиню ждала иная судьба.

Наложница

«Катерина не природная и не русская, – говорил в 1724 году своим приятелям (среди которых, естественно, нашелся доносчик) отставной капрал Ингерманландского полка Василий Кобылин, – ведаем мы, как она в полон взята, и приведена под знамя в одной рубахе, и отдана под караул, и караульный наш офицер надел на нее кафтан. Она с князем Меншиковым Его величество кореньем обвела».

Слух этот типичен и неоднократно повторяется в допросах Тайной канцелярии. Но, как часто бывает со слухами, нет дыма без огня. Действительно, Марта, как и другие полоняники, была приведена к центру полкового лагеря, где караул охранял знамя, имущество, трофеи. Здесь же шел и обмен, и торг добытым в крепости. Солдаты, не имевшие собственных поместий, спешили избавиться от пленников, продавая их более состоятельным товарищам или офицерам. Современники рассказывали, что Марта попала к капитану Боуру как подарок подобострастного солдата, смекнувшего, что таким способом он может выслужиться в унтер-офицеры. А потом сам капитан, движимый подобными же небескорыстными соображениями, подарил девушку самому фельдмаршалу Шереметеву.

У престарелого Бориса Петровича Марта прожила около полугода, числясь в «портомоях» – прачках. В конце 1702 или в первой половине 1703 года она попала к Александру Даниловичу Меншикову. Как ее приобрел бойкий любимец Петра I, мы не знаем, но скорее всего он попросту отнял девушку у фельдмаршала, да еще, наверное, пристыдил старика за неприличное для его лет сладострастие. Обычно светлейший князь не церемонился с подданными своего господина. Вскоре у Меншикова Марту увидел царь, и эта встреча решила ее судьбу окончательно...

Вернемся к откровениям отставного капрала Кобылина. Конечно, никакого приворотного зелья не было. Но нашего внимания достойна несомненная тесная и долгая дружба Екатерины и Меншикова. Впоследствии, уезжая в походы вместе с царем, именно светлейшему князю и его семье поручала Екатерина своих детей. И могла быть спокойна за них – верный Данилыч не подводил ни разу. На всю жизнь они остались друзьями и единомышленниками. Это неудивительно. Речь не идет о поросшей быльем старой любви. Меншикова и Екатерину объединяла общность их судеб. Выходцы из «подлого» сословия, презираемые и осуждаемые завистливой знатью, они могли уцелеть, лишь поддерживая друг друга.

Слух, который пересказывал Кобылин, отразил еще один несомненный факт: привязанность царя к Екатерине была такой сильной и долгой, что современникам казалось – было какое-то приворотное зелье, было! Иначе бы лифляндская полонянка не поймала в свои прелестные тенета грозного царя. «Так-то вы, Евины дочки, делаете со стариками!» – беззлобно шутил царь в одном из своих писем к жене. Но всему есть и свое не магическое объяснение. Оно лежит в истории жизни великого реформатора России до того самого дня, когда он увидел в доме Меншикова Екатерину, тогда еще Марту.

«Лебедь белая» или Анхен?

До этого дня семейная жизнь Петра складывалась из рук вон плохо. В 1689 году – Петру не исполнилось еще и семнадцати – его, даже не спросив согласия, женили на Евдокии Лопухиной – такой же юной и несмышленной особе. Молодожены были игрушками в придворно-династической борьбе кланов Милославских и Нарышкиных – родственников первой и второй жен царя Алексея Михайловича, отца Петра.

Известно, что в 1682 году в стране установилось двоевластие – на престоле сидели цари Иван (из рода Милославских) и Петр (из рода Нарышкиных). Однако, пользуясь несовершеннолетием Петра, власть захватили Милославские, и Россией правила старшая сестра Петра и Ивана (из рода Милославских) царевна Софья, которая стремилась устранить Петра от престола. Для этого был задуман и осуществлен брак старшего царя Ивана и Прасковьи Салтыковой. «Ответным ходом» клана Нарышкиных и стала свадьба Петра и Евдокии.

Почти десять лет прожили под одной крышей Петр и Дуня. Она родила трех сыновей, из которых выжил, на свое несчастье, только царевич Алексей. Но уже с 1692 года в семье пошли нелады. Евдокия была не пара Петру – она оставалась женщиной XVII века с его традициями терема и Домостроя, а Петр жил уже в веке восемнадцатом, ощущая себя свободным от тягостных для него пут средневековья. Ему нужна была другая жена – не «лебедь белая», рдеющая под взглядами гостей, а одетая по новой моде веселая и верткая партнерша в танцах, верная спутница в тяжелых походах, помощница в непрерывных трудах. По своему воспитанию, образованию, кругозору Евдокия такой не была и не могла стать – слишком сильно давили на нее традиции терема, в котором она выросла, слишком упрям и строптив был характер царицы.

Развязка наступила в 1698 году. Возвращаясь из-за границы, Петр распорядился отправить жену в монастырь, что и было, не без скандала, сделано. И с тех пор царь стал открыто жить в Кокуе – Немецкой слободе под Москвой, в доме виноторговца Монса – отца своей давней любовницы Анны Монс, Анхен. Но и здесь царю не повезло. Анхен – прелестная белокурая красавица – только внешне отвечала мечтам Петра о любимой женщине. Она была просто немецкой мещанкой, бюргершей, которой хотелось размеренной, тихой жизни в уютном богатом доме. Она мечтала выращивать под окнами дивной красоты цветы, заботиться о детях, сидеть у камина с вязаньем на коленях, поджидая своего Михеля или Клауса из пивной или лавки.

Я далек от иронии или осуждения – каждый волен выбирать свою судьбу, и в этом смысле Анна Монс – удивительный человек. Ведь она прекрасно понимала, какие головокружительные горизонты славы открывает перед ней связь с царем. А его намерения были более чем серьезны – в 1707 году он с досадой говорил прусскому посланнику Г. И. Кейзерлингу, просившему руки Анны, что он «воспитывал девицу Монс для себя с искренним намерением жениться на ней». И этому можно поверить – ведь женился же он на безродной Екатерине и сделал ее царицей!

Анна не любила царя – вот и весь секрет. Она не могла преодолеть себя, привыкнуть к его повадкам, увлечениям, безумной и беспокойной жизни. Долгое время Петр не понимал этого. В 1702 году утонул саксонский посланник Кенигсен и в его бумагах нашли любовные

письма Анхен. Петр был вне себя от горечи и досады. Он посадил Анхен и ее родственников под домашний арест, который продолжался несколько лет. И все эти годы он тяжело переживал разрыв с ней. Меншиков, покровительствуя Екатерине, уже вошедшей в дом Петра, делал все, чтобы ушей царя не достигали слухи о жизни и увлечениях Анхен, чтобы царь не бередил старые душевные раны, чтобы не тешил себя напрасными иллюзиями, – ведь Анхен была лишь немецким вариантом его забытой Дуни.

«Сам-третья»

Марта-Екатерина была совсем другой женщиной – именно той, которая была так нужна царю. Рано вырванная из своей традиционной почвы, с детства познавшая и добро и лихо, она была, в сущности, доброй Душечкой, которая могла легко приспособиться и к скромной участи драгунской жены или портомой старого фельдмаршала, и к высокому предназначению царицы, – все зависело от обстоятельств жизни, подчиняясь изгибам которой, росло и цвело скромное древо Марты. Но этого было мало, чтобы снискать доверие и любовь царя. Петр никогда не был мрачным женоненавистником. Вокруг него всегда был сонм тех, кого на иностранный манер называли «метрессами», или – по-русски – шлюхами. Он постоянно возил их с собой, и многие из них были готовы и способны подстроиться под нрав и привычки повелителя. Но не тут-то было... Вся история с Анной Монс говорит о том, что великий император – человек жестокий и страшный – был в чем-то беспомощен, незащищен, нес в себе чувства искренние и глубокие. Именно поэтому он так тяжело и долго расставался с Анхен. Чтобы проникнуть в его душу, разбудить эти чувства, мало было жеманиться, поддакивать и строить глазки. Вероятно, Марта нашла путь к его сердцу и, став поначалу одной из его метресс, долго, шаг за шагом, преодолевала его неверие и боязнь ошибиться.

Первый раз Екатерина упоминается в письме Меншикова, который находился с Петром в Ковно (Каунасе) весной 1705 года. Меншиков писал своей невесте Дарье Арсеньевой, требуя прислать «Катерину Трубачеву да с нею других двух девок немедленно ж». Как видим, Екатерина, получившая фамилию по воинской профессии своего мужа, числится в «других девках», которых Петр и его закадычный друг Алексашка выписывали, чтобы (как читаем в другом письме) «обшить и обстирать» их во время бесконечных походов и сражений. Позже в одном из писем Петру царица, намекая на новых метресс царя, шутила, что, может быть, еще и она – «старая портомоя» – ему сгодится. Но Екатерина вскоре выделилась из длинного ряда метресс и портомой. Петр – и это чрезвычайно важно – признавал детей, которых она ему рожала. В марте 1705 года царь писал сестрам Арсеньевым – подругам Екатерины: «Пожалуйте, матушки, не покиньте моего Петрушки... прикажите сделать сыну моему платье и чтоб ему было пить-есть довольно».

Осенью того же 1705 года Екатерина родила второго сына, Павла, и в одном из писем царю подписалась: «Сам-третья», то есть она с двумя детьми. Петр и Павел прожили недолго, но это не расстроило отношений царя с лифляндской полонянкой. Он все сильнее привязывался к ней и находил время, чтобы послать ей гостинец и, как тогда говорили, грамотку о своем житье-бытье в Преображенское, где несколько первых лет жила Екатерина.

Тихие годы в Преображенском

Подмосковное царское село Преображенское было отчим домом Петра. Здесь он вырос, здесь жила его мать Наталья Кирилловна, отсюда началась тяжелая дорога к славе и могуществу России. В первые годы Северной войны в Преображенском жила сестра Петра царевна Наталья – самый, может быть, близкий царю человек. Моложе брата на год, она была совсем не похожа на свою невестку – царицу Евдокию. Из всей семьи Романовых она первой не только без сопротивления, но и с удовольствием приняла все то новое, что несли с собой петровские реформы, – быт, обычаи, развлечения, одежду. Она не ушла в монастырь, как ее сестры по отцу, а свободно жила в Преображенском, как тогда говорили, «открытым домом». Сохранился портрет царевны Натальи Алексеевны, написанный уже после ее ранней смерти, в 1716 году. На нем мы видим статную черноглазую женщину с большим носом, круглым подбородком и высокой – по моде – прической из светлых волос. Нет, она не была красавицей, она была умницей, и это Петр ценил в сестре.

О Преображенском царевны Натальи уже тогда говорили как об островке нового, европейского быта. Известен был на всю Москву и преображенский придворный театр – зрелище дивное и редкое в тогдашней России. Его создателем и режиссером была сестра Петра. В старом Преображенском дворце, обжитом и уютном, было тихо и спокойно. Грохот войны не докатывался до мирных садов и лугов, где гуляли царевна Наталья и ее комнатные девушки, или – «по-новоманирному» говоря – фрейлины. Вокруг общительной и доброжелательной сестры царя сложился кружок молодых женщин, близких ей по духу и интересам. Среди них выделялись Анисья Толстая и две сестры Арсеньевы – Дарья (невеста Меншикова) и Варвара. Были в окружении Натальи и две сестры самого светлейшего князя.

Именно сюда – в Преображенское, к сестре и ее кружку, – и пристроил Петр свою полонянку. В дружеском, мирном окружении новых подруг, под сенью преображенских роц проходила она свои университеты: ее обучали новым для нее обычаям России, языку, на котором она вскоре произнесла «символ веры» – ритуальные слова при крещении.

Нарекли ее Екатериной Алексеевной. Ее крестным отцом стал подросток царевич Алексей. Поначалу Петр не писал Екатерине, он обращался к Наталье, Анисье, сестрам Арсеньевым, прося передать приветы «как оружие носящим, так и иглу держащим». Но все прекрасно видели, кто влечет царя из дальних походов в Преображенское. Преображенский период жизни был испытательным сроком для Екатерины. Она его выдержала, своей милой, мягкой манерой, трудолюбием и неприхотливостью понравилась окружающим, так что одна из старших сестер Петра, царевна Марфа, как-то раз посоветовала ему кончить скитания и жениться на Екатерине.

Приветы с «Лизеты»

Собственно, к этому дело и шло уже давно. Петр и Екатерина фактически состояли в браке, правда не в церковном, а в «зазорном», но реальном и прочном. В начале 1707 года Петр получил в походе известие о рождении дочери Екатерины. Екатерина-старшая шутила в своем письме, что рождение девочки – к миру. Шел самый сложный, предполтавский этап войны, и шутка была к месту. Петр в тон отвечал: «Ежели так станется, то, может быть, больше рад буду дочери, чем двум сыновьям». После измены его союзника, польского короля Августа II, он действительно искал мира и, надо думать, был благодарен Екатерине за уместную шутку и заботу.

Но мир был так же далек, как и в начале войны, которая будет тянуться еще целых четырнадцать лет! Шведы наседали. Петр отводил полки все дальше и дальше в глубь империи. Король-викинг Карл XII надвигался на Россию. Под угрозой оказалось все завоеванное и построенное раньше. В январе 1708 года положение почти отчаянное – Петр буквально бежит из Гродно за два часа до захвата города Карлом XII. К началу этого же года относится поспешная записка царя, которую можно понимать как завещание: «Ежели что со мной случится волею Божиею, тогда три тысячи рублей, которые ныне на дворе господина князя Меншикова, отдать Катерине Васильевской и с девочкою». Это все, что он, солдат, идущий в бой, мог сделать тогда для близкого человека. Письма тех тревожных месяцев больше напоминают поспешные записки влюбленных, мечтающих о встречах, которые – не по их вине – постоянно приходится переносить, отодвигать, скучая и тревожась долгим молчанием любезного адресата. А встретиться некогда, да и встречи лишь урывками – война пожирает все время, все силы: «Сама знаешь – держу в одной руке и шпагу, и перо, и помощников нет».

Полтавская победа 1709 года все круто переменяла. Уверенность и спокойствие появляются в Петре – победителе великого короля-воина. Царь устраивается в Петербурге навсегда, переводит в любезный его сердцу «Парадиз» учреждения, строит новые корабли, укрепляет Кронштадт. Здесь, в любимом им месте, вдали от московских недругов и завистников, он вьет свое гнездо, которого у него, повелителя великой страны, никогда не было. Еще раньше он перевез в новую столицу тех из Романовых, которых считает своей семьей: сестру Наталью, невестку – вдовую царицу Прасковью Федоровну с дочерьми Анной, Екатериной и Прасковьей и, конечно, Екатерину. Она теперь все чаще и чаще с ним.

Правда, с детьми не везет – они умирают один за другим в младенческом возрасте. Но родители, по обычаю тех времен, относятся к этому спокойно. «Бог дал – Бог и взял», – так успокаивает Екатерину царь в одном из своих писем, тем более что один за другим рождаются новые дети (всего Екатерина родила двенадцать детей, но только двум из них – Анне и Елизавете – суждено было стать взрослыми). Появилась Анна на свет в конце января 1708 года, а к праздничному вступлению русской армии – победительницы под Полтавой – в Москву, 18 декабря 1709 года, Екатерина дарит царю еще одну дочь. Петр останавливает шествие и три дня празднует рождение Елисавет.

Мог ли накануне Полтавы Петр представить, что уже 1 мая 1710 года он будет плыть в финских шхерах на корабле, носящем имя его дочери – «Лизета», и слать в письмах приветы своей большой семье, так переменявшей холостяцкую жизнь царя: «Отдай мой поклон

сестре, невестке, племянницам и прочим домашним. Маленьких поцелуй, а наипаче всех и наиболее всех и наивяще всех поклонись... четвертной лапушке». Так называл он младшую дочь – Елизавету, которая только что начала ползать на четвереньках.

Боевая подруга

Весной 1711 года Турция начала войну против России. Это было серьезное испытание – воевать на два фронта, против турок и против шведов, было опасно. И Петр решил упредить неприятеля – увести войну на юг, как можно дальше от Украины и Польши – театра военных действий против шведов. Нехорошие предчувствия мучили царя перед этим походом, «которого конец Бог весть», как писал он Меншикову. Перед отъездом – а Петр брал с собой Екатерину – он сделал то, к чему был давно готов: объявил о помолвке с ней, а с дороги писал Меншикову, в петербургском дворце которого бегали его любимые дочери Аннушка и Лизанька: если, мол, девочки останутся сиротами, чтоб Данилыч позаботился о них. Если же Бог милует, то отпразднуют свадьбу «в Петербурге-городке».

Предчувствия не обманули царя. В начале июля 1711 года турки сумели отрезать русскую армию от тылов и окружить на реке Прут. Численное превосходство османов, непрерывный плотный огонь, нехватка боеприпасов, продовольствия и воды – и все это под палящим солнцем Молдавии – сделали несколько дней блокады сущим адом для вчерашних полтавских триумфаторов, рассчитывавших на легкий поход. Несколько раз царь пытался вступить с турками в переговоры, но все усилия были тщетны. Наиболее драматичной была ночь с 10 на 11 июля, когда, не дождавшись парламентаря, Петр прервал военный совет и приказал готовиться к прорыву. Это было смертельно опасно. Для ослабленных русских войск прорыв мог кончиться катастрофой, и дата смерти Петра могла бы стать другой. И в этот момент Екатерина проявила мужество, находчивость и волю. Пока Петр отдыхал, она, не спросив его, собрала генералов и провела с ними совет, показавший самоубийственность прорыва. Затем она разбудила Петра и уговорила его написать еще одно, последнее, письмо визирю – командующему турецкой армией. К этому письму тайком от царя она приложила все свои драгоценности – такие памятные и дорогие для нее вещицы, подарки Петра. Возможно, это и решило дело – утром визирь дал согласие на переговоры. Кошмар Прута кончился.

24 ноября 1714 года, награждая жену только что учрежденным им орденом Святой Екатерины, Петр сказал, что орден этот «учинен в память бытности Ея величества в баталии с турками у Прута, где в такое опасное время не как жена (в смысле – женщина. – Е. А.), но как мужская персона видима всем была». И позже, в указе о коронации Екатерины, вспоминая злосчастный Прут, царь вновь подчеркнул, что она вела себя, как храбрый мужчина. Боевое крещение воодушевило будущих супругов, и все чаще Екатерина отправляется на войну вместе с Петром. Особенно долгим и опасным был Персидский поход 1722–1723 годов, в котором царица опять была на высоте. Лишь в морские походы царь отправлялся в одиночку – Екатерина оставалась на берегу, ожидая короткие грамотки от мужа.

Господин адмирал женится!

В феврале 1712 года произошло долгожданное событие – венчание и свадьба Петра и Екатерины. Это не была царская свадьба со всеми ее пышными атрибутами и церемониями. Это была скромная свадьба Петра Михайлова – одного из русских адмиралов. В посаженные отцы он, как почтительный служака, пригласил своего непосредственного морского начальника – вице-адмирала Корнелия Крюйса, а также коллегу – контр-адмирала галерного флота Змаевича. Посажеными матерями стали жена Крюйса и вдовствующая царица Прасковья Федоровна, вдова покойного брата и соправителя Петра – Ивана Алексеевича. Среди немногочисленных гостей, приглашенных на венчание в маленькую церковь Исаакия, переделанную из чертежного амбара Адмиралтейства, были преимущественно моряки и кораблестроители. Наконец, ближними девицами невесты, которые несли за нею длинный шлейф, выступали две поразительно прелестные, изящные и важные особы. Одной было четыре, а другой – два года: Анна Петровна и Елизавета Петровна. Обойдя с матерью вокруг аналоя, они становились привенчанными, и их происхождение перестало быть зазорным. «Но так как вся церемония слишком бы утомила этих малолетних принцесс, – с искренним огорчением отмечает английский посланник Ч. Уитворт, – они показались только на короткое время, а затем были заменены двумя племянницами царя» – Прасковьей и Екатериной Ивановнами.

Дипломаты давно и много писали о своеобразной педагогической игре царя в солдаты, капитаны, кораблестроители. Все эти необычайные для государя занятия на плацу, мостике корабля, стапеле верфи истолковывались ими как наглядные примеры для ленивого русского дворянства, обязанного теперь, как сам царь, проходить лестницу чинов, осваивать в поте лица своего новые профессии, а не гордиться пустым титулом.

Но согласимся: одно дело – с педагогическими целями махать топором в Адмиралтействе или ловко лазать по вантам, и совсем другое – жениться на портомое, причем жениться не шутовски, а всерьез, преступив все мыслимые и немыслимые запреты и заветы царственных предков и их жен. Для этого требовалось нечто большее, чем склонность к воспитанию подданных на личном примере. Для этого нужны были внутренняя свобода, раскованность, смелость пойти против принятого и обязательного. Он женился по любви, и на все остальное ему было наплевать. И адмиральскую свадьбу царь устроил не потому, что хотел кому-то что-то доказать. Для него это было естественно и удобно, как был удобен кафтан адмирала в отличие от мантии царя. Он стремился отделить свою личную жизнь от жизни самодержца, и в этой жизни частного человека он хотел полной свободы. Недаром, как вспоминает англичанин Перри, царь частенько говорил своим «боярам», что «жизнь английского адмирала несравненно счастливее жизни русского царя».

И в тот знаменательный день свадьбы он жил так, как хотел: опережая гостей, помчался во дворец и долго вешал над праздничным столом новое паникадило на шесть свечей, которое многие месяцы точил на станке из черного дерева и слоновой кости. Потом, когда гости расселись, он, вероятно, как всякий хозяин-умелец, с гордостью посматривал на свое произведение и хвастался им больше, чем победами над неприятелем или успехами в законодательстве.

«Общество было блистательно, – заканчивает свое донесение о свадьбе царя лорд Уитворт, – вино превосходное, венгерское, и, что особенно приятно, гостей не принуждали пить его в чрезвычайном количестве... Вечер закончился балом и фейерверком». Правда, гости не знали, что все торжество царь оплатил все же не из скромного жалованья контр-адмирала. По всем городам был разослан царский указ об обязательном сборе с каждого города 50 рублей «презентных» на свадьбу Петра.

Царица

Екатерина красавицей не была – об этом говорят многочисленные портреты, дошедшие до нашего времени. В ней не было ни ангельской красоты ее дочери Елизаветы, ни утонченного изящества Екатерины II. Ширококостная, полная, загорелая, как простолюдинка, она казалась сторонним наблюдателям довольно вульгарной. Ей явно не хватало вкуса в одежде, светских манер в обращении. С презрительным недоумением смотрела в 1718 году маркграфиня Вильгельмина Байрейтская на приехавшую в Берлин Екатерину: «Царица маленькая, коренастая, очень смуглая, непредставительная и неизящная женщина. Достаточно взглянуть на нее, чтобы догадаться о ее низком происхождении. Ее безвкусное платье имеет вид купленного у старьевщика, оно старомодно и покрыто серебром и грязью. На ней дюжина орденов и столько же образков и медальонов с мощами, благодаря этому когда она идет, то кажется, что приближается мул».



Петр I и Екатерина I

Но не будем простодушно доверять этой известной европейской язве, к тому же ей было всего десять лет, когда она видела Екатерину. Есть ведь и другие свидетельства. Авторы их запомнили, как изящно, ловко и весело танцевала прекрасно одетая Екатерина, и лучшую пару, чем она с Петром, трудно было и представить. Наблюдатели поражались ее неутомимости, терпению и силе. Один из очевидцев рассказывает, как был посрамлен австрийский посланник, проигравший царице пари – кто поднимет одной рукой тяжелый жезл свадебного маршала. Другой, глядя, как естественно ведет себя в обществе вчерашняя портомоя, передает слова царя, что тот не удивится, как легко Екатерина превращается в царицу, не забывая при этом о своем происхождении. Вывод из этих наблюдений верен: своим успехам в жизни Екатерина обязана, по мнению голштинского дипломата Бассевича,

«не воспитанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для нее достаточно исполнять важное свое предназначение, она отвергла всякое другое образование, кроме основанного на опыте и размышлении».

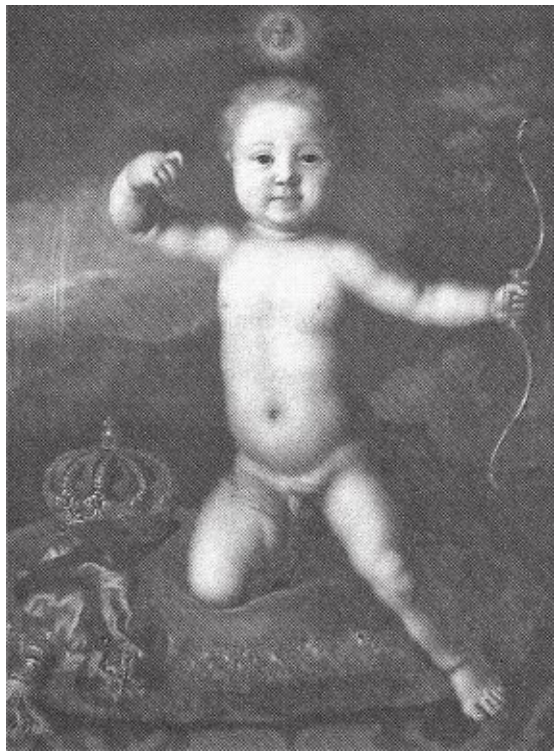
Несомненно, что предназначение свое Екатерина понимала как служение царю. До нас дошло около сотни писем Екатерины и Петра, и хотя минули века, их все равно трудно читать как чисто исторические документы. Они сохранили интимность и теплоту, в них отразилось глубокое и взаимное чувство, связывавшее мужчину и женщину больше двадцати лет. Намеки и шутки, часто почти непристойные, трогательные хлопоты о здоровье, безопасности друг друга и постоянная тоска и скука без близкого человека. «Когда ни выйду, – пишет Она о Летнем саде, – часто сожалею, что не вместе с Вами гуляю». – «А что пишешь, – отвечает Он, – что скушно гулять одной, хотя и хорош огород, верю тому, ибо те ж вести и за мною, – только моли Бога, чтоб уже сие лето было последнее в разлучении, а впредь бы быть вместе». И Она подхватывает в своем ответе: «Токмо молим Бога: да даст нам, как и по Вашему намерению, чтоб сие лето уже последнее быть в таком разлучении».

Во все времена это называлось одинаково – любовью, и следы ее сохранила выцветшая и ломкая бумага. В 1717 году Петр, мечтая заказать жене знаменитые брюссельские кружева, пишет ей, чтобы она прислала образец рисунка для мастериц. И она отвечает, что ей ничего особенного не нужно, «только б в тех кружевах были сделаны имена, Ваше и мое, вместе связанные». Так это и случилось с их именами в истории – кружева любви не тлеют...

Враг внутренний

Но жизнь Екатерины не была безоблачной. Шли годы, умирали одни дети, рождались другие, и мать снова думала об их будущем. А оно было туманным: официальным наследником престола считался царевич Алексей – сын Петра от первого брака. Он родился в 1690 году и восьми лет был разлучен с матерью, царицей Евдокией, сосланной по воле Петра в монастырь – иначе от постылой жены тогда было невозможно избавиться. Мальчик жил вначале у сестры царя Натальи, потом – один, и всегда особняком от второй семьи царя. В переписке супругов лишь два-три раза упоминается Алексей, и ни в одном письме нет ни ласкового слова, ни приветствия ему. Он – отрезанный ломоть в семье государя, и отношения с Екатериной у него явно не сложились. Сам же Петр был излишне холоден и суров к сыну, как к последнему подданному. Его письма к Алексею кратки и бесстрастны – ни слова одобрения или поддержки. Как бы ни поступал царевич, отец им вечно недоволен.

Надо сказать, что царевич не был расслабленным и трусливым истериком, как его порой изображают в литературе и кинематографе (вспомните фильм 1940 года «Петр Первый», где роль Алексея – человека истеричного, подлого и ничтожного – блистательно сыграл Николай Черкасов). Сын своего отца, он унаследовал от него волю, упрямство и отвечал Петру глухим неприятием и молчанием. Это были единокровные враги. Призрак античного рока витал над ними – на одной земле они жить не могли. Царевич все же верил в свою звезду, он твердо знал: за ним – единственным и законным наследником – будущее, и нужно лишь, сжав зубы, терпеть, ждать своего часа. Но в октябре 1715 года узел трагедии затянулся еще туже – у жены Алексея, кронпринцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской Шарлотты-Христины-Софии, 12 октября родился сын, названный в честь деда Петром, а через 16 дней Екатерина разродилась долгожданным мальчиком, которого также нарекли Петром. Он был здоровым и живым малышом. «Шишечка», «Потрошенок» – так зовут сына Петр и Екатерина в своих письмах. Как юные родители восхищаются своим первенцем, так и царская чета, похоронившая уже семерых детей, с восторгом встречала первые шаги Петруши. «Прошу, батюшка мой, обороны, понеже не малую имеет он со мною за Вас ссору: когда я про Вас помяну ему, что папа уехал, то не любит той речи, что уехал, но более любит то и радуется, как молвишь, что здесь папа...» Родители мечтают о будущем сына. Узнав, что наконец у Шишечки прорезался четвертый зуб, Петр пишет: «Дай Боже, чтоб и все так благополучно вырезались и чтоб Господь Бог дал нам его видеть в возрасте, наградя этим [нашу] прежнюю о братьях его [умерших] печаль». Царь здесь глухо упоминает умерших ранее в младенчестве царевичей – детей Петра и Екатерины.



Л. Каравак. Портрет царевича Петра Петровича в виде Купидона

С царевичем Петром Петровичем были связаны и все династические надежды родителей. «Санкт-Петербургским хозяином» называет сына в письмах к мужу Екатерина, хотя где-то рядом в Петербурге живет царевич Алексей. Правда, после рождения Петра Петровича Алексей пишет отцу, что готов отказаться от престола в пользу «братца», но царь, налитый черной ненавистью, подозревает в сыне «авессаломову злость» и требует от него невыполнимого – «отменить свой нрав» или уйти в монастырь. Алексей согласен на все, но оба понимают невозможность первого и малую цену второго. Развязка приближается...

Наконец загнанный в тупик царевич бежит за границу, но царь ложными обещаниями выманивает его в Россию, где его ждут пытки (есть глухие сведения о том, что Петр в застенке сам рвал у сына ногти или, по крайней мере, присутствовал при этой пытке), скорый суд и приговор – смерть. Один из гвардейских офицеров, Александр Румянцев, рассказывал, что в ту страшную ночь 26 июня 1718 года, когда Петр позвал их – нескольких верных людей – и, обливаясь слезами, приказал умертвить наследника, рядом с царем была Екатерина. Она старалась облегчить тяжкий удел царя, приносившего на алтарь Отечества страшную жертву – своего сына, врага внутреннего. Но она рядом еще и потому, что эта кровь была нужна и ей – матери «Санкт-Петербургского хозяина».

Угасшая свеча

Царевич Алексей был задушен в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Петр и Екатерина вздохнули свободно: проблема престолонаследия решилась. Младший сынок подрастал, умиляя родителей: «Онъй дорогой наш Шишечка часто своего дражайшего папу упоминает и при помощи Божии во свое состояние происходит и непрестанно веселится мушгрованием солдат и пушечной стрельбой». И пусть солдаты и пушки пока деревянные – государь рад: растет наследник, солдат России. Но мальчика не уберегли ни заботы няnek, ни отчаянная любовь родителей. В апреле 1719 года, проболев несколько дней, он умер, не прожив и трех с половиной лет. По-видимому, болезнью, унесшей жизнь малыша, был обыкновенный грипп, всегда собиравший в нашем городе свою страшную дань. Для Петра и Екатерины это был тяжелейший удар – фундамент их благополучия дал глубокую трещину. Уже после смерти самой императрицы в 1727 году, то есть восемь лет спустя после смерти Петра Петровича, в ее вещах были найдены его игрушки и вещи – не умершей позже (в 1725 году) Натальи, не других детей, а именно Петруши. Канцелярский реестр трогателен: «Крестик золотой, пряжечки серебряные, свистулька с колокольчиками с цепочкою золотой, рыбка стеклянная, готоваленка яшмовая, фузейка, шпажка – ефес золотой, хлыстик черепаховый, тросточка...» Так и видишь безутешную мать, перебирающую эти вещицы.

На траурной литургии в Троицком соборе 26 апреля 1719 года произошло зловещее событие: один из присутствующих – как потом выяснилось, псковский ландрат и родственник Евдокии Лопухиной Степан Лопухин – что-то сказал соседям и кощунственно рассмеялся. В застенке Тайной канцелярии один из свидетелей показал потом, что Лопухин промолвил: «Еще его, Степана, свеча не угасла, будет ему, Лопухину, впредь время». С дыбы, куда его вздернули немедленно, Лопухин пояснил смысл своих слов и смеха: «Говорил он, что свеча его не угасла потому, что остался великий князь Петр Алексеевич, думая, что Степану Лопухину вперед будет добро». Отчаяния и бессилия был исполнен Петр, читая строки этого допроса. Лопухин был прав: его, Петра, свечу задуло, а свеча сына ненавистного царевича Алексея разгоралась. Ровесник покойного Шишечки, сирота Петр Алексеевич, не согретый ни любовью близких, ни вниманием няnek, подрастал, и этому радовались все, кто ждал конца царя, – Лопухины и многие другие враги реформатора.

Петр напряженно думал о будущем: у него оставались Екатерина и три «разбойницы» – Аннушка, Лизанька и Натальюшка. И чтобы развязать себе руки, он 5 февраля 1722 года принял уникальный юридический акт – «Устав о наследии престола». Смысл «Устава» был всем ясен: царь, нарушая традицию передачи престола от отца к сыну и далее – к внуку, оставил за собой право назначить в наследники любого из своих подданных. Прежний порядок он назвал «старым недобрым обычаем». Более яркое выражение самовластия трудно было и придумать – теперь царь распоряжался не только сегодняшним, но и завтрашним днем страны. А 15 ноября 1723 года был обнародован манифест о предстоящей коронации Екатерины Алексеевны.

Коронация

И вот 7 мая 1724 года наступил звездный час лифляндской Золушки – она была коронована императорской короной. Это было чрезвычайно красочное, торжественное и новое для России зрелище. К нему готовились долго. Петр учредил даже особую воинскую часть – конную роту кавалергардов. В нее взяли из армии самых рослых и видных красавцев. Им сшили роскошную униформу зелено-красного цвета с широкими золотыми галунами и вышитыми на плечах золотыми гербами. Капитаном этой придворной роты царь назначил Павла Ягужинского.

Петр не решился нарушить традицию – коронацию провели в Москве. Немало потрудились в Кремле, который в то время был довольно запущенным и грязным. От Красного крыльца Кремлевского дворца до Успенского собора, где проходила церемония, был проложен деревянный помост, устланный красным сукном, так что привычные грязь и скаредство не были видны участникам торжества. Особенно роскошно был украшен и без того великолепный Успенский собор: бархат, золото, драгоценные камни кресел, персидские ковры, золотая парчовая дорожка от царского места к Святым вратам – все сияло и горело византийской, восточной роскошью. Торжественна, длинна и величава была и сама церемония. Под нескончаемый звон московских колоколов, залпы салюта, звуки полковых оркестров, в окружении кавалергардов и разодетой знати (этому был посвящен особый указ) Екатерина Алексеевна направилась в Успенский собор. На ней было роскошное пурпурное с золотом платье прямо из Парижа, бриллианты в высокой прическе. Даже царь – любитель затрапезной одежды – был разодет, как французский король: в небесно-голубом кафтане с серебряной вышивкой работы самой царицы и в шляпе с белым пером.

В соборе он, подозвав к себе архиереев, кратко сказал, что из манифеста всем известно его намерение короновать жену, посему «извольте оное ныне совершить по чину церковному». И действие началось: произнесение символа веры, ектения, Евангелие, молитвы. После этого Петр вместе с ассистентами укрыл Екатерину парчовой, подбитой горностаеями мантией, которая тяжелым, многокилограммовым грузом легла на крепкие плечи боевой подруги императора. Затем Петру поднесли корону, украшенную редкостными жемчужинами, камнями и яхонтом величиной больше голубинового яйца, и он возложил ее на голову коленопреклоненной супруги. Стоявшие поближе могли видеть, что Екатерина в этот момент не выдержала – она заплакала и пыталась обнять ноги своего повелителя, но он отстранился. В тот день Петру нездоровилось, и как только церемония закончилась, он ушел во дворец.

Праздник же только начинался. Екатерина направилась в Архангельский собор, Меншиков шел сзади и – о ирония судьбы! – незадолго перед этим обвиненный в казнокрадстве, бросал в народ золотые и серебряные медали. Вечером был пир на весь мир. Тысячная толпа на площади перед дворцом не знала, куда бежать – то ли к жареному быку, набитому жареной птицей, то ли к двум винным фонтанам, бившим на огромную высоту, ибо резервуары с вином находились на колокольне Ивана Великого. Счастливы были те, кто пришел с кружками. Глядя на озаренное огнями фейерверка вечернее небо, многие москвичи думали так же, как и голштинский придворный Ф. В. Берхгольц, записавший в свой дневник: «Нельзя не подивиться Промыслу Божию, вознесшему императрицу из

низкого состояния, в котором она родилась и прежде пребывала, на вершину человеческих почестей».

«Катеринушка, друг мой сердешненькой, здравствуй!»

Так начинались десятки писем Петра к Екатерине. В их отношениях действительно была теплая сердечность. Через годы в переписке проходит любовная игра псевдонеравной пары – старика, постоянно жалующегося на болезни и старость, и его молодой жены. Получив от Екатерины посылку с нужными ему очками, он в ответ шлет украшения: «На обе стороны достойные презенты: ты ко мне прислала для вспоможения старости моей, а я посылаю для украшения молодости вашей». В другом письме, по-молодому пылая жаждой встречи и близости, царь опять шутит: «Хотя хочется с тобою видеться, а тебе, чаю, гораздо больше, потому что я в [твои] 27 лет был, а ты в [мои] 42 года не была». Екатерина эту игру поддерживает, она в тон шутит с «сердечным дружочком стариком», возмущается и негодует: «Напрасно затеяно, что старик!» Она нарочито ревнует царя то к шведской королеве, то к парижским кокеткам, на что он отвечает с притворной обидой: «А что пишете, что я скоро [в Париже] даму същу, и то моей старости неприлично».

Влияние Екатерины на Петра огромно, и с годами оно растет. Она дает ему то, чего не может дать весь мир его внешней жизни – враждебный и сложный. Он – человек суровый, подозрительный, тяжелый – преображается в ее присутствии. Она и дети – его единственная отдушина в бесконечном тяжком круге государственных дел, из которого нет выхода. Современники вспоминают поразительные сцены. Известно, что Петр был подвержен приступам глубокой хандры, которая нередко переходила в припадки бешеного гнева, когда он все крушил и сметал на своем пути. Все это сопровождалось страшными судорогами лица, конвульсиями рук и ног. Голштинский министр Г. Ф. Бассевич вспоминает, что как только придворные замечали первые признаки припадка, они бежали за Екатериной. И дальше происходило чудо: «Она начинала говорить с ним, и звук ее голоса тотчас успокаивал его, потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушить его сон, она держала его голову на своей груди, сидела неподвижно в продолжение двух или трех часов. После этого он просыпался совершенно свежим и бодрым».

Она не только изгоняла из царя беса. Ей были известны его пристрастия, слабости, причуды, и она умела угодить, понравиться, просто и ласково сделать приятное. Зная, как Петр расстроился из-за получившего как-то повреждения своего «сынка» – корабля «Гангут», она писала царю в армию, что «Гангут» прибыл после успешного ремонта «к брату своему „Лесному“, с которым ныне совокупились и стоят в одном месте, которых я своими глазами видела, и воистинно радостно на них смотреть!» Нет, никогда так искренне и просто не смогли бы написать ни Дуня, ни Анхен! Бывшая же портомоя знала, что больше всего на свете было дорого великому шкиперу России.

Дело Монса

В последние годы шутливая игра в старика и молодуху, пересыпанная в письмах намеками и сомнительными шуточками, вдруг становится жизнью – Петр действительно сдает. Долгие годы беспорядочной, хмельной, неустроенной жизни, походов, сражений и постоянной, как писал царь, «алтерации» – душевного беспокойства – сделали свое дело. Но чувства его к Екатерине не только не меркнут, но и разгораются поздним, сильным огнем. С тревогой он писал летом 1718 года: «Пятое сие письмо пишу к тебе, а от тебя только три получил, к чему не без сумнения о тебе, для чего не пишешь. Для Бога, пиши чаще!» «Уже восемь дней, как я от тебя не получал письма, чего для не без сумнения».

Одно из последних писем – от 26 июня 1724 года – отражает душевное состояние царя: «Только в палаты войдешь, как бежать хочется – все пусто без тебя...»

Внезапно вся эта идиллия рухнула – осенью 1724 года царь узнал об измене жены, открылось ему и имя ее любовника. Року было угодно, чтобы в 1708 году Петр приблизил к себе миловидного юношу Виллима Монса, брата Анхен. Это неслучайно – так и не забывший свою первую любовь, царь хотел видеть рядом того, кто напоминал ему дорогие черты. А позже в окружении Екатерины появилась и сестра Анхен – Модеста (Матрена, в замужестве – Балк). С 1716 года Виллим становится камер-юнкером царицы и делает быструю карьеру. Он – управляющий имениями Екатерины, с весны 1724 года – камергер, который, как пишет датский посланник, «принадлежал к самым красивым и изящным людям, когда-либо виденным мною».

Когда осенью 1724 года царь получил донос, обвинявший Монса во взятках и злоупотреблениях, он еще ничего не подозревал. Но взятые при аресте Монса бумаги открыли ему глаза: среди них были десятки подобострастных, холопских писем к камергеру. И какие обращения: «Премилостивый государь и патрон», «Любезный друг и брат»! И какие подписи! Меншиков, генерал-прокурор Ягужинский, губернаторы Волынский и Черкасский, дипломат П. М. Бестужев-Рюмин, канцлер Головкин, царица Прасковья и десятки, десятки других! И бесчисленные подарки и подношения: лошадьми, рыжиками, деревнями, деньгами. Измена! Все всё знали, унижались перед временщиком и молчали – значит, ждали его, царя, смерти.

9 ноября арестованный Монс предстал перед своим следователем. Им был сам Петр. Говорят, что, глянув в глаза царя, Монс упал в обморок. Этот статный тридцатилетний красавец, участник сражений под Лесной и Полтавой, лейтенант гвардии, генерал-адъютант царя, был человеком не робкого десятка. Вероятно, он прочел в глазах Петра свой смертный приговор. Легкомысленный и романтичный, искусный ловелас, он пописывал для дам стишки. И в одном из них мы читаем признание-пророчество:

*Моя гибель мне известна.
Я дерзнул полюбить ту,
Которую должен был только уважать.
Я пылаю к ней страстью...*

Не прошло и нескольких дней после допроса, как он погиб на эшафоте по приговору скорого суда. Обвинения в получении каких-то подарков были смехотворны. Все знали, в

чем дело. Столица, помня кровавую развязку дела царевича Алексея, оцепенела. Топор палача просвистел возле самой головы Екатерины: жестоким наказаниям подверглись ее статс-дама Матрена Балк, камер-лакей Иван Балакирев, камер-паж Соловов, секретарь Монса Столетов – все соучастники предательства. Некоторые современники пишут, что Петр устраивал Екатерине шумные сцены ревности, бил зеркала. Другие, напротив, видели его в эти страшные дни на чьем-то юбилее веселым и спокойным. Может, так оно и было. Царь – человек импульсивный – умел в час испытания держать себя в руках. Что же было у него на душе – Бог весть! Не узнаем мы и о чем думали «дорогой старик» и «друг сердешненькой», возвращаясь как-то из гостей через Троицкую площадь, где с вершины позорного столба на них слепо смотрела мертвая голова Виллима Монса...

«Кому насаждение оставлю?»

Нужно согласиться с теми, кто считает, что дело Монса подкосило царя окончательно. Мало того, что мучительная болезнь непрерывно терзала его тело, и ничто не помогало – будущее было беспросветно. Но внешне казалось, что ничего не изменилось. Он живет, как и раньше, в хлопотах и делах в Сенате, Вышнем суде, коллегиях: челобитные, письма, указы; нужно готовить к будущей кампании флот, тревожные вести идут с турецкой границы.

Екатерина так же, как и раньше, появляется на людях вместе с мужем, но иностранные дипломаты замечают, что она не так весела, как прежде. Еще бы! В порыве гнева царь уничтожил составленное им весной 1724 года завещание в ее пользу. Она знала его характер и видела не раз, как он переступал через жизнь любого человека, если речь шла о благе России.

А именно о судьбе России, трона, реформ и думал великий император в эти дни. Вероятно, это были нерадостные думы. Измены преследовали его всю жизнь. Ему изменяли те, кому он больше всего доверял, кого он искренне любил и уважал: Анхен, коронованный «брат любезнейший» Август II, гетман Иван Степанович Мазепа, старый приятель «дедушка» Кикин, Монсы, Екатерина, наконец. Потворствуя, молчали «верные рабы» – ближние люди, сподвижники, «верный Алексашка» – Меншиков, канцлер Головкин, Ягужинский – «око государево». Тоже изменники – каждый думал о своей шкуре. А кто же будет думать о России?

Дело с изменой Екатерины было серьезнее всех других. И суть его не в супружеской неверности. Метрески и метресишки гаремом окружали Петра всегда – царь был похотлив и ненасытен до старости. Екатерина относилась к этому спокойно, так было принято в тогдашнем обществе – посмотрите на Францию, Польшу или Германию. Подшучивая в письмах к «дорогому старику» над его интрижками, Екатерина была уверена, что уж сердце царя принадлежит ей безраздельно.

С женской неверностью в XVIII веке тоже непросто. Есть сведения, что Анна Монс была какое-то время любовницей и Петра, и его ближайшего друга юности Франца Лефорта, который и познакомил царя с Анхен. И уж совсем странной кажется история с прусским посланником Кейзерлингом. Когда он в 1707 году просил Петра разрешить ему жениться на Анхен, произошла ссора. Меншиков кричал Кейзерлингу, что Анна – шлюха и он сам не раз спал с ней. И это происходило в присутствии царя, который, как говорится, и ухом не повел и тогда же рассказал посланнику, что он воспитывал девицу Монс, чтобы жениться на ней.

Но совершенно иные требования предъявлялись к царице – матери наследников престола. В этом случае супружеская неверность была преступлением перед государством, престолом, династией. Возможно, в истории с Екатериной ход мыслей царя был таким же, как в ночь казни царевича: тогда он просил передать Алексею, что как отец он прощает его – непутевого сына, но как государь простить не может – таков его удел. То же он, в сущности, сказал перед казнью и Монсу: «Мне жаль тебя лишаться, но иначе быть не может».

И теперь, думая о будущем, он, возможно, впервые понял свое беспредельное одиночество, глубокое равнодушие окружающих и непонимание ими того дела, которому он посвятил свою жизнь и которое все теперь может пойти прахом. Кто после его смерти будет

править страной – Екатерина или очередной проходимец, прыгнувший в ее постель? Разве не так было с его сестрой, правительницей Софьей – любовницей то ли Василия Голицына, то ли Федора Шакловитого? Но вряд ли он мог даже представить себе, какую бесконечную непристойную вереницу «ночных императоров» открывал бедный Виллим Монс. Деспотия и фаворитизм всегда неразлучны. И Петр решился...

В ожидании внука

9 ноября 1724 года Петр, как уже говорилось, встретился с глазу на глаз с Монсом, а 10-го рано утром он послал вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана к герцогу Голштинскому Карлу Фридриху. Этот немецкий владетель северо-германского герцогства приехал в Россию еще в 1721 году в надежде получить русскую помощь и руку одной из дочерей царя – или Анны, или Елизаветы. Ему пришлось долго ждать – Петр сомневался в пользе для России этого брака, да и с любимыми дочками жалко было расставаться. Поэтому он тянул и своего согласия на брак герцога с Анной или Елизаветой не давал. И вдруг он решился – дело Монса резко подтолкнуло его. 24 ноября царь и герцог подписали брачный контракт. Царь отдавал Карлу Фридриху свою старшую дочь – шестнадцатилетнюю Анну, но будущие супруги отрекались «за себя, своих наследников и потомства мужского и женского полу от всех прав, требований и притязаний на корону и империум Всероссийский... с сего числа в вечные времена». Но тут же был подписан тайный договор, по которому Петр получал право забрать в Россию родившегося от этого брака сына (даже вопреки воле родителей!), чтобы сделать его наследником русского престола.

Екатерина проиграла. Теперь мы знаем, что на протяжении нескольких лет она, пользуясь своим влиянием на мужа, вела тайную интригу против... собственной дочери Анны. Эта умная, красивая девушка слыла любимицей отца и, по мнению многих наблюдателей, император думал о том, чтобы передать престол ей. Есть факты, говорящие, что именно в пользу Анны он подписал завещание после неожиданной смерти царевича Петра Петровича. Екатерина же стремилась выдать Анну замуж за кого-нибудь из иностранных принцев и тем самым освободить место для себя. И царица добилась своего. Накануне ее коронации в Москве весной 1724 года Петр переписал завещание на своего «друга сердешенького». Именно Екатерина должна была стать его преемницей.



Цесаревна Анна Петровна

Дело Монса все изменило. Французский посланник Кампредон писал в своем донесении, что Петр стал подозрителен и суров, он «сильно взволнован тем, что среди его домашних и слуг есть изменники. Поговаривают о полной немилости князя Меншикова и генерал-майора Мамонова, которому царь доверял почти безусловно. Говорят также о

царском секретаре Макарове, да и царица тоже побаивается. Ее отношение к Монсу было известно всем, и хотя государыня всеми силами старается скрыть свое огорчение, но оно все же ясно видно и на лице, и в обхождении ее. Все общество напряженно ждет, что с ней будет». Договором с голштинцами и проведенным в тот же день обручением жениха и невесты Петр решил для себя головоломную династическую задачу. Росчерком пера он лишил жену-изменницу права наследования, а также закрыл путь к престолу своему девятилетнему внуку Петру Алексеевичу – сыну царевича Алексея.

Пятидесятидвухлетний царь, рассчитывая прожить еще хотя бы несколько лет, надеялся дожждаться вождя вдовца от дорогой ему Анны, чтобы призвать его в Россию и сделать своим наследником. Это было реально исполнимо – ведь 10 февраля 1728 года Анна и в самом деле родила мальчика Карла Петера Ульриха, впоследствии призванного-таки его теткой – императрицей Елизаветой и объявленного наследником русского престола Петром Федоровичем. Только Петр до этого дня не дождался, ему не суждено было дожждаться внука – смерть вслед за изменой уже в который раз смешала все его карты. Император умер под утро 28 января 1725 года в мучениях, физических и душевных, так ничего и не решив.

Каструм долорес

Смерть Петра потрясла Петербург, страну, отозвалась в столицах других государств – друзей и врагов России. Умер великий монарх, правивший страной долгие тридцать пять лет. Краток был век человека XVIII столетия – немногие доживали до сорока лет, и поэтому большая часть тех, кто провожал императора в последний путь, родились и выросли уже при нем. Но с его смертью закончилось не только бесконечное царствование – уходила в прошлое целая эпоха. И люди ощущали это как крушение прежнего порядка. Он хоть и плох, но они привыкли, приспособились к нему и тяжело переносили саму мысль о неизбежности грядущих перемен.

Горе было всеобщим. Берхгольц записал в свой дневник, что даже гвардейцы рыдали как дети. «В то утро не встречалось почти ни одного человека, который бы не плакал или не имел глаз, опухших от слез». Вскоре известие о смерти царя дошло до Москвы, и траурные удары колоколов созвали москвичей в приходские церкви. Современник вспоминает, что когда стали читать манифест о смерти императора, начались такие вопли и рыдания, что еще долго не были слышны слова манифеста. В этом нет преувеличения – так устроены люди, так живет и чувствует толпа. Она еще вчера злословила о неприличном браке царя с портомоей, ругала его суровые указы, проклинала его налоги. Теперь она так же искренне рыдала об Отце, оставившем сиротами целый народ.

Каждый житель Петербурга мог проститься с великим покойником: на сорок дней тело Петра было выставлено в «Каструм долорес» – траурном зале Зимнего дома. Дворяне и холопы, солдаты и мастеровые, работные и купцы бесконечным потоком шли проститься с Петром Великим. Их было так много, что несколько раз пришлось менять протертое ногами черное сукно дорожки, по которой мимо гроба проходили притихшие люди, чтобы поцеловать мозолистую руку царя. Траурный зал поражал входивших с Зимней набережной роскошью и печалью. Золотые шпалеры, скульптуры, пирамиды, золоченый балдахин – все, что для простого человека было символом беспечной и радостной жизни, теперь было затянато крепом, погружено в печальную полутьму, тускло поблескивая при свете траурных свечей. Люди подходили к гробу и видели своего Отца преобразенным и незнакомым. Раньше вечно спешащий по улицам города со своей знаменитой палкой в руке, в потертом камзоле, стоптанных грубых башмаках и заштопанных женой чулках, теперь он был тих и неузнаваем: в золотом гробу лежал высокий человек в роскошном платье и кружевах. Этой роскошью одевания покойного, гроба, зала всем напоминалось: «Кесарю – кесарево», как бы ни был прост и неприхотлив этот кесарь в обыденной жизни. Возле гроба ежедневно по много часов подряд сидела императрица, и слезы не просыхали на ее щеках. Ее горе видел весь Петербург, и в этом была не только необходимая власти публичность печали – Екатерина действительно страдала. 4 марта пришла новая беда: умерла от кори царевна Наталья – младшая дочь Екатерины и Петра. Ей было всего шесть лет. Ее маленький гроб был также выставлен для прощания.

Рано утром 10 марта пушечный выстрел возвестил о начале последнего путешествия великого императора. Народ повалил на Дворцовую набережную. Как писал современник, в тот день крупными хлопьями падал снег, сменявшийся градом. Было холодно, ветрено и, как всегда у зимней Невы, неудобно...

Печальный ужас

В три часа дня гроб с телом Петра начали выносить через отворенное окно Зимнего дома – ни в одну дверь он не проходил – и по специально построенному крыльцу и лестнице спустили на набережную. Процессию открывали 48 трубачей и 8 литаврщиков. Протяжные звуки полковых труб и грохот литавр и барабанов полков, стоявших вдоль Невы, задали траурный мотив. В этот момент в толпе послышались рыдания. А народу собралось множество. Вдоль всей набережной, в окнах, на крышах, вдоль перил построенного через Неву моста толпились тысячи петербуржцев, с жадным вниманием глядя на то, чего еще никогда не случалось в России, – хоронили императора! Печаль прощания смешивалась с любопытством зрителей уникального траурного спектакля, в котором участвовали сотни необычно одетых людей. Шествие было красочным: вслед за знаменами с гербами всех земель империи несли различные аллегорические эмблемы. Среди них бросалась в глаза одна, наиболее характерная для Петра: «Резец (то есть скульптор. – Е. А.), делающий статую». Это был точный символ реформ, преобразований, образ грандиозного эксперимента: новую Россию, как Пигмалион Галатею, по живому высекал великий император.

А как впечатляющ был величественный крестный ход сотен церковников в белых траурных ризах, с качающимися на ветру хоругвями и слаженным заунывным хором певчих! Восьмерка лошадей в черных пополах влекла траурные сани с золотым гробом Петра. Впереди вели любимую лошадь императора – «обер-пферд», несли привезенные из старой столицы символы царской власти и награды императора: государственные мечи, скипетр, державу, корону, кавалерии заслуженных «господином адмиралом» орденов. Екатерина в сопровождении ассистентов шла сразу за гробом. Ее лицо было скрыто черной вуалью. Следом двигались родственники и приближенные, придворные, слуги. Не было человека, который остался бы равнодушен к этому торжественному и мрачному шествию. Люди были подавлены траурными мелодиями полковых оркестров, глухим рокотом барабанов, тяжкими ударами литавр, пением церковников, блеском и бряцанием оружия, поднимающимся к небу дымом десятков кадил. Непрерывный звон церковных колоколов несся над Невой, уходил в низкое небо. Все шумы и звуки через равные промежутки времени заглушались пушечной стрельбой. Эти залпы производили особенно гнетущее впечатление: на протяжении всей многочасовой церемонии раздавались мерные – через минуту – выстрелы с болверков Петропавловской крепости. И удары этого гигантского метронома разливали во всех, как писал Феофан Прокопович, «некий печальный ужас». Уже при свете факелов гроб внесли в деревянную церковь, стоящую посреди недостроенного Петропавловского собора. Надо всем возвышалась огромная колокольня со шпилем и часами с боем, а стены собора не поднялись еще даже на высоту человеческого роста. Это был тоже символ петровской России – «недостроенной храмины», как назвал ее позже Меншиков.

«Что се есть? До чего мы дожили, о россияне?»

Гроб поставили на помост, началась панихида. «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас! Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!» Вперед вышел Феофан Прокопович и сказал «Слово на погребение Петра Великого». Много речей произнес архиепископ за свою жизнь, но эта была самая лучшая в творчестве этого волшебника слова. Хорошо поставленным голосом, с подкупающе искренней интонацией он кратко и очень сильно выразил чувства своих слушателей, до конца еще не осознавших, что же происходит: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? Ах, как истинная печаль! Ах, как известное нам злоключение! Виновник бесчисленных благополучий и радостей, воскресивший аки из мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу – родивший и воспитавший, прямой сей Отечества своего отец... противно и желанию, и чаянию окончал жизнь».

Речь Феофана искусна. Он призывает оглянуться и оценить, что происходит сейчас в этой церкви, кого хоронит Россия, – ведь Петр был ее непобедимым Самсоном, разорвавшим пасть шведскому льву, мужественным мореплавателем, бороздившим моря, как библейский Иафет, мудрым Моисеем, давшим ей все законы, справедливым судьей Соломоном. Как византийский император Константин, он дал России новое устройство церкви. Плачет Феофан, плачут слушатели. Но вот выразительный жест руки оратора, отделяющий смерть от жизни. Оглянитесь, россияне, призывает Феофан. Посмотрите на юный град, непобедимую армию! Все это – с нами, и мы – сироты – остались не нищие и убогие: «Безмерное богатство силы и славы его при нас есть». И это надо развивать, укреплять, и в этом – лучшая память о Петре!

Новый поворот речи – и Феофан обращается уже к стоящей у гроба императрице: ты – помощница в жизни его, героиня, государыня, наследуешь его трон, его дело, его могущество и силу – так будь достойна великого жребия. Эти слова тонко связаны с выражением сочувствия к женщине, потерявшей сразу и мужа, и дочь (гробик Натальи стоит возле гроба отца), с призывом еще теснее сплотиться вокруг трона, в этом залог будущих побед, ибо «не весь Петр отошел от нас». Панихида заканчивается. Екатерину с трудом оттаскивают от гроба, который заколачивают и водружают под балдахином. Вокруг ставят караул – тело царя, а потом и самой Екатерины, будет непогребенным до того летнего дня 1733 года, когда Трезини закончит строительство Петропавловского собора. Царь найдет там свое последнее пристанище в склепе под полом собора, и рядом с ним будет лежать и его «друг сердешненькой». Похороны кончаются, люди начинают выходить из церкви. Трижды раздастся страшный грохот всех пушек и ружей – Петр уходит в историю. На следующий день начались будни...

Петербургская весна

После похорон в Санкт-Петербург пришла весна, первая весна без Петра. Он всегда ждал ее: ведь весна – начало навигации, плаваний, морских приключений. Петр очень грустил, если она приходила в город в его отсутствие. «Что же Нева только три месяца стояла, – писал он с шутливой обидой Меншикову в 1711 году из Прутского похода, – то я думаю, что Нептунус зело на меня гневен, что в мою бытность ни однажды такую короткою зимою не порадовал, и хотя я всем сердцем ко оному всегда пребываю, но он ко мне зело не склонен». Теперь уже не было на свете Нептунова приятеля, а Нева вскрылась, прошел ладожский лед, пришли первые корабли, зазеленели деревья в Летнем саду. Екатерина впервые одна, без своего «дорогого старика», перебралась из Зимнего дворца в Летний. Скорбь не может быть бесконечной – жизнь продолжалась, особенно весной, которой наслаждались земля, люди, город.

Путешественники, которые прибывали в российскую столицу в середине 1720-х годов, не могли не удивиться той целеустремленной энергии, размаху, с которыми возводился Петербург. В 1725 году сквозь строительные леса уже проглядывал город, так непохожий на традиционные русские города. Длинные, просторные, обсаженные деревьями улицы были на удивление чисты и ровны. «Царь, – пишет иностранный путешественник, – приказал каждому вымостить часть улицы, на которой стоит дом, предписал форму и качество камней, и теперь улицы повсюду хорошо и ровно вымощены, они регулярны и широки».

Сердцем города была Петропавловская крепость. Ее мощные оборонительные сооружения еще не были одеты камнем, но крепость была хорошо вооружена и могла дать отпор любому врагу. Строительство не закончилось и после смерти Петра. Блестящий мастер Доменико Трезини знал свое дело, и оно спорилось: возводились новые здания, поднимались каменные стены Петропавловского собора, окружавшие старую церковь, в которой лежал царь. А над всем этим круто в небо уходила колокольня собора с золоченым, видимым издали шпилем. Подняться на вершину колокольни, послушать музыку часозвонницы и осмотреть панораму города мог каждый желающий.

Особенно запоминался полуденный час. Механические часы, привезенные из Амстердама, отбивали одиннадцать часов. После этого в течение получаса оркестр из трубачей и гобоистов играл музыкальные пьесы, а с половины двенадцатого и до удара пушки играли «ручные куранты» – звонарь с помощниками. «Чрезвычайно любопытно поглядеть на игру музыканта, особенно тому, кто не видывал ничего подобного, – пишет Берхгольц. – Я, впрочем, не избрал бы себе его ремесла, потому что для него нужны трудные и сильные телодвижения. Не успел он исполнить одной пьесы, как уже пот катился с его лица».

А какой вид открывался с площадки колокольни! Я думаю, что если бы мы поднялись тогда по скрипучим ступенькам наверх, то сердца наши вздрогнули бы – упругий морской ветер ударил бы в лицо, наполнил грудь, а внизу лежал наш уже такой узнаваемый, родной город. Он был похож на ребенка, чьи живые и милые черты не исчезнут с годами, а лишь станут более выразительными, мужественными, но по-прежнему красивыми и родными.

Вон напротив, за Невой, так напоминавшей англичанам широкую серую Темзу, выстроился парадный ряд зеленых и красных дворцов первейших вельмож – Дворцовая

набережная, блестящий фасад Петербурга. Слева, закрывая Царицын луг – Марсово поле, – виднелся Почтовый двор – место публичных празднеств и маскарадов, еще левее качались на ветру уже подросшие липы Летнего сада – любимого Петром «огорода». Его аллеи ровны и желты от чистого речного песка, бьют фонтаны, и среди зелени блистают белизной мраморные статуи.

Возле Летнего дворца виден гаванец – отводной канал с бассейном, где, сверкая золоченым убранством, покачиваются императорские суденьшки. В чистом, прозрачном воздухе слышен шум торговой площади у длинного Гостиного ряда на Городской – Петербургской стороне. Эта площадь, Троицкая, – порт с причалами, у которых разгружались корабли со всей Европы, – своей живописной красочностью напоминала иностранцам торговые прибрежные кварталы Стамбула. А направо – зеленая овальная громада Васильевского острова. Четкие, блестящие на солнце линии каналов пересекаются под прямым углом. Их берега не были еще сплошь застроены домами, но уже просматриваются улицы и площади – совсем как на плане, с которого их, собственно, и перенесли на землю. А еще дальше, на материковом берегу, там, за Адмиралтейством, виднелся среди лесов Екатерингоф, а за ним открывалось голубое море, плывущие от Кронштадта корабли под белыми парусами – простор и благодать...

Город, как хилый саженец, согретый заботливым уходом великого Садовника, поднимался на плоской лесистой и болотистой равнине. И хотя однажды весной Садовник не пришел к своему питомцу, тот жил уже самостоятельно, прочно вцепившись корнями в почву, на которой раньше ничего кроме осоки и кустарника не росло. Ведь прошло больше двадцати лет, родились и даже выросли люди, которые увидели свет уже петербуржцами, и – что бы ни случилось с их городом – он был и оставался для них навсегда родиной, отчим домом. Великая мечта первого Петербуржца исполнилась...

«Не тронь меня»

Придя к власти, Екатерина стремилась показать, что ее правление будет «милостивым», гуманным. В подтверждение этого она подписала указы о прощении должников, уменьшении подушной подати для крестьян, были выпущены на свободу политические преступники. В Петербург вернулись опальный вице-канцлер Петр Шафиров, Матрена Балк и другие. Многие взяточники и казнокрады, еще вчера находившиеся под следствием, могли вздохнуть спокойно – петровская петля вдруг ослабла на их шеях. Но в остальном все шло, как и раньше. Размеренно и спокойно жил Петербург, по весне тысячи рабочих сходились на строительство столицы и ее пригородов. Главным архитектором города-стройки был Доменико Трезини. Под его началом возводились здание Двенадцати коллегий, Морской госпиталь, Исаакиевская церковь, Главная аптека, пристройки к Зимнему дому, Меншиковскому дворцу.

Екатерина не отменила ни одного проекта, ни единого важного начинания мужа. Сохранились все сложившиеся при нем праздники и обычаи. Особенно торжественным был праздник спуска на воду нового корабля. Как правило, Петр не просто присутствовал на верфи, а руководил всей этой ответственной и весьма символической церемонией. Новый, как сама петровская Россия, корабль стоит на стапеле. Он украшен разноцветными флагами, на палубе – накрытые столы, суетятся слуги. После молебна рабочие выбивают подпорки. Огромный корпус судна вздрагивает, начинает двигаться все быстрее и быстрее, и вот, наконец, поднимая носом высокую волну, корабль плывет по Неве под залпы салюта и клики толпы. И каждый раз для Петра – великолепного корабельного мастера – это было испытанием его способностей, точности его расчетов, даже больше – его судьбы. Корабль плывет, а ведь может вдруг лечь на борт и утонуть. Так и Россия...

К весне 1725 года был закончен еще один корабль, заложенный при жизни царя. Его назвали «Noli me tangere» – «Не тронь меня». Название должно было пугать врага, если, конечно, он успеет прочесть его. Это был красивый корабль с 54 пушками. Яхты и шлюпки с нарядными гостями устремились к нему. Начиналось празднование дня рождения очередного «сынка» – так называл Петр свои корабли. Императрица смотрела на церемонию с обитой черным крепом (траур еще не кончился) баржи, стоявшей напротив Адмиралтейства. Объехав корабль дважды, она подняла бокал и приказала начать пир, а сама вернулась во дворец. Петровские празднества на новопущенных кораблях превращались, как правило, в страшные попойки, и царь долго не отпускал восвояси перепившихся, замученных гостей. Теперь хозяина не было, и все торжество прошло тихо и быстро – уже в девять вечера все разъехались. Как видно, все-таки наступили новые времена.

Молодая академия

«Мы желаем все дела, зачатые трудами императора, с Божией помощью завершить» – так говорилось в одном из первых указов императрицы, и многие понимали это как залог продолжения петровского курса. И действительно, так это и казалось в первые месяцы ее царствования. Важнейшим событием стало открытие Петербургской Академии наук. Основать академию Петр мечтал давно. Он много думал над устройством нового, невиданного в России учреждения, во время путешествий по Европе советовался с крупнейшими учеными. В январе 1724 года был издан указ о создании академии, определены доходы, на которые она должна была существовать. Русскому народу она не стоила ни копейки – деньги на нужды академии шли от таможенных сборов в эстляндских портах. Петр хотел, чтобы академия была не просто научным центром, но и учебным заведением: он рассматривал ее как «собрание ученых людей», постигших науки и обязанных «младых людей обучать». В итоге академия стала и научным центром, и университетом, который должен был готовить специалистов для России.

Петр не успел открыть академию – целый год ушел на переписку с границей: ведь в России не было ни одного профессионального ученого, и всех пришлось приглашать из Германии, Франции и других стран. Нужно отдать должное этим людям. Они ехали по доброй воле в страну, известную на Западе как «варварская», «дикая». Но снимаясь с насиженных мест в уютных университетских городках Европы, они были воодушевлены перспективами настоящей работы на благо науки, цивилизации. Они верили слову Петра – авторитетнейшего политика Европы, гарантировавшего им нормальные условия для научной работы, высокое жалованье, ту необходимую ученому независимость, без которой невозможно научное творчество. Весь петровский курс говорил за то, что они не делают ошибки, садясь на корабли и отплывая в далекий город на Неве. Среди приехавших в Петербург зимой и весной 1725 года были незаурядные, талантливые люди – математики Я. Герман, Х. Гольдбах, физики Г. Бюльфингер, Г. В. Крафт, натуралисты И. Дювернуа, И. Вейтбрехт, И. Г. Гмелин. Были среди них и подлинные звезды мировой величины: математики Даниил Бернулли и Леонард Эйлер и французский астроном Жозеф Никола Делиль. Всего же прибыло 22 ученых, и с них началась академия, наука в России. Она стала их второй родиной, здесь к ним пришли слава, почет и уважение. Но они и сами прославили Россию как страну, не чуждую наукам, и она не должна забывать их имена.

И вот, уже при Екатерине, наступил торжественный миг открытия академии в доме Шафиров на Петербургской стороне (здание Кунсткамеры поспешно достраивалось на Васильевском). Императрица приняла первых академиков, и профессор Герман обратился к ней от имени своих коллег с пышной речью, в которой прозвучала резонная мысль о том, что Петр видел славу России не только в воинских победах, но и в процветании наук и изящных искусств. Он умер, и «Вы, Ваше Величество, не только не допустили упасть его предначертанию, но подвигли оное с равной энергией и с щедростью, достойной могущественнейшей в мире государыни». Неграмотная лифляндская крестьянка, сидевшая на троне, ни слова не понимая по-латыни, согласно кивала головой, поглядывая на стоявшего рядом неграмотного же фельдмаршала, члена Британского королевского общества Александра Даниловича Меншикова, и все были очень довольны происходящим и друг

другом.

Кухарка у власти

Ни для кого не было секретом, что новая государыня не в состоянии управлять страной. Риторический вопрос о том, может ли кухарка управлять государством, уже давным-давно был решен не в пользу оптимистов. «Боевая подруга» великого реформатора не была государственным деятелем, да она никогда и не пыталась им стать. Для этого недостаточно обладать житейским умом, тактом, для этого нужны особые дарования, знания и умение мыслить, действовать и предвидеть. Как на мостике корабля бесполезно объяснять не знающему арифметических действий суть кораблевождения под звездным небом, среди волн и рифов, так было бесполезно учить править страной эту женщину. И Петр никогда не посвящал жену в секреты политики, в сложные расчеты прокладки курса огромного корабля под названием Россия. Ему казалось, что Екатерину ждет иной удел.

Царь-шкипер умер, но корабль должен был идти дальше. И с первых минут на опустевшем капитанском мостике поднялась суматоха – «птенцы» делили власть. Две крупные личности претендовали на первенство. Конечно, первым выступал Александр Данилович Меншиков – ближайший сподвижник Петра, долгие годы его любимец и фаворит. Он сыграл решающую роль при восшествии Екатерины на престол и теперь хотел получить для себя все сполна: власть, почет, деньги, титулы и звания. Смерть царя избавила светлейшего от страха наказания за многочисленные проступки и воровство. Он был свободен! И тотчас же вылезли те черты его натуры, которые он пытался прятать, правда, тщетно, при жизни сурового царя: жадность, безмерное честолюбие, хамская уверенность в своем праве сильного подавлять других и оставаться при этом безнаказанным.

Но в окружении Екатерины были люди, которые хотя и безуспешно, но все же оказывали светлейшему сопротивление. Одним из них был Павел Иванович Ягужинский – генерал-прокурор Сената. Человек несдержанный, слабо контролировавший себя, он был привержен к рюмке и публичным разоблачениям как общественных недостатков, так и личных пороков окружающих. В руки генерал-прокурора, как фактического руководителя Сената, попадало немало документов, позволявших делать выводы о неблагоприятных деяниях светлейшего, и Ягужинский вываливал все это у подножия трона. Безобразные ссоры Меншикова с Ягужинским доставляли удовольствие камарилье и огорчение царице, журившей то одного, то другого.

За склоками «первейших» внимательно наблюдал Петр Андреевич Толстой. Видавший столько всего хорошего и плохого на своем долгом веку, верный слуга царя, начальник Тайной канцелярии, он вел свою тонкую политику, стремясь приучить царицу советоваться только с ним. Его обстоятельные, хитроумные доклады порой завораживали императрицу, а порой нагоняли на нее сон. Все остальные «принципалы» – канцлер Гаврила Иванович Головкин, генерал-адмирал президент Адмиралтейской коллегии Федор Матвеевич Апраксин, генерал-фельдцейхмейстер Яков Виллимович Брюс – оставались статистами, отдыхая после тридцатилетнего сражения за благо России, которое вел Петр Великий.

Несогласие вчерашних победителей усугублялось еще и тем, что сама Екатерина не устранилась от управления полностью, а пыталась, пусть и эпизодически, под влиянием чувств, оказывать воздействие на политику. К хорошему это не приводило.

Упрямый Феодосии

Когда грозный царь умер и его беспощадная дубинка перестала грозить подданным, не один Меншиков вздохнул с облегчением. Воздух свободы кружил головы, и первой жертвой обманчивого чувства безнаказанности пал вице-президент Синода архиепископ Новгородский Феодосий. Как и Феофан Прокопович, Феодосий был ближайшим сподвижником царя, одобрял все его начинания и от имени Господа отпускал ему все грехи. Смерть Петра Феодосий встретил как освобождение от ига, и тут же все его пороки – грубость, заносчивость, непомерное честолюбие – всплыли на поверхность. В апреле 1725 года он поднял «бунт» против Екатерины. Обидевшись на то, что его не пустили во дворец в неурочное время (царица отдыхала), он, как отмечалось потом в его следственном деле, «вельми досадное изbleвал слово, что он в дом Ея Величества никогда впредь не пойдет». Вечером он отказался явиться во дворец и при этом «желчно заупрямился».

Такое поведение ранее послушного и угодливого иерарха было воспринято при дворе как «оскорбление чести Е. И. В.». Тотчас нарядили следствие. Его вели вчерашние друзья и собутельники Феодосия – Петр Толстой и Андрей Ушаков. Они не делали никаких поблажек своему старинному приятелю. А о членах Священного Синода и говорить нечего – все они, как один, начали строчить доносы на своего товарища и руководителя, припоминая ему как собственные обиды, так и опрометчивые высказывания о царе-распутнике и его беспородной жене. Никакие раскаяния и оправдания струсившему Феодосию не помогли: он был приговорен к смерти. Впрочем, Екатерина проявила милосердие, заменив смертную казнь заточением в монастырской тюрьме.

Конец Феодосия, постриженного в простые старцы под именем Федоса, был ужасен. Его замуровали в подземную тюрьму в архангелогородском Корельском монастыре. Оставили лишь узкое окошко, через которое ему давали хлеб и воду. В холоде, грязи, собственных нечистотах прожил Федос несколько месяцев и лишь в конце 1725 года, в разгар суровой северной зимы, его перевели в отапливаемую келью, которую также «запечатали» – заложили вход камнями. В феврале 1726 года часовые встревожились – Федос не брал пищу и не откликался на зов. В присутствии губернатора вход вскрыли – Федос был мертв... Женщина, сидевшая на троне, показала всем, что и в слабых женских руках самодержавная власть остается непререкаемой, и никому не будет позволено ею пренебрегать.

Голштинские страсти, или Воинственная теща

Первым серьезным испытанием нового правительства стал так называемый «голштинский кризис», вызванный чрезмерной теплотой родственных чувств Екатерины. В мае 1725 года траур по Петру прервали и устроили пышную свадьбу герцога Голштинского Карла Фридриха и цесаревны Анны Петровны. Герцог был вполне ничтожной личностью, с ранних лет им управлял всесильный голштинский сановник граф Бассевич. Брак с дочерью Петра нужен был голштинцам для того, чтобы заручиться дипломатической и военной поддержкой России в борьбе за шведский престол (Карл Фридрих был племянником погибшего в 1718 году Карла XII) и в борьбе против Дании, отхватившей в самом начале Северной войны почти половину герцогства – землю Шлезвиг. Петр принял герцога как родного, но кроме туманных обещаний тот от царя ничего не услышал. И это неслучайно. Петр вел свою сложную, многоходовую политическую игру, конечной целью которой было усиление не Голштинии или Швеции, а России за счет спорящих сторон.

Все круто изменилось весной 1725 года. «Царствование этой шведки, – писал с тревогой датский посланник в Петербурге Вестфален, – всегда будет представлять собой величайшую опасность для Дании, потому что ее зять – завзятый противник нашего короля». Так это и было. Голштинская партия во главе с Бассевичем и Карлом Фридрихом приобрела значительное влияние на Екатерину I. Воинственная теща просто рвалась в бой, обещая встать во главе армии. Летом 1725 года большинство иностранных дипломатов были убеждены, что вот-вот начнется «война мести» России против Дании. К Петербургу стягивались войска, солдат сажали на галеры, необычайную активность проявляла Швеция – заклятый враг Дании. Пик напряженности наступил 23 июля – русские корабли вышли в море, как все считали, для похода на Копенгаген. Туда же готовилась лететь огромная «стая» галер: «Ласточка», «Стриж», «Воробей», «Синица», «Снегирь», «Кулик», «Дятел» и еще более полусотни «пернатых» с тысячами солдат на борту.

В военном руководстве поспешно разрабатывались планы десанта в Копенгаген, голштинцы непрерывно торопили Екатерину. Но запустить военную машину, долго находившуюся в мирном положении, было непросто. Тем временем столицу Датского королевства охватила паника, началась подготовка к отражению русской агрессии. Панические послания с просьбами о помощи полетели в Лондон – Англия была союзницей Дании.

Это в конечном счете и решило исход назревавшего конфликта, предотвратив тещину безумную авантюру. Совместная англо-датская эскадра, упреждая поход русских кораблей и галер, блокировала Ревель – важнейшую военно-морскую базу империи (ныне Таллин). В своей грамоте английский король Георг предупредил Екатерину, что если Россия нарушит «всеобщую тишину на севере», британский флот не позволит русским кораблям выйти в море.

В ответной грамоте царица гордо отвечала, что она, «будучи самодержавной и абсолютной государыней, которая не зависит ни от кого, кроме единого Бога», выведет свой флот в море. Однако подтвердить слова делами она не решилась. Воевать на море с англичанами остерегался даже сам Петр – уж очень неравны были силы. Постепенно накал страстей стих, тещины сборы в поход отменили, но престижу России был нанесен огромный

ущерб.

Верховный тайный совет

Хотя Екатерина и пыталась сказать свое слово в политике, часто это выходило невпопад – под влиянием эмоций и каприза. Вникнуть в государственные дела и заниматься ими регулярно императрица, конечно, не могла. Ей нужна была помощь, и она ее получила. В феврале 1726 года был образован новый высший правительственный орган власти – Верховный тайный совет. В императорском указе говорилось, что Совет создается «при боку нашем не для чего инако только, дабы оный в сем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и беспристрастными объявлениями мнений своих нам вспоможение и облегчение учинил». Иначе говоря, Совет выполнял роль костыля, без которого императрица не могла ходить. Но Совет возник еще и потому, что вся политическая ситуация требовала некоего единого учреждения, которое бы разрабатывало общие направления политики, как внутренней, так и внешней. Раньше всем этим занимался сам Петр, в голове которого хранился и с которым безвозвратно погиб сонм идей, планов и предначертаний. И теперь коллектив мудрых советников при императрице должен был в какой-то мере возместить эту потерю.

Огромную роль в образовании Совета сыграл Меншиков. Накануне издания указа об учреждении Совета 8 февраля 1726 года во дворец светлейшего князя потянулась вереница вельмож, которые надеялись получить место в новом высшем учреждении. Все они были уверены, что местечко это будет весьма теплым и уютным. И от Александра Даниловича зависело, кому его дать. В Совет попало большинство сподвижников Петра Великого, бывших в «партии» Екатерины зимой 1725 года: сам Меншиков, канцлер граф Гаврила Иванович Головкин, вице-канцлер граф Андрей Иванович Остерман, генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин и, наконец, – головная боль Меншикова – герцог Голштинский Карл Фридрих. Он был введен в Совет по настоянию Екатерины, желавшей, чтобы любимый зять привыкал к государственным делам.

Против ожидания на вороных прокатили Павла Ивановича Ягужинского. Меншиков не хотел иметь в товарищах этого скандалиста и бузотера. Немалое изумление наблюдателей вызвало назначение в Совет Дмитрия Михайловича Голицына – одного из лидеров «партии» великого князя Петра. Князь Голицын был нужен Меншикову не только как опытный администратор. Дмитрий Михайлович был самым авторитетным представителем родовитой оппозиции у подножия трона, и участие его в Верховном тайном совете как бы символизировало мир, наступивший внутри камарильи. Меншиков искал союзников среди родовитой знати.

Здоровье императрицы не внушало ему оптимизма, и Александр Данилович пытался «подстелить соломки» в том месте, куда ему предстояло упасть в случае смерти Екатерины. На первых заседаниях Екатерина присутствовала, но потом ей это «наскучило», и Совет стал решать государственные дела без императрицы, которая лишь соизволяла подписывать его решения как свои.

«Petrus erat magnus monarcha, sed jam non est»^[1]

В 1726 году секретарь Сената Иван Кирилов составил обзор положения дел в Российской империи и назвал его гордо и высокопарно: «Цветущее состояние Всероссийского государства». Но «цветущим» оно было лишь на бумаге. Факты говорили совсем о другом. Перед верховниками, засевавшими за государственные дела, встало немало сложнейших проблем. Все они были унаследованы от Петровской эпохи. Цена, которую страна и народ заплатили за три войны – со Швецией, Турцией и Персией, – оказалась непомерно высокой. Попросту говоря, Петр разорил собственную страну ради создания новой армии – сильной, многочисленной и хорошо вооруженной, способной побеждать врагов и расширять границы империи.

Все было подчинено этой цели. Армии нужно было оружие – и строились металлургические и оружейные заводы. Солдатам нужна была форменная одежда – и открывались сотни прядильных, ткацких, кожевенных, обувных, шляпных мануфактур, благо бесплатная рабочая сила – крепостные – всегда была под рукой. Армии нужны были деньги и провиант – и десятки самых разных денежных и натуральных налогов и повинностей опутывали всех, не давая ускользнуть ни одной живой душе – от мала до велика. И главное, армии нужны были солдаты – и свирепая рекрутчина вырывала из народа самых молодых и работоспособных. Крестьяне, ставшие рекрутами, навсегда прощались с родными, и о них горевали как об умерших. Вся страна фактически стала огромным тылом, почти тридцать лет жившим под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!» Конечно, такого напряжения ни народ, ни хозяйство страны выдержать не могли.

Хуже всего, как это всегда было в России, пришлось крестьянству. Его положение усугубили неурожай и голод, терзавшие даже самые богатые уезды России в 1721–1724 годах. Истощение народного хозяйства, сотни тысяч бежавших на Дон и в Польшу, опустевшие деревни, гигантские недоимки в сборах налогов, бунты и мятежи – вот картина страны в конце петровского царствования. Тяжкие последствия реформ не были секретом и до прихода к власти Екатерины. Но тогда был жив Петр. Он, не зная сомнений, вел государственный корабль вперед. Авторитет его был непререкаем, слово считалось законом. Он нес ответственность за все, и подданные его могли спать спокойно – царь знал, как и когда нужно делать, а им оставалось лишь ждать указаний мудрого Отца Отечества, отнюдь не пытаясь вылезти с собственной инициативой.

Петра не стало – и все изменилось. Екатерина была пустым местом, вся ответственность легла на плечи вчерашних сподвижников царя-реформатора, и они согнулись под ее тяжестью. Известно, что бремя власти не лавровый венок. Знание реального положения вещей в стране неумолимо толкало их к изменению прежней – петровской – политики. Да, Петр был велик, но он не мог предусмотреть всех последствий реформ, он, наконец, мог ошибаться! Так верховники объясняли себе и другим мотивы начавшихся контрреформ. Многим казалось это невероятным – почти сразу же начали свергать идолов, которым поклонялись десятилетиями. Но жестокая необходимость толкала Меншикова и его коллег на сокращение налогов, раздутого государственного аппарата. Эта необходимость заставила их думать об уменьшении армии, облегчении условий торговли. В Верховном тайном совете шли непрерывные обсуждения проблем политики. Бешеный ритм преобразований

замедлился, огромный корабль империи вошел в полосу штиля.

Но, отменяя петровские реформы, приостанавливая грандиозные стройки, которые были действительно не под силу народу, верховники руководствовались не только государственной необходимостью и целесообразностью. Они сознательно строили свою политику на критике петровских начал – ведь критиковать предшественников легче всего. Они стремились заработать политический капитал на том, чтобы угодить всем, кто был недоволен Петром. Они думали не столько о стране, сколько о себе, своей власти, своем месте под солнцем.

Здравствуйте! Вы наша тетя?

В начале 1726 года весь двор гудел от сплетен и пересудов – неожиданно, как из небытия, возникли родичи лифляндской пленницы. Об их существовании знали давно. Еще в 1721 году в Риге к Петру и Екатерине, смущая придворных и охрану своим простонародным видом, пожаловала крепостная крестьянка Христина, утверждавшая, что она родная сестра царицы. Так оно и было. Екатерина поговорила с ней, наградила деньгами и без долгих рассуждений отправила восвояси. Тогда же Петр дал секретное задание Ягужинскому найти среди русского «лифляндского полона» некоего крестьянина Самуила Скавронского. Его упорно искали на Украине и в Сибири, но следы старшего брата царицы затерялись. Неожиданно он обнаружился в 1723 году в Лифляндии. По указу Петра Самуила и его детей велено было держать под присмотром, не позволяя афишировать родство с царицей. В этом смысле демократичный Петр знал меру, и те милости и блага, которыми он осыпал саму Екатерину, не собирався распространять на ее босоногую родню. И совсем не из экономии, хотя царь славился прижимистостью. Дело было в другом. Крестьянские родичи Екатерины могли нанести ущерб престижу династии, бросить тень на детей.

Екатерина, придя к власти, не вспоминала о своих родственниках до тех пор, пока рижский губернатор, фельдмаршал князь Аникита Иванович Репнин не сообщил, что к нему обратилась та же Христина, которая жаловалась на притеснения своего помещика и просила устроить свидание с сестрой. Заметим в скобках, что аристократ, бывший президент Военной коллегии, смещенный императрицей и посланный в Ригу за поддержку кандидатуры великого князя Петра Алексеевича памятной январской ночью 1725 года, вероятно, злорадствовал в душе – как же «верному рабу» не пригреть сестрицу «нашей Всемиловитвейшей и Всепресветлейшей государыни»? Екатерина поначалу была явно смущена. Сестру и ее семейство она приказала содержать «в скромном месте и дать им нарочитое пропитание и одежду», от помещика их взять «под видом жестокого караула» как самозванцев и «приставить к ним поверенную особу, которая могла бы их удерживать от пустых рассказов», надо полагать – о босоногом детстве нашей героини.

Однако через полгода родственные чувства пересилили, и всех Скавронских доставили в Петербург, точнее – в Царское Село, подальше от глаз любопытных злопыхателей. Можно себе представить, что творилось в Царскосельском, тогда еще скромном дворце! Родственников было много. Кроме старшего брата Самуила прибыл средний брат Карл с тремя сыновьями и тремя дочерьми, сестра Христина с мужем и четырьмя детьми, сестра Анна, также с мужем и двумя дочерьми, – итого не меньше двух десятков. Оторванные от вил и подойников, родственники императрицы еще долго отмывались, учились приседать и кланяться и носить дворянскую одежду. Разумеется, выучиться французскому или даже русскому языку они не успели, да это и неважно – в начале 1727 года все они стали графами, получили большие поместья. И в русских генеалогических книгах появился новый графский род Скавронских, а также Гендриковых. Правда, сведений об особой близости семейства с императрицей что-то не встречается...

Праздник днем и ночью

Больше двадцати лет Екатерина преданно служила своему повелителю, угождая ему во всем и никогда не забывая, кем она была и кем он ее сделал. И вот служба кончилась. Наша героиня стала полновластной хозяйкой огромной империи и – главное – хозяйкой самой себе. Отныне все служили только ей одной, все старались угодить ее нраву, исполнить ее прихоти. И бедная сорокалетняя Золушка, будто чувствуя, что все это ненадолго, и скоро раздастся зловеший бой часов, спешила насладиться всеми радостями жизни – балы сменялись ассамблеями и куртагами, обильные застолья – танцами до упаду, как в молодые годы, прогулки – любовными утехами.

Иностранные дипломаты тех времен в один голос утверждали, что Екатерина откровенно прожигала жизнь. Кампредон замечал весной 1725 года, что траур по царю соблюдается формально. Екатерина частенько бывает в Петропавловском соборе, плачет у гроба Петра, а потом пускается в кутежи. «Развлечения эти заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня попойках в саду, с лицами, которые по обязанности службы должны всегда находиться при дворе».

Надо сказать, что вкусы императрицы были не очень высокого свойства, а развлечения довольно вульгарны – в стиле знаменитого петровского Всепьянейшего собора. В этом обществе завязтых пьяниц царь проводил свободное время, отдыхая душой, но утруждая тело непрестанной борьбой с Ивашкой Хмельницким, или, по-иноземному, – Бахусом. Эти сражения – далеко не Полтава, и царь нередко бывал побиваем своим «неприятелем». Охоту к тем же развлечениям унаследовал и его «друг сердешненькой». Если главным действующим лицом веселий Петра был знаменитый «князь-папа» Никита Зотов, то при Екатерине эту роль выполняла «князь-игуменья» Настасья Петровна Голицына – шутиха и горькая пьяница. В приходо-расходной книге Екатерины мы читаем, что императрица с Меншиковым и другими сановниками «изволила кушать в большом сале» и все «кушали английское пиво большим кубком, а княгине Голицыной поднесли другой (то есть второй. – Е. А.) кубок, в который Ея величество изволила положить 10 червонных». Иной спросит: что-де это значит? А значит это вот что: получить лежавшие на дне огромного кубка золотые можно было, только выпив его целиком. Княгиня была стойким и мужественным борцом с Ивашкой Хмельницким, и золото ей нередко доставалось. Правда, раз вышла неудача – второй кубок с вином и пятью золотыми княгине выпить не удалось – пала замертво под стол. То-то было веселья для Екатерины и ее приятелей!

А однажды (1 апреля 1726 года) императрица приказала посреди ночи ударить в набат – шутки ради, конечно, ведь утром начинался день смеха! Что говорили о магушке-государыне петербуржцы, выскочив на улицы полуодетыми (город, как известно, не на берегу Женевского озера стоит), мы додумывать не будем. Попойки были тайными для большинства подданных. По праздникам Екатерина представляла перед ними во всем блеске и красоте. «Она была, – пишет французский дипломат, видевший императрицу на празднике Водосвятия, – в амазонке из серебряной ткани, а юбка ее обшита была золотым испанским кружевом, на шляпе ее развевалось белое перо». Екатерина ехала мимо толпы в роскошном золотом экипаже по ослепительно белому льду Невы. «Виват!» – кричали полки, стоявшие огромным каре от Петропавловской крепости до Охты. Могущество, слава, восторг

верноподданных – о чем еще могла мечтать Золушка?

Но нет! Иногда императрица, насладившись славой, спускалась в поварню и, как деликатно записано в журнале, «стряпали на кухне сами». Прав был Петр, как-то написав ей по другому поводу: «Обыкновение – другая природа», или, в переводе на язык XX века: «Привычка – вторая натура». Но тихие прогулки и уединение в поварне были крайне редки. Бешеный темп ее жизни все ускорялся и ускорялся. Казалось, что праздник, который всегда был с императрицей, никогда не кончится. В 1726 году французский дипломат Маньян сообщал, что царица «в отличном настроении, ест и пьет, как всегда, и по обыкновению ложится не ранее 4–5 часов утра». Такой ритм был не по силам и более молодым. На смену Виллиму Монсу пришел новый фаворит – камергер граф Рейнгольд Густав Левенвольде. Екатерине теперь некого было опасаться, и она не отпускала от себя возлюбленного ни днем, ни ночью. Но и он не выдерживал: как-то Меншиков с Бассевичем навестили нежного друга императрицы, который, как пишет французский посланник, «утомился от непрекращающихся пиршеств». Бедный граф Рейнгольд! Как, вероятно, искренне сочувствовал ему генерал-фельдмаршал!

Но внезапно празднества и кутежи обрывались – Екатерину одолевали болезни. Она уже не могла отплясывать, как раньше, – пухли ноги. Частые удушья, конвульсии, лихорадки не позволяли ей покидать опочивальню. Но, преодолевая себя, она все же вставала, выезжала, пила и плясала, чтобы потом сразу же опять слечь в постель. Было ясно, что такой жизни императрица долго не выдержит.

И в начале 1727 года многие придворные со страхом гадали: что ждет их завтра? Что будет с ними, если Екатерина умрет? С беспокойством и тревогой пытался разглядеть грядущий день и второй после императрицы человек в государстве – светлейший князь Александр Данилович Меншиков.

Друзья до гробовой доски

Как уже говорилось, Екатерину и Меншикова связывала давняя дружба. Больше двадцати лет они были рядом, их дружба была надежней иной любви. Ее скрепляла общая судьба сына придворного конюха и лифляндской крестьянки. Вырвавшись благодаря особому расположению царя наверх из низов тогдашнего сословного общества, они крепко держались друг за друга, окруженные ненавистью и злобой тех, кого они оттеснили от власти, богатства, постели царя. И когда наступали трудные времена, Екатерина и Меншиков оставались верны этой дружбе, основанной на общем интересе и расчете. С самого начала Александр Данилович зорко оберегал отношения царя и его новой фаворитки, ревностно заботясь о том, чтобы Петр не вернулся к своей давней любовнице Анне Монс. Связь царя с Екатериной была выгодна Меншикову, и наоборот, их разрыв губителен для него: ведь возле Петра может появиться другая женщина, и, кто знает, будет ли она так же послушна светлейшему князю? Станет ли его заступницей в трудный час? А помощь Екатерины часто спасала Александра Даниловича. Ему, могущественнейшему и гордому вельможе, не раз приходилось испытывать страх и унижение, когда царь обнаруживал его жульничества и махинации. Ведь что греха таить – Меншиков был нахальным, бессовестным казнокрадом и вором, и когда призрак неминуемой опалы появлялся возле Алексашки, ему протягивала свою дружескую руку царица. Она могла найти такие слова, которые растопляли ледяную глыбу гнева царя, и он вновь прощал вороватого любимца. В эти минуты склонный к сентенциям и поучениям царь говаривал: «Ей, Меншиков в беззаконии зачат и в гресех родила его мати его, а в плутовстве скончает живот свой. И если, Катенька, он не исправится, то быть ему без головы!» – «Исправится, исправится, батюшка!» – вероятно, отвечала царю Екатерина, зная, что гнев царский уже стих, и Данилыч и на этот раз спасен.

Будучи с царем за границей, Екатерина посылала Меншикову подарки, сопровождая добрыми и ласковыми письмами. И он платил Екатерине той же монетой, низко склоняя голову перед царицей, почтительно и точно исполняя ее высочайшую волю. В его верности, надежности Екатерине не приходилось сомневаться. Уезжая с Петром в дальние поездки и опасные походы, она оставляла Меншикову самое дорогое, что у нее было на земле, – дочек Аннушку и Лизаньку, а потом и сына Петрушу. И могла не волноваться – в богатом и уютном дворце светлейшего, в компании его дочерей, под присмотром его жены Дарьи и свояченицы Варвары дети всегда были окружены заботой и вниманием, и каждый раз, распечатывая письмо из Петербурга, Екатерина узнавала, что дети «во всяком добром и здоровом пребывают состоянии». Поэтому кажется таким естественным, что в драматическую ночь смерти Петра Великого старый друг посадил его вдову на высокий престол Романовых.

Меншиков начинает и выигрывает

Но не прошло и двух лет, как стало ясно, что российский трон вскоре вновь опустеет. Кто же тогда унаследует императорскую корону? Налицо был единственный реальный кандидат – великий князь, одиннадцатилетний Петр Алексеевич. Ему благоприятствовала традиция наследования русского престола по прямой мужской нисходящей линии от деда к отцу и далее – к внуку. На его стороне были и симпатии всех недовольных петровскими реформами, а таких, как показало царствование Екатерины I, было довольно много.

Тогда, в январе 1725 года, для огромной массы россиян, как громом небесным пораженных смертью Петра Великого, Екатерина – его наперсница, боевая подруга – казалась естественной продолжательницей великого Дела, оставленного царем посередине его грандиозного поприща. Как писал Людовику XV французский посланник Кампредон в феврале 1725 года, солдаты со слезами говорили друг другу: «Мы потеряли нашего Отца, но у нас есть еще наша Мать». И в тот момент с ней не мог сравниться девятилетний мальчик – великий князь. Но с той поры утекло уже много воды, великий князь подрос, у него нашлось много сторонников, и теперь, весной 1727 года, его уже нельзя было запихнуть на будущих похоронах царицы на шестое место в траурной процессии, как это случилось весной 1725 года во время похорон Петра Великого. Тогда эта унижающая великую кровь деталь бросилась в глаза многим из присутствующих.

Взвесив все эти обстоятельства, Меншиков начал свою решительную, головоломную партию, сделав ставку на великого князя. Известно, что Александр Данилович был заядлым любителем шахмат и в тиши своего Орехового кабинета любил сыграть со своими гостями партию-другую на янтарной доске – полюбуйтесь, подарок прусского короля! Теперь пришел час самой важной партии, где фигурами были живые люди. Смысл ее сводился к тому, чтобы не только сделать необходимую рокировку и защитить своего короля, но и быстро провести свою скромную пешку на самую верхнюю вражескую горизонталь, сделать ее ферзем и тем самым решить исход всей партии в свою пользу.

Этой пешкой – будущим ферзем – должна была стать старшая дочь светлейшего пятнадцатилетняя Маша. Меншиков решил устроить ее «супружественное дело» с великим князем Петром. Есть свидетельства того, что мысль эту Александру Даниловичу внушил австрийский посланник в Петербурге граф Рабутин. Его слово много значило для Меншикова – ведь Петр Алексеевич приходился австрийской императрице Елизавете племянником. Поддержка Австрии в этом вопросе была чрезвычайно важна для светлейшего. Впрочем, Рабутин мог дать лишь толчок ходу мыслей Александра Даниловича – ведь брачные комбинации в те времена были известным приемом политической борьбы, и над ними постоянно ломали голову при всех европейских дворах. По этому проторенному пути пошел и Меншиков. Согласие императрицы на брак великого князя с Марией Александровной было получено довольно быстро, для чего Меншиков прибег к выгодному для него и Екатерины размену фигур.

Дело в том, что вдова Петра Великого даже на пороге смерти думала больше об удовольствиях и мальчиках, нежели о спасении души. И один такой мальчик ей нравился давно. Он появлялся в обществе вместе с княжной Марией Меншиковой и с весны 1726 года считался ее женихом. Это был польский аристократ граф Петр Сапега – молодой, изящный,

красивый. Меншиков заметил, что императрица весьма благосклонно посматривает на него. Это и решило дело. Как-то раз Александр Данилович отправился к Екатерине и они о чем-то долго говорили. Вернувшись домой, светлейший запретил Марии видеться с женихом, а сам Сапега был взят ко двору. Мы не знаем, о чем говорили фельдмаршал и императрица. Может быть, хитрец Меншиков просил разрешить брак его младшей дочери Александры и одиннадцатилетнего великого князя. Можно представить дальнейший разговор этих людей, понимавших друг друга с полуслова. «А почему Александра, а не Марья?» – «Марья ведь обручена с Сапегой». – «Ну и что?» Данилыч согласно кивнул: «Договорились».

Собственно, о примерно таком возможном разговоре и пишет весьма осведомленный датский посланник Вестфален: «Государыня прямо отняла Сапегу у князя и сделала своим фаворитом. Это дало Меншикову право заговорить с государыней о другой приличной партии для своей дочери – с молодым царевичем. Царица была во многом обязана Меншикову – он был старый друг ее сердца». Это он представил ее – простую служанку – Петру, «затем немало содействовал решению государя признать ее супругой». Не могла же Марта отказать Алексашке!

Камень в кармане

Хитрый план Меншикова очень не понравился его товарищам по «партии». Светлейший, добиваясь брака своей дочери с будущим наследником престола, бросал на произвол судьбы тех, с кем он победил при воцарении Екатерины в 1725 году. Особенно обеспокоился граф Петр Андреевич Толстой. В руках начальника Тайной канцелярии были многие потайные нити власти, и вот одна из них задержалась и натянулась – Толстой почувствовал опасность. Приход к власти Петра II означал бы для него – неумолимого следователя и палача царевича Алексея – конец карьеры, а возможно, и жизни. Тревожились за свое будущее и другие «птенцы гнезда Петрова» – генерал Иван Бутурлин, приведший ко дворцу гвардейцев в памятную январскую ночь 1725 года, генерал-полицмейстер Петербурга Антон Девьер, обер-прокурор Сената Григорий Скорняков-Писарев. Они ясно видели, что, выдавая свою дочь за великого князя, соединяясь с «боярами», светлейший их предает.

Толстой, герцог Голштинский, его невеста цесаревна Анна Петровна и другие пытались убедить Екатерину отказать Меншикову и передать престол Елизавете. Но императрица была непреклонна, да и сам Александр Данилович не сидел сложа руки.

Он действовал, и притом очень решительно. Как-то в разговоре с французским посланником Ж.-Ж. Кампредоном он разоткровенничался: «Петр Андреевич Толстой во всех отношениях человек очень ловкий, во всяком случае, имея дело с ним, не мешает держать добрый камень в кармане, чтобы разбить ему зубы, если бы он вздумал кусаться». Но все же у Александра Даниловича руки были коротки, чтобы сразу пустить этот камень в ход. Сначала нужно было сплести прочную сеть. И светлейший сумел это сделать.

Как-то, выйдя из апартаментов Екатерины, он приказал ее именем арестовать своего шурина Девьера, который позволил себе неблагоприятные высказывания в адрес светлейшего. Тотчас нарядили следственную комиссию из послушных Меншикову людей. Девьера потащили в застенки, пытали, и он выдал своих «сообщников», среди которых фигурировал и Толстой. Цель была достигнута, старый лис попался: он был арестован. Допросы начались 26 апреля 1727 года, а уже 6 мая Меншиков доложил императрице об успешном раскрытии «заговора мятежников». И в тот же день – за несколько часов до смерти – Екатерина подписала подготовленный светлейшим указ о лишении «заговорщиков» чинов, званий, имущества, наказании их кнутом и ссылке в дальние края.

Меншиков торжествовал победу. Но тогда, в мае 1727 года, он не знал, что это пиррова победа, что пройдет всего лишь четыре месяца – и судьба Толстого станет и его судьбой: оба они умрут в одном году – в 1729-м, Толстой – в каземате Соловецкого монастыря, а Меншиков – в Березове, в глухой сибирской ссылке.

Конец вакханки

«Государыня до того ослабла и так изменилась, что ее почти узнать нельзя», – писал в середине апреля 1727 года французский дипломат Маньян. Всех поразило, что она не пришла даже в церковь в первый день Пасхи и не пиновала в день своего рождения (5 апреля) так было это не похоже на нрав нашей вакханки. С конца апреля Меншиков уже не уходил из дворца – за императрицей нужен был постоянный пригляд. Опытные врачи предупредили светлейшего о безнадежном состоянии больной. Меньше всего Александр Данилович думал о том, чтобы последние дни и часы умирающей прошли в покое, молитве и покаянии. Суетный, тщеславный, падкий до денег, чинов и власти, он по несколько раз в день подавал ей на подпись указы. Ослабевшая от болезни, потерявшая волю императрица была полностью в его власти и беспрекословно подписывала все, в надежде, что верный Данилыч лучше знает, как поступать и что делать. И все эти документы должны были обеспечить именно ему, светлейшему, безбедное существование в будущем.

Главной заботой Меншикова было составление завещания Екатерины. Здесь было много проблем. Идя навстречу всем пожеланиям Данилыча, императрица хотела защитить и своих дочерей. Напуганные интригами светлейшего, Анна и Елизавета на коленях просили мать отменить решение о браке великого князя Петра и княжны Марии Александровны. Но воля Данилыча была непреклонна. Он предложил лишь компромисс: наследником престола становится великий князь, но если он умирает бездетным, то очередь переходит сначала к Анне с ее наследниками, а потом – к Елизавете. Кроме того, Меншиков обещал герцогской паре большую сумму денег для безбедного существования в Голштинии. И раньше он откровенно выталкивал молодых супругов на родину Карла Фридриха – в Голштинию, в Киль, подальше от Петербурга. Сейчас, в последние дни жизни императрицы, он дал всем понять, что вопрос этот решен окончательно.

Царица уже не смотрела в эту сторону. Она боролась за жизнь, которая от нее стремительно уходила. Незадолго до смерти она вздумала прокатиться по улицам весеннего Петербурга, но вскоре повернула назад – не было сил. В начале мая 1727 года царица слегла окончательно. Говорят, что за несколько часов до смерти ей приснилось, что она сидит за столом в окружении придворных. Вдруг появляется тень Петра. Он манит «друга сердешненького» за собой, и они улетают, как будто в облака. Царица бросает последний взгляд на землю и видит своих дочерей, окруженных шумной, беспокойной толпой. Но уже ничего не поправишь – надежда лишь на Данилыча – он не подведет... 6 мая 1727 года в девять часов вечера, прожив на свете сорок три года и один месяц и процарствовав два года, три месяца и одну неделю, Екатерина умерла. Сказка о Золушке кончилась.

Глава 2

Бедная родственница из Митавы: Анна Иоанновна

Призраки Смуты



Ночь с 18 на 19 января 1730 года для многих в Москве была бессонной. В императорской резиденции – Лефортовском дворце, что находился на реке Яузе, – умирал русский самодержец император Петр II Алексеевич. За двенадцать дней до этого, 6 января, он сильно простудился, участвуя в празднике Водосвятия на льду Москвы-реки. Вскоре к простуде прибавилась оспа – частая гостья наших предков. Царь бредил, жар усиливался, и в ночь на 19 января началась агония. Не отходившие от постели больного врачи, священники, придворные уже ничем не могли помочь своему повелителю: не приходя в сознание, Петр II умер. По свидетельству современников, его последние слова были: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Сестра царя, великая княжна Наталья Алексеевна, умерла осенью 1728 года.

Ночь 19 января была страшной для России. Умер не просто император, самодержец, четырнадцатилетний мальчик, которому бы жить и жить. Умер последний прямой потомок мужской ветви династии Романовых, восходящей к основателю и первому царю династии Михаилу Федоровичу. Умер правнук царя Алексея Михайловича, внук Петра Великого, сын царевича Алексея. «Кто унаследует трон?» – думал каждый, кто был в ту ночь в Лефортовском дворце. В русской истории уже не раз бывало, что после смерти государя, не оставившего прямого наследника, ужас междоусобия надвигался на страну. Еще жива была память о страшных годах Смуты начала XVII века, когда после кончины бездетного царя Федора Ивановича и таинственной гибели последнего из сыновей Ивана Грозного –

царевича Дмитрия, началась чудовищная вакханалия у трона, гражданская война, разорение и грабежи. По словам современника, русских людей тогда сковало «безумное молчание». Всем казалось, что вот-вот небо упадет на погрязшую в грехах и преступлениях русскую землю, и Россия исчезнет.

Памятны были и события весны 1682 года, когда умер бездетный царь Федор Алексеевич. Тогда стрельцы, умело подогреваемые и направляемые царевной Софьей, бросились убивать и грабить сторонников семьи нового, только что избранного царя, десятилетнего Петра I. Еще живы были и воспоминания о январе 1725 года. Смерть Петра I, также не оставившего завещания, чуть было не привела к открытому столкновению придворных группировок. И теперь, пять лет спустя, призраки Смуты снова могли восстать из своих могил. В ту зимнюю ночь 19 января 1730 года в Москве, в Лефортовском дворце, решалась судьба России – спавшей и ни о чем еще не ведавшей огромной страны.

Петр II не оставил ни наследников, ни завещания. Придя в мае 1727 года к власти благодаря усилиям Меншикова, он, двенадцатилетний мальчик, слушая советы тайных врагов светлейшего князя, уже в сентябре того же года избавился от Меншикова, лишил его чинов и сослал в Сибирь. Не по годам рослый и физически развитый, юный Петр довольно рано попал в дурную компанию тогдашней «золотой молодежи», сдружился с князем Иваном Долгоруким, который славился как молодой человек, чуждый морали. После переезда двора в Москву в начале 1728 года Петр окончательно погрузился в мир развлечений, загородных поездок на охоту, которая стала его страстью. Трудно сказать, что бы ждало Россию, если бы Петр II не умер в четырнадцать лет, а жил дольше. Конечно, превращения личности, эволюция характера возможны, но все же трудно избавиться от впечатления, что в лице Петра II Россия получила бы царя, чем-то напоминающего Людовика XV – французского короля, ставшего символом разврата и бесстыдства.

Но судьба распорядилась иначе, и поэтому люди, оказавшиеся во дворце ночью 19 января 1730 года, мучительно думали над одним вопросом: кто придет к власти? Будут ли это потомки Петра I от брака с Екатериной I – его двадцатилетняя дочь Елизавета Петровна или двухлетний внук Карл Петер Ульрих, сын тогда уже покойной Анны Петровны и герцога Голштинского Карла Фридриха? А может быть, как после смерти последнего царя из древней династии Рюриковичей, на престоле окажется новая династия?

Именно об этом страстно мечтали князья Долгорукие. Они тоже принадлежали к Рюриковичам, хотя и к их побочной ветви, и почти всегда были в тени. Лишь в короткое царствование Петра II они, благодаря фавору Ивана Долгорукого, выдвинулись на первые роли в государстве и достигли многого: богатства, власти, высших чинов. Особенно преуспел отец фаворита, князь Алексей Григорьевич. Он долго обхаживал юного царя, пока не добился его обручения со своей дочерью и сестрой Ивана, княжной Екатериной Алексеевной Долгорукой. Торжественная помолвка состоялась 30 ноября 1729 года. Свадьба же была назначена на 19 января 1730 года. Казалось, вот-вот, еще немного – и Долгорукие породнятся с царствующей династией и станут недостижимы для всех своих врагов и недоброжелателей. Каково же было их отчаяние, когда стало известно о смертельной болезни царя-жениха! Нужно было что-то делать!

И вот 18 января в доме Алексея Григорьевича Долгорукого собрались его родственники на тайное совещание. После недолгих препирательств было составлено подложное завещание, которое решили огласить, как только Петр II навечно закроет глаза. Согласно этому завещанию царь якобы передавал престол своей невесте, княжне Екатерине

Алексеевне Долгорукой. Князь Иван Долгорукий даже расписался за царя на одном из экземпляров завещания. Как решились Долгорукие пойти на это? Они ведь вовсе не были наивными простаками, не понимающими, что, готовя фальшивку, совершают страшное государственное преступление, за которое вечная ссылка в Сибирь была мягчайшим наказанием. Мы не знаем, что больше двигало ими – легкомыслие, наглость, уверенность в безнаказанности или отчаяние. Зато до нас дошло мнение современников о том, что никто из клана Долгоруких не блистал умом. Как известно, это качество в политике очень существенно.

Счастливым компромисс

Тотчас после смерти Петра II в Лефортовском дворце собрался Верховный тайный совет – высший правительственный орган. Кроме четырех верховников: канцлера графа Гаврилы Ивановича Головкина, князя Дмитрия Михайловича Голицына, князей Алексея Григорьевича и Василия Лукича Долгоруких – на Совет были приглашены два фельдмаршала – князь Михаил Михайлович Голицын и князь Василий Владимирович Долгорукий, а также сибирский губернатор князь Михаил Владимирович Долгорукий. Итого, двое из семерых были из клана Голицыных, а четверо – из клана Долгоруких.

Как только началось совещание, князь Алексей Долгорукий выложил на стол «завещание» Петра II. Но замысел этот, казавшийся Долгоруким таким тонким и умным, тотчас провалился. Несостоявшегося царского тестя не поддержали ни Голицыны, ни даже фельдмаршал Долгорукий, чье слово старого военачальника было очень весомо. Неминуемо назревавший скандал был прерван неожиданным образом. Слово взял самый авторитетный и умудренный жизненным опытом член Совета – Дмитрий Михайлович Голицын. Речь его была кратка и взвешенна. Отметая династические претензии Долгоруких, он сказал, что «нужно выбрать из прославленной семьи Романовых и никакой другой. Поскольку мужская линия этого дома полностью прервалась в лице Петра II, нам ничего не остается, как обратиться к женской линии и... выбрать одну из дочерей царя Ивана».

Иван V – старший брат и соправитель Петра Великого в 1682–1696 годах – оставил после себя трех дочерей: Екатерину, герцогиню Мекленбургскую, Анну, герцогиню Курляндскую, и Прасковью, царевну. Голицын предложил в императрицы среднюю – Анну. Неожиданное это предложение устроило всех присутствующих – и обиженных Долгоруких, и других сановников, которые боялись прихода к власти потомков Петра I и Екатерины I. Поэтому аргументы князя Дмитрия в пользу подобного выбора показались всем неотразимыми: Анна – вдова, но еще в брачном возрасте и в состоянии родить наследников и, самое главное, «она рождена среди нас и от русской матери в старой хорошей семье (выпад в сторону худородной шведки Екатерины I. – Е. А.), мы знаем доброту ее сердца и прочие ее прекрасные достоинства».

Верховники внимательно слушали князя Дмитрия: кандидатура вдовствующей герцогини Курляндской представлялась им всем идеальной. Анна была полным нулем в придворных расчетах группировок, ее никто не опасался, наоборот – все надеялись извлечь из ее воцарения немалую для себя пользу. «Виват наша императрица Анна Иоанновна!» – первым воскликнул фельдмаршал Долгорукий, и к нему присоединились другие. Впоследствии старый воин, вероятно, не раз корил себя за горячность и проклинал свою восторженность: обвиненный в оскорблении чести Ее Величества, он был лишен Анной всех чинов и званий и на долгие восемь лет заточен в крепость.

Но Дмитрий Михайлович еще не закончил свою речь. Дождавшись тишины, князь встал и начал говорить. То, что он сказал, заставило всех присутствующих членов Верховного тайного совета раскрыть от удивления рты и впасть в сосредоточенную задумчивость.

Затейка верховников

А задуматься было над чем. Князь Голицын сказал, что нужно «себе полегчить, воли себе прибавить», ограничив власть новой государыни в пользу Верховного тайного совета. К идее обуздания самовластия князь Дмитрий Михайлович шел давно. Человек умный и образованный, Голицын много читал, сопоставлял и размышлял, дружил с учеными людьми. Он много повидал – был посланником в Стамбуле, губернатором в Киеве, президентом Камер-коллегии, сенатором, членом Верховного тайного совета. Петровские реформы, перевернувшие жизнь страны, протекали у него на глазах. Дмитрий Михайлович видел очевидные преимущества нового государства, которое возводил Петр, но его – вельможу знатного (из рода Гедиминовичей) и немолодого – коробило то пренебрежительное, уничижительное отношение к «родовитым», «фамильным», которое проявляли Петр и его низкородные выдвигенцы – такие как Меншиков, Ягужинский, Екатерина. Да и сам князь Дмитрий за свою долгую жизнь не раз испытал и унижения, и страх.

В 1723 году началось громкое дело о должностных проступках сенатора П. П. Шафирова. Под следствие попал и Голицын, которого отстранили от должности и посадили под домашний арест. Как записал в свой дневник камер-юнкер герцога Голштинского Ф. В. Берхгольц, его господин Карл Фридрих однажды вошел в комнату Екатерины и увидел, что «у ног Ее величества лежал бывший камер-президент и теперешний сенатор князь Голицын, который несколько раз прикоснулся головою к полу и всенижайше благодарил за ее заступничество пред государем: по делу Шафирова он, вместе с князем Долгоруким, был приговорен к шестимесячному аресту и уже несколько дней сидел, но в этот день, по просьбе государыни, получил прощение». Такое, конечно, не забывается.

И вот со смертью Петра II вдруг появилась возможность резко изменить ситуацию в пользу «фамильных». И предложение Голицына о выборе на престол такого заведомо слабого правителя, как Анна, при условии ограничения ее власти Советом, состоявшим в основном из «фамильных» – родовитых вельмож, устраивало и Голицыных, и Долгоруких. Это позволяло забыть вражду и соперничество, которые разделяли эти два клана в царствование Петра II, да и раньше. Осторожный Василий Лукич Долгорукий, правда, засомневался: «Хоть и зачнем, да не удержим!» – «Право, удержим!» – уверенно отвечал Дмитрий Михайлович и предложил закрепить ограничение царской власти особыми условиями – «кондициями», которые должна была подписать новая государыня.

И тут произошло неожиданное: верховники позвали секретаря и стали, теснясь вокруг его стола и перебивая друг друга, диктовать кондиции. Бедный чиновник оторопел от этого лихорадочного, уже ничем не прикрытого хищного порыва кучки властолюбивых стариков. Он не знал, кого слушать. Тогда черновик вырвали у него из рук. За стол сел сначала один, потом другой вельможа. Не прошло и часа, как кондиции были готовы. Они запрещали императрице без разрешения Верховного тайного совета вести войны, назначать налоги, расходовать казенные средства, жаловать кого-либо деревнями, чинами, командовать гвардией и армией. «А буде чего по сему обещанию не исполню, – заканчивался документ, – то лишена буду короны Российской».

Вечером 19 января в Курляндию поспешно выехали князь Василий Лукич Долгорукий и князь Михаил Михайлович Голицын – младший брат Дмитрия Михайловича. Они везли

Анне Иоанновне кондиции.

«В Москву! В Москву!»

А что же наша героиня? Вечером 18 января 1730 года тридцатисемилетняя герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, как обычно, отправилась почивать. А наутро она проснулась российской императрицей, повелительницей одной из самых могущественных держав мира. Но в то утро, и в следующее, и еще несколько дней и ночей она не знала своей свершившейся судьбы: слишком далека была от Москвы заснеженная, тихая Митава – столица маленького немецкого герцогства Курляндии, что располагалось на территории современной Латвии.

И только через неделю, 25 января вечером, в Митаву прибыла делегация Верховного тайного совета, чтобы звать Анну на царство. Она сразу же приняла посланников Москвы. Князь Василий Лукич объявил герцогине, вышедшей к ним в скромную приемную залу, о смерти Петра II и об избрании ее императрицей. Конечно, если она подпишет кондиции. Анна Иоанновна «изволила печалиться о преставлении Его Величества, – писал в своем донесении в Москву князь Василий Лукич, – а потом велела те кондиции пред собой прочесть и, выслушав, изволила их подписать своею рукою так: "По сему обещаю все без всякого изъятия содержать. Анна"».

Письмо Долгорукого – чисто деловое и не отражает психологической картины происшедшего. Я не думаю, что князь Василий – опытный дипломат, хорошо знавший герцогиню по прежним встречам, – особенно волновался. Дело его было верное. Он по поручению Совета диктовал условия: хочешь – подписывай кондиции и будешь императрицей, а не хочешь – курляндствуй дальше. У тебя есть еще две сестры, они-то вряд ли откажутся от императорской короны!

Не знаем мы и о переживаниях самой Анны. Но зато знаем, что у нее были целые сутки, чтобы все обдумать. То, что она услышала от Долгорукого, не было для нее новостью. Несмотря на усиленные заставы вокруг Москвы, из столицы сумел вырваться гонец с письмом графа Карла Густава Левенвольде – давнего знакомца Анны. Он-то первым и сообщил ей о произошедшем в Москве.

И тогда, и потом, став полновластной государыней, она никогда не сомневалась в своем праве на престол: царевна, дочь царя, она была рождена в законном браке от матери из древнего рода. По чистоте царской крови Анна действительно была из первейших. Недаром впоследствии она злорадно потешалась над Елизаветой – дочерью шведской портомой Екатерины – и ее многочисленной, недавно еще босоногой родней – Скавронскими и Гендриковыми. К тому же Анна хорошо помнила предсказание матушкиного юродивого Тимофея Архипыча, который ей, тогда еще девочке, напороочил корону и трон. К таинственным и темным словам всяких блаженных и юродивых суеверная Анна, как и многие ее современники, всегда жадно прислушивалась – ведь они могли заглянуть в будущее. И происшествия на кривых дорожках истории подчас неожиданно подтверждали пророчества.

Но главное все же заключалось в другом: Анна подписала бы все что угодно, лишь бы вырваться наконец из Митавы, прервать унылую череду долгих лет какой-то убогой, второсортной жизни, насладиться пусть не властью, но хотя бы почетом, достатком, покоем. Ей так хотелось выйти из Успенского собора Кремля с императорской короной на голове под звон колоколов, грохот салюта, восторженные крики толпы, еще вчера путавшей одну с

другой дочерей царя Ивана. Конечно, она не могла не использовать внезапно открывшийся ей чудесный шанс. Свой отъезд из Митавы – как оказалось, уже навсегда – Анна Иоанновна назначила на 29 января.

Царевна, дочь царя

Царский поезд двинулся по заснеженным дорогам на восток, в глубь России. Князь Василий, как цербер, не отходил от императрицы и даже ехал с ней в одних санях – он боялся, как бы Анна не узнала о тайных замыслах верховников. Две недели в пути – времени достаточно, чтобы и насладиться картинами зимней природы, и испытать всевозможные дорожные неудобства, и вспомнить всю прошлую жизнь. Для этого было самое время – ведь Анна оказалась на очередном перевале своего земного пути.

Жизнь ее сложилась неудачно. Она была исковеркана чужой, могучей волей, подчинена интересам других, прошла в страхе, унижении, бедности, без тепла и семьи. А ведь началось все так лучезарно: 28 января 1693 года в Кремле родилась царская дочь. Сохранившиеся до наших дней великолепные кремлевские палаты и церкви дают представление о той неземной красоте – как тогда говорили, «благолепии», – которая окружала новорожденную. Блеск золота и серебра, яркие цвета настенных росписей, тисненные золотом кожи, восточные ковры, немыслимой красоты сочетания желтого, голубого, лазоревого, алого, багреца, червленого – все это создавало впечатление праздника, рая. Но рая на земле, как известно, уже давно нет – жизнь в кремлевских палатах и черных избах деревень подчинена одним законам любви и ненависти, голода и сытости, болезни и смерти.

Вряд ли Анна помнила отца – царь Иван V Алексеевич умер, когда ей едва исполнилось три года. Во всем его облике отчетливо проступали признаки вырождения: слабоумный, косноязычный и немощный с детства, Иван был не способен к ремеслу царей. Но волею властолюбивой старшей сестры царевны Софьи он в 1682 году был сделан соправителем своего брата – Петра I.

Софья всегда стояла за спиной Ивана. Именно она заставила восемнадцатилетнего царя в 1684 году жениться. Софье был нужен от Ивана наследник. Это позволило бы, как уже сказано выше, продлить ее власть правительницы и устранить от престола Петра. В невесты Ивану подобрали ядреную, кровь с молоком, двадцатилетнюю русскую красавицу Парашу – Прасковью Федоровну из боярского рода Салтыковых. Ходили упорные слухи, что царь Иван к брачной жизни был еще менее способен, чем к государственному правлению, и что настоящим отцом Анны и ее сестер был стольник Василий Юшков, к которому действительно весьма благоволила царица Прасковья, награждая не по чину богатыми подарками, деревнями, драгоценностями и деньгами.

Кто знает истину? Сие есть тайна, мраком покрытая. Известно, что нередко сексуальные способности идиотов превосходят таковые у нормальных людей. Однакостораживает то, что Параша не рожала поначалу пять лет, а потом стала рожать почти каждый год: в 1689 году она родила Марию, а в 1690-м – Федосью, в 1691-м – Екатерину, в 1693-м – Анну и в 1694 году – Прасковью. Мария и Федосья умерли в младенчестве, остальные девочки выжили.

То, что рождались одни девочки, царевну Софью уже не огорчало – в августе 1689 года она была отстранена Петром от власти и заточена под именем Сусанны в Новодевичий монастырь. Братец же Иван был окончательно вытеснен на задворки политической жизни, и расследуемое уже при императрице Анне сыскное дело о том, как давным-давно царя Ивана в нужнике дровами завалили, весьма характерно для его незавидного положения. Тихо и

незаметно, не прожив и тридцати лет, Иван сошел в могилу в 1696 году. Вдовствующая царица Прасковья Федоровна с тремя девочками окончательно покинула Кремль и переселилась в загородный дворец своего покойного свекра царя Алексея Михайловича – Измайлово.

Прохлада в волшебном убежище

Именно с подмосковным селом Измайловом были связаны самые ранние и, вероятно, лучшие воспоминания безмятежного детства Анны. Измайлово конца XVII века – тихий, зеленый уголок, где как бы остановилось время. Австрийский дипломат Иоганн Корб, побывав там, назвал Измайлово «волшебным убежищем». На острове, окруженном кольцом прудов, стоял деревянный, причудливой формы дворец. Вокруг радовали глаз клумбы с роскошными заморскими цветами: лилиями, розами, «тулпанами». А дальше, за прудами, вдоль речки Серебровки цвели сады, яблоневого, вишневого, сливового. В Измайлове были оранжереи, где для царского стола зрели мандарины, виноград и даже ананасы. Украшением усадьбы были зверинец и птичник. Тенистые рощи, благоухающие кусты терновника и барбариса вдоль уютных тропинок... Одним словом, простор, покой и прохлада.

В окружении сонма нянек и мамок царские дочери гуляли в садах, качались на качелях. Так и видишь, как три царевны, одетые в яркие платья, медленно плывут на увитой зеленью и цветными тканями лодке по глади тихих прудов и бросают корм выплывающим из глубины рыбам. Историк М. И. Семевский утверждал, что в измайловских прудах водились щуки и стерляди с золотыми кольцами в жабрах, надетыми еще при Иване Грозном, и что эти рыбы привыкли выплывать на кормежку по звуку серебряного колокольчика. В непогоду царевны сживали в светелках, вышивали шелком и золотом, слушали сказки и песни. Во дворце был свой оркестр, и, как пишет Корб, нежные мелодии флейт и труб «соединялись с тихим шелестом ветра, который медленно стекал с вершин деревьев».

Став императрицей, Анна не забыла измайловские годы. В честь своего отчего дома она учредила Измайловский гвардейский полк, подобно тому как Петр Великий организовал Преображенский и Семеновский полки, запечатлев таким образом названия родных для него мест.

С малых лет царевен учили азбуке по «Букварю словено российских письмен с образованием вещей и со нравоучительными стихами» Кариона Истомина. Письмо постигали, списывая с прописей – двустижий. Надо сказать, что учили царских дочерей плохо: писала императрица всю жизнь ужасно – коряво и безграмотно. Новое в воспитании царевен пришло с иностранными учителями. Брат будущего вице-канцлера Остермана Иоганн Христофор Дитрих преподавал девочкам немецкий, а француз Рамбург – танцы и французский. Но Анна языка Вольтера и Мольера так и не выучила. Плохо было и с танцами: неуклюжей и немзыкальной царевне танцевальные фигуры и «поступи немецких учтивств» не давались, не то что полненькой, но верткой старшей сестре Катюшке.

Бывая в Москве, Петр Великий навещал и Измайлово. К невестке Прасковье он относился хорошо. У нее – женщины необразованной и не особенно умной – все же хватало разума и такта не лезть к Петру с советами, не путаться с врагами царя-реформатора, покорно принимать пусть и непонятные (а часто и неудобные) нововведения в быту и времяпрепровождении. И царь это по-своему ценил: после ссылки жены Евдокии в монастырь царица Прасковья, сестра Наталья да тетка Татьяна Михайловна оставались для него наиболее близкими родственниками. В 1708 году по царскому указу Прасковья Федоровна с дочерьми переселились в Петербург. Сюда, в свой любимой «парадиз», Петр переводил большинство Романовых. Огромным обозом перебрались в Петербург не только

Прасковья и сестра Наталья, но и сестры Петра по отцу – Марья, Федосья, а также царица – вдова царя Федора Алексеевича Марфа Матвеевна.

Нелюбимое дитя

Семья вдовой царицы Прасковьи поселилась в приготовленном для нее доме на Городской (Петербургской) стороне. Дом был построен по «новоманерной архитектуре» и потому казался новоселам уютным и неудобным. Просто он был из другого мира, бесконечно далекого от измайловского убежища. Но делать было нечего. Против воли царя не пойдешь, как и не признаешься ему, что побаиваешься воды. Ведь всем было памятно то, что сказал Петр, встречая в Шлиссельбурге прибывших из Москвы родственниц: «Я приучаю мою семью к воде, чтобы не боялись впредь моря и чтоб понравилось положение Петербурга, окруженного водой. Кто хочет жить со мной, тот должен быть часто на воде!» Должны царицы Прасковья и Марфа на старости лет плавать на шняве – и будут плавать! И никто в этом не сомневался, по крайней мере вслух не возражал.

В туманном, сыром Петербурге, которому от роду было пять лет, кончилось для царевны Анны детство. Наступила юность. Девиц стали вывозить в свет. Вчерашние теремные затворницы участвовали в придворных празднествах, посещали ассамблеи, плавали на шлюпках и яхтах по Неве, бывали с дядюшкой в Кронштадте. Новый, непривычный мир!

Царевне Анне жилось невесело. Здесь, в Петербурге, особенно отчетливо проявилась неприязнь к ней матери. Средняя дочь чем-то постоянно раздражала царицу Прасковью. Она росла молчаливой, даже угрюмой, не склонной к сердечным беседам с матушкой. Кажется, что само присутствие угловатой, некрасивой Анны выводило Прасковью из себя. Зачастую неприязнь к одному ребенку – верный признак чрезмерной любви к другому. Так оно и было: царица без ума любила старшую дочь Екатерину – «Катюшку-свет». Веселая хохотунья и болтушка, Катюшка всегда была с матерью.

В целом же атмосфера двора Прасковьи была тяжелой. Здесь царили сплетни и ссоры придворных, которые Прасковья с удовольствием самолично разбирала. Особенно неуживчивым и склочным был брат царицы Василий Федорович Салтыков. Он заправлял всеми делами при дворе, и его происков Анна боялась больше всего. «Истенна, матушка моя, доношу, – писала Анна уже из Митавы царице Екатерине, – неснозна, как нами ругаютца! Если бы я теперь была при матушке, чаю, чуть была бы жива от их смутак». Жалуясь на свою жизнь, герцогиня Курляндская просит добрую к ней царицу помочь, но при этом предупреждает: «Еще прошу, свет мой, штоп матушка не ведала ничего». Читателю, знающему только угрюмую, капризную и подозрительную Анну-императрицу, следовало бы подумать: а откуда могли прийти сердечность, теплота и обаяние к этой женщине, бывшей с малых лет нелюбимым ребенком в семье, обузой, от которой стремились как можно скорее избавиться?

«Не давай меня, дядюшка, в чужую землю, нехристианскую, басурманскую...»

Если бы Анна родилась не в конце, а в начале XVII века, то ее судьба была бы известна с первого часа и до последнего: царские палаты зимой, загородный дворец летом, церковь почти ежедневно, а к старости – монастырь, и наконец – фамильная усыпальница. Русских царевен не выдавали замуж. Православная вера не позволяла выйти за иностранного принца, а отеческий обычай – за русского вельможу. Как писал Григорий Котошихин, автор книги о России времен Алексея Михайловича, «князья и бояре их (царевен. – Е. А.) есть холопи. И то поставлено [бы] в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу».

Но с Петра Великого в династической политике начались новые, революционные времена. Петр решил накрепко связать Романовых кровными узами с иностранными династиями. В 1709 году при встрече с прусским королем Фридрихом I он договорился о женитьбе племянника короля на одной из своих племянниц. Выбор невесты Петр предоставил Прасковье, и она вопреки традиции решила первой выдать замуж не старшую, любимую Катюшку, а среднюю дочь – Анну. К тому же приехавший в 1710 году в Петербург жених, герцог Курляндский Фридрих Вильгельм, будущей теще не понравился: слишком молодой, худосочный, дебошир и выпивоха. Да и герцогство его – вассальное владение Речи Посполитой – было бедным, разоренным войной и по размерам – курам на смех, меньше нашего Тамбовского уезда. В общем, жених незавидный. Пусть идет за него Анна!

О ее чувствах к жениху никто не спрашивал – не было принято: дядюшка с матушкой порешили – вот и все. «Из любезнейшего письма Вашего Высочества, – отвечала Анна (точнее – Посольская канцелярия) на галантное послание герцога, – я с особенным удовольствием узнала об имеющемся по воле Всевышнего и их царских величеств, моих милостивейших родственников, браке нашем. Ничто не может быть для меня приятнее, как услышать Ваше объяснение в любви ко мне. Со своей стороны уверяю Ваше Высочество совершенно в тех же чувствах».

В конце царствования Анны Иоанновны в Тайной канцелярии разбиралось дело одной крестьянки, которая «спроста» спела песню времен своей юности о невесте герцога Курляндского, якобы просившей грозного дядюшку-царя:

*Не давай меня, дядюшка,
В чужую землю, нехристианскую,
Нехристианскую, басурманскую.
Выдай меня, царь-государь,
За своего генерала, князя, боярина.*

Высекши кнутом, крестьянку отослали домой – наказание по тем временам легкое. Быть может, императрица, мимо которой не проходило ни одно дело сысского ведомства, дрогнула и помиловала певунью, чья песня напомнила ей бесконечно далеко ушедшие годы юности и те чувства, которые владели ею тогда. Свадьба была назначена на осень 1710 года.

«Отчего пальба и клики и эскадра на реке?»

31 октября 1710 года началась торжественная церемония, какой еще не видали берега Невы. По реке двигалась целая эскадра барж и шлюпок с женихом, невестой и их многочисленными гостями. Они плыли от Городской стороны к дворцу Меншикова, где состоялось венчание и была сыграна свадьба. Распоряжался всем действием сам царь, в необычном для него нарядном алом кафтане, при серебряной шпаге на красивой портупее. Гремела музыка, салютовали войска и корабли с Невы.

Никогда раньше наша героиня – гадкий утенок русского двора – не была в центре всеобщего внимания. Одетая она была эффектно и по-царски великолепно. Смоляную черноту ее волос оттеняла бриллиантовая корона, а белая бархатная роба и длинная бархатная же, подбитая горностаями мантия очень шли к ее высокой и вдруг ставшей величественной фигуре. В белом с золотом кафтане был и юный жених. До трех часов утра гости пили-ели, плясали, курили трубки. Каждый тост отмечался залпом орудий, и по обычаю петровских времен к концу свадьбы залпы звучали все чаще и чаще, так что упившиеся гости едва могли держать в руках задравные чаши. Ночное небо озарялось фейерверком, который поджег с риском для жизни сам царь. Наконец уставших новобрачных проводили в опочивальню.

На следующий день праздник был продолжен. Петр кортиком взрезал огромный пирог – и из него выскочила нарядная карлица. Вторая вылезла из другого пирога, и они прямо на столе станцевали менуэт. Это был своеобразный пролог к грандиозной (если можно применить здесь это слово) свадьбе царского карлика Екима Волкова. Специально на эту потешную свадьбу свезли со всей страны более семи десятков лилипутов. Думаю, что Анне, как и всем гостям, понравились и церемония венчания, и пиршество карликов. Ведь зрители были детьми своего века и от души потешались над разнообразием человеческого несчастья, видя в этом «кунст» (редкость), забавную карикатуру. «Трудно представить себе, – пишет современник, – какие тут были прыжки, кривлянья и гримасы! Все гости, в особенности царь, были в восторге, не могли навеселиться на коверканье и ужимки 72 уродцев, хохотали до упаду. У иного были коротенькие ножки и высокий горб, у другого – большое брюхо, у третьего – ноги кривые и вывернутые, как у барсуковой собаки, или огромная голова, или кривой рот и длинные уши, или маленькие глазки и расплывшееся от жира лицо».

Примечательно, что подобная потешная свадьба была впоследствии повторена Анной в знаменитом Ледяном доме, выстроенном на льду Невы зимой 1740 года. Может быть, Анна взяла за образец затею своего дядюшки, сделавшего племяннице такой памятный подарок. Мы ничего не знаем о том, как 17-летние молодожены начинали свою совместную жизнь. Возможно, они уже стали привыкать друг к другу и своему новому положению, может быть, они бы и слюбились, если бы...

«Не обещайте деве юной любви вечной на земле...»

Петр не дал молодоженам прохладиться в «Парадизе». Спустя два месяца после свадьбы, 8 января 1711 года, герцогская пара отправилась домой, в Митаву. Но доехала она только до первой почтовой станции по Рижской дороге – до Дудергофа. Там Фридрих Вильгельм, утомленный непрерывными попойками в Петербурге, внезапно отдал Богу душу. Тело герцога повезли в Митаву, в родовую усыпальницу Кетлеров, а несчастная юная герцогиня, ставшая на третьем месяце своего супружества вдовой, в слезах вернулась обратно, во дворец своей суровой матушки, что, надо полагать, не доставило обеим радости. Правда, Анна могла облегченно вздохнуть, ведь ей теперь уже не нужно было ехать в «чужую землю, басурманскую». Но будущее наверняка казалось ей мрачным – печальной и унижительной была на Руси судьба бездетной вдовы. Если не находили для нее нового супруга, она должна была уйти в монастырь. Впрочем, Анна надеялась на дядюшку – он, мол, не оставит ее без внимания и что-нибудь придумает. А пока она жила то в Петербурге, то в Москве, то в Измайлове с матушкой и сестрами. И только через полтора года Петр окончательно решил участь племянницы – он приказал ей ехать в Митаву и жить там. Поначалу царь намеревался отправить с Анной в Митаву и ее мать, и обеих сестер, но потом передумал, и летом 1712 года Анна одна снова поехала в незнакомую ей Курляндию.

Наивно было бы думать, что герцогство стало ее вотчиной, где она могла бы чувствовать себя полновластной хозяйкой. Курляндия была государством, сопредельным Пруссии, Польше и России. И каждая из этих держав мечтала прибрать ее к рукам. Петр много сделал для усиления русского влияния в герцогстве. Брак Анны с Фридрихом Вильгельмом был одним из шагов на этом пути. Петр давно бы оккупировал Курляндию, но обострять отношения с Пруссией и Польшей не хотел и действовал осторожно и осмотрительно. Присутствие в Митаве Анны, вдовы герцога, устраивало царя – он теперь всегда мог прийти ей на помощь и не допустить ничьих посягательств на герцогство. Вместе с Анной в Митаву приехал русский резидент Петр Михайлович Бестужев-Рюмин. Он-то и стал настоящим хозяином Курляндии и, согласно указу Петра, мог в любой момент вызвать солдат из Риги для защиты интересов герцогини. Положение же самой Анны было незавидное.

Своевольное курляндское дворянство без восторга встретило свою новую повелительницу. На первых порах Анна была вынуждена остановиться в заброшенном мещанском доме – дворец к ее приезду готов не был. Доходы с домена были ничтожны, и их едва хватало на содержание двора. Взыскивать их удавалось с большим трудом: Курляндия была совершенно разорена в Северную войну, сильно пострадала от эпидемий. Для Анны это была чужая, холодная страна. Ей было там неуютно и тревожно, особенно поначалу.

Митавская узница

Жизнь Анны Иоанновны на чужбине можно охарактеризовать тремя словами: бедность, неопределенность и зависимость. Отправив племянницу в Курляндию, Петр мало думал о ее обеспечении там. Между тем она должна была как герцогиня содержать штат придворных, тратиться на приличные государыне нужды. Мать ее, входившая во все тонкости жизни дочери в Митаве, запрашивала царского секретаря Алексея Макарова о том, как «ей, царевне, будучи в том княжестве, по примеру прежних княжон вести себя и чиновно дворство содержать или просто? А чем ей там жить и по обыкновению княжескому порядочно себя содержать, о том имянно не означено».

Сама Анна писала жене Петра царице Екатерине: «Вам, матушка моя, известна, что у меня ничево нет, кроме што с воли вашей выписаны штофы, а ежели к чему случей позовет, и я не имею нарочитых алмазов, ни кружев, ни полотен, ни платья нарочитова, а деревенскими доходами насилу я магу дом и стол свой в год содержать».

Каждая поездка в Петербург или Москву была проблемой. Всякий раз Анна должна была выпрашивать на дорогу лошадей и несколько сот рублей. Прижимистый царь баловать племянницу не хотел, и лишней копейки у него было не выпросить. Вообще ее держали в большой строгости. Без ведения царя, его секретаря или Бестужева она не могла потратить ни гроша. Среди документов Кабинета Петра Великого сохранилась, например, «ропись» напитков, которые были при дворе герцогини, с указанием количества бутылок и цен. Не вольна она была и во внешнеполитических делах герцогства. Получив официальное письмо из-за рубежа, Анна всякий раз посылала его в Петербург, чтобы там подготовили ответ от ее имени. В 1724 году, отправляясь в Москву на коронацию Екатерины, она просила царицу указать ей цвет платья для торжественной церемонии. И так – до каждой мелочи.

Жизнь ее и складывалась из унижительных мелочей, больших и маленьких страхов. Особенно боялась Анна грозного «батюшку-дядюшку» царя, который был суров к племяннице и беспощадно отправлял ее обратно «по месту государевой службы» всякий раз, как она приезжала в Россию. По-прежнему тяжелы были отношения с матушкой. В последние годы жизни Прасковья была особенно сурова к дочери. Лишь незадолго перед смертью, осенью 1723 года, мать написала Анне: «Слышала я от... Екатерины Алексеевны, что ты в великом сумнении якобы под запрещением (или тако рещи – проклятием) от меня пребываешь и в том ныне не сомневайся: все для Ея величества моей вселюбезнейшей государыни невестки отпускаю вам и прощаю вас во всем, хотя в чем вы предо мною и погрешили». Как видим, сквозь зубы «отпускает» царица грехи дочери только ради невестки-императрицы. Видеться с матерью для Анны стало подлинным мучением, и она старалась избегать свиданий. В 1720 году она жаловалась своей покровительнице Екатерине, что матушка изволит «со многим гневом ка мне приказывать, для чево я в Питербурх не прашусь или для чево я матушку к себе не заву». И Анна умоляет Екатерину подыграть ей: она будет притворно проситься в Петербург, а царица должна не давать ей разрешения на выезд из Митавы.

Перечитывая почти три сотни писем, посланных Анной из Курляндии, ясно видишь: это письма сирой вдовы, бедной родственницы, человека совершенно беззащитного, ущемленного, униженного и постоянно унижающегося перед сильными мира сего.

Подобострастные письма к «батюшке-дядюшке» и «магушке-тетушке» сменяются уничижительными посланиями к Меншикову, Остерману. Анна не забывает всякий раз поздравить с праздниками домочадцев светлейшего князя, напомнить о себе и своих горестях бедной вдовицы.

Крах супружественной мечты

Постепенно Анна привыкла к Митаве и даже не хотела ее покидать – дома, в России, ей бывало хуже. Нои в Митаве ее все больше мучили неопределенность, неясность ее положения. Неоднократно она просила Петра и Екатерину подобрать ей достойного жениха. «При сем пращу, матушка моя, как у самаво Бога, у Вас, дорогая моя тетушка: покажи надо мною материнскую милость, попроси, свет мой, милости у дарагова государя нашева батюшки-дядюшки оба мне, чтоб показал милость – мое супружественное дело ко окончанию привести, дабы я больше в сокрушении и терпении от моих злодеев, ссорою к матушке не была». Это письмо Анны к Екатерине датировано 1719 годом. Шел уже девятый год вдовства Анны.

Нельзя сказать, что Петр не думал о подходящей партии для племянницы, но сделать выбор было весьма сложно: жених становился герцогом Курляндии и мог нарушить то зыбкое равновесие, которое сложилось в герцогстве и вокруг него. По этой причине не состоялся брак Анны с Иоанном Адольфом Саксон-Вейсенфальским. В 1723 году был наконец подписан брачный контракт с племянником прусского короля, но потом Петр, не особенно доверяя прусскому партнеру, мечтавшему о присоединении Курляндии к Пруссии, разрешения на брак не дал. Снова потянулись годы ожидания.

В 1726 году вдруг блеснул луч надежды: в Митаву приехал побочный сын польского короля Августа II граф Мориц Саксонский – красавец и сердцеед. Его кандидатура на пустовавший столько лет курляндский трон подошла местным дворянам, которые, вопреки предостережениям Петербурга, избрали Морица в герцоги. «Моя наружность им понравилась», – победно писал Мориц своим друзьям в Саксонию. А уж как понравилась его наружность Анне! Единственное, что ее огорчало, это непрерывные амурные похождения Морица. Граф, пораженный обилием красавиц в этом медвежьем углу Европы, старался не пропустить ни одной юбки. Впрочем, как известно, донжуаны – самые завидные женихи, и Анна Иоанновна погрузилась в сладкие мечты.

Увы! Их вскоре разбила жизнь: старая покровительница Анны – Екатерина, ставшая к тому времени императрицей, вынесла безжалостный приговор: «Избрание Морица противно интересам русским», так как это усиливало влияние польского короля в герцогстве. В Митаву срочно выехал Александр Данилович Меншиков. Он сам мечтал стать герцогом Курляндским. Не зная об этом, Анна чуть ли не бросилась в ноги светлейшему. Меншиков писал, что с первой же минуты встречи Анна, «не вступая в дальние разговоры», умоляла его «с великою слезною просьбою» разрешить ей выйти замуж за Морица. Но светлейший был непреклонен: нет, Мориц должен покинуть Курляндию! Анна, не спросясь разрешения, полетела в Петербург, чтобы молить о заступничестве «матушку-тетушку», но все просьбы были напрасны – ей отказали.

И хотя Меншикову и не удалось добиться избрания в герцоги – слишком грубо и прямолинейно он действовал, – Морица с помощью русских солдат изгнали из Курляндии. Легкомысленный граф остался верен себе. «Война и любовь сделались на всю жизнь его лозунгом, – писал о нем историк П. Щербальский, – но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и другое он делал шутя». 17 июля 1726 года Морицу сообщили, что русские солдаты ночью

будут штурмовать дом, где он жил. И когда солдаты проникли в сад возле дома, то увидели, как из окна спускается человек, закутанный в плащ. Они накинулись на него, рассчитывая захватить дерзкого графа, бегущего от своих врагов. Но под плащом обнаружили не Морица, а девушку, вылезавшую из окна нашего ловеласа. Сам же Мориц вместе со своими людьми принял бой и отбил вражеский приступ.

Но в 1727 году ему все же пришлось тайно бежать – иного выхода не было. Испанскому вельможе, которого он встретил уже на безопасном от Курляндии расстоянии, он горько жаловался, что русским достался его сундук со множеством амурных записок и, самое главное, с «журналом любовных шашней при дворе короля, отца его». Морица печалила не потеря курляндского трона, а неизбежный скандал, который разразится, как только русские опубликуют этот «страшный» документ. Однако все обошлось, и Мориц Саксонский стал впоследствии великим французским полководцем, и его имя достойно сверкает на воинских скрижалях Франции.

Но с отбытием Морица сердечные потрясения Анны не закончились.

«Я к нему привыкла!»

«Экскурсия» Морица в Курляндию имела печальные последствия и для Петра Михайловича Бестужева-Рюмина. Он был не только русским резидентом в Курляндии, обергофмейстером двора Анны Иоанновны, но и ее давним любовником. Почтенный сановник, отец выдающихся в будущем дипломатов Михаила и Алексея Бестужевых-Рюминых, он был опытным царедворцем. Будучи на девятнадцать лет старше Анны, он соблазнил юную вдову и полностью подчинил ее своей воле. Это, кстати, и стало одной из причин хронического конфликта Анны с матерью. Царица Прасковья, отпуская дочь в Митаву, рассчитывала и на расстоянии держать ее под строгим присмотром. Для этого она посылала в Митаву родственников, которые играли при дворе герцогини неприглядную роль доносчиков. Но Бестужев довольно успешно выживал матушкиных шпионов из Митавы. Не раз Прасковья Федоровна просила Петра «переменять оттуда прежнего гофмейстера, который там весьма несносен». Но у царя были свои представления о Бестужеве – он знал Петра Михайловича как толкового дипломата, который умел интересы России ставить выше интересов нравственности, что вполне устраивало царя.

«Не можно оправдать Анну Ивановну в любострастии, – писал знаменитый обличитель нравов русского двора, историк екатерининских времен князь М. М. Щербатов, – ибо подлинно, что у ней Бестужев имел участие в ее милостях». Мне бы не хотелось оправдывать Анну в грехе любострастия, если так можно назвать многолетнюю связь вдовца и вдовицы. Но будем справедливы – она не была Мессалиной. Анна Иоанновна была женщина простая, незатейливая, не очень умная и не кокетливая. Она была лишена честолюбия Екатерины II и не гналась за титулом первой красавицы, как Елизавета Петровна. Всю свою жизнь она мечтала лишь о надежной защите, поддержке, которую мог дать ей мужчина, хозяин дома, господин ее судьбы. Просьбами о защите, «протекции», готовностью «предать себя в волю» покровителю, защитнику пронизаны письма Анны к Петру I, Екатерине, Петру II, сановникам, родным. Именно потому она так рвалась замуж. Но, как мы видели, жизнь упорно препятствовала исполнению ее желаний, и со временем Бестужев и стал для нее таким защитником, опорой, господином.

Это был, конечно, не лучший вариант, но хотя бы какой-то. И Анна Иоанновна жила одним днем, закрывая глаза на грехи Бестужева, о которых говорила вся Митава. Один из анонимных доносчиков – поляк – выразался по поводу проказ пожилого резидента и гофмейстера не особенно изящно: «Фрейлин водит зо двора и [им] детей поробил».

После провала авантюры Меншикова в Курляндии всю вину за это светлейший взвалил на Бестужева, которого отозвали из Митавы в Петербург. И вот по переписке мы видим, что после его отъезда Анна впадает в отчаяние, почти в истерику. С июня по октябрь 1727 года она написала подряд 26 писем всем, кому только было возможно, не обходя просьбами даже свояченицу Меншикова Варвару Арсеньеву и дочь Меншикова Марию, которая стала невестой Петра II. Анна умоляла вернуть Бестужева в Митаву, мол, без него, гофмейстера, развалится все герцогское хозяйство. Но светлейший, прибравший после смерти Екатерины всю власть к рукам, игнорировал страстные мольбы Анны.

Тогда она начинает бомбардировать письмами вице-канцлера Остермана, рассчитывая на его заступничество. Царевна, дочь русского царя, в своих письмах к безродному немцу

прибегает к оборотам, более уместным в челобитных солдатской вдовы: «Нижайше прошу Ваше превосходительство попросить за меня, сирую, у его светлости... Умилосердись, Андрей Иванович, покажите милость в моем нижайшем и сиротском прошении, порадуйте и не ослезите меня, сирой. Помилуйте, как сам Бог!» Отчаяние одиночества выливается в словах: «Воистино [я] в великой горести, и пустоте, и в страхе! Не дайте мне во веки плакать! Я к нему привыкла!»

Она убивается по Бестужеву, как по покойнику. Но дело здесь не в особой, беззаветной любви к нему, как это может показаться на первый взгляд. Анна просто не могла и не хотела быть одна, ее страшили пустота, одиночество, холод вдовьей постели.

Новый и последний сердечный друг

Но к октябрю поток ее жалобных писем постепенно иссякает, и вскоре имя П. М. Бестужева-Рюмина и вовсе исчезает из них. В чем же дело? Может, Анна примирилась со своей участью? Нет, просто дело в том, что сыскался охотник утешить вдову, у герцогини появился новый фаворит – Эрнст Иоганн Бирон. С тех пор и до конца жизни она не расставалась с ним.

Бестужев, которому осенью 1727 года, после падения Меншикова, разрешили-таки вернуться в Митаву, был неутешен – его теплое место под боком герцогини заняли самым коварным образом. Он писал дочери: «Я в несносной печали, едва во мне дух держится, что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг (здесь иронично о Бироне. – Е. А.) более в кредите остался... Знаешь ты, как я того человека (то есть Анну. – Е. А.) люблю?»

Петр Михайлович был в отчаянии: ведь он сам пригрел на груди своей этого негодяя, этого проходимца. «Не шляхтич и не курляндец, – желчно писал Бестужев о Бироне, – пришел из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, и год от году я, его любя, по его прошению производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды... и пришел в небытность мою [в Курляндии] в кредит».

И хотя Бирон был все же дворянином и курляндцем, в его прошлом было немало темных пятен. Известно, что, учась в Кенигсбергском университете, он попал в тюрьму за убийство солдата в ночной драке студентов со стражей. С большим трудом выбравшись из темницы, он около 1718 года пристал ко двору Анны Иоанновны и благодаря покровительству Бестужева закрепился в окружении герцогини. Он усердно служил, выполняя поручения Бестужева. Женился он на фрейлине Анны Бенигне Готлиб фон Тротта-Трейден.

Не останавливаясь здесь подробно на истории Бирона, отметим, что молодой соперник Бестужева (он родился в 1690 году) был малый не промах. Он сразу же утешил горевавшую в одиночестве Анну, и она полностью подчинилась его влиянию. Бестужев, хорошо знавший обоих, опасался: «Они могут мне обиду сделать: хотя Она и не хотела [бы], да Он принудит».

Опасения Петра Михайловича оказались не напрасны. В августе 1728 года Анна послала в Москву своего человека с доносом: она просила разобраться, каким образом Бестужев ее «расхитил и в великие долги привел». Всплыли какие-то махинации бывшего обер-гофмейстера с герцогской казной, сахаром, вином, изюмом. Конечно, дело было не в краденном изюме, а в полной, безвозвратной «отмене» Бестужева, против которого начал умело действовать счастливчик, занявший его место возле изюма и сахара.

У Бирона было трое детей: дочь и два сына. В историографии существует мнение, что матерью его младшего сына Карла была сама Анна Иоанновна (а иностранные дипломаты считали, что и старший сын Бирона Петр тоже рожден Анной). И дело даже не в особых отличиях Карла при дворе Анны в годы ее царствования (в четыре года мальчик стал бомбардир-капитаном лейб-гвардии Преображенского полка, в девять – камергером Двора и в двенадцать – кавалером высших орденов Российской империи орденов Святого Александра Невского и Святого Андрея Первозванного с бриллиантами), а в том, что императрица не расставалась с ребенком. Отправляясь по зову Верховного тайного совета в

Москву, она взяла с собой Карла, которому было всего полтора года. Спрашивается: зачем ей нужно было это делать? Ведь она ехала не на прогулку, а в тяжелое путешествие с непредсказуемым исходом. Вероятно, потому-то она и взяла с собой сына! Французский посланник И. Ж. Т. де ла Шетарди в 1740 году сообщал в своем донесении, что «молодой принц Курляндский спал постоянно в комнате царицы». Об этом знали и другие современники. Вполне вероятно, что огромное влияние Бирона на Анну было обусловлено и тем, что у императрицы был ребенок от фаворита.

В остальном же в конце 1720-х годов положение Анны было таким же, как и раньше: безвластие, зависимость, неуверенность. Если раньше она искала покровительства у Меншикова и у его жены, то теперь, после падения светлейшего осенью 1727 года, к власти пришли ее новые «покровители». И Анна пишет подобострастные письма уже князьям Долгоруким, сестре Петра II царевне Наталье, сообщая им, как раньше другим адресатам, что «вся... надежда на Вашу высокую милость». Самому же Петру II, увлеченному охотой, она намеревается послать «свору собачек». Все шло как обычно до 25 января 1730 года.

... Но вся предыдущая жизнь Анны, как и долгий зимний путь, осталась позади. 13 февраля 1730 года она вышла из саней во Всесвятском, на пороге Москвы. Совсем рядом шумел своими улицами огромный город – сердце России. Он ждал приезда своей новой государыни.

Великий обман, или «Свежий ветер избранных ПЬЯНИЛ»

А что же происходило в столице, пока новая государыня через великие снега добиралась до Москвы?

События развивались стремительно, они оказались неожиданными и непредсказуемыми. Напомню, что депутация верховников отправилась в Митаву с кондициями вечером 19 января, а утром того же дня в Кремль было приглашено все «государство» – генералитет, высшие чиновники, Синод и придворные. В торжественной обстановке верховники объявили об избрании на российский престол Анны Иоанновны. Присутствующие, проникнутые величием момента, с энтузиазмом одобрили мудрое решение верховников, и все были довольны таким волшебным быстрым разрешением династического кризиса. Вдох облегчения был всеобщим – новая Смута миновала Россию. Но к вечеру стало известно, что верховники всех обманули, что они скрыли самое главное – кондиции.

Дворян возмутил не сам факт составления кондиций – мысль о вреде не ограниченной ничем власти самодержца не была новой, – а то, что их пытались обмануть ради «сокращения власти царской» в интересах только двух родовитых фамилий – князей Голицыных и Долгоруких. Вначале шепотом, с глазу на глаз, а потом все громче рядовые шляхтичи, собравшиеся в Москву на свадьбу Петра II, а попавшие на его похороны, выражали свое недоумение и неудовольствие происшедшим. Неизвестный автор воспоминаний о 1730 году, отражая мнение современников, с горечью писал о «затейке» верховников: если они думали о благе общества, то зачем же так бессовестно всех обманули, утаили кондиции? «Все ли мы, – возмущался этот дворянин, – не доброхотны и не верны своему Отечеству, одни ли они и мудры, и верны, и таковым презрением всех, которые и честью фамилии и знатными прислугами [государству] не меньше их суть, обесчестили или в числе дураков и плутов имели?»

И здесь коснемся болезненной темы отношений власти и подданных в России. Сколько раз в русской истории бывало, когда вот так же люди, стоявшие у власти, обманывали народ. Говоря от его имени, они нагло попирали его права и достоинство, держали людей за дураков и думали не о государстве, не об Отечестве, а лишь о своих корыстных интересах! И в 1730 году никто не сомневался, что весь замысел верховников клонился к попытке установить олигархический строй, узурпировать власть для кучки «фамильных». Первые действия верховников подтверждали эти опасения: они ввели в Совет двух новых членов – и опять из тех же двух семей! – фельдмаршалов Василия Владимировича Долгорукого и Михаила Михайловича Голицына.

А дальше произошло то, чего никто не ожидал: Москва забурилась, дворяне стали собираться в кружки и обсуждать происшедшее. «Куда ни приидешь, – вспоминал Феофан Прокопович, – к какому собранию ни пристанешь, не ино[е] что было слышать, только горестныя нарекания на осмиричных оных затейщиков (в Верховном тайном совете было восемь членов. – Е. А.), все их жестоко порицали, все проклинали необычное их дерзновение, ненасытное лакомство и властолюбие».

Так неожиданно получилось, что те две недели, пока верховники ждали из Митавы

подписанные Анной кондиции, оказались временем свободы. В сотнях людей пробудились гражданские чувства. И когда 2 февраля верховники вновь собрали в Кремле «государство» и прочитали кондиции, делая вид, что они сами впервые об этом слышат, «виват» никто не закричал. Дерзкий план Голицына представить Анне подготовленные в тайне от всех кондиции как мнение «государства», а затем выдать подписанные императрицей кондиции за ее собственную инициативу с треском провалился: верховникам никто не поверил. Перед ними стояли другие люди. Они – русские дворяне – давно шли к этому моменту. Внедряемые петровскими указами понятия дворянской чести, личной, а не родовой ответственности, представления о честном, достойном служении Отечеству не исчезли, а наоборот – закрепились в сознании людей. Общество стало более открытым, чем раньше. Те, кто побывал за границей, видели, что не только пороть дворянина, но и пальцем его коснуться никто без приговора суда не смел, не говоря уж о бессудной казни или отписании в казну имения, что случалось в России сплошь и рядом. Кроме того, со смертью Петра Великого исчез сковывавший людей страх, почти прекратила свою работу Тайная канцелярия, а Преображенский приказ вообще был в 1729 году ликвидирован.

А мы-то знаем, как чутко общество откликается на малейшее «ослабление», пусть едва уловимый, но все же ветерок.

За эти две недели тайных разговоров и споров, охвативших Москву, в сознании людей произошли изменения – на встрече с верховниками 2 февраля дворяне решительно потребовали от них разрешения представить к обсуждению иные проекты переустройства государства. Под этим сильным напором, стремясь выиграть время, верховники согласились на требования дворян. Плотину прорвало! В домах знатнейших особ, в кремлевских палатах закипела работа. По Москве стали собираться многочисленные кружки дворян, которые дни и ночи напролет обсуждали, писали и переписывали варианты проектов. Мгновенно появились свои вожаки, тотчас выискали знатоки западных парламентских порядков. Впервые политические противники, не опасаясь доносов и застенка, сталкивались в ожесточенной полемике. В кратчайший срок было составлено более десятка проектов реформ, и под ними подписались не меньше тысячи человек! Датский посланник Г. Г. Вестфален писал в Копенгаген, что в Кремлевском дворце непрерывно идут совещания дворян, и «столько было наговорено и хорошего, и дурного за и против реформы, с таким ожесточением ее критиковали и защищали, что в конце концов смятение достигло чрезвычайных размеров и можно было опасаться восстания».

Никакого восстания не произошло, но в шуме обсуждений верховники не уловили ни одного голоса в поддержку своим намерениям. Практически все проекты переустройства страны клонились к ограничению царской власти, но вовсе не по плану верховников, стремившихся сосредоточить всю власть в руках членов Совета. Шляхетство дружно желало создать такую систему управления, которая защитила бы их как от произвола самодержавного правителя, так и от всевластия одной-двух аристократических семей. Никогда прежде с такой настойчивостью русские дворяне не требовали участия своих представителей в управлении страной. Но идти навстречу дворянским прожектерам верховники ни под каким видом не хотели. Поделиться властью с дворянской массой, действительно послужить своему Отечеству – это князю Дмитрию и его товарищам казалось невыносимым. 13 февраля в Москве стало известно о прибытии во Всесвятское государыни императрицы Анны Иоанновны.

Краткий миг равновесия

Здесь, во Всесвятском, несмотря на старания Василия Лукича Долгорукого, не отходившего от Анны ни на шаг, изоляция ее кончилась. Через родственников Салтыковых, сестер Екатерину и Прасковью, многочисленных доброжелателей Анна стала узнавать об истинном положении вещей в столице. Она поняла главное – верховники ее обманули, представив кондиции как решение всего «государства». На самом деле среди тех, кто хотел ограничить власть императрицы, не было единства. В этом были немало виноваты верховники, которые, запутавшись в бесплодных спорах с дворянами, бездарно упустили драгоценное время до приезда Анны. Они начали терять инициативу.

А в дворянской среде явно наметился раскол. Чем дальше заходили дискуссии, тем больше дворян начинало сомневаться в успехе задуманного дела. Как не раз бывало в нашей истории, усиливались сомнения в том, что демократическим способом можно что-либо путное сделать в России. Такие настроения наиболее ясно выразил казанский губернатор, будущий кабинет-министр Артемий Волынский, который писал в частном письме, что вряд ли дворянская демократия принесет благо стране. По мнению Волынского, новые, пусть и демократические, институты будут сразу же искажены, «понеже народ наш наполнен трусостью и похлебством», а выборы станут формальными, и тот, «в чьей партии будет больше голосов, тот что захочет, то и станет делать. И кого захотят, того и выводить и производить станут, а бессильный, хотя б и достойный был, всегда назад и оставаться будет». Кроме того, Волынский опасался, что свободы дворянства существенно отразятся на боеспособности армии, страны, ибо без страха служить никто не станет, и «ежели и вовсе волю дать, известно, что народ наш не вовсе честолобив, но паче ленив и нетрудолюбив, и для того, если некоторого принуждения не будет, то, конечно, [будут] и такие, которые в своем доме едят один ржаной хлеб, [но] не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме».

В рассуждениях Волынского много правды, и главное в них – убеждение, что мы, россияне, «не доросли» до более справедливых порядков, до демократии. И эти сомнения порождали тоску по порядку, «сильной руке», которая наведет этот порядок. Прямым результатом стало усиление самодержавной партии, которая начала сильно теснить реформаторов. Весьма популярен лозунг «сильной руки» был в гвардии и армии, особенно ценивших порядок. К тому же слабость власти усиливала преторианские настроения гвардейцев, их уверенность в своем праве решать судьбу страны. Образовалась взрывоопасная смесь. Не хватало только искры, чтобы она взорвалась.

Это и произошло 25 февраля 1730 года в Кремле. В тот день на первой встрече императрицы с «государством» дворяне во главе с князем Алексеем Черкасским вручили Анне Иоанновне челобитную, в которой жаловались на верховников, не желавших слушать их предложения по государственному переустройству. Челобитчики просили императрицу вмешаться и разрешить обсудить подготовленные проекты.

Верховникам эта выходка не понравилась – завязалась перепалка между ними и дворянами. Анна Иоанновна, не ожидавшая, что ее изберут третьей судьей в споре о том, как лучше ограничить ее же власть, стояла в недоумении, как вдруг к ней подошла сестра Екатерина и подала перо и чернильницу: раз к тебе, императрице, обратились, так ты и

решай! Анна Иоанновна начертала на челобитной вполне традиционное: «Учинить по сему», иначе говоря, разрешила приступить к подаче и обсуждению мнений.

Дворяне удалились в особый зал для совещания, а императрица пригласила верховников отобедать с ней. Я думаю, что аппетит у Дмитрия Михайловича и его товарищей был плохой – они начали проигрывать. Анна неожиданно для них не вписалась в их игру, а стала вести свою. Но верховники еще не догадывались, что ждет их в следующую минуту...

Иллюзиям конец!

Дадим слово современнику – испанскому посланнику де Лириа, сообщавшему в Мадрид о событиях в Кремле: «Между тем возмутились офицеры гвардии и другие, находившиеся в большом числе, и начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь предписывал законы их государыне, которая должна быть такою же самодержавной, как и ее предшественники. Шум дошел до того, что царица была принуждена пригрозить им, но они все упали к ее ногам и сказали: „Мы – верные подданные Вашего Величества, но не можем терпеть тирании над Вами. Прикажите нам, Ваше Величество, и мы повергнем к Вашим ногам головы тиранов!“ Тогда царица приказала им повиноваться генерал-лейтенанту и подполковнику гвардии Салтыкову, который во главе их и провозгласил царицу самодержавной государынею. Призванное дворянство сделало то же».

Сообщение де Лириа требует некоторых весьма важных уточнений. Описанное им есть дворцовый переворот. Как и после смерти Петра Великого в 1725 году, гвардейцы решили судьбу престола. Да что там престола! Судьбу России, ее будущего. Нет сомнений, что истерика ражих гвардейцев была подготовлена. С самого приезда в Россию Анна заигрывала с гвардией. Уже во Всесвятском она радушно приняла павших перед ней на колени преображенцев и объявила, что будет сама ими командовать. Поднесла она по стакану вина и кавалергардам, что символизировало высшую честь для защитников престола. Немало потрудился, чтобы настроить гвардейцев в нужном ключе, и родственник царицы Семен Андреевич Салтыков.

Когда оба высших воинских начальника – фельдмаршалы Голицын и Долгорукий – выскочили вслед императрице на шум, поднятый гвардейцами, они поняли, что произошел бунт гвардии. Они смолчали, когда Анна вопреки кондициям стала распоряжаться гвардией, поручив командование ею Салтыкову. Оба фельдмаршала – бесстрашные на поле боя – хорошо знали своих гвардейцев и не осмелились возражать разгоряченной толпе российских янычар: жизнь-то одна!

К шуму в большом зале прислушивались и совещающиеся рядом дворянские прожектеры. Думаю, что им было весьма неуютно. Не раз в русской истории солдатня орала: «Хватит! Надоело! Развели совещания, бумаги, проекты, голосования! Долой! Караул устал!» И вот, когда дворяне вышли в зал к императрице, они подали ей не проект государственного устройства, а челобитную, в которой «всеподданнейше и всепокорно» просили «всемилостейше принять самодержавство таково, каково Ваши славные достохвальные предки имели, а присланные к Вашему Императорскому Величеству от Верховного тайного совета и подписанные Вашего Величества рукою пункты (то есть кондиции. – Е. А.) уничтожить». А заканчивали свое писание любимцы вольности так: «Мы, Вашего Величества всепокорные рабы, надеемся по природному Вашего Величества благоутробию презрены не будем, но во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем. Вашего Императорского Величества всенижайшие рабы». И подписи. И ни слова о вольности, правах, гарантиях.



И. Щарлемань. Императрица Анна Иоанновна разрывает «кондиции» в 1730 г. в Москве

Жаль, что в зале в тот момент не было Артемия Волынского. Он бы мог удостовериться в правоте своих слов: рабское начало все-таки победило. Крики и угрозы гвардейцев сделали свое дело – в зале совещания дворяне подписали не проект реформ, а холопскую челобитную.

Под ревнивыми взглядами гвардейцев Анна благосклонно выслушала капитуляцию прожектеров, а затем приказала подать кондиции и, как бесстрастно фиксирует официальный журнал заседаний Совета, *«при всем народе изволила, [их] приняв, изодрать»*.

Верховники молча смотрели на это – их партия была проиграна. Понадобилось всего 37 дней, чтобы самодержавие в России возродилось.

Как-то раз в архиве я упросил хранителя достать из сейфа раритетов этот разорванный сверху донизу лист пожелтевшей бумаги. Смотреть на него было тяжело – передо мной лежал документ, который мог бы дать России начало новой истории, способствовать развитию правового государства, и, может быть, сейчас мы бы уже имели почти 270-летнюю традицию парламентаризма. И если бы не слепое властолюбие одних, раздоры и склоки других, глупость третьих, наглость четвертых и трусость всех вместе, мы бы, наверное, жили в другой России и были бы другими.

В первый день самодержавного правления Анны москвичи были поражены невиданным природным явлением – кроваво-красным северным сиянием необычайной яркости. «Огненные столпы», как писала газета, сходились в зените, образуя сияющий шар. Многие расценили это как плохое предзнаменование для будущего царствования.

Место красит человека?

Так неожиданно для себя самой Анна Иоанновна стала всероссийской императрицей. Пока шла борьба за власть между сторонниками и противниками ограничения императорской власти, никто не думал об Анне как о личности: дело было не в ней. Каждая группировка боролась за торжество своих политических идеалов, за дорогой им принцип государственного устройства. И когда борьба закончилась, и самодержавие было восстановлено, все с удивлением воззрились на трон – кто же теперь будет нами повелевать? Кто она, эта женщина у власти?

Конечно, те, кто бывал при царском дворе, и раньше знали Анну и ее сестер, но относились к ним без особого почтения. Княжна Прасковья Юсупова говаривала в своем кругу, что раньше, при государе Петре Великом, Анну и «других царевен царевнами не называли, а называли только Ивановнами». Де Лириа, человек, близкий ко двору Петра II, в своих донесениях о событиях зимы 1730 года поначалу путал новую императрицу с ее сестрой Прасковьей – столь ничтожна была роль Анны при дворе.



Императрица Анна Иоанновна

И вот Иоанновна, к удивлению придворной камарильи, стала не просто императрицей, а самодержицей.

Ни один придворный льстец, как бы подобострастен и лжив он ни был, не решился назвать Анну Иоанновну красавицей. Это было бы уж слишком. С парадных портретов на нас угрюмо смотрит высокая, грузная женщина. Короткая шея, ниспадающие на нее локоны жестких смоляных волос, длинный нос, недобрый взгляд черных глаз... Ох, не красавица!

Эмоциональная графиня Шереметева – тогда невеста опального князя Ивана Долгорукого – была в ужасе, увидав из окна шествовавшую мимо императрицу: «Престрашного была взору, отвратное лицо имела, так была велика, когда между кавалеров идет – всех головою выше, и чрезвычайно толста». Более взвешенно судил об Анне граф Эрнст Миних – сын знаменитого фельдмаршала: «Станом была она велика и взрачна. Недостаток в красоте награждаем был благородным и величественным лицерасположением (надо понимать – физиономией. – Е. А.). Она имела большие карие и острые глаза, нос немного продолговатый, приятные уста и хорошие зубы. Волосы на голове были темные,

лицо рябоватое и голос сильной и пронизательной. Сложением тела она была крепка и могла сносить многие удручения». Еще бы, скажем мы, редкая женщина могла бы выдержать сильную ружейную отдачу в плечо. Анна Иоанновна же стреляла каждый день, и притом много лет подряд. Оробевшая гостя царицы Настасья Шестакова, побывавшая во дворце в 1730-е годы, вспоминала: «Изволила меня к ручке пожаловать и тешилась: взяла меня за плечо так крепко, что с телом захватила, ажно больно мне стало».

Вообще в Анне проглядывала некая мужеподобность. Де Лириа писал, что у нее «лицо более мужское, нежели женское». Грубоватость облика царицы, чрезмерную полноту, отсутствие изящества, шарма отмечали и другие наблюдатели. Конечно, каждому приятно иметь дело с императрицей, в которой все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, – и нет усов, а есть музыкальный слух, шарм и разум. Но тут уж ничего не поделаешь: какую императрицу сосватал России хитроумный князь Голицын – такую и получили...

Побег в Петербург

Став императрицей, Анна Иоанновна чувствовала себя в Москве весьма неуютно. Те люди, которые посадили ее на престол, понятно, особого доверия у нее не вызывали. Дворянские прожектеры, уступившие в решающую минуту натиску гвардии, успокоились не сразу. Еще какое-то время они пытались протащить идею «Собрания разных главнейших чинов». И хотя к началу марта 1730 года стало ясно, что карта их окончательно бита, слухи и пересуды о возможном повторении событий начала года не стихали и беспокоили новую императрицу.

Принеся в столицу пальмовую ветвь мира, Анна Иоанновна, разумеется, не могла сразу же расправиться со своими утеснителями – верховниками. После роспуска Верховного тайного совета почти все его члены вошли в Сенат, при коронации Анны Иоанновны весной 1730 года получили награды. Показать свои истинные намерения она могла лишь в отношении князя Ивана Долгорукого и его отца Алексея. Семья бывшего фаворита, которую многие недолюбливали, была сослана в Березов, где незадолго перед этим умер опальный Меншиков.

Не было надежной опоры у Анны и в гвардии. Хотя гвардейцы и наорали ей самодержавие, верить этой капризной и своевольной толпе новых стрельцов она не могла. Как-то раз Анна Иоанновна случайно подслушала разговор гвардейцев, возвращавшихся после тушения небольшого пожара во дворце. Солдаты сожалели, что в суете им «тот, который надобен, не попался, а то бы его уходили». Речь шла о недавно приехавшем из Курляндии Бироне. Он сразу же занял первое место у трона, что гвардейцам – этим «санитарам» русского двора – не понравилось.

В августе 1730 года Анна Иоанновна стала, как уже сказано выше, поспешно создавать, к вящему неудовольствию гвардии, новый гвардейский полк – Измайловский. Им командовали преимущественно иностранцы во главе с Карлом Густавом Левенвольде и братом Бирона – Густавом. Солдат же набирали не из дворян, как было принято со времен Петра Великого, а из однодворцев юга – людей, далеких от столичных политических игр. Анна, вероятно, рассчитывала на верность этих людей в будущие острые моменты своего царствования.

Слухи о намерении недовольных «поправить дело 1730 года» вынудили Анну в самом начале 1731 года провести невиданную акцию. Всем полкам гвардии, генералитету, высшим чиновникам было предписано явиться рано утром ко дворцу. Анна Иоанновна обратилась к собравшимся с речью, в которой сказала, что «для предупреждения беспорядков, подобных наступившим по смерти ее предшественника», намерена заранее назначить себе преемника, но так как его еще нет, то она требует от всех немедленной присяги на верность ее будущему выбору. Анна Иоанновна приблизила ко двору свою двенадцатилетнюю племянницу Анну Леопольдовну – дочь своей старшей сестры Екатерины и Меклен-бургского герцога Карла Леопольда – и намеревалась передать престол или ей, или будущим ее детям. Гвардия и сановники присягнули безропотно.

Но покоя все равно не было. Так сложилось, что Москва – дорогая ее столица – не была для Анны безопасной. Человек суеверный и мнительный, Анна Иоанновна была потрясена внезапной смертью на ее глазах И. И. Дмитриева-Мамонова – тайного мужа ее младшей сестры Прасковьи. И уж совсем скверно стало императрице после того, как во время

загородной поездки карета, ехавшая впереди императорской, внезапно провалилась под землю. Расследование показало, что это был искусно подготовленный подкоп. Окончательно решение переехать в Петербург созрело в окружении Анны к концу 1730 года. Тогда архитектор Доменико Трезини получил срочный заказ – привести в порядок петербургские императорские дворцы.

Опять столица, но только на 186 лет

17 января 1732 года «Санкт-Петербургские ведомости» с ликованием извещали мир: «Третьего дня ввечеру изволила Ея Императорское Величество к неизреченной радости здешних жителей из Москвы щастливо сюда прибыть».

Императрицу встречал генерал Бурхард Христофор Миних. С самого начала царствования Анны Иоанновны будущий фельдмаршал каким-то чутьем безошибочно уловил новые веяния из Москвы и сразу же показал новой повелительнице свою лояльность: привел к присяге город, войска и флот. Потом он послал императрице донос на адмирала Сиверса, который советовал не спешить с присягой. Этим он расположил к себе Анну, которая стала давать Миниху и другие грязные задания сыскного свойства.

И вот перед приездом Анны Миних расстарался вовсю. Были построены роскошные триумфальные арки, обновлен дворец, наведен порядок на петербургских улицах. Жаль, что на дворе стояла зима, и нельзя было показать царице флот. Все было празднично и торжественно: клики толпы, салют выстроенных шпалерами полков, гром барабанов, фейерверк. Прибыв в Петербург, Анна Иоанновна сразу же направилась в Исаакиевскую церковь, где был отслужен торжественный молебен. Затем императрица двинулась в Зимний дворец – свой дом. Петербург после четырехлетнего перерыва вернул себе корону.

Теперь, вдали от Москвы, Анна Иоанновна могла вздохнуть спокойно. Накануне переезда двора в Петербург саксонский посланник Лефорт писал, что императрица тем самым хочет «избавиться от многих неприятных лиц, которые останутся здесь (в Москве. – Е. А.) или будут отправлены далее, она хочет иметь полную свободу...» Остался доволен переездом и «тот, который надобен» был энтузиастам-пожарникам. «Варварская столица» ему не нравилась. К тому же с ним в Москве приключился невиданный конфуз: его, блестящего наездника, на глазах императрицы, придворных и толпы сбросила наземь лошадь. Анна Иоанновна, нарушая всю церемонию царского выезда, выскочила из кареты, чтобы самолично поднять из проклятой московской грязи бедного, ушибленного, но бесконечно любимого обер-камергера.

Если же серьезно, то переезд в Петербург был сильным ходом правительства Анны. Для заграницы перенос при Петре II столицы в Москву символизировал отступление от политической линии Петра Великого. Лозунг момента был таков: «Назад в Петербург – вперед в Европу!» Многие трезвые политики и раньше понимали важность возвращения столицы на берега Невы. Анна вняла этим советам, продемонстрировав всему миру приверженность политическим идеалам Петра Великого.

Помещица Ивановна

И стала Анна Иоанновна жить-поживать в Петербурге.

В 1732 году в Тайной канцелярии рассматривали дело солдата Ивана Седова. Он позволил себе оскорбительно прокомментировать рассказ товарища, наблюдавшего возле дворца замечательную сцену. Ее величество сидела у открытого окна. Мимо брел некий посадский человек в рваной шляпе. Анна Иоанновна его остановила, отчитала за непрезентабельный вид и выдала два рубля на новую шляпу. Поступок, достойный одобрения. Но не своим гуманизмом он интересен. Просто в этой сцене – вся императрица. Образ скучающей помещицы, которая глазеет из окна на прохожих или «драку козла с дворовою собакой», вряд ли приложим, например, к Екатерине II, а вот к Анне – вполне. Она, в сущности, и была помещицей, правда, не какой-нибудь Богом забытой псковской деревеньки Большое Алешно, а громадной России. Мелочная, суеверная, капризная госпожа, она пристрастно и ревниво оглядывала из своего петербургского «окна» весь свой обширный двор и, замечая беспорядок, примерно наказывала виновных челядинцев.

Был у нее и свой «прикащик». Он ведал самой большой «вотчиной» – Москвой. Звали его Семеном Андреевичем Салтыковым. Читатель помнит, что именно ему Анна Иоанновна поручила в памятный день 25 февраля 1730 года командовать гвардией. Теперь он командовал Москвой.

«Семен Андреевич! По получении сего письма пошли [в] Хотьков монастырь и возьми оттуда Матери-Безношки приемышка мальчика Илюшку, дав ему шубенку, и пришли к нам на почте с нарочитым солдатом». «Семен Андреевич! Изволь съездить на двор к Апраксину и сам сходи в его казенную палату, изволь сыскать патрет отца его, что на лошади написан, и к нам прислать, а он, конечно, в Москве, а ежели жена его спрячет, то худо им будет».

Такие письма Салтыков получал десять лет подряд. Не раз и не два почтенный главнокомандующий Москвы и генерал-аншеф, граф и сенатор, стучаясь головой о низкие притолоки, лез в темные казенки-чуланы императрицыных подданных, чтобы среди паутины и хлама добыть какой-нибудь «патрет», гусли или «письма амурные».

«Також осведомься: отец Голицына был ли болен, как сын его нам здесь объявлял, или в совершенном здравьи, а ежели болен, то отпиши, какую болезнь и сколь долго был болен». Это уже матушке-помещице кто-то донес на притвору-князя, и она приказывает проверить, иначе – государев гнев за обман. Письма к «прикащику» пестрят оборотами: «слышала я», «слышно здесь», «пронеслось, что...», «через людей уведомилась». Именно сплетни – незаменимый и универсальный источник информации – Анна ценила превыше всего. Когда читаешь ее письма, складывается забавное впечатление: ей известно все, она пронзает пространство своим острым глазом и слухом и ведает, что «в деревне у Василия Федоровича Салтыкова крестьяне поют песню, которой начало: „Как у нас, в сельце Поливанцове, да боярин-от дурак: решетом пиво цедит“», что в Москве «в Петровском кружале на окне стоит клетка с говорящим скворцом», что некто Кондратович, вместо того чтобы ехать на службу, «шатается по Москве», что в деревне Салтовке «имеется мужик, который унимает пожары». И помещица Ивановна тут же предписывала: мужика, слова песни и скворца срочно доставить в Петербург, а Кондратовича выслать по месту службы.

Салтыкову, исполняя волю барыни, приходилось действовать тайно, как тогда говорили –

«под рукою». Это тоже была излюбленная манера поведения полновластной повелительницы жизни и имущества своих подданных. Впрочем, это манера не только ее одной. Шарить по пыльным чуланам подданных, тайно проверять их кубышки, заглядывать в замочные скважины, вскрывать чужие письма у нашей власти принято издавна. Как не вспомнить пушкинское предостережение Наталье Николаевне: «Будь осторожна. Вероятно, и твои письма распечатывают: это требует Государственная безопасность».

Впрочем, Анна Иоанновна совала свой «немного продолговатый» нос в чужие дела прежде всего потому, что чувствовала себя хозяйкой имения, наполненного ленивой и жуликоватой дворней, и исповедовала принцип: «А кого хочу пожаловать – в том я вольна!» И была абсолютно права – именно неограниченной власти царицы жаждали челобитчики на памятной встрече в Кремле в феврале 1730 года. Они просили Анну *«принять самодержавство таково, каково Ваши славные достохвальные предки имели»* — вот она *«такое»* его и приняла.

Всероссийская сваха

Часть переписки Анны Иоанновны с Салтыковым можно смело назвать архивом всероссийской свахи. Перелистаем эти письма. «Сыскать воеводскую жену Кологривую и, призвав ее к себе, объявить, чтоб она отдала дочь свою за Дмитрия Симонова, понеже он человек добрый и мы его нашей милостию не оставим». Обрадованная такими обещаниями, воеводиха была «без всякого отрицания отдать готова» дочь свою, но – вот незадача! – той не исполнилось еще и двенадцати лет. Значит, «пронеслось» неточно. Неудача постигла сваху и в деле с дочерью князя В. Гагарина. Анна ходатайствовала за своего камер-юнкера Татищева и просила Салтыкова обсудить все детали с самим князем. Семен Андреевич отвечал, что Гагарин и рад бы угодить великой свахе, да уж три года лежит нем и недвижим.

Во всех других случаях Анне Иоанновне сопутствовал успех. И не подумайте, читатель, что она кого-либо принуждала ко вступлению в задуманный ею брак! В истории с Гагариным она писала: «Однако ж мы его к тому не приневолим, а приятно нам будет, ежели он то по изволению нашему учинит без принуждения». И действительно, не было ни одного случая отказа родителей, а наоборот – все были счастливы доставить удовольствие коронованной свахе.

В стремлении Анны Иоанновны устроить личное счастье подданных можно увидеть не столько суетное тщеславие свахи, сколько отзвук личной драмы этой женщины, чья жизнь была изломана: вдова с семнадцати лет, она жаждала семейного покоя, но так и не дождалась нового венца. Конечно, здесь было и горделивое чувство «Матери Отечества», хозяйки «имения», которая изливает свои благодеяния на головы подданных, уверенная, что лучше их знает, что им нужно. Но были здесь и просто добрые, человеческие чувства.

В 1733 году Анна хлопотала за двух дворянских девушек-сирот, «из которых одну полюбил Матюшкин и просит меня, чтоб ему на ней жениться, но оне очень бедны, токмо собою обе недурны и неглупы, и я их сама видела. Того ради, – приказывает она Салтыкову, – призови его отца и мать, спроси, хотят ли они его женить и дадут ли ему позволения, чтоб из упомянутых одну, которая ему любя, взять. Буде же заупрямятся для, что оне бедны и приданого ничего, то ты им при том рассуди: и кто за него богатую даст?» А спустя три месяца Анна Иоанновна с удовлетворением писала Салтыкову, что «свадьба была изрядная в моем доме», то есть во дворце.

Безмерно строга была помещица Ивановна ко всяким вольностям и несанкционированным амурам своих подданных. Как-то раз в «Санкт-Петербургских ведомостях» – единственной государственной газете того времени – был опубликован такой «отчет»: «На сих днях некоторый кавалергард полюбил недавно некоторую российской породы девицу и увезти [ее] намерился». Далее описывается история похищения девицы прямо из-под носа у бабушки и тайное венчание в церкви. «Между тем учинилось сие при дворе известно (можно представить, как оживилась в тот миг наша героиня! – Е. А.), и тогда в дом новобрачных того ж часа некоторая особа отправлена, дабы оных застать. Сия особа (думаю, что это был сам начальник Тайной канцелярии генерал-аншеф А. И. Ушаков. – Е. А.) прибыла туда еще в самую хорошую пору, когда жених раздевался, а невеста на постели лежала». Все участники приключения были немедленно взяты под караул, и «ныне, – заключает корреспондент, – всяк желает ведать, коим образом сие курioзное и любительное

приключение окончится». Нет сомнений, что блестящей операцией по изъятию новобранцев из постели руководила сама императрица – незыблемый оплот отечественной нравственности.

Дурак как член семьи

Неправ тот, кто подумает, что кроме решения матримониальных проблем своих подданных Анне Иоанновне нечем было заниматься. У нее были и другие, весьма многотрудные заботы. Например, кадровая работа с шутами. Тут императрица была особенно строга и придирчива – шута ведь брали ко двору, принимали как бы в большую придворную семью. Забирая в шуты князя Никиту Волконского, императрица потребовала, чтобы Салтыков досконально сообщил ей о всех его привычках и повадках: «Каково жил и чисто ли в хоромах у него было, не едал ли кочерыжек, не леживал ли на печи, сколько у него рубах было и поскольку дней он нашивал рубаху». Интерес Анны Иоанновны – женщины мнительной и брезгливой – вполне понятен: она брала человека к себе в дом и не хотела, чтобы он был неаккуратен, грязен, портил воздух в покоях, сопел или чавкал.

В результате строгого отбора у Анны образовалась компания из шести профессиональных дураков, не считая множества любителей-полудурков. Среди шутов были два иностранца – Д'Акоста и Педрилло, и четверо «природных» – Иван Балакирев, князя Никита Волконский и Михаил Голицын, по прозвищу Квасник, и граф Алексей Апраксин. Все они были дураки как на подбор, и сколько ни искали по Руси, лучших найти не смогли.

Конечно, шутов держали преимущественно «для смеху». Образ шута, сидящего у подножия трона и обличающего общественные пороки, оставим для художественной литературы. В реальной жизни все было проще и прозаичней. Шут – это постоянное развлечение, это комедия, которая всегда с тобой, утеха длинных и скучных зимних вечеров и обильных обедов. Вообще же шутовство тех времен вряд ли вызвало бы у нас смех. Зрелище это было довольно похабное. Историк Иван Забелин писал о шутовстве как об особой «стихии веселости», в которой «самый грязный цинизм был не только уместен, но и заслуживал общего одобрения». Шут стоял вне господствующей системы этических, подчас ханжеских норм. Обнажаясь душой и телом, он тем самым давал выход психической энергии, которую держали под спудом строгие принципы общественной морали. «На то и существовал в доме дурак, чтобы олицетворять дурацкие, а в сущности – вольные движения жизни».

Для Анны Иоанновны шутовство с его непристойностями, снятыми запретами было, вероятно, весьма важно и нужно – оно ослабляло то напряжение, которое не могла подсознательно не испытывать эта женщина-ханжа, блюстительница общественной морали, строгая судья чужих проступков, жившая в незаконной связи с женатым Бироном. А связь эта осуждалась обычаем, верой, законом и народом – о последнем Анне было досконально известно из дел Тайной канцелярии.

Дурак был видным членом большой придворной семьи. Годы жизни рядом сближали шутов и повелителей. Месяцами тянулись потешавшие царицу и двор истории шутов. Особенно много смеха вызывали острые семейные проблемы Ивана Балакирева, в решении которых участвовали и императрица, и сановники, и Синод. То обсуждались вести с фронта борьбы шута с тестем, который не хотел выплачивать Балакиреву приданое, то Святейший Синод всерьез обсуждал проблему «вступления в брачное соитие по-прежнему» Балакирева с непослушной в постели женой. То вдруг новая беда – царицын любимец проиграл в карты половину своей лошади, и для спасения кобылы среди знати устраивалась лотерея. Блистал

при дворе Анны Иоанновны и князь Голицын-Квасник. Он не уступал Балакиреву и, попав при весьма драматических обстоятельствах в шуты, достойно носил шутовской колпак. Анна Иоанновна писала Салтыкову после первых смотрин Голицына, что князь «всех лучше и здесь всех дураков победил».

Не стоит думать, что, становясь шутами, князья и графы чувствовали себя униженными и оскорбленными. Это просто была разновидность государевой службы, к которой был способен не всякий: «медицинский» дурак вполне мог стать генералом, но не каждый умный годился в шуты. Забирая во дворец прославившегося своими дурацкими выходками князя Волконского, Анна Иоанновна писала Салтыкову: «И скажи ему, что ему велено быть [при дворе шутом] за милость, а не за гнев». Так и жили они все вместе – царица и дураки.

Ледяной дом

Каждую зиму в Петербурге на льду Невы сооружались ледяные городки и крепости – любимая зимняя утеха горожан. Но в феврале 1740 года множество мастеровых начали строить из невского льда нечто непохожее. Петербуржцы с любопытством следили, как день за днем рос сказочный Ледяной дворец. При дворе Анны была задумана грандиозная шутовская свадьба, которая должна была затмить прежние развлечения такого типа, вроде женитьбы шута Педрилло на козе, с которой он, к превеликому удовольствию Анны Иоанновны, лег в постель. На этот раз новобрачными были шут Михаил Голицын-Квасник и калмычка Авдотья Буженинова. Некогда князь Голицын попал в шуты «в наказание» за женитьбу в Италии на католичке. Эта женщина, брошенная всеми на произвол судьбы, так и погибла в чужой стране. А Голицын стал выдающимся шутом, и теперь Анна Иоанновна решила устроить его семейную жизнь самым необычным способом. Для свадебного торжества и шутовского шествия по улицам столицы было приказано доставить в Петербург по паре всех известных «инородцев» в национальных одеждах, что само по себе казалось Анне Иоанновне весьма смешным.



Свадьба шутов в Ледяном дворце при императрице Анне Иоанновне

Для новобрачных и предназначался Ледяной дворец. Он полностью вписывался в тогдашнюю культуру «куриоза» – шутки, обмана, когда зрители видели реальные вещи, а на самом деле это оказывались муляжи, обманки, восковые персоны. Здесь же все было из льда. Дворец окружали ледяные кусты, на их выкрашенных зеленой краской ледяных ветвях сидели разноцветные ледяные птицы. Перед фасадом стоял ледяной слон в натуральную величину, и сидящий внутри него человек трубил через высоко поднятый хобот. Иногда из хобота бил фонтан воды, а ночью – горящей нефти.

Но больше всего зрителей поражал сам дворец – его устройство и убранство, роскошные покои, где всё – окна, стены, двери, мебель – было из льда, искусно раскрашенного красками под натуральные, естественные цвета. На столе даже лежали игральные карты. В спальне новобрачных все было, как в настоящей королевской спальне: ледяная кровать с ледяным балдахином, простыня, ледяные подушки и ледяное одеяло. На эту кровать после всех церемоний торжественно уложили доставленных в клетке новобрачных. А свадебное

шествие всех народов приветствовал Василий Третьяковский своими виршами:

Квасник-дурак и Буженинова

Сошлись любовью, но любовь их гадка.

Ну, мордва, ну, чуваша, ну, самоеды!

Начните веселье, молодые деда...

и так далее в таком же духе.

Молодоженов, промерзших до костей, выпустили только под утро. То-то было веселья при дворе, когда Анна Иоанновна и ее свита расспрашивали Голицына о сладости первой брачной ночи...

Возрождая «Комнату» в «Верху»

Шуты составляли лишь часть придворного общества и штата. При дворе было немало и других челядинцев, которые стороннему наблюдателю могли показаться каким-то скопищем уродов, большой богадельней, живым паноптикумом. На самом деле во всем был свой порядок и смысл. Нельзя забывать о времени, в котором жила Анна Иоанновна, и о причудливом пути, пройденном ею. Московская царевна русского XVII века, она в один прекрасный день превратилась в герцогиню Курляндскую, пробыла ею двадцать лет, чтобы затем проснуться императрицей. Эти три периода не прошли даром для ее психики, вкусов, привычек. Анна Иоанновна жила на переломе эпох с присущей таким временам эклектикой.

Несомненно, Анну властно влекло прошлое, ее XVII век. Став царицей, она не только вспоминала райское местечко – Измайлово, но даже воссоздавала «царицыну комнату» – штат приживалок, в кругу которых русские царицы проводили досуг. Конечно, время вспять не повернешь, и Анна Иоанновна не собиралась возвращаться к старинному придворному чину. Давно уже камер-юнкеры, камер-лакеи и камергеры заменили рынд, стольников и спальников. Нет, Анне был важнее сам дух «царицыной комнаты». Не научный, а чисто ностальгический интерес отражают многочисленные ее просьбы к Салтыкову поискать и прислать какой-то старинный «патрет» матушки или батюшки, старинные книги с картинками, различные вещи из ее прошлой кремлевской или измайловской жизни. Из писем царицы к Салтыкову мы видим, как она собирает доживающих свой век матушкиных приживалок – некогда они заполняли весь Измайловский дворец. И вот в Петербург ко двору императрицы нарочные солдаты стали свозить старушек и вдовиц, «бахарок» – сказочниц и чесальщиц пяток на сон грядущий. В окружении Анны Иоанновны возникли такие персонажи, как Мать-Безношка, Дарья Долгая, Баба Катерина, Девушка-дворянка. «Поищи в Переславле, – приказывает Анна Иоанновна Салтыкову, – из бедных дворянских девок или из посадских, которая бы похожа была на Татьяну Новокрещенову, а она, как Мы чаем, уже скоро умрет, то чтоб годны ей на перемену. Ты знаешь Наш нрав, что Мы таких жалуем, которые были бы лет по сорока и так же б говорливы, как та Новокрещенова или как были княжны Настасья и Анисья Мещерские».

Шуты – дураки и дурки, уродливые карлы и карлицы, блаженные и расслабленные, убогие, немые и безногие – составляли «комнату» императрицы. Здесь же были и «арапки», «сироты-иностранцы», «калмычки», «немки», «тунгуской породы девка». В 1734 году Анна Иоанновна предписала главнокомандующему в Персии генералу Левашову, «чтоб прислал 2 девочек из персиянок или грузинок, только б были белы, чисты, хороши и не глупы».

При Анне возрождается, казалось бы, навсегда утраченное в европейском, плоском Петербурге старинное понятие «ходить в Верх». В прошлые века этим обозначалось посещение Кремлевского дворца, где «в Верху» жили цари. Ни Кремлевского дворца, ни Кремлевского холма в Петербурге не было, но «Верх» появился. И в этом «Верху», среди сплетен, ссор, долгих рассказов и сказок многочисленных приживалок, и жила императрица. Это было в традициях старой московской жизни, это был мир Анны Иоанновны.

«Притворный Нин, или Познанная Семирамида»

Старые порядки появлялись при дворе как бы сами собой, хотя и не вытесняли нового. Наоборот, они причудливо уживались рядом. Годы жизни в Курляндии не пропали даром – Анна Иоанновна не была равнодушна и к европейским развлечениям: театру, музыке, балету, опере. Особой любовью при дворе пользовались гастрольные труппы итальянского театра «дель-арте». Шутовское передразнивание жизни, шумные потасовки, тумачи и подзатыльники вечно конфликтующих Арлекина, Пьеро и Смеральдины, незатейливый сюжет – все это было так похоже на шутовство отечественных дураков и дурак. И Анна – весьма невзыскательный зритель – с удовольствием смотрела пиесы, названия которых говорят сами за себя: «Любовники, друг другу противящиеся, с Арлекином – притворным пашей», «В ненависть пришедшая Смеральдина», «Перелазы через заборы», «Забавы на воде и в поле», «Переодевки Арлекиновы» и тому подобные шедевры уличного театра.

Историки музыки отмечают, что аннинское царствование стало переломным в музыкальной культуре России. Наряду с военной, парадной музыкой и натужными танцами петровских ассамблей в аннинскую эпоху пришла (особенно с гастролерами-итальянцами) театральная и концертная музыка. Появился и первый придворный композитор – итальянец Франческо Арайя. Зазвучали голоса певцов большой придворной капеллы, составленной почти сплошь из украинских отроков. Француз-балетмейстер Жан Батист Ланде основал в 1737 году и доньне существующую петербургскую балетную школу.

Музыканты играли на торжественных придворных обедах для улучшения аппетита и общей приятности. Так, на обеде в честь кавалеров ордена Александра Невского в 1735 году Анна Иоанновна кушала с ними за одним столом, и «музыкальный концерт отправлялся при том от искуснейших италийских музыкантов и певиц к высочайшему удовольствию Ея Императорского Величества».

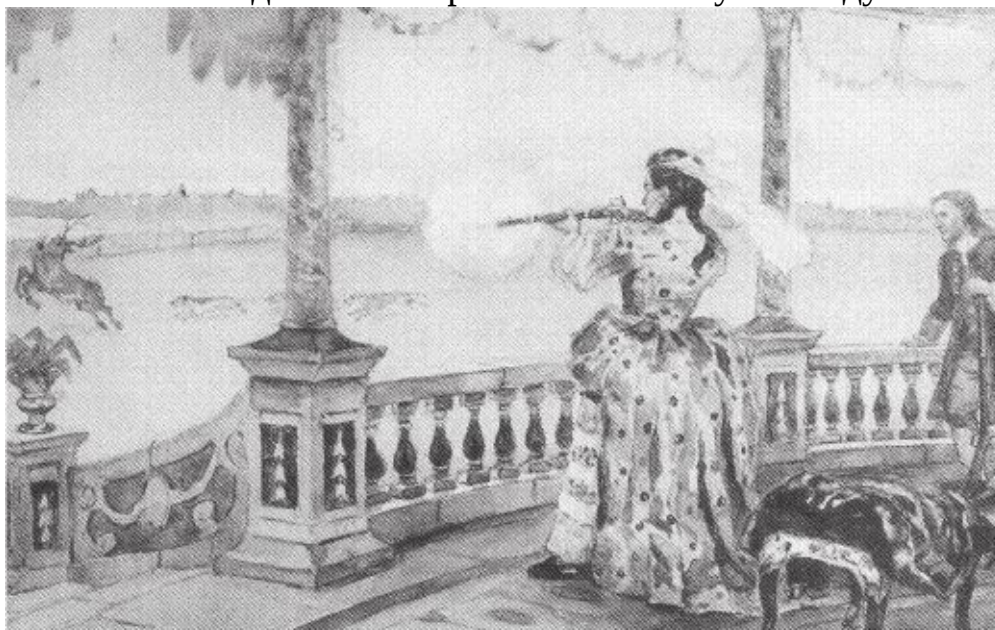
Получала удовольствие Ея Величество и от слушания и смотрения опер, которые хотя и нечасто ставились в Петербурге, но вносили явное оживление в жизнь двора и столицы. Для оперных спектаклей был построен огромный – на тысячу зрителей – театр, в который пускали всех желающих, – главное, чтобы человек не был пьян или грязно одет. Сама же опера поражала неизбалованных зрителей грандиозными декорациями, музыкой, пением, декламацией, танцами, слаженным действием скрытых от глаз механизмов – «махин», возносивших «богов» и «богинь» под полотняные облака и сотрясавших стены театра и сердца зрителей грохотом «безднь», блеском «перуновых стрел».

Опера, как пояснил в газете большой знаток искусств Якоб Штелин, – «действие, пением отправляемое», как правило, была приурочена к какому-нибудь возвышенному событию: дню тезоименитства императрицы, годовщине ее восхождения на престол, коронации и т. д. Так, к сорокачетырехлетию царицы в 1737 году была поставлена «преизрядная и весьма богатая» опера «Притворный Нин, или Познанная Семирамида». Декорации и костюмы были роскошны, итальянская музыка прекрасна. Правда, мы не знаем сюжета, но нет сомнения, что опера демонстрировала возвышенные чувства, жалостливыми сценами выжимала слезу у зрителей – «смотрителей» – и заканчивалась непременно победой Добра над Злом, Любви над Ненавистью. И зрители были, как писала газета, всем этим «очюнь довольны». И Анна – тоже.

О бедных зайчиках, или Петергофская Диана

Мемуарист вспоминает о петербургской жизни 1730-х годов: «Государыня, не могшая более, по причине суровой погоды, наслаждаться стрельбой, которая для ее удовольствия почти ежедневно устраивалась в Петергофе летом, являлась теперь всякий раз со всем двором в театр, когда давали оперу, комедию или интермедию».

Действительно, только плохая погода могла загнать Анну Иоанновну в театр и на придворные куртаги. Охота, точнее – стрельба, была подлинной страстью Анны, довольно необычайной для московской царевны, но вполне естественной для мужиковатой, грубоватой императрицы. Анна Иоанновна не просто присутствовала при травле зверья, не просто спускала собак со связки. Она сама стреляла из ружья и делала это мастерски. Редкий день в Петергофе, где она проводила лето, проходил без пальбы. Царица била по мишеням, которые выставляли для нее в парке или – в плохую погоду – в манеже.



В. Суриков. Императрица Анна Иоанновна в петергофском Темпле стреляет оленей. 1900

Но больше всего любила царица стрелять по живой мишени. В этом смысле охоту Анны Иоанновны можно назвать отстрелом. Со всей страны под Петергоф в специальные загоны и птичники свозилась разнообразная дичь. И прогуливаясь по парку, императрица непрерывно стреляла по кишачему в нем зверью. Так, за летний сезон 1739 года она самолично застрелила девять оленей, шестнадцать диких коз, четырех кабанов, одного волка, 374 зайца и 608 уток! Кроме того, среди 1024 трофеев нашей Дианы оказались непригодные в пищу шестнадцать больших чаек. Можно вообразить, как это было: царица не успокаивалась даже во дворце, хватала стоявшие в простенках заряженные ружья и палила из окна по каждой пролетающей мимо чайке, вороне или галке. Даже в дороге императрица не расставалась со шпугером. «Во время пути, – сообщает газета о переезде Анны Иоанновны в Петергоф, – изволила Ея величество в Стрельной мызе стреляньем по птице и в цель забавляться».

Проводились при Анне Иоанновне и грандиозные варварские охоты с «ягт-вагена» – особого экипажа. Его ставили посредине поляны, на которую загонщики со всего огромного

леса гнали дичь. На последнем этапе очень плотного и непрерывного гона звери попадали в парусиновый коридор, выход из которого выводил прямо на «ягт-ваген», где в безопасности сидели охотники и в упор расстреливали оленей, волков, поднятых из берлог медведей и прочих лесных обитателей.

Стрельба из ружья благодаря столь сильной страсти царицы становилась в обществе модой. Раболепствующая знать приучала своих юных дочерей палить по голубям, а Анна Иоанновна ревниво вопрошала московскую гостью: «Стреляют ли дамы в Москве?» – и та уверяла, что стреляют, матушка, стреляют! А как же иначе! Купалась бы государыня в проруби, и все юные и не очень графини и княжны лезли бы в ледяную воду, дабы угодить коронованной наяде. Такое пристрастие к охоте и стрельбе, конечно, очень выразительно. Для подвигов Петергофской Диане требовались твердая рука, точный глаз, сила телесная, хладнокровие и азарт. Вероятно, этот комплекс амазонки как нельзя лучше соответствовал внутреннему миру императрицы, устройству ее души, далекой от интеллектуальных поисков. Впрочем, чтобы не толкать читателя на путь сомнительных выводов, скажем, что, как бы велика ни была страсть Анны Иоанновны к охоте, она не могла вытеснить другой, главной ее страсти. Объектом ее был мужчина – Бирон.

Рука об руку

«Никогда на свете, чаю, не бывало дружественнейшей четы, приемлющей взаимно в увеселении или скорби совершенное участие, как императрица с герцогом». Так пишет мемуарист Эрнст Миних и продолжает: «Оба почти никогда не могли во внешнем виде своем притворствоваться. Если герцог являлся с пасмурным лицом, то императрица в то же мгновение встревоженный принимала вид. Буде тот весел, то на лице монархини явное напечатлевалось удовольствие. Если кто герцогу не угодил, тот из глаз и встречи монархини тотчас мог приметить чувствительную перемену. Всех милостей надлежало испрашивать от герцога, и через него одного императрица на оные решалась».



Фаворит императрицы Анны Иоанновны герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон

Как в середине марта 1730 года Бирон приехал в Москву к Анне Иоанновне, так они и не расставались до самой смерти императрицы в октябре 1740 года. Более того, их видели постоянно рука об руку, что служило предметом насмешек в обществе, и, соответственно, сами насмешки становились предметом расследования Тайной канцелярии.

Влияние Бирона на царицу было огромно, подавляюще. Дело тут не столько в личности временщика – человека красивого, видного, безусловно, волевого и умного, – сколько в чувствах царицы, с радостью подчинившейся своему хозяину, господину. Отныне и навсегда она была с ним. Они даже болели одновременно, точнее, болезнь Бирона делала императрицу больной. Английский резидент Клавдий Рондо, сообщая в Лондон о том, что Анна «не совсем здорова», писал: «Несколько дней тому назад ей, а также фавориту ее графу Бирону (он стал герцогом в 1737 году. – Е. А.) пускали кровь. Государыня во время болезни графа кушала в его комнате». Там же она принимала посетителей или в связи с недомоганием Бирона вообще никого не принимала. Фельдмаршал Миних писал, что «государыня вовсе не имела стола, а обедала и ужинала только с семьей Бирона и даже в апартаментах своего фаворита».

Бирон был женат на фрейлине Анны Иоанновны. У них, как мы уже знаем, официально было трое детей: Петр, Гедвига Елизавета и Карл Эрнст. Дети совершенно свободно чувствовали себя при дворе, не в меру проказничая и издеваясь над придворными. Императрица очень тепло относилась к молодым бирончикам, особенно к Карлу Эрнсту, который, как предполагают, был ее сыном. Награды и чины сыпались на них как из рога

изобилия. Вот как Клавдий Рондо описывает аудиенцию у царицы саксонского посланника Зумма 29 апреля 1738 года: «Он передал царице две ленты ордена Белого Орла (высший польский орден. – Е. А.).

Ее величество немедленно возложила их на принцев Петра и Карла, сыновей герцога Курляндского».

Создается впечатление, что Анна и Бироны составляли единую семью. Они вместе присутствовали на праздниках, вместе посещали театр и концерты, катались на санях по Невскому, а по вечерам играли в карты. Этот треугольник мог удивлять наблюдателей, но история знает немало подобных комбинаций, в которых все и всем давным-давно ясно, и у каждого своя роль, свое место и общая судьба.

Друзьям Бирон жаловался на то, что вынужден целыми днями быть с императрицей, тогда как его ждут государственные дела. Но это – или минутная слабость, или лукавство. Помня печальную судьбу своего предшественника Бестужева, Бирон ни на один день не оставлял Анну Иоанновну без присмотра. Если он уходил, то возле царицы оставалась его супруга или кто-нибудь из соглядатаев. Русскому послу в Варшаве И. Х. Кейзерлингу он откровенно писал: «Крайне необходимо осторожно обращаться с великими милостями великих особ, чтоб не воспоследовало злополучной перемены». И этому правилу Бирон следовал всю свою жизнь с Анной Иоанновной. Умирая, она отдала своему возлюбленному самое дорогое, что у нее было, – власть, и не ее вина, что он не удержал этот подарок в своих руках.

Голубая мечта Бирона

Воцарение Анны открыло перед Бироном головокружительные горизонты. Анна Иоанновна выхлопотала для любимца у австрийского императора титул имперского графа, он стал кавалером высшего ордена – Андрея Первозванного и обер-камергером. Для того чтобы это выглядело солиднее, в Табель о рангах были внесены изменения, и новоиспеченный обер-камергер вместе с чином «переехал» из 4-го сразу во 2-й класс.

Но заветной мечтой Бирона было стать герцогом Курляндским, занять по-прежнему пустующий трон в Митаве. Дело это было многотрудное: пруссаки и поляки внимательно присматривались к Курляндии. Кроме того, курляндское дворянство слышать не хотело о передаче трона худородному Бирону. Сохранилась подробная переписка фаворита с Кейзерлингом – русским посланником при саксонско-польском дворе. Бирон изо всех сил стремился усыпить бдительность возможных конкурентов – ставленников польского и прусского королей. Он писал Кейзерлингу: «От меня выведывают, не имею ли я особой какой-либо цели в курляндском деле. Ваше высокоблагородие знаете, как я мало склонен к тому во всю мою жизнь, а тем более на будущее время, ибо я доволен своим положением, и если только Богу угодно даровать нам герцога, то мне должно быть все равно, кто бы он ни был, только бы страна могла быть счастлива с ним». И далее: «Мое постоянное желание – отказаться от всего света и короткое время моей жизни провести в спокойствии... теперь я не тот, кто ищет славы от своих трудов».

Но мы-то знаем, что он был тот, тот самый! И когда весной 1737 года наступил решительный момент, Бирон был к нему готов. Неожиданно для политических интриганов расслабленный Бирон вдруг начал действовать решительно и смело. Он привел в действие всю мощную машину империи: началось активное дипломатическое давление, в Курляндию вступил «ограниченный контингент» русских войск. Поспешно собранный сейм курляндского дворянства надежно «охраняли» русские драгуны, и делегатов предупредили о том, что, конечно, каждый волен голосовать за или против Бирона, но те, кто с его кандидатурой будут не согласны, могут собираться в Сибирь.

Стоит ли говорить, что выборы были на редкость единодушны. Голубая мечта Бирона исполнилась. С чувствами игрока, выигравшего последнюю, решающую партию, он писал Кейзерлингу о проигравшем прусском короле: «Но только его лиса [уже] не схватит моего гуся». Бирон не собирался переселяться в Курляндию. Его место было подле Анны. В Митаве была подготовлена база для возможного отступления. Чтобы сделать ее удобнее, Бирон послал в Курляндию блестящего архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Его не ограничивали ни в чем, и государственный карман был широко раскрыт для расходов на возведение дворцов в Митаве и Руентале. Не прошло и нескольких лет, как возникли сказочные чертоги. Правда, им пришлось долго ждать своего господина – он не отходил ни на шаг от императрицы, а потом, вскоре после ее смерти, его как государственного злодея отправили совсем в другом направлении...

Как правильно: «опробуеца» или «апробуэтца»?

Читатель вправе спросить: каким все же государственным деятелем была императрица Анна Иоанновна? Ответ прост: да никаким! Совершенный ноль! Для того чтобы на просторном докладе или челобитной нацарапать: «Быть по сему», «Отдать ему» или «Опробуеца» (вариант – «Апробуэтца», в смысле «опробовать, утвердить, одобрить»), много ума не требовалось. Анна Иоанновна постоянно демонстрировала откровенное нежелание заниматься государственными делами, особенно в дни, когда она отдыхала. А отдыхала она почти непрерывно. Императрица часто выговаривала своим министрам за то, что они вынуждали ее что-то решать, особенно по делам, которые назывались мелкими или малыми. Так, в 1735 году Анна Иоанновна предупреждала членов Кабинета министров, чтобы «о малых делах Нас трудить» не надлежало.

Нельзя сказать, что императрица полностью устранялась от государственных дел. Но она предпочитала скорее слушать доклады, чем самой сидеть над бумагами. Особенно часто докладывали ей Андрей Иванович Остерман и Артемий Петрович Вольтер. И уже по совету и рассуждению с Бироном Анна Иоанновна выносила решение. Для приведения в действие всей огромной государственной машины нужна была краткая резолюция или одобрительный кивок головой. Да и это бывало Анне Иоанновне трудно. Артемий Вольтер, вернувшись из дворца, с раздражением говаривал приятелям: «Государыня у нас дура, резолюции от нее не добьешься!»

Особую проблему для государыни представляли надоедливые челобитчики-просители. Годами гонимые и томимые канцеляриями и конторами, они ехали в Петербург с последней надеждой и терпеливо поджидали царицу у дворца, чтобы с воплем отчаяния пасть ей в ноги и протянуть слезами написанную жалобу на какую-нибудь несправедливость. Некоторые смельчаки ухитрялись прорываться под царицыны пули в Петергоф или настичуть Ее величество на прогулке и там подавать челобитную. Но удавалось это мало кому – почти всех вылавливала стража.

В 1736 году в Тайной канцелярии рассматривалось дело одного доносчика, который, вывалившись из кустов в Летнем саду, своими воплями и видом до смерти перепугал императрицу. Несчастного уволок в тюрьму. Известен и эпизод с просительницей, которая, «долго ища случая», сумела улучшить момент и подать царице свою челобитную о задержанном жалованье ее мужа. Анна Иоанновна сурово отчитала просительницу: «Ведаешь ли, что мне бить челом запрещено?» – и потом велела вывести бедную дворянку на площадь и выпороть плетью. Для науки другим, конечно.

В 1738 году Анна Иоанновна решила разом покончить с проблемой жалоб. Она распорядилась, чтобы Сенат собрал все жалобы и, «рассмотрев, решение учинил, как указы повелевают, чтоб бедным людям справедливость учинена была безволочитно и Ея императорское величество о таких обидах больше прошениями не утруждали». Замечательно мудрое решение – мечта всех русских правителей! Думаю, что Анна Иоанновна приняла его самостоятельно.

Наша помещица Ивановна была свято убеждена в неотразимой действенности крика. «Ты попа того призови, – поучала она Салтыкова в одном из писем, – и на него покричи...» Как вспоминает генерал-прокурор Сената Я. П. Шаховской, вид прибывшего с «гневным

указом» петербургского генерал-полицмейстера В. Ф. Салтыкова был зловец. Он созвал чиновников и «весьма громким и грозным произношением (обязательная деталь! – Е. А.) объявил нам, что Е. И. В. известно учинилось, что мы должность неисправно исполняем, и для того приказала ему объявить свой монарший гнев и что мы без наказания оставлены не будем».

Анна Иоанновна свято верила, что, содрогнувшись от крика и угроз, чиновники тотчас прекратят воровать, лениться и бессовестно волочить просителей. Как тут не вспомнить другого Салтыкова, известного как Щедрин!

«Персона женская, к трудам неудобная»

Летом 1738 года Артемий Вольнский объявил в Кабинете министров, что Анна Иоанновна «при отшествии своем из Санкт-Петербурга в Петергоф изустным именным своим Высочайшим указом изволила объявить, что изволит шествовать в Петергоф для своего увеселения и покоя, того ради чтоб Е. И. В. о делах докладами не утруждать, а все дела им самим решать, кабинет-министрам, как по особливому указу дана им в том полная мочь». И лишь «самыя важнейшия» дела докладывать императрице в Петергофе.

Как и все русские самодержцы, Анна Иоанновна никогда не определяла круга своих обязанностей – иначе был бы нарушен принцип самодержавия. Не указывала она и какие дела считать «самыми важнейшими», а какие менее важными. В определении степени важности и состояло искусство министров, точнее – Кабинета министров. Это учреждение было образовано осенью 1731 года для «порядочного отправления всех государственных дел». Необходимость такого органа возникла сразу же после прихода Анны Иоанновны к власти и роспуска Верховного тайного совета.

Еще в феврале 1730 года Василий Татищев в своем проекте писал: «О государыне императрице. Хотя мы ея мудростию, благонравием и порядочным правительством довольно уверены, однако ж как есть *персона женская, к таким многим трудам неудобная*», и поэтому «потребно нечто для помощи Ея величеству вновь учредить». Именно это «нечто» и было создано в 1731 году.

В Кабинет министров вошли весьма доверенные сановники: канцлер Гаврила Иванович Головкин, вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, кабинет-министры Алексей Михайлович Черкасский, в 1735 году – Павел Иванович Ягужинский, а еще позже – Артемий Петрович Вольнский, после казни которого место кабинет-министра занял А. П. Бестужев-Рюмин. Новое учреждение имело огромную власть – подписи его министров приравнивались к подписи императрицы, хотя только она была вправе решать, что взять на себя, а что поручить своим министрам.

В Кабинете сосредоточивалась вся масса текущих дел, тех, что не могла и не хотела решать Анна Иоанновна. Это был рабочий орган управления государством. Кабинет был подобран довольно удачно: боязливые Головкин (умер в 1734 году) и Черкасский звезд с неба не хватали, но порученное дело делали. «Мотором» же учреждения был Андрей Иванович Остерман, несший основную тяжесть работы. Бирон, ценя деловые качества Остермана, особенно ему не доверял – слишком темен и двуличен был Андрей Иванович. Как противовес Остерману Бирон включил в Кабинет Ягужинского – бывшего генерал-прокурора Петра Великого, человека прямого и несдержанного, а после его смерти – Вольнского, сановника умного, честлюбивого и такого же горячего, как Ягужинский. Фаворит надеялся, что Вольнский не даст Остерману особенно развернуться и будет исправно выносить сор из министерской избы.

За спинами же кабинет-министров стоял сам Бирон. Он демонстративно не входил в состав этого учреждения, оставаясь только обер-камергером, но без его ведения и одобрения в Кабинете не принималось ни одного важного решения. Министры, докладывая дела в апартаментах императрицы, догадывались, что их слушает не только зевающая Анна Иоанновна, но и сидящий за ширмой Бирон. Именно ему принадлежало последнее слово. Он

же подбирал и министров, и других чиновников. Пятого апреля 1736 года он озабоченно писал Кейзерлингу: «Ягужинский умрет, вероятно, в эту ночь, и мы должны стараться заменить его в Кабинете».

Чиновники часами ждали приема у Бирона. Он мог сдвинуть с мертвой точки любое дело, никто не смел ему возражать. Но для успеха дела, конечно, нужно было «подмазать». Нет, никаких взяток обер-камергер никогда не брал. Да и с какой стати?! Просто некоторые добрые люди делали ему подарки – жеребца в конюшню, какое-то украшение для жены. Вот и все.

«Нам любезноверный»

Особое и чрезвычайно важное место в системе власти кроме Бирона занимал фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. В начале 1730 года он сидел в оставленном двором, угасающем Петербурге и подумывал, кому бы повыгодней продать свою шпагу, точнее – циркуль. Прекрасный инженер и фортификатор, сменивший до России четыре армии, он уже почти собрался в привычный путь ландскнехта на поиск счастья и чинов. И вдруг к власти пришла Анна Иоанновна. Миних сразу же понял, что после событий в Москве начала 1730 года императрице как раз понадобятся такие, как он, – люди, не связанные с «боярами» и дворянами-прожектерами, преданные служаки. И он начал рьяно служить, не очень задумываясь над моральными проблемами.

Миних пришелся ко двору. Он производил приятное впечатление на дам и непроницательных людей, бывал обворожителен и мил. Его высокая, сухощавая фигура была изящна и привлекательна. Но те, кто разбирался в людях, видели в Минихе фальшь и лживость. Более всего в характере фельдмаршала были заметны безмерное честолюбие и самолюбование. Он мнил себя великим полководцем и во имя этого напрасно положил не один десяток тысяч русских солдат в русско-турецкую войну 1735–1739 годов. В своих мемуарах он «скромно признается», что слава его не имела пределов и что русский народ называл его «Соколом со всевидящим оком» и «Столпом Российской империи». Из дел же Тайной канцелярии известно, что солдаты прозвали его «живодером».



Граф Б. Х. Миних

Несомненно, это был горе-полководец. Непродуманные стратегические планы, низкий уровень оперативного мышления, рутинная тактика, неоправданные людские потери – вот что можно сказать о воинских «талантах» Миниха, которого от поражений не раз спасали счастливый случай или фантастическое везение. У Миниха была редкостная способность наживать себе врагов. Он был просто классический склочник: где бы он ни появлялся, сразу же начинались свары и раздоры. Он умел находить для окружающих (особенно для подчиненных) такие слова, что они были готовы съесть его вместе с ботфортами. Вначале обворожив и расположив кого-то к себе, он затем вдруг резко менял тон, оскорблял и унижал человека, который этого простить уже никогда не мог. В 1736 году Анна Иоанновна была не на шутку обеспокоена состоянием находившейся в походе армии. Речь шла не о

поражениях на поле боя. Страшнее турок казались склоки в окружении Миниха, носились слухи о заговоре генералов против своего главнокомандующего. С трудом удалось погасить скандал в ставке русских войск.

Миниху все скандалы были нипочем. Вернувшись в столицу, он всегда находил нужные слова, и императрица закрывала глаза на все его пакости. Анна Иоанновна прекрасно знала, что пока у нее есть Миних, армия в надежных руках, армия – ее. В письмах к фельдмаршалу она неслучайно называла его «нам любезноверный». И действительно, он таковым и был: ради монаршей милости и карьеры он был способен на многое. Миних известен как автор доносов, как следователь по делам политического сыска. Циничный и беспринципный, он по негласному распоряжению Анны организовал за пределами России убийство шведского дипломатического курьера Малькольма Синклера.

Бирон довольно рано раскусил честолюбивые устремления ласкового красавца и стремился не дать Миниху войти в доверие к императрице. Бирон, человек сугубо штатский, конечно, проигрывал в глазах Анны Иоанновны этому воину в блестящих латах собственной славы – женщины, как известно, военных всегда любили. Фаворит не позволил Миниху войти в Кабинет министров, куда тот, естественно, рвался. Раз-другой столкнувшись с непомерными амбициями и претензиями Миниха, Бирон постарался направить всю его огромную энергию на стяжание воинских лавров преимущественно там, где они произрастают, – на юге, вдали от Петербурга. Посланный на русско-польскую войну 1733–1735 годов, Миних затем почти непрерывно воевал с турками на юге. Окончательно выскочить из степей на скользкий дворцовый паркет ему удалось лишь в 1740 году, и он сумел-таки ловко подставить ножку своему давнему благодетелю Бирону, арестовав его темной ночью 9 ноября 1740 года.

Незаменимый Андрей Иванович

Вице-канцлер Андрей Иванович Остерман был одной из ключевых фигур аннинского царствования. Начав при Петре Великом с должности переводчика Посольской канцелярии, скромный выходец из Вестфалии вырос в фигуру чрезвычайно влиятельную. Его отличала фантастическая работоспособность, и, по отзывам современников, он всегда работал: днем и ночью, в будни и праздники, чего ни один уважающий себя министр позволить себе, конечно, не мог. Огромный административный опыт помогал ему легко ориентироваться как во внутренней, так и во внешней политике. Особенно силен он был как дипломат. В течение по крайней мере пятнадцати лет он делал русскую внешнюю политику, и результаты работы Остермана для империи были совсем неплохи.

Но Андрей Иванович был всегда одинок. Общение с ним было крайне неприятно. Его скрытность и лицемерие стали притчей во языцех, а не особенно искусное притворство – анекдотично. Как правило, в самые ответственные или щекотливые моменты своей карьеры он заболел. То вдруг у него начиналась подагра или хирагра, то он надолго сваливался в постель, и вытащить его оттуда не было никакой возможности. Не без сарказма Бирон писал в апреле 1734 года Кейзерлингу: «Остерман лежит с 18-го февраля и во все время один только раз брился (Андрей Иванович, ко всему прочему, был страшный грязнуля даже для своего не особенно чистоплотного века. – Е. А.), жалуется на боль в ушах (чтобы не слышать вопросов. – Е. А.), обвязал себе лицо и голову. Как только получит облегчение в этом, он снова подвергнется подагре, так что, следовательно, не выходит из дому. Вся болезнь может быть такого рода: во-первых, чтобы не давать Пруссии неблагоприятного ответа... во-вторых, турецкая война идет не так, как того желали бы».

А вот что писал об Остермане английский посланник Финч: «Пока я говорил, граф казался совершенно больным, чувствовал сильную тошноту. Это одна из уловок, разыгрываемых им всякий раз, когда он затруднялся разговором и не находил ответа. Знающие его предоставляют ему продолжать дрянную игру, доводимую подчас до крайностей, и ведут свою речь далее; граф же, видя, что выдворить собеседника не удастся, немедленно выздоравливает как ни в чем не бывало».

Действительно, в своем притворстве Остерман знал меру: острый нюх царедворца всегда подсказывал ему, когда нужно, стеная и охая, отправиться во дворец. Анна Иоанновна весьма уважала Андрея Ивановича за солидность, ученость и обстоятельность. Когда требовался совет по внешней политике, без Остермана при дворе не обходились. Нужно было лишь набраться терпения и вытянуть из него наилучший вариант решения дела, пропуская мимо ушей все его многочисленные оговорки, отступления и туманные намеки.

Остерман был хорош для императрицы Анны как человек, целиком зависимый от ее милостей. Иностранец, он хотя и взял жену из боярского рода Стрешневых, но все равно, в силу своего нрава и положения, оставался чужаком в среде русской знати. Тем крепче он льнул к сильнейшему. Вначале таким был светлейший князь Меншиков, которого Остерман предал ради Петра II и Долгоруких, затем, при Анне Иоанновне, он заигрывал с Минихом и долго добивался расположения Бирона, который Андрея Ивановича не любил и не доверял ему, но без вице-канцлера обойтись не мог до самого конца своего господства. И этим Остерман успешно пользовался.

Надежные руки и уши государственной безопасности

Был еще один незаменимый чиновник, и тоже Андрей Иванович. Начальник Тайной канцелярии граф Ушаков входил в число нужнейших государыне людей. Он держал руку на пульсе страны. Пожалуй, не было в Тайной канцелярии ни одного сколько-нибудь заметного сыскного дела, с которым бы благодаря Ушакову незнакомилась императрица. Конечно, она не читала многотомные тетради допросов и записи пыточных речей. Для нее готовили краткие экстракты, Андрей Иванович приносил их императрице и, делая по ним обстоятельные доклады, покорно ожидал резолюции – приговора.

Ушаков был человеком опытным и, как положено людям его профессии, незаметным. Начав гвардейцем-порученцем при Петре Великом, он прошел школу П. А. Толстого, помогая ему расследовать дело царевича Алексея Петровича и выполняя другие щекотливые поручения в образованной в 1718 году Тайной канцелярии. В 1727 году нечистый его попутал – он попал под следствие по делу Антона Девьера (так называемый заговор против Меншикова), был сослан, но к концу царствования Петра II вновь всплыл. И немудрено – таких людей, как Андрей Иванович, было весьма мало и в то время.

Преданный служака, хладнокровный, не сомневающийся исполнитель, он видел мир только в одном специфическом – сыском – аспекте. Известно дело баронессы Соловьевой, которая, будучи в гостях у самого Андрея Ивановича, за обеденным столом на чем свет стоит ругала своего зятя и между двумя блюдами сказала, что тот написал какое-то непотребное, оскорбительное для чести Ее Императорского Величества письмо. На следующий день гостя Ушакова была арестована, а все письма у нее и в семье зятя изъяты.

Андрей Иванович быстро понял вкусы и пристрастия Анны Иоанновны и умело им угождал. Это было нетрудно сделать. С одной стороны, императрица очень не любила своих политических противников или тех, кого таковыми считала, и преследовала их беспощадно, а с другой стороны, она обожала копаться в грязном белье своих подданных, особенно тех, кто принадлежал к свету. По делу баронессы Соловьевой, к примеру, Ушаков представил «на Верх» выписки из писем ее зятя, в которых не было никакого политического криминала, но зато содержалось много «клубнички»: жалоб на непутевое поведение дочери баронессы, описаний скандалов в семье и т. п. Все это было чрезвычайно интересно императрице.

Ведомство же Андрея Ивановича было страшным местом. Бумаги Тайной канцелярии пропитаны смертным потом и кровью пытаемых в застенке. В это время господствовала система «слова и дела» – публичного объявления о государственном преступлении. Человек, кричавший «слово и дело» – доносчик, – тотчас арестовывался вместе с теми, на кого он доносил. И сыскная машина начинала свою неспешную и кровавую работу.

Выйти на свободу без пытки, допросов «с пристрастием» удавалось немногим. Пытали не только подозреваемых в государственном преступлении, но и доносчика, если тот, на кого он донес, выдержал пытку и ни в чем не признался. И тем не менее люди бежали доносить друг на друга – слишком велика была опасность оказаться недоносителем и в качестве такового попасть в Тайную канцелярию. Чтение следственных дел оставляет тяжелое впечатление: страх дыбы и раскаленных клещей разверзал любые уста, и под пыткой люди теряли честь, совесть, вообще – человеческий облик. Анне Иоанновне было интересно узнавать всю подноготную, все грязные и позорные тайны.

Андрей Иванович Ушаков был всегда рядом с императрицей. Он оставлял впечатление надежности и верности, и, как часто бывает, между главой государства и шефом политического сыска возникла особая связь – связь сообщников, соучастников, ибо только они вдвоем знали столько тайн и видели столько грязи.

А была ли «бироновщина»?

Аннинское царствование известно в литературе как «бироновщина», а это, согласно всем советским энциклопедиям, очень нехорошо: «Реакционный режим... Засилье иностранцев, разграбление богатств страны, всеобщая подозрительность, шпионаж, доносы, жестокое преследование недовольных».

О «засилье иностранцев» скажем ниже, а как оценить все остальное? Но разве вы, читатель, можете назвать хоть один период русской истории, когда бы не грабили нещадно богатства страны, не обирали народ, когда бы в России не господствовал шпионаж, не процветали доносы, когда бы не преследовали, и весьма жестоко, недовольных? В этом смысле «бироновщина» мало чем отличается от «меншиковщины», «потемкинщины», «аракчеевщины» или «сталинщины». Бирону и его клике ставится в вину попрание национальных интересов России, унижение русской нации. Так ли это? Действительно, в правящей верхушке России тех лет было немало немцев, но почти все они уже давно жили в России. Двери страны для иноземцев широко раскрыл еще Петр Великий. По-разному складывались судьбы тех, кто приезжал в Россию. Одни, заработав длинный рубль, уезжали домой, другие оставались, прирастали к этой земле, получали признание и прижизненную и посмертную славу. Бесконечен ряд этих людей – военных, инженеров, художников, артистов, врачей, ученых. Многие из них были талантливы и даже гениальны. В этом длинном ряду архитекторы Д. Трезини, отец и сын Растрелли, ученые Л. Эйлер, Ж. Н. Делиль, Я. Штелин, Д. Бернулли, Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, мореплаватель В. Беринг. Я перечисляю немногих из тех, кто жил во времена Анны, и не говорю о тех, кто прославился позже, – при Елизавете Петровне и Екатерине II.

Если же говорить об иностранцах в армии – а там их было больше всего, – то сопоставим беспристрастные данные военно-учетных документов из архива. Если в 1729 году, накануне «бироновщины», в армии служили 30 русских и 41 иностранный генерал (или 58 %), то к 1738 году процент иноземцев в генералитете даже понизился – 30 русских и 31 иноземец. Если же учесть всех офицеров полевой армии, включая майоров, то в 1729 году из 371 было 125 иностранцев (или 34 %). В 1738 году их численность немного повысилась – до 37 % (192 из 515), но все равно ни о каком засилье иностранцев, а тем более немцев, говорить не приходится. Еще более выразительна ситуация на флоте. Если в 1725 году балтийскую эскадру вывели в море 16 иностранных капитанов и адмиралов, то в 1738 году из 20 капитанов кораблей было 13 русских!

Дело, конечно, не в бухгалтерии, а в реальной власти. Бирон, братья Левенвольде, Остерман, Миних находились на ключевых местах в управлении империей. Но ведь все они, кроме Бирона, жили в России со времен Петра Великого. Нужно учесть, что Анна, столкнувшись в начале своего царствования с попыткой «бояр» и дворянских прожектеров ограничить ее власть, быстро сообразила, что не сможет чувствовать себя уверенно, пока не наберет команду только из надежных людей – таких, на которых она может положиться. Это так естественно для каждого правителя. Но в первых рядах оказалось и немало русских: Ягужинский, Феофан Прокопович, Волынский, Ушаков, Черкасский.

Никакой особой «немецкой партии» при дворе не было. Немцы никогда не были едины. В борьбе за привилегии, пожалования, власть ольденбуржец Миних, вестфалец Остерман,

лифляндцы Левенвольде готовы были перегрызть друг другу горло. «Клубок друзей» у подножия каждого трона всегда безнационален, циничен, продажен и беспринципен. Вот как испанский посланник характеризует одну из ключевых фигур начала аннинского царствования графа К. Г. Левенвольде: «Он не пренебрегал никакими средствами и ни перед чем не останавливался в преследовании личных выгод, в жертву которым готов был принести лучшего друга и благодетеля. Задачей его жизни был личный интерес. Лживый и криводушный, он был чрезвычайно честолобив и тщеславен, не имел религии и едва ли даже верил в Бога». То же самое можно сказать о многих, будь то русский или иностранец, тесной толпой окружавших трон. Теперь остановимся на поправлении национальных интересов во времена Анны Иоанновны и Бирона.

Империя на марше

Внешняя политика при Анне Иоанновне в сравнении со временами Петра Великого не претерпела существенных перемен и уж никак не была отступлением от его имперских принципов.

Наоборот, можно говорить лишь о развитии этих принципов. В 1726 году благодаря усилиям Остермана Россия заключила союз с Австрией. Ось Петербург – Вена придала устойчивость внешней политике России: в основе союза лежали долговременные интересы войны с Турцией на юге, а также общность интересов в Польше и Германии. Так было нащупано центральное направление внешней политики, и Россия следовала ему весь XVIII век. Аннинская эпоха не выпадала из этого ряда.

Именно в 1730-е годы был сделан серьезный шаг к будущим разделам Польши. 1 февраля 1733 года умер шестидесятичетырехлетний король Август II. В Польше началось «бескорольевье» – отчаянная борьба за власть. Эта борьба контролировалась согласованными действиями России и Австрии. Союзники «оберегали» дворянскую демократию Речи Посполитой, чтобы не дать усилиться королевской власти, а значит, и польской государственности. Ситуация осложнялась тем, что в борьбу за престол ввязался некогда изгнанный из Польши Петром Великим экс-король Станислав I Лещинский. Заручившись поддержкой своего зятя – французского короля Людовика XV, он приехал в Польшу.

Россия отреагировала решительно и бескомпромиссно: «По верному нашему благожелательству к Речи Посполитой и к содержанию [в] оной покоя и к собственному в том натуральному великому интересу [избрания Станислава] никогда допустить не можем». «Без упущения времени» к польской границе двинулась армия. 31 июля русские войска с двух направлений вторглись в Польшу, а в августе их примеру последовали австрийцы – «друзья» польской вольности были на месте. Союзникам не удалось предотвратить выборы Станислава на рыцарском Коле – собрании всей польской шляхты, но почти сразу же вновь избранный король бежал в Гданьск: к Варшаве подошли войска русского генерала П. П. Ласси. Вольный город дал убежище Станиславу, рассчитывая на приход французской эскадры с десантом. Это была авантюра – превосходство русских и австрийцев было подавляющим. Началась осада Гданьска. Ласси был заменен Минихом. В мае 1734 года французы высадились на берег и почти сразу же были смяты русскими войсками, после чего французский флот покинул Балтику. В конце июня Гданьск сдался. Лещинский же накануне сдачи бежал в крестьянском платье за границу.

К этому времени в Польше полыхала гражданская война. Сторонники России, взбодренные деньгами, поспешно избрали на польский трон сына покойного короля – Августа III, и он, поддержанный русским корпусом, начал борьбу со сторонниками Станислава. Противники жгли, разоряли города и села, убивали и грабили их жителей. К осени 1734 года, опираясь на русские штыки, Август III взгромоздился на польский трон. Отныне стало ясно, что судьба польской государственности уже мало зависит от поляков. Россия и Австрия в войне «за польское наследство» нашли общий язык и впервые соединили оружие.

Результатом успешной польско-русской войны 1733–1735 годов стало еще одно «приращение» к империи. Война резко ослабила Польшу – сюзерена Курляндии, и Бирон,

несмотря на ворчание Пруссии, спокойно прибрал к рукам курляндскую корону. С этого момента Курляндия перестала быть спорной территорией – для всех стало ясно: ее хозяева сидели в Петербурге. И когда к власти пришла Екатерина II, она вернула герцогскую корону Бирону – за его лояльность России не приходилось волноваться: Курляндия была «наша».

Война на юге

Осенью 1735 года Россия неожиданно начала войну против Турции. В XVIII веке это была вторая – после Прутского похода 1711 года – русско-турецкая война. А всего же два века противостояния, с 1676 по 1878 год, турки и русские проливали кровь друг друга в одиннадцати войнах в общей сложности тридцать лет. Это была борьба за господство над Черным морем, Балканами, Кавказом, за победу одних религиозных принципов над другими. Борьба с «неверными» за расширение земель ислама была для другой стороны борьбой с «басурманами», за изгнание их из Константинополя, который уже для десяти поколений турок был родным Истамбулом.

Главнокомандующий русской армией Миних составил план войны, которая через четыре года должна была закончиться торжественным вступлением русских войск в Константинополь и водружением креста на Святую Софию – поруганную святыню православия. Как и много раз позже, жизнь показала нереальность подобных планов, хотя начало войны было успешным: весной 1736 года сдался Азов и в мае наступил черед вассала Турции – Крымского ханства. Русские войска через Перекоп вторглись на Крымский полуостров. Так начался последний акт драмы русско-крымских отношений. Ему предшествовали жестокие набеги татарских орд на южные пределы России, годы достаточно мирного соседства, но никогда эти отношения не становились дружественными. Крым воспринимался в России как «гнездо разбойников», и теперь Миних получил указ разорить его дотла. Русские войска беспрепятственно углубились в Крым, татары отступили в горы, запылали крымские аулы и города, был разграблен и сожжен великолепный ханский дворец в Бахчисарае. Но вскоре повальная смертность от дизентерии, жары, недоедания стала опустошать ряды русской армии, и она поспешно покинула Крым, устилая путь трупами своих солдат. Впоследствии в ходе войны русские еще дважды вторгались в Крым, уничтожая все, что не удалось уничтожить в первый раз.

В военных действиях против Турции, которые развернулись в Причерноморье и Молдавии, преимущество было на русской стороне: в 1737 году был взят Очаков – важнейшая турецкая крепость в Причерноморье, в 1739 году турки потерпели поражение под Ставучанами, сдали Хотин и Яссы. Но война все же шла не по плану Миниха. Потери были огромны – не менее ста тысяч человек, причем люди чаще гибли не под пулями турок и стрелами татар, а от болезней, непривычно жаркого климата. Ведение боевых действий было не продуманным, снабжение армии – из рук вон плохим. Миних не сумел приспособиться к особым условиям войны на юге, не щадил солдат, которые, повинувшись указам фельдмаршала, двигались по степи в огромном каре и от жары, пыли, усталости и голода замертво падали прямо в строю.

Но самым серьезным недостатком Миниха было полное неумение использовать результаты достигнутых побед. Все завоеванные крепости (кроме Азова) пришлось оставить, каждая кампания начиналась не с завоеванных рубежей, а из глубокого тыла. Не были согласованы военные действия со вступившей в войну Австрией.

Неудачной была и дипломатическая работа правительства Анны Иоанновны. На Немировском мирном конгрессе 1738 года туркам были предъявлены чрезмерные территориальные требования, не обеспеченные соответствующими им победами оружия, и

переговоры сорвались. Белградский мир 1739 года, заключенный от имени России французскими дипломатами, не был победоносным. Россия получила лишь Азов, некоторые территории на Украине и надежды на будущий успех в новой войне за Черноморское побережье, так как южное направление с той поры стало наиболее перспективным и многообещающим для имперской политики России.

Дела внутренние, царице скучные

Если рассказ о внешней политике времен так называемой «бироновщины» не оставляет сомнений в том, что в царствование Анны Иоанновны имперские интересы Российской империи оставались в центре внимания правительства, как и в другие времена, то теперь нужно коснуться дел внутренних, для императрицы скучных. Эта политика была сформулирована под сильным влиянием событий начала 1730 года, точнее – под влиянием дворянского движения. Пойти на политические уступки дворянам и поделиться с ними властью царица, разумеется, не могла, но и не учитывать их многочисленные претензии к самодержице также не решилась. Это и определило направление внутренней политики на 1730-е годы. Именно тогда российскому дворянству, которое – если следовать за обличителями «бироновщины» – должно было стонать под игом иностранных эксплуататоров, начинают делать такие послабления, о которых при Петре Великом было трудно и помыслить.

Для начала в 1732 году по инициативе немца Миниха русские офицеры были уравнены в жалованье с иностранцами – до «бироновщины» русские на тех же должностях получали в два раза меньше. В 1736 году вышел указ, который, по мнению С. М. Соловьева, «составил эпоху в истории русского дворянства». Указ отменял прежние, петровские условия пожизненной службы дворян. Теперь дворянин мог до двадцати лет прохладиться дома, а не тянуть солдатскую лямку с четырнадцати-пятнадцати лет. По новому закону срок службы дворянина был ограничен двадцатью пятью годами, более того – дворянин мог оставить одного из своих сыновей дома «для содержания экономии». Это была подлинная революция в служилых обязанностях русского дворянина.

Теперь дворянин мог поступить в организованный в 1731 году Минихом Кадетский корпус и по окончании его выйти офицером, не проходя долгого и мучительного солдатства в гвардии.

Еще более важными для дворян стали указы 1730 и 1731 годов. Они отменяли петровский указ о единонаследии, по которому право получать отцовское наследство имел только один – старший – сын, а все остальные должны были искать пропитание на службе. Теперь, при Бироне, этот крайне тягостный для дворян петровский закон был отменен. Тем самым были сняты важные ограничения с распоряжения земельной собственностью. Эти указы расширяли права дворян, приближали их к знаменитой грамоте о вольности российского дворянства 1762 года.

В 1730-е годы не пошатнулось и экономическое положение России. Наоборот, во времена «бироновщины» оно продолжало улучшаться, и о нанесении какого-то ущерба национальной экономике не могло идти и речи. Если в 1720 году Россия выплавляла 10 тысяч тонн чугуна (а Англия – 17 тысяч), то в 1740 году выплавка возросла до 25 тысяч тонн (а в Англии – до 17,3 тысячи). Выплавка чугуна на Урале с 1729 по 1740 год выросла с 253 до 416 тысяч пудов, вывоз железа за аннинское время увеличился более чем в пять раз, а хлеба – в 22 раза. Резко увеличились и объемы торговли через Петербург и другие порты.

В 1739 году было принято новое горно-промышленное законодательство – Берг-регламент, над которым работал саксонский горный специалист Шемберг. Этот закон резко стимулировал промышленное предпринимательство, началась массовая приватизация

казенной промышленности – путь, по которому в конце своего царствования пошел Петр Великий.

В целом экономика, построенная Петром на преимущественном использовании крепостного труда, в аннинское время продолжала развиваться, укрепляя самодержавный режим и всю структуру социальных отношений.

Наша резиденция

1730-е годы были временем оживления Петербурга: державность всегда была не только его внешней чертой, но и стимулом его процветания. В аннинское время строительству столицы уделялось внимания не меньше, чем при Петре Великом. Для Анны Иоанновны город стал тем же, чем и для других царей, – резиденцией, парадным въездом в империю. И денег, и сил для его украшения не жалели.

Ныне мало что осталось от аннинского Петербурга. Уже давным-давно снесены Летний и Зимний дворцы императрицы, и уже нельзя взойти по белокаменной лестнице в тронный зал Зимнего с плафоном, расписанным Луи Караваком, изящными хрустальными люстрами и голубыми изразцовыми печами. Здесь, сидя на троне, Анна Иоанновна принимала послов, устраивала торжественные приемы и праздники. Исчез, будто растворился в воде, Подзорный дворец, построенный на крошечной косе в устье Фонтанки. Он казался сказочным замком, выплывающим из водных глубин. Его зеркальные окна ярко горели золотом на закате.

Но кое-что все же сохранилось. Летом 1733 года освятили Петропавловский собор, и великий основатель города под полом его нашел, наконец, вечный покой. Были открыты Кунсткамера, а затем и здание Двенадцати коллегий работы Доменико Трезини. Иван Коробов построил новое Адмиралтейство, и на нем засверкал золотой шпиг с корабликом.

В 1736 и 1737 годах два сильных пожара уничтожили петербургский «шанхай» – хаотичную слободу у Адмиралтейства. Специальная комиссия под началом Петра Еропкина – талантливого ученика итальянского архитектора Чиприани – разработала новый проект застройки центра города. Именно Еропкин придумал трехлучевой «каркас» материковой части города: три длинные перспективы – Невская, Вознесенская и Средняя (Гороховая) «вытекали» из единого центра – Адмиралтейства, а их расходящиеся «лучи» были связаны цепью улиц, проспектов и площадей, так что, двигаясь, например, по Садовой, и до сих пор можно трижды увидеть золотой кораблик Адмиралтейства.

Владимирский и Царскосельский (Московский) проспекты, Сенатская площадь и многие другие площади и улицы сошли с чертежей Еропкина и воплотились в камень мостовых и домов блистательного Петербурга. Строгий и стройный вид городу придавали его регулярные улицы и набережные. Для приплывающего из Кронштадта иностранца город разворачивался чудесной панорамой. «По обеим сторонам Невы, – вспоминает датчанин П. Хафен, – стояли отличные дома, все каменные в четыре этажа, построенные на один манер и выкрашенные желтой и белой краской». Потом путешественник поражался удивительной гладкости мостовых, чистоте и порядку на улицах столицы.

Царицу можно было часто видеть на улицах города, особенно зимой. Гулянье на санях по Невской перспективе особенно нравилось Анне Иоанновне, а легкий морозец и быстрая езда улучшали самочувствие и аппетит. Летом же город пустел – двор выезжал в Петергоф, зато особенно оживленной была Нева – ее заполняли сотни судов и суденышек. Сверху, с Ладоги, везли в столицу бесчисленные товары – богатство России, а с запада в Неву входили суда разных стран, чтобы пристать к причалам торгового порта на Стрелке Васильевского острова.

Здесь неподалеку, в треугольнике между Стрелкой, Петропавловской крепостью и

Зимним дворцом, устраивались зимой на льду Невы молебны у проруби в день Водосвятия, парады армии, фейерверки. Столица пышно отмечала утвержденные законом календарные празднества, и небо над городом, и так часто озаряемое северным сиянием, блистало от фейерверочных огней. Особую забаву составляло кормление народа за казенный счет. Как писал Эрнст Миних, «народ по данному сигналу бросился на выставленного на площади жареного быка и другие съестные припасы, равно как и на вино, и на водку, которые фонтаном били в нарочно сделанные большие бассейны». С высокого балкона на народное веселье, огненное великолепие в небе, на весь этот город благосклонно смотрела высокая, тучная женщина в роскошной царской шубе. Ее жизнь была уже навсегда связана с этим городом, с этими берегами.

Академия де сианс

Академия наук была украшением Петербурга. В принципе самой Анне Иоанновне наука была не нужна. Она отлично обошлась бы и без Академии наук, или, как тогда ее называли, Академии де сианс. Но Академию завел Петр Великий, ее существование прибавляло престижа монархии, наконец, от ученых тоже бывала польза: они могли наладить лесопильную мельницу на верфи, составить новую ландкарту России, найти полезные ископаемые или «сочинить» фейерверк. Вот, например, академик Жозеф Никола Делиль, или, по-русски, – Осип Николаевич. От него была очень большая польза – недаром астронома известнее в Европе тогда не было. Он регулярно доставлял во дворец «невтонианскую трубу длиной 7 футов» и другие инструменты, и императрица самолично наблюдала кольца на Сатурне и «объявила о сем всемилостивейшее удовольствие». Делилю принадлежит идея знаменитого полуденного сигнала пушки: по точнейшим астрономическим часам он отмечал полдень, давал сигнал из башни Кунсткамеры – и с бастиона крепости палила пушка. Так и стреляет она ровно в полдень по сей день.

С огромным удовольствием Анна Иоанновна посещала Кунсткамеру, дивясь хитроумным станкам личного токаря Петра – Андрея Нартова, рассматривала восковую персону своего грозного «батюшки-дядюшки». Крутилась для нее и сфера гигантского Готторпского глобуса. Удивлялась она и коллекциям сибирской экспедиции академика Г. Д. Мессершмидта, который целых десять лет путешествовал по Сибири (заметим – добровольно!) и собрал уникальные экспонаты. Вероятно, показывали Анне Иоанновне и типографию академии, где стали выходить первые отечественные научные журналы и газета – «Санкт-Петербургские ведомости».

Но для Анны Иоанновны, как и для многих ее современников, наука имела преимущественно прикладное и развлекательное значение, на ученых смотрели как на чиновников специфического ведомства. Сама императрица вряд ли разделила бы гелиоцентрическую концепцию мироздания Коперника, если бы она, конечно, смогла ее понять. Наука наукой, кольца Сатурна – одно, а по поводу пойманной волшебницы бабы Агафьи Дмитриевой подписала указ: собрать комиссию и учинить ей «пробу» – сможет ли она, как говорили, обернуться козой или собакой.

Между тем в академии работали незаурядные, талантливейшие ученые. За знаменитым круглым столом академического собрания рядом с гениальным математиком Леонардом Эйлером сживал Герард Фридрих Миллер. Всю свою жизнь он собирал и изучал материалы по истории России, и без его коллекции – знаменитых «Портфелей Миллера» – была бы бедна наша наука. В России ученым открывался простор для выбора научных занятий и тем, перед ними лежала практически не исследованная земля – ни точных карт, ни гербариев, ни необходимых коллекций, ни даже приблизительных знаний о ее истории, географии, этнографии, природных богатствах. Гениальный математик Леонард Эйлер был искренен, когда писал впоследствии, что он благодарен счастливому случаю, который его, студента-физиолога, занес в Россию. Иначе в Европе, продолжал ученый, «я бы вынужден был заниматься другой наукой, в которой, судя по всем признакам, мне предстояло бы стать лишь кропателем». И так думали многие академики, основав новые школы, сделав выдающиеся открытия.

Российский Геродот

Среди интереснейших людей аннинского времени выделялся Василий Никитич Татищев. Его шестидесятипятилетняя жизнь была переполнена событиями и происшествиями, которых вполне бы хватило на двух-трех человек. Участник взятия Нарвы и Полтавского сражения, он затем выполнял различные поручения Петра I и его преемников: строил заводы на Урале, ездил в Швецию за опытом промышленного строительства, ведал монетным делом в России, сооружал крепости на юго-востоке, подавлял восстание башкир, был губернатором в Астрахани, вел дипломатические переговоры и т. д. «Этот старик, – писал о нем английский путешественник Ганвей, – замечателен своей сократической наружностью, изможденным телом, которое он старался поддерживать многолетним воздержанием, и, наконец, неутомимостью и разнообразием своих занятий».

Истинная правда! У Василия Никитича был на редкость пытливый ум исследователя высокого класса. Он был поразительно плодовит как прожектор, почти непрерывно сочинял проекты по самым разным предметам, начиная с организации подушной ревизии и кончая проектом сочинения истории России. Историей он увлекся уже в зрелом возрасте и стал собирать материалы по истории и географии России. Это было увлечение, которое прославило Василия Никитича как первого историка, отца российской истории. Даже непонятно, как он, постоянно загруженный тяжелой и ответственной казенной работой, успевал глубоко и серьезно изучать найденные им летописи и хронографы, вести обширную научную переписку.

Историк С. М. Соловьев сказал о Татищеве главное – он «указал путь и дал средства соотечественникам заниматься русской историей». Человек ясного, практического ума, он интуитивно вышел на то, что составляет сердцевину современного исторического исследования, – на критику исторических источников, постижение скрытого смысла текста исторического памятника, сопоставление и анализ фактов и трактовок одних и тех же событий разными источниками.

Василий Никитич был сложным, противоречивым человеком. Сторонник просвещения, он стал одним из первых наших этнографов, заносая на бумагу сведения о традициях и обычаях народов, с которыми сталкивала его судьба администратора. Но изучая историю России, переполненную пролитой кровью и страданиями, он сам множил эту кровь и страдания – был жестоким гонителем старообрядцев, карателем башкирского восстания, сам участвовал в пытках и допросах «инородцев», а его проект физического уничтожения башкирской молодежи принадлежит к числу вполне людоедских сочинений.

Как и многие современные ему администраторы, Татищев постоянно находился под следствием за злоупотребления и по подозрению в казнокрадстве, да и сам не чурался писать доносы на своих коллег. Строгий моралист, он тяжело уживался с людьми, был несчастлив в семейной жизни и только среди книг и рукописей, любовно собранных им, чувствовал себя по-настоящему уютно и свободно.

Дворовый поэт

«Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия: весьма знающ в латинском, французском, итальянском и в своем природном языке, также в философии, богословии, красноречии и в других науках». Такую блестящую оценку дал Василию Кирилловичу Тредиаковскому Н. И. Новиков – просветитель екатерининских времен. Но многие думали о Тредиаковском иначе, насмешливо называя его схоластическим педантом, бездарным графоманом, чья «бесплодная ученость» порождала лишь «варварские вирши». Отчасти это так – как пушкинский Сальери, Тредиаковский пытался разъять гармонию поэзии и найти ее волшебную формулу.

Это была удивительная жизнь. Поповский сын, он учился в иезуитском колледже, бежал, как Михаил Ломоносов, в Москву, в ту же самую Славяно-греко-латинскую академию и, недовольный учебой там, устремился на Запад. Он стал нашим первым выпускником Сорбонны и впоследствии с грустью вспоминал милый «берег Сенский».

Вернувшись в Россию в 1730 году, Тредиаковский стал академиком, модным поэтом. Его перевод французского романа П. Тальмана «Езда в остров Любви» был весьма популярен в обществе. Тредиаковского приблизили ко двору, и он сделался придворным, а в сущности, дворовым поэтом Анны Иоанновны. Императрица и ее окружение – люди невежественные и спесивые – видели в Тредиаковском не поэта, а стихоплета, которому можно поручить написать оду, гимн к случаю или непристойные куплеты для увеселения помещицы Ивановны. «Имел счастье, – вспоминал поэт, – читать государыне императрице у камеля (камина. – Е. А.) и при окончании онаго чтения удостоился получить их собственных Ея императорского величества рук все милостивейшую оплеушину».

Аннинская эпоха жестоко и несправедливо обошлась с Василием Кирилловичем. В ее душной атмосфере он оказался лишним, талант его остался не востребован обществом. Слабый и беззащитный, Тредиаковский не сумел найти для себя «ниши», в которой он мог бы заниматься своей любимой поэзией. Он стал сварливым неудачником, нудным жалобщиком, его болезненно терзала критика, над ним потешалась читающая публика. Но несмотря на общий смех, унижения при дворе, страх перед Тайной канцелярией, Тредиаковский был верен своей трудолюбивой музе. Он с редким упорством писал стихи, делал переводы – десятки томов. Он был лучшим теоретиком стиха в России, выдающимся знатоком западной поэзии. И все равно ничто не защитило его от насмешек и пренебрежения тех, кто учился мастерству на его несовершенных виршах. Прошло немного времени – и Ломоносов с Сумароковым безжалостно отобрали у Тредиаковского пальму поэтического первенства.

«Куда подует самовластье»

Науки и искусства были приятны императрице, но доклады и экстракты Ушакова все же интересней. Учреждение у него было небольшое – человек пятнадцать-двадцать, и без дела они не оставались: колодников у Андрея Ивановича сидело до двухсот-трехсот человек. И хотя ни о каких массовых репрессиях говорить не приходится (при Анне было рассмотрено не более двух тысяч политических дел, а при Елизавете за первые десять лет ее правления – 2500), тем не менее Тайная канцелярия была местом нехорошим.

Мстительная и злопамятная Анна Иоанновна лишь ждала случая, чтобы посчитаться с бывшими верховниками за свое унижение в 1730 году. По спорному делу о наследстве в страшную машину Тайной канцелярии в 1736 году был затянут князь Дмитрий Михайлович Голицын. Он был стар и болен, давным-давно отошел от государственных дел и жил в окружении книг в своем подмосковном имении Архангельском. В декабре 1736 года было приказано силой привести его на допрос.

Сохранился рассказ его дворовых о том, как гордый князь вел себя при аресте. Когда караульные получили указ Анны Иоанновны снять с него шпагу и кавалерию ордена, то «он им снять с себя не дал и [сам], сняв с себя кавалерию и шпагу, выбросил в окно на улицу, и присланы были по него гренадеры, чтоб ево брать во дворец, и он им взять не дался ж и говорил: „Меня и свои люди отнесут“, и как ево люди взяли и, положи на скатерть, понесли во дворец, и сама государыня изволила глядеть из окна по пояс и говорила ему: „Принеси, князь Дмитрий Михайлович, вину, я тебя прощу“, и он сказал: „Не слушаюсь я тебя, баба такая“, а персону до Ее величества оборачивал все к стене и не глядел на нее, такой он сердитой человек».

Суд приговорил бывшего главу верховников к смертной казни, замененной заточением в Шлиссельбургской крепости. Сосланы были и его родственники. 9 января 1737 года Голицына привезли на мрачный остров. Он протянул только до весны и 14 апреля умер в тюрьме. В 1738 году наступила очередь Долгоруких. Фаворит Петра II Иван Долгорукий и его отец Алексей Григорьевич вместе с женами и детьми были отправлены в ссылку еще в 1730 году. Здесь не было какого-то особого злодейства – так всегда поступали в России: ссылали или казнили не только опального вельможу, но и весь его род, корень.

Долгорукие обвинялись в том, что не оберегали здоровья юного царя Петра II, занимали его охотой и развлечениями, тем самым «отлучая Его величество от доброго и честного обхождения», а потом, несмотря на то, что царь был «в таких молодых летах, которые еще к супружеству не приспели... привели на сговор к супружеству к дочери его, князь Алексеевой, княжне Катерине».

Вначале семейство отправили в дальнюю пензенскую деревню. По дороге обоз Долгоруких нагнал посланный из Москвы офицер и отобрал у них ордена и прочие награды. Не успели сосланные разместиться в селе, где им предстояло жить, как пришла новая напасть. Вот как описывает это жена князя Ивана Наталья Борисовна: «Взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут». Это по указу царицы прибыл отряд солдат, чтобы арестовать Долгоруких и везти их в Сибирь, в Березов. Начался долгий и скорбный путь по рекам, непроезжим дорогам, все дальше и дальше от Москвы...

Ссылка в Березов оказалась серьезным испытанием для вельмож. И дело было не только в бедности, к которой они привыкали с трудом, может быть впервые взяв в руки деревянные ложки и глиняные чашки. Семья была большая и недружная. Ее глава – Алексей Григорьевич – часто ссорился со старшей дочерью – «порушенной невестой» Екатериной, приходившей в отчаяние при виде того же убогого жилья, в котором незадолго до приезда Долгоруких умерла ее «предшественница» – тоже «порушенная невеста» Петра II Мария Меншикова. Князь Иван сошелся с местными жителями, часто прикладывался к бутылке: был несдержан на язык, кляня Анну Иоанновну и Бирона – главных виновников своих несчастий.

Российская жизнь без доносов ненормальна, и нашелся «доброжелатель» – подьячий Тишин, который и донес в Петербург о предосудительных разговорах ссыльных. Шел уже восьмой год их ссылки. Всех Долгоруких (кроме Алексея Григорьевича, умершего в 1734 году) доставили в Тобольск, а в начале 1739 года – в Шлиссельбург. Начались следствие, допросы, пытки. Не осуждая князя Ивана Долгорукого, испытавшего весь ужас застенка и принявшего мученическую смерть, нельзя не сказать, что именно его показания оказались наиболее информативными для следователей. Они привели к арестам, казням и пыткам многих людей, с ним связанных. В ряде случаев Иван рассказал о тех «преступных» эпизодах, которые не оставили после себя компрометирующих свидетельств. Так следователи, а потом и Анна Иоанновна впервые узнали всю подлинную историю с составлением подложного завещания Петра II, о чем другие Долгорукие умолчали. Если бы не показания князя Ивана, дело вряд ли бы закончилось таким кровавым исходом. 31 октября 1739 года Генеральное собрание – суд, состоявший из первейших сановников (кстати, только русских), – приговорило князя Ивана к колесованию, его дядьев – Сергея и Ивана Григорьевичей, а также Василия Лукича – к отсечению головы. 8 ноября под Новгородом они были казнены. Анна Иоанновна «помиловала» Ивана Алексеевича, заменив колесование четвертованием. Его младшие братья – Николай и Александр – были отвезены в Тобольск, где им вырезали языки и наказали кнутом. Правда, в последнюю минуту казнь молодых людей отменили, но указ о помиловании опоздал – сибирское начальство сообщило в Петербург, что преступники уже наказаны и сосланы в Охотск и на Камчатку. Суровая судьба ждала и сестер князя Ивана – все три были насильственно пострижены: царская невеста Екатерина – в Томске, Елена и Анна – в Тюмени и Верхотурье. Тишин получил повышение – стал секретарем, а также удостоился премии в шестьсот рублей. Согласно указу Анны было предписано выдавать ему эти сребреники в течение шести лет, так как он «к пьянству и мотовству склонен». Государство всегда трогательно заботилось о своих доносчиках.

Цвет крови

Казнь Долгоруких произвела тягостное впечатление на общество, хотя всем была ясна политическая подоплека кровавой расправы с людьми, которые давным-давно уже не угрожали царице, – мечь злопамятной Анны Иоанновны. Но не успели утихнуть разговоры о деле Долгоруких, как началось новое политическое дело, уже в самом Петербурге, не на шутку обеспокоившее местных жителей.

Накануне знаменитого праздника Ледяного дома произошел неприятный инцидент, имевший серьезные последствия. Кабинет-министр Артемий Вольнский избил поэта Третьяковского, который пришел жаловаться на его самоуправство. Произошло это в приемной Бирона и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения временщика. Он уже давно заметил, что Вольнский, его выдвигенец и преданный слуга, все больше и больше отдаляется от обожаемого раньше патрона, перестает быть благодарным, не ищет, как обычно, ласки. Такие люди, как гордый и честолюбивый Вольнский, недолго ценят услуги тех, кто помог им взбежать по служебной лесенке. Став кабинет-министром по воле Бирона, Артемий Петрович был недоволен своей зависимостью от него, жаловался друзьям на то, что угодить капризному временщику очень трудно. В Кабинете министров он был на ножах с Остерманом, который подставлял своего молодого и горячего коллегу под выволочки Бирона. Андрей Иванович вел себя, как всегда, осторожно, а сам только и ждал момента, чтобы выбросить Вольнского из Кабинета. Но для этого требовалось подготовить самого фаворита – человека недоверчивого и пристрастного (как писал Клавдий Рондо, ставить вопросы Бирону бесполезно, этим ничего от него не добьешься).

И вот постепенно, благодаря усилиям Остермана до Бирона стали доходить слухи о попытках сближения Вольнского с племянницей императрицы принцессой Анной Леопольдовной, вышедшей к тому времени замуж за принца Антона Ульриха. Это весьма обеспокоило фаворита – ведь от этой пары они с Анной Иоанновной надеялись получить послушного наследника.

Кроме того, стало известно о каких-то ночных бдениях в доме Вольнского. Действительно, Артемий Петрович и его друзья-«конфиденты» сочиняли «Генеральный проект поправления государственных дел». Знания и опыт кабинет-министра и его товарищей, чиновников высокого ранга, позволили усмотреть немало недостатков в государственной системе и предложить пути их исправления.

Вечеринки в доме холостяка Вольнского и даже сочинение проекта в принципе не содержали в себе криминала – прожектерство было тогда делом распространенным и весьма поощряемым властью, но подозрительный Бирон усмотрел в инициативе «конфидентов» преступный умысел.

После случая с Третьяковским Бирон, страшно раздраженный на Вольнского и умело управляемый Остерманом, потребовал от царицы убрать Артемия Петровича. Та не без колебаний согласилась, а уж Ушаков дело свое знал хорошо. Начались допросы. Их протоколы почти сразу же попадали во дворец, к Анне Иоанновне, и она вошла во вкус розыска и даже собственноручно написала «допросные пункты» для Вольнского: «1. Не ведом ли он от премены владенья, перва или после смерти государя Петра Второва, когда хотели самодержавство совсем отставить. 2. Што он знал от новых прожектов, как вперот

Русскому государству быть. 3. Сколько он сам в евом деле трудился» – и т. д.

С 7 мая начались пытки. Ими вынудили Вольнского признаться, что он хотел с помощью заговора сам занять российский престол. В начале следствия Артемий Петрович просил его помиловать – плакал, валялся в ногах у следователей, но когда дело дошло до застенка и дыбы, он – перед лицом смерти – разительно изменился. По крайней мере, материалы следствия говорят о высоком достоинстве гордого кабинет-министра – он не рыдал, не стоял на коленях, не оговаривал невинных и даже стремился выгородить «конфидентов», взять их вину на себя.

20 июня 1740 года созванный указом Анны Иоанновны суд – Генеральное собрание – приговорил бывшего кабинет-министра к урезанию языка и посажению на кол, а его приятелей – Хрущева, Мусина-Пушкина, Соймонова, Еропкина – к четвертованию, Эйхлера – к колесованию, а Суда – к простому отсечению головы. Кто вынес этот лютейший приговор? Не Бирон или Остерман, хотя именно они были тайными руководителями следствия, а члены суда: фельдмаршал князь Н. Ю. Трубецкой, канцлер князь А. М. Черкасский, сенаторы – все русские, знатные люди, почти все – частые гости и собутыльники хлебосольного Артемия Петровича. Приходя в его дом, они любили посидеть, выпить да поесть с Артемием, наверное, ласкали его детей – сына и трех дочек, живших с Вольнским-вдовцом. А 20 июня они, не колеблясь, приговорили самого Артемия к посажению на кол, а невинное существо – отроковицу Аннушку, старшую дочь своего приятеля – к насильному пострижению в дальний сибирский монастырь, и спустя четыре месяца, когда Вольнского уже казнили, не воспрепятствовали этой жестокой экзекуции. Патриотическое, дружеское, любое иное гуманное чувство молчало, говорил только страх. Ведь известно, что один из судей над Вольнским (а ранее вместе с ним – судья над Д. М. Голицыным) генерал-полицмейстер В. Ф. Салтыков подписал в 1736 году приговор о ссылке князя Алексея Дмитриевича Голицына в дальний Кизляр вместе с женой. А женой сына верховника была его, Салтыкова, родная дочь Аграфена Васильевна! И ничего, смолчал, стерпел и думал, вероятно, как и все остальные судьи: «Господи, только пронеси мимо меня чашу сию!»

Анна Иоанновна, как и раньше в подобных случаях, показала милость: Вольнскому вырезали язык и отсекли голову на площади Обжорного (ныне Сытного) рынка. Того же удостоились Петр Еропкин и Андрей Хрущев. Остальных били кнутом, плетью и сослали на каторгу.

Белый призрак

Но все это не волновало Анну Иоанновну. Она жила, как и прежде: охотилась, вволю гуляла, шуты и артисты веселили ее, а повара готовили тяжелые и обильные блюда, что тучной сорокасемилетней женщине было не безвредно. Многое уже ей прискучило в этой жизни, и лишь страсть к Бирону не проходила. Чтобы быть всегда рядом с ним, она стала даже учиться верховой езде: Бирон много времени проводил в манеже, а его конюшня считалась лучшей.

12 августа 1740 года произошло важное событие: у Анны Леопольдовны, племянницы императрицы, родился мальчик. Его нарекли Иваном. Все были убеждены, что именно он будет наследником престола, но полагали, что императором Иван станет не скоро: крепость здоровья Анны Иоанновны была такова, что, как передавал прусский посланник А. Мардефельд, «все льстят себя надеждой, что она достигнет глубокой старости», но 5 октября с императрицей «вдруг совершенно неожиданно случилась сильная кровавая рвота и состояние ее здоровья стало ухудшаться все более и более».

Издавна Анна Иоанновна страдала почечнокаменной болезнью, осенью 1740 года произошло ее обострение, началось омертвление почек. Накануне ее смерти, 16 октября Мардефельд сообщал, что «императрица спала довольно хорошо прошедшую ночь, но она менее спокойна с тех пор, как истерика присоединилась к ее прочим болезням». Врачи связывали это с тяжелым климаксом царицы. А может быть, нужно связать это и со странным происшествием, случившимся ночью во дворце незадолго до ее смерти.

Дежурный офицер, несший караул во дворце, вдруг заметил в темноте фигуру в белом, чрезвычайно схожую с императрицей. Она бродила по тронному залу и не откликалась на обращения к ней. Бдительному стражу это показалось странным – он знал, что Анна Иоанновна отправилась почивать. То же подтвердил разбуженный им Бирон – уж ему ли не знать, где была императрица. Фигура между тем не исчезла, несмотря на поднятый шум. Наконец разбудили Анну, которая вышла в зал посмотреть на своего двойника. «Это моя смерть», – сказала императрица и ушла к себе. И смерть, действительно, вскоре пришла за ней. 17 октября 1740 года, прожив сорок семь лет и процарствовав десять, Анна Иоанновна отдала Богу душу. Умирая, она до самого конца смотрела на стоящего в ее ногах плачущего Бирона, а потом сказала ему...

Нет, лучше пусть передаст это Э. Финч – английский посланник, писавший 18 октября 1740 года в Лондон о последних минутах царицы: «Her Majesty looking up said to him: „Niebois!“ – the ordinaire expression of this country, and the import of it is: „Never fear!“» («Ее Величество, глядя на него, сказала: „Небось!“ – обычное выражение в этой стране, означающее „Никогда не бойся!“»).

Глава 3

Секретная узница и ее дети: Анна Леопольдовна

Военная, но дружественная рука



История эта начинается задолго до рождения Анны Леопольдовны в 1718 году, и уж тем более – до рождения Ивана Антоновича в августе 1740 года. И чтобы рассказать ее, нам нужно ринуться в самую гущу военных и политических событий, потрясших Европу в годы Северной войны...

В 1712 году русские войска Петра Великого вместе с союзниками – саксонцами и датчанами – вступили в Мекленбург-Шверинское герцогство, расположенное на севере Германии. Да, к этому времени Северная война России, Саксонии, Дании и Польши против Швеции, начавшаяся в 1700 году под Ригой и Нарвой, докатилась и до Германии. Целью союзников были германские владения Швеции – Померания, остров Рюген, а также несколько приморских крепостей. К 1716 году почти все эти территории были захвачены союзными войсками, и в руках шведов осталась только крепость Висмар, стоявшая на мекленбургском берегу Балтики. Ее и осадили союзники России, к которым на помощь спешил корпус генерала А. И. Репнина.

К этому времени между Петром и герцогом Мекленбургским Карлом Леопольдом наладились весьма дружественные отношения. Герцог, вступивший на престол в 1713 году, видел большую пользу в сближении с великим царем. Во-первых, Петр обещал помочь Мекленбургу вернуть некогда отобранный у него шведами город Висмар, во-вторых, присутствие русских войск на территории герцогства очень устраивало Карла Леопольда,

так как его отношения с мекленбургским дворянством были напряженными, и он надеялся с помощью русской дубинки укротить дворянских вольнолюбцев, недовольных тираническими замашками своего сюзерена.

Петр также искал свою «пользу» в Мекленбурге. Царь не собирался легко уходить из столь удобной Северной Германии – важной стратегической зоны, откуда можно было грозить не только шведу, но и датчанину, который требовал пошлины с каждого проплывавшего через пролив Зунд торгового корабля. Петр мечтал о том, что русские корабли будут плавать по всем морям и зундская пошлина будет российской комерции в тягость. 22 января 1716 года в Петербурге был подписан договор, давший начало всей истории, о которой и пойдет речь ниже. Согласно этому договору Карл Леопольд брал в супруги племянницу Петра Екатерину Иоанновну, а Петр, со своей стороны, обязывался обеспечить герцогу и его наследникам «совершенную безопасность от всех внутренних беспокойств военною рукою». Для этого Россия намеревалась разместить в Мекленбурге девять-десять полков, которые поступали в полное распоряжение Карла Леопольда и должны были оборонять его, герцога, «от всех несправедливых жалоб враждующего на него мекленбургского шляхетства и их приводить в послушание». Кроме того, Петр обещал подарить будущему зятю еще не завоеванный союзниками Висмар. Дело требовало быстроты, и свадьбу решили сыграть, не откладывая, в вольном городе Гданьске, сразу после Пасхи.

И вот, как сообщает «Журнал, или Поденная записка Петра Великого», «в 8 день [апреля 1716 года] государь, будучи во Гданьске, поутру герцогу Мекленбургскому изволил наложить кавалерию ордена Святого Андрея по подтверждении трактата супружественного, а по полудни в 4 часу щасливо совершился брак Ея Высочества государыни царевны Екатерины Ивановны с его светлостью герцогом Мекленбургским при присутствии государевом и государыни царицы, королевского величества Польского (Августа II. – Е. А.), также генералитета и министров российских, польских и саксонских и других знатных персон, и ввечеру был фейерверк», который устроил и поджег на рыночной площади Гданьска сам Петр – большой любитель огненных потех.

«Свет-Катюшка»

Молодая жена герцога Мекленбургского по критериям XVIII века, когда замуж нередко выходили в четырнадцать-пятнадцать лет, была не так уж молода: она родилась 29 октября 1691 года и, следовательно, вышла замуж в двадцать четыре года. Жизнь ее до брака была вполне счастливой. Почти все детство и отрочество – с пяти до шестнадцати лет – Екатерина провела в Измайлове. Там, в уютном деревянном дворце своего покойного дедушки царя Алексея Михайловича, среди полей и садов, она жила весело и беззаботно вместе с матушкой, вдовствующей царицей Прасковьей Федоровной, и двумя младшими сестрами – Анной и Прасковьей. Но когда в 1708 году Екатерине пришлось расстаться с обжитым и родным Измайловом, она перенесла это легко. В отличие от многих петербургских новоселов, тосковавших на болотистых, неприветливых берегах Невы по «нагретой» Москве, Екатерина Иоанновна быстро приспособилась к новой, непривычной обстановке, к стилю жизни молодого Санкт-Петербурга – еще неофициальной столицы царя-реформатора. Этому благоприятствовал характер царевны – девушки жизнерадостной и веселой, даже до неумеренности. Ей, как, впрочем, и другим юным дамам, новые порядки светской жизни, праздники и, конечно, моды, так активно внедряемые Петром, были необычайно симпатичны, открывали необъятные возможности для проявления собственной личности. А вообще же, создается впечатление, что русская женщина XVII века только и ждала петровских реформ, чтобы вырваться на свободу. Этот рывок был так стремителен, что авторы «Юности честного зеркала» – кодекса поведения молодежи – были вынуждены предупредить девицу, чтобы она блюла скромность и целомудрие и не носилась, «разиня пазухи», не садилась к молодцам на колени, не напивалась бы допьяна, не скакала по столам и скамьям и не давала бы себя тискать «яко стерву» по всем углам.

Екатерина особенно полюбила петровские ассамблеи, где отплясывала с кавалерами до седьмого пота. Маленькая, краснощекая, чрезмерно полная, но живая и энергичная, она каталась, как колобок, и ее смех и болтовня слышались повсюду. Не изменился жизнерадостный характер Екатерины и позже: «Герцогиня – женщина чрезвычайно веселая и всегда говорит прямо все, что ей придет в голову». Так писал Берхгольц, камер-юнкер герцога Голштинского. Ему вторил испанский дипломат герцог де Лириа: «Герцогиня Мекленбургская – женщина с необыкновенно живым характером. В ней очень мало скромности, она ничем не затрудняется и болтает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и любит мужчин». Екатерина была полной противоположностью высокой и мрачной сестре Анне, и насколько не любила Прасковья Федоровна среднюю дочь, настолько же она обожала старшую, «Катюшку-свет» – так называла царица дочь в письмах. И для того чтобы удержать возле себя любимую дочку как можно дольше, царица, как уже сказано выше, в 1710 году отдала за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма среднюю дочь Анну, хотя испокон веков принято было выдавать первой старшую дочь. Но в 1716 году наступил момент расставания и с Катюшкой – отправляясь в конце января из Петербурга в Гданьск, Петр захватил с собой племянницу, которая смело поехала навстречу своей судьбе.

Несчастливый брак

Тридцативосьмилетний жених, собственно, ждал другую невесту – он рассчитывал получить в жены более молодую Иоанновну, герцогиню Курляндскую Анну, которая овдовела почти сразу же после своей свадьбы. Но у Петра было иное мнение на сей счет, и он в раздражении даже пригрозил Сибирью упорствовавшему мекленбургскому послу Габихсталю. Мекленбуржцам пришлось согласиться на Екатерину.

Не смела спорить с грозным «батюшкой-дядюшкой» и сама невеста. Отправляя племянницу под венец, Петр дал ей краткую, как военный приказ, инструкцию, как жить за рубежом: «Веру и закон сохрани до конца неотменно. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче прочих. Мужа люби, почитай яко главу и слушай во всем, кроме вышеписаного».

О любви, конечно, говорить не приходится: Карл Леопольд такого чувства не вызывал ни у своих подданных, ни у своей первой жены, Софии Гедвиги, с которой он к моменту женитьбы на Екатерине едва успел развестись – благо Петр из своего кармана выплатил деньги за развод. Это был, по отзывам современников, человек грубый, неотесанный, деспотичный и капризный, да еще ко всему страшный скряга, никогда не плативший долги. Подданные герцога были несчастнейшими во всей Германии – он их тиранил без причины, жестоко расправляясь с жалобщиками на его самодурство. К своей молодой жене Карл Леопольд относился холодно, отстраненно, подчас оскорбительно, и только присутствие царя делало его более вежливым с Екатериной. Вернувшись после свадьбы в Мекленбург, герцог своей неприязни уже не скрывал, и Екатерине пришлось несладко. Это мы видим по письмам Прасковьи Федоровны к Петру и его жене царице Екатерине Алексеевне. Если вначале она благодарила царя «за превысокую к Катюшке милость», то потом письма вдовы наполнились жалобами и мольбами: «Прошу у Вас, государыня, милости, – пишет она Екатерине, – побей челом царскому величеству о дочери моей Катюшке, чтобы в печалях ее не оставил... Приказывала она ко мне на словах, что и животу своему (то есть жизни. – Е. А.) не рада...» По-видимому, много пришлось вытерпеть вечно жизнерадостной Катюшке в доме мужа, если мать умоляла ее в письмах: «Печалью себя не убей, не погуби и души».

Положение герцогини было чрезвычайно сложно. Карл Леопольд считал себя обманутым, так как обещанный Висмар ему так и не достался: союзники даже не впустили русскую армию Репнина в отобранный у шведов город, что стало причиной международных трений. Еще больший скандал начался после того, как Петр Великий, будучи в Мекленбурге, не церемонясь особо, арестовал дворянских представителей, недовольных его зятем. Это, как и присутствие «ограниченного контингента» русских войск в Мекленбурге, вызвало крайнее раздражение многих германских властителей и особенно ближайшего соседа, ганноверского курфюрста Георга Людвига, который тогда был одновременно английским королем Георгом I и имел, таким образом, особые интересы в Германии. Мекленбург к тому же был составной частью Священной Римской империи германской нации, и мекленбургские дворяне и их встревоженные соседи стали жаловаться на герцога своему верховному сюзерену – цезарю, то есть австрийскому императору. Петр, увидев, сколь серьезное сопротивление вызывают его попытки внедриться в Мекленбург, решил отступить и, в сущности, бросил герцога на произвол судьбы. По крайней мере, он решил отложить

помощь Карлу Леопольду до завершения Северной войны.

После заключения Ништадтского мира 1721 года сам не склонный к мягкости царь писал Екатерине Иоанновне: «И ныне свободно можем в вашем деле вам вспомогать, лишь бы супруг ваш помягче поступал». В другом письме царь советовал, чтобы герцог «не все так делал чего хочет, но смотря по времени и случаю». Но «своеобычливый» герцог к компромиссам был абсолютно не приспособлен и продолжал свою губительную политику борьбы с собственными дворянами и всем окружающим германским миром.

«Милостию Божию я оберемелена»

По переписке самой Екатерины видно, что она, как жена, воспитанная в традициях послушания мужу, поначалу не стремилась бежать из Мекленбурга, да к тому же боялась послушаться дядюшку-царя. Повинуясь деспотичному мужу, Екатерина даже писала письма царю в его защиту. В них она просила, чтобы Петр, ведя большую игру на Балтике, не забыл и интересы Карла Леопольда: «При сем прошу Ваше Величество не переменить своей милости до моего супруга, понеже мой супруг слышал, что есть в. в. на него гнев, и он, то слыша, в великой печали себя содержит».

Екатерина оказалась в незавидном положении жены человека, которому было бы уместнее жить не в просвещенном XVIII веке, а в пору средневековья. Пренебрежительно относились к ней и бароны немецких медвежьих углов, называвшие московскую царевну «Die wilde Herzogin» – «Дикая герцогиня». Бесправность и униженность герцогини Мекленбургской видны во всем: и в повелительных, хозяйских письмах к ней Петра, и в ее подобострастных посланиях в Петербург. 28 июля 1718 года она пишет царице Екатерине: «...милостию Божию я оберемелена, уже есть половина, а прежде половины писать я не посмела до Вашего Величества, ибо я подленно не знала». И 7 декабря в Ростове герцогиня родила принцессу Елизавету Екатерину Христину, которую в России после крещения в православную веру почему-то называли Анной Леопольдовной, а не Анной Карловной.

Девочка росла болезненной и слабой, но была очень любима своей далекой бабушкой-царицей Прасковьей Федоровной. Здоровье внучки, ее образование, времяпрепровождение были предметами постоянных забот царицы. А когда девочке исполнилось три года, Прасковья Федоровна стала писать письма уже ей самой. Они до сих пор сохраняют человеческую теплоту и трогательность, которые возникают в отношениях старого и малого: «Пиши ко мне о своем здоровье и про батюшкино, и про матушкино здоровье своею ручкою, да поцелуй за меня батюшку и матушку: батюшку в правой глазок, а матушку – в левой. Да посылаю тебе, свет мой, гостинцы: кафтанец теплой для того, чтоб тебе тепленько ко мне ехать... Утешай, свет мой, батюшку и матушку, чтоб оне не надсаживались в своих печалех, и назови их ко мне в гости и сама с ними приезжай, и я чаю, что с тобой увижусь, что ты у меня в уме непрестанно. Да посылаю я тебе свои глаза старые... (в этом месте письма рукой царицы были нарисованы глаза. – Е. А.) уже чуть видят свет, бабушка твоя старенькая, хочет тебя, внучку маленькую, видеть».

Желание увидеть любимую дочь и внучку становится главной темой в письмах старой царицы к Петру и Екатерине Алексеевне. Прасковья страстно хочет завлечь их в Россию хоть на время и оставить там навсегда, благо дела Карла Леопольда идут все хуже и хуже: объединенные войска германских государств, призванные на помощь мекленбургским дворянством, изгнали его из герцогства, и герцог вместе с женой обивал имперские пороги в Вене. Помочь ему было трудно. С раздражением Петр писал Екатерине Иоанновне весной 1721 года: «Сердечно соблезную, но не знаю, чем помочь? Ибо ежели бы муж ваш слушался моего совета, ничего б сего не было, а ныне допустил до такой крайности, что уже делать стало нечего».

У бабушки на даче, в Измайлове

К 1722 году письма царицы Прасковьи Федоровны становятся отчаянными. Она, чувствуя приближение смерти, умоляет, просит, требует – во что бы то ни стало она хочет, чтобы дочь и внучка были возле нее. «Внучка, свет мой! Желая тебе, друк сердешной, всева блага от всево моего сердца, да хочетца, хочетца, хочетца тебя, друк мой, внучка, мне, бабушке старенькой, видеть тебя, маленькую, и подружитца с табою: старая с малым очень живут дружна. Да позави ка мне батюшку и матушку в гости и пацалуй их за меня и штобы ане привезли и тебя, а мне с табою о некаких нуждах самых тайных подумать и перегаварить [нужно]». Самой же Екатерине царица угрожает проклятием, если та не приедет к больной матери. К середине 1722 года старая царица, наконец, добилась своего, и Петр потребовал, чтобы Карл Леопольд и Екатерина прибыли в Россию. Петр пишет, что если герцог приехать не сможет, то герцогиня должна ехать сама, «понеже невестка наша, а ваша мать в болезни обретається и вас видеть желает».

Воля государя, как известно, закон, и Екатерина Иоанновна с дочерью, оставив Карла Леопольда одного воевать с собственными вассалами и прочими многочисленными врагами, едут в Россию, в Москву, где в это время был двор. Прасковья ждет их в любезном сердце Измайлове, посылая навстречу нарочных: «Долго вы не будете? Пришлите ведомость, где вы теперь? Пуце тошно: ждем да не дождемся!» И когда 14 октября 1722 года герцог Голштинский Карл Фридрих посетил Измайлово, то увидел довольную царицу Прасковью. Сидя в кресле-каталке, «она держала на коленях маленькую дочь герцогини Мекленбургской – очень веселенького ребенка лет четырех». Да, уже в августе 1722 года Екатерина с дочерью приехали в Измайлово. Снова Катюшка оказалась в привычном доме, среди родных и слуг. А за окнами старого дворца, как и в детстве царевны, шумел полный осенних плодов измайловский сад.

И мать и придворные, вероятно, только посмеивались, глядя на Катюшку: жизненные трудности, болезни, неясное будущее не изменили веселого характера общей любимицы. Она была, как и прежде, беззаботна. Почти сразу же она как будто забывает мекленбургский кошмар, танцует, веселится традиционными (с шутами) и «новоманирными» забавами. В октябре 1722 года для своих гостей Екатерина устроила спектакль. Она набрала труппу из фрейлин и слуг, заказала костюмы, попросила у герцога Голштинского в долг парики и самозабвенно режиссировала спектакль, состоявшийся, как писал Берхгольц, «не из чего иного, как из пустяков». На представлении присутствовали голштинские придворные, которые потом с печалью обнаружили, что их карманы значительно полегчали. Берхгольц был безутешен – в полумраке уютного зала кто-то вытащил у него дорогую табакерку.

Девочка-принцесса из германской жизни сразу же попала в обстановку русского XVII века, который, правда, понемногу терял свои черты под натиском новой культуры века восемнадцатого. Берхгольц занес в свой дневник за 26 октября 1722 года запись о посещении в Измайлове герцогини Мекленбургской и ее дочери. Екатерина привела голштинцев в свою спальню, где пол был устлан красным сукном, кровати матери и дочери стояли рядом. Гости были шокированы видом какого-то «полуслеплого, грязного и страшно вонявшего чесноком и потом» бандуриста, который пел для Екатерины ее любимые и, как понял Берхгольц, не особенно приличные песни. «Но я еще более удивился, увидев, что у

них по комнатам разгуливает босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки... Принцесса часто заставляет плясать перед собой эту тварь и... ей достаточно сказать одно слово, чтобы видеть, как она тотчас поднимет спереди и сзади свои старые вонючие лохмотья и покажет все, что у нее есть. Я никак не воображал, что герцогиня, которая так долго была в Германии и там жила сообразно своему званию, здесь может терпеть возле себя такую бабу». Наивный камер-юнкер! По этому поводу Петр Великий мог был повторить: «Обыкновение – другая природа...»

Екатерина выросла в царицыной комнате своей матушки, и нравы ее, люди ее – шуты, блаженные, убогие – никуда не исчезли ни из сознания герцогини Мекленбургской, ни из Измайловского дворца, куда она вернулась с дочерью. И девочка оказалась в этой среде, в окружении привычных для бабушки и матери ценностей.

В тени неизвестности

О годах, проведенных Катюшкой и ее дочерью после приезда из Мекленбурга в Россию и до воцарения Анны Иоанновны в 1730 году, мы знаем очень мало, как и о характере девочки. Думаю, что она росла обыкновенным ребенком. Берхгольц в 1722 году писал, что раз, прощаясь с царицей Прасковьей, он имел счастье видеть голенькие ножки и колени принцессы, которая, «будучи в коротеньком ночном капотце, играла и каталась с другою маленькой девочкой на разостланном на полу тюфяке» в спальне бабушки. По-видимому, красавец камер-юнкер очень понравился маленькой прелестнице. 9 декабря того же года Берхгольц записал, что его посетил придворный герцогини и «просил, чтобы я после обеда приехал в Измайлово танцевать с маленькой принцессой, которая все обо мне спрашивает и ни с кем другим танцевать не хочет».

Известно, что принцесса вместе с матерью и бабушкой из Измайлова переехала в Петербург. Здесь 13 октября 1723 года царица Прасковья Федоровна скончалась. Перед смертью, как пишет современник, она приказала подать зеркало и долго всматривалась в свое лицо. Уступая настояниям Екатерины Алексеевны, она подписала примирительное письмо к нелюбимой дочери – герцогине Курляндской Анне, с которой была в тяжелой долголетней ссоре.

Похороны Прасковьи состоялись 22 октября 1723 года и были по-царски торжественны и продолжительны: балдахин из фиолетового бархата с вышитым на нем двуглавым орлом, изящная царская корона, желтое государственное знамя с крепом, печальный звон колоколов, гвардейцы, император со своей фамилией, весь петербургский свет в трауре. Наконец условный сигнал – и высокая черная колесница, запряженная шестеркой покрытых черными попонами лошадей, медленно поползла по Перспективной. Царицу Прасковью до самой Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря провожала вместе с матерью и теткой Прасковьей и пятилетняя Анна. Ее везли в карете, было сыро, грязно, скользко, холодно – чего ждать от поздней осени в Петербурге...

Дела мекленбургского семейства между тем шли все хуже. Стало известно, что муж Екатерины Иоанновны не намерен менять своей самоубийственной политики, и германский император – верховный сюзерен германских князей – пригрозил своему строптивому вассалу передать управление герцогством его брату Христиану Людвигу. Екатерина была огорчена и тем, что Карл Леопольд отказывается приехать в Петербург, к Петру, который все же имел возможность, пользуясь своим влиянием в Европе, как-то помочь «дикому герцогу». Но Петр в 1725 году умер, и в конце концов, после долгой борьбы, герцог, не менявший своей «натуры», в 1736 году был лишен германским императором престола. Престол перешел к его брату, а герцог был арестован и кончил жизнь в ноябре 1747 года в темнице мекленбургского замка Демниц. С женой и дочерью он после их отъезда в Россию так никогда и не увиделся.

Впрочем, огорчения Катюшки были неглубоки и недолги – ее всепобеждающий оптимизм брал верх, она веселилась и к тому же полнела. Берхгольц записал в своем дневнике, что как-то герцогиня пожаловалась ему: император, видя ее полноту, посоветовал ей меньше есть и спать, и она от этого страдала. Но, как замечает камер-юнкер, «герцогиня скоро оставила пост и бдение, которых, впрочем, и не могла бы долго выдержать». Анна

была все время с матерью, которая при Екатерине I и при Петре II окончательно уходит в
тень безвестности – Иоанновны никого уже не интересуют.

Счастливым случаем с тетушкой и его последствия

Так бы и пропали в безвестности имена наших героинь, как пропал дворец в Измайлове, если бы в январе 1730 года не умер Петр II и на престол не была приглашена верховниками – членами Верховного тайного совета – герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, тетка одиннадцатилетней мекленбургской принцессы.

Довольно быстро, как мы знаем, Анна Иоанновна освободилась от ограничений, которые пытались наложить на ее власть верховники, и стала полновластной самодержицей. А если так, то неизбежно вставал вопрос о престолонаследии. Анна не имела детей, по крайней мере, законнорожденных, и ее смерть могла открыть дорогу к власти либо Елизавете Петровне, либо «чертушке» – так звали при дворе двухлетнего принца Голштинского Карла Петера Ульриха, сына Анны Петровны, умершей в 1728 году, и герцога Карла Фридриха. Этого Анна Иоанновна ни при каких обстоятельствах допустить не могла. Сама же царица, давно состоявшая в пикантной связи с Бироном, замуж идти не хотела. Когда в 1730 году в Москве вдруг появился жених – брат португальского короля инфант Эммануил, его подняли на смех и поспешно, подарив шубу, выпроводили восвояси. Никто в России даже представить не мог, чтобы у самодержицы-императрицы появился супруг! Кто же тогда будет над нами царствовать?

И тут всплыл довольно сложный план разрешения проблемы престолонаследия, который разработали хитроумный вице-канцлер Андрей Иванович Остерман и граф Карл Густав Левенвольде. Не имея других вариантов, императрица на него согласилась. В начале 1731 года неожиданно для многих императрица, как я уже упоминал, потребовала всеобщей присяги на верность своих подданных тому наследнику престола, которого в будущем выберет она сама. Этим Анна Иоанновна восстанавливала в силе Устав Петра Великого от 1722 года о наследии престола, по которому самодержец имел право назначить себе в преемники любого из своих подданных.

Послушно присягая в том, что от них требовали, подданные слегка недоумевали: кто же будет наследником? Вскоре стало известно, что им станет тот, кто родится от будущего брака племянницы царицы, которой в ту пору было всего двенадцать лет, и ее еще неведомого мужа. В этом-то и состоял план Остермана – Левенвольде. По заданию императрицы Левенвольде немедленно отправился в Европу на поиски жениха, а с юной Анной Леопольдовной в 1731 году начали происходить волшебные перемены.

Девочку забирают от матери ко двору, назначают приличное ей содержание, штат придворных, а главное, начинают поспешно воспитывать в православном духе, ведь с ее именем связана большая государственная игра. Обучением занимается сам Феофан Прокопович. Именно теперь принцесса Мекленбургская, дочь Екатерины Иоанновны и Карла Леопольда, нареченная при крещении по лютеранскому обряду Елизаветой Екатериной Христиной, получила то имя, под которым она вошла в историю России. В 1733 году отроковицу крестил православный священник, назвав ее Анной. Это создало у сторонних наблюдателей впечатление, будто императрица удочерила племянницу. Думаю, что это не так: скорее всего, Анна Иоанновна стала крестной матерью Анны Леопольдовны.

Родная мать, герцогиня Мекленбургская, присутствовала 12 мая 1733 года на торжественной церемонии крещения дочери. Спустя месяц Екатерина Иоанновна умерла.

Все годы после замужества она страдала серьезными женскими болезнями, у нее развилась водянка, и смерть пришла, когда ей было чуть за сорок. Ее похоронили рядом с матерью – царицей Прасковьей – в Александро-Невском монастыре.

5 февраля 1733 года в Петербург прибыл найденный Левенвольде на просторах Германии жених – Антон Ульрих, принц Брауншвейг-Беверн-Люнебургский, восемнадцатилетний племянник австрийской императрицы Елизаветы – супруги императора Священной римской империи Карла VI. Он приехал в студеную зимнюю пору и попал сразу же на праздник тезоименитства императрицы. В тот вечер он вместе с именинницей и ее знатными гостями наблюдал удивительное зрелище: на ледовом поле перед Зимним дворцом тысячами зеленых и синих искусственных огней засиял сад, «в середине которого Е. И. В. вензловое имя красными цветами [иллюминации] изображено было, а сделанную над оным корону представляли разные цветы, такой вид имеющие, какой в употребленных в короне натуральных камнях находится». Иллюминация украшала крепости, Петропавловскую и Адмиралтейскую, и Академию наук. На все это славное «позорище» пошло больше ста пятидесяти тысяч светильников. Принц мог убедиться, как ему повезло, – его принимали в столице могущественной империи.

Не-жених и не-невеста

Принцесса Анна не производила выгодного впечатления на современников. «Она не обладает ни красотой, ни грацией, – пишет жена английского резидента леди Рондо в 1735 году, – аееум еще не проявил никаких блестящих качеств. Она очень серьезна, немногословна и никогда не смеется; мне это представляется весьма неестественным в такой молодой девушке, и я думаю, за ее серьезностью скорее кроется глупость, нежели рассудительность».

Зато иного мнения был об Анне будущий обер-камергер Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Он писал, что ее почитали холодной, надменной и «якобы всех презирающей». На самом же деле ее душа была нежной и сострадательной, великодушной и незлобивой, а холодность была лишь защитой от «грубейшего ласкательства», так распространенного при дворе ее тетушки.

Так или иначе, некоторая нелюдимость, угрюмость, неприветливость принцессы бросались в глаза всем. Много лет спустя французский посланник Шетарди передавал рассказ о том, что Екатерина Иоанновна была вынуждена «прибегать к строгости против своей дочери, когда та была ребенком, чтобы победить в ней дикость и заставить являться в обществе». Вероятно, объяснение малосимпатичным чертам Анны Леопольдовны надо искать не только в ее природном характере, но и в обстоятельствах ее жизни, особенно после 1733 года.

Приехавший жених всех разочаровал: и невесту, и императрицу, и двор. Худенький, белокурый, женоподобный, сын герцога Фердинанда Альбрехта был неловок от страха и напряжения под пристальными, недоброжелательными взглядами придворных «львов» и «львиц». Как писал в своих кратких мемуарах Бирон, «принц Антон имел несчастье не понравиться императрице, очень недовольной выбором Левенвольде. Но промах был сделан, исправить его, без огорчения себя или других, не оказалось возможности». Анна Иоанновна не сказала официальному свату – австрийскому посланнику – ни да, ни нет, но оставила принца в России, чтобы он, дожидаясь совершеннолетия принцессы, обжился, привык к новой для него стране. Ему присвоили чин подполковника Кирасирского полка и назначили содержание. Принц неоднократно и безуспешно пытался сблизиться с будущей супругой, но она равнодушно отвергала его дружбу. «Его усердие, – писал впоследствии Бирон, – вознаграждалось такой холодностью, что в течение нескольких лет он не мог льстить себя ни надеждою любви, ни возможностью брака».

Летом 1735 года произошел скандал, объяснивший стойкое равнодушие Анны к Антону Ульриху. Шестнадцатилетнюю девушку заподозрили в интимной связи с красавцем и волокитой графом Карлом Морицем Линаром, польско-саксонским чрезвычайным посланником, причем в содействии любовникам была обвинена воспитательница Анны госпожа Адеркас. В конце июня того же года ее поспешно посадили на корабль и выслали за границу, а в следующем году по просьбе русского правительства был отозван и Линар. Причина была, как писал английский резидент Клавдий Рондо, в том, что «принцесса молода, а граф – красив». Пострадал и устраивавший тайные свидания камер-юнкер принцессы Иван Брылкин – его сослали в Казань.

Больше об этом инциденте сказать ничего невозможно. Известно лишь, что с приходом

Анны Леопольдовны к власти в 1740 году Линар тотчас объявился в Петербурге, стал своим человеком при дворе, участвовал в совещаниях, получил орден Андрея Первозванного, бриллиантовую шпагу и прочие награды, что позволило всем считать его фаворитом. Отмечен был и верный Брылкин – его назначили обер-прокурором Сената.

Разлучив Анну Леопольдовну с Линаром, императрица установила чрезвычайно жесткий, недремлющий контроль над племянницей, и проникнуть на ее половину было весьма сложно. Фактическая изоляция от подруг, света, двора, где она появлялась лишь на официальных церемониях, длившаяся пять лет, не могла не повлиять на психику и нрав Анны Леопольдовны. Не особенно живая и общительная от природы, теперь она стала замкнутой, склонной к уединению, размышлениям. Как пишет Эрнст Миних, она была большой охотницей до немецких и французских книг. Она поздно вставала, небрежно одевалась и причесывалась, с неохотой и страхом выходила на освещенный паркет придворных торжеств. Даже когда Анна Леопольдовна стала правительницей, общество, состоявшее больше чем из четырех человек, к тому же ее близких знакомых, было для нее тягостно, а о шумных праздниках и маскарадах при ней никто и не заикался. Изоляция принцессы была прервана лишь в конце июня 1739 года, когда австрийский посланник маркиз де Ботта д'Адорно от имени принца Антона Ульриха просил у императрицы руки принцессы Анны и получил благосклонное согласие.

Свадьба со слезами на глазах

Согласие императрицы на брак племянницы и Антона Ульриха было вынужденным. Поначалу Анне не хотелось думать ни о каком наследнике. Ей, ставшей императрицей в тридцать семь лет, после стольких лет испытаний, унижений, бедности, казалось, что жизнь только начинается. К тому же ни племянница, ни ее будущий супруг царице не нравились, и она тянула с решением этого дела. Судьба принцессы больше беспокоила Бирона. Видя демонстративное пренебрежение Анны Леопольдовны к жениху, герцог в 1738 году пустил пробный шар: через посредницу, некую придворную даму, он попытался выведать, не согласится ли принцесса выйти замуж за Петра Бирона, старшего сына временщика. При этом он нашел отклик у самой императрицы. Петр был младше принцессы на шесть лет, что не смущало фаворита, ведь в случае успеха его замысла род Биронов породнился бы с правящей династией! Но Анна Леопольдовна решительно отвергла притязания Бирона, сказав, что готова пойти за Антона Ульриха – по крайней мере, «он в совершенных летах и старого дома». Принц же к этому времени возмужал, участвовал волонтером в русско-турецкой войне, показал себя храбрецом под Очаковым, за что удостоился чина генерала и ордена Андрея Первозванного...

По словам Бирона, Анна Иоанновна как-то сказала ему: «Никто не хочет подумать о том, что у меня на руках принцесса, которую надо отдавать замуж. Время идет, она уже в поре. Конечно, принц не нравится ни мне, ни принцессе; но особы нашего состояния не всегда вступают в брак по склонности». Еще важнее было другое. Английский резидент Клавдий Рондо писал: «Русские министры полагают, что принцессе пора замуж, она начинает полнеть, а по их мнению, полнота может повлечь за собою бесплодие, если замужество будет отсрочено на долгое время».

Оценив все эти обстоятельства, императрица решила больше не откладывать свадьбу. 1 июля 1739 года молодые обменялись кольцами. Антон Ульрих вошел в зал, где проходила церемония, одетый в белый с золотом атласный костюм, его длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. Леди Рондо, стоявшей рядом со своим мужем, пришла в голову странная мысль, которой она и поделилась в письме к своей приятельнице в Англии: «Я невольно подумала, что он выглядит, как жертва». Удивительно, как случайная, казалось бы, фраза стала пророчеством. Ведь Антон Ульрих действительно пал жертвой российских династических неурядиц.

Но в тот момент жертвой считала себя невеста. Она дала согласие на брак и «при этих словах... обняла свою тетушку за шею и залилась слезами. Какое-то время Ее величество крепилась, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, австрийский посол (Ботта. – Е. А.) не стал успокаивать императрицу, а обер-гофмаршал (Рейнгольд Густав Левенвольде. – Е. А.) – принцессу». После обмена кольцами первой поздравлять невесту подошла цесаревна Елизавета Петровна. Реки слез потекли вновь. Все это больше походило на похороны, чем на обручение.

Сама свадьба состоялась 3 июля 1739 года. Великолепная процессия потянулась к церкви Рождества Богородицы, стоявшей на месте нынешнего Казанского собора. В роскошной карете лицом к лицу сидели императрица и невеста в серебристом платье. Потом был обед, бал – все утомительно и долго. Наконец невесту облачили в атласную ночную сорочку,

отделанную брюссельскими кружевами, герцог Бирон привел одетого в домашний халат принца, и двери закрыли. Целую неделю двор праздновал свадьбу.

Были обеды и ужины, маскарад с новобрачными в оранжевых домино, опера в придворном театре, фейерверк и иллюминация в Летнем саду. Леди Рондо была в числе гостей и потом сообщала, что «каждый был одет в наряд по собственному вкусу: некоторые – очень красиво, другие – очень богато. Так закончилась эта великолепная свадьба, от которой я еще не отдохнула, а что еще хуже, все эти рауты были устроены для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга; по крайней мере, думается, это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы: она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы».

Как бы то ни было, через тринадцать месяцев этот печальный брак дал свой плод – 12 августа 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика, названного, как его прадед, Иваном.

Как стряпают на политической кухне

Английский посланник Э. Финч так описывает это совсем еще «горячее» в те дни событие: «В то самое время как я занят был шифрованием этого донесения, огонь всей артиллерии возвестил о счастливом разрешении принцессы Анны Леопольдовны сыном. Это заставило меня немедленно бросить письмо, надеть новое платье... и поспешить ко двору с поздравлением. Сейчас возвратился оттуда. Принцесса вчера еще гуляла в саду Летнего дворца, где проживает двор, спала хорошо, сегодня же поутру, между пятью и шестью часами, проснулась от болей, а в семь часов послала известить Ее величество. Государыня прибыла немедленно и оставалась у принцессы до шести часов вечера, то есть ушла только через два часа по благополучном разрешении принцессы, которая, так же как и новорожденный, в настоящее время находится, насколько возможно, в вожделенном здравии».

Рождение сына у молодой четы обрадовало императрицу Анну Иоанновну. Она была восприемницей новорожденного. Рискованный династический эксперимент неожиданно удался – родился мальчик, он был здоровый и крепкий. Рад был и Бирон, так как опасность передачи власти Анне Леопольдовне или Елизавете Петровне отодвигалась, по крайней мере, до достижения Иваном дееспособного возраста. Временщик мог пока жить спокойно. Анна Иоанновна отобрала мальчика у родителей и поместила его в комнатах рядом со своими покоями. Антон Ульрих и Анна Леопольдовна выполнили свою «племенную» функцию, и в их услугах больше не нуждались. Однако понячить внука, точнее – внучатого племянника, заняться его воспитанием императрица не успела. 5 октября 1740 года у Анны Иоанновны прямо за обеденным столом произошел сильнейший приступ почечнокаменной болезни (вскрытие впоследствии показало, что в почках императрицы образовались целые кораллы из отложений, которые и привели к смерти).

В тот же день Бирон созвал совещание, на которое пригласил фельдмаршала Б. Х. Миниха, обер-гофмаршала Р. Г. Левенвольде, канцлера А. М. Черкасского и кабинет-министра А. П. Бестужева-Рюмина. Фаворит, как пишет сын Миниха, «проливая токи слез и с внутренним от скорби терзанием, вопиял» не только о своей судьбе (что, конечно, было искренне), но и о судьбе России, которой грозили несчастья из-за малолетства Ивана Антоновича и слабых характеристик Анны Леопольдовны. Под конец Бирон заявил, что «крайне важно и полезно правление государстваверить такой особе, которая не токмо достаточную снискала опытность, но также имеет довольно твердости духа непостоянный народ содержать в тишине и обуздании».

Министры – «ревностные патриоты», как их назвал потом Бирон, – чистосердечно и с энтузиазмом тут же заявили, что иного правителя, кроме самого Бирона, они не видят. Тот начал отказываться. И тут – по одной из версий – Бестужев льстиво «обхамил» своего повелителя, грубо упрекнув его в неблагодарности к России, стране, которая принесла ему славу и которую он теперь бросает в отчаянном положении. Бирон устыдился и согласился быть регентом, но сразу же сказал, что приглашения от четырех министров ему недостаточно, пусть все решит «государство» – собрание высших чинов армии, флота, церкви, Сената, коллегий и двора. Он хотел, чтобы с прошением в зубах приползла вся знать, включая и недовольных им.

И действительно, на другой день они приползли – подписались под коллективной петицией к Анне Иоанновне с просьбой назначить герцога регентом. Больше других хлопотали за Бирона Миних и Остерман. По мнению самого Бирона, Миних был «к регентству первый зачинщик». Во всяком случае, фельдмаршал оказался в первом ряду просителей за Бирона перед умирающей царицей. И тут фаворит встретил совершенно неожиданное препятствие: никакого завещания страшно боявшаяся смерти императрица подписывать не хотела. Как писал Шетарди, «в России господствует предрассудок, основанный на действительно бывших примерах, будто бы монарх никогда не живет долго после распоряжения» о наследстве.

Бирон же впоследствии приводил в своих ответах на вопросы следователей другое объяснение. Анна Иоанновна боялась за свою власть и говорила, что стоит официально объявить наследником принца Ивана, «то уж всяк будет больше за ним ходить, нежели за нею». Царица хорошо знала своих «нижайших рабов», и Остерман едва-едва уговорил ее хотя бы взять в руки необходимые бумаги. Твердость проявила и Анна Леопольдовна, заявив, что просить ни о чем не станет, ибо не сомневается, что Ее Величество сделает необходимое «благоустройство» ее семьи и без особых просьб. Для Бирона дело стало приобретать неблагоприятный оборот – если Анна Иоанновна не подпишет завещание, то регентами могут стать родители царя Ивана Антоновича, а не он.

Тогда Бирон начал сам, стоя на коленях, упрашивать царицу подписать завещание, или, как злорадно пошутил Миних-младший, «герцог видел себя принужденным сам по своему делу стряпать». Стряпать приходилось на скорую руку, кое-как, ведь жизнь уходила от Анны Иоанновна буквально на глазах. Бирон не покидал опочивальню императрицы, пока та, наконец, не подписала указ о назначении принца Ивана наследником престола. Указ датировался задним числом – 6 октября. И как только 17 октября Анна Иоанновна навеки закрыла глаза, был оглашен подписанный ею фактически накануне смерти указ-завещание в пользу принца Ивана, регентом при котором становился (до семнадцатилетия императора) Бирон. Он же, согласно букве закона, остался бы регентом и в случае преждевременной кончины императора Ивана Антоновича при его несовершеннолетнем брате (если тот, конечно, родится).

Бирон мог вытереть трудовой пот со лба. Его стряпня удалась.

Die Fatalitat, или Любовь к ночным приключениям

Сколько раз уже бывало в истории, что вот так, достигнув вершины власти, человек от одного неверного движения или чьего-то легкого толчка вдруг низвергался в бездну. Именно так пал российский Голиаф – Меншиков, преодолевший все препятствия к вершине власти. И вот теперь наступила очередь Бирона: от судьбы своей не убежишь! Регентство Бирона было кратким – всего три недели, а вовсе не семнадцать лет, как он предполагал.

Поначалу все шло хорошо. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин хвастался саксонскому дипломату Пецольду о том, как они с Бироном ловко провернули дело: за одну ночь после смерти Анны Иоанновны отпечатали манифест о регентстве и форму присяги, что позволило уже на следующий день привести к кресту (то есть к присяге) полки и жителей столицы. Сделано все было так быстро, что возможные противники не успели даже прийти в себя. «Теперь, – вещал этот фаворит фаворита, – для достижения полного единодушия нам остается только награждать благонамеренных и примерно наказывать непокорных». В самом деле, присяга гвардии, самый щекотливый момент, прошла вполне гладко. Как писал английский посланник Э. Финч, действительно, «все свершилось в большем спокойствии, чем простой смотр гвардии в Гайд-парке».

Бирон мог опереться на своих людей везде: в армии, где заправлял его союзник фельдмаршал Миних, в государственном аппарате (в Кабинете министров сидели Бестужев-Рюмин и Черкасский), в секретной полиции – верный Андрей Иванович Ушаков служил всегда тому, кто стоял у власти. Вскоре Бирону донесли наушники, то есть те, кто «лежал на ухе», что отец императора позволяет себе публично осуждать регента и сомневаться в подлинности акта об учреждении регентства. Сообщили Бирону и о сочувствии гвардейцев и чиновников Антону Ульриху, и даже о готовящемся заговоре в пользу Брауншвейгской фамилии (или семейства) – так стали называть семью императора Ивана Антоновича.

Регент действовал решительно и быстро: подозреваемые двадцать человек были арестованы, некоторых допрашивали и пытали, а принцу устроили нечто вроде «разбора персонального дела на собрании трудового коллектива». В присутствии высших чинов государства Бирон, как писали в позднейшем указе, стал Антона Ульриха «многими непристойными нападениями нагло утеснять», а проще говоря, орал на отца императора, угрожая ему дуэлью, а Ушаков назвал его мальчишкой и обещал поступить с ним как с государственным преступником. Растерянный принц совершенно стушевался, нес околесицу, оправдывался и просил прощения. После этого его отстранили от всех должностей и фактически посадили под домашний арест «под протекстом (предлогом. – Е. А.) опасной по улицам езды».

Антон Ульриха заставили написать прошение на имя собственного сына об отставке из армии и гвардии, «дабы при Вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». «Нижайшего раба» (так он подписался) уволили указом за подписью Бирона: «Именем Его Императорского Величества Иоганн, регент и герцог». От имени младенца-императора в Москву был послан указ, чтобы «под рукою искусным образом осведомиться старались, что в Москве между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении (регентстве. – Е. А.) говорят, и не происходит ли иногда, паче чаяния, от кого о том непристойные рассуждения и толкования».

Припугнул герцог и Анну Леопольдовну, пообещав ей в случае непослушания выписать из Киля «чертушку» – сына Анны Петровны Карла Петера Ульриха, имевшего, как внук Петра Великого, побольше прав на престол, чем Иван Антонович. Тем самым Бирон намекал, что может выслать Брауншвейгскую фамилию в Германию, так сказать к разбитому корыту. Беседовал он и с цесаревной Елизаветой, обещал ей хорошее содержание, а думал, вероятно, о том, как бы женить на этой красавице своего сына Петра.

Одним словом, регент, несмотря на печаль по своей покойной благодетельнице, был активен, все у него шло отлично. 8 ноября 1740 года он долго разговаривал с Минихом о делах. Тот, как всегда, знакомил Бирона с материалами из разных государственных учреждений и «представлял, что все тихо, смиренно и довольно».

На этот раз регент был слегка рассеян, а под конец беседы вдруг спросил Миниха: «А что, фельдмаршал, вам никогда не случилось во время ваших воинских предприятий производить что-либо значительное ночью?» Миних, по словам его адъютанта Манштейна, отвечал, что «не помнит, но что его правилом было пользоваться всеми обстоятельствами, когда они кажутся благоприятными».

Думаю, что Миних, рассказывая эту историю адъютанту, приврал по своему обыкновению. Скорее всего, он от страха прикипел к стулу и пробормотал что-то нейтральное и неразборчивое, а земля под ним закачалась. Ведь Бирон, сам того не ведая, попал в точку: Миних как раз готовился этой ночью к «воинскому предприятию» – «походу» на спящего регента. Впрочем, может быть, Бирон что-то и заподозрил. Позже на следствии он говорил, что Миниху не верил, ибо «нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и при том деспотат и весьма интересоваат» (то есть человек отчаянный и заинтересованный). Признавался он и в том, что боялся гвардейцев...

Короткий путь от могущества до грязного сугроба

Намерение убрать Бирона созрело у Миниха уже давно. Главной причиной его недовольства была скупость регента на чины, награды и ласку для фельдмаршала, оказавшего ему серьезную поддержку при обретении регентства. Перед переворотом Миних сумел найти общий язык с Анной Леопольдовной – та, не изощренная в интриге, сразу же стала жаловаться нашему герою на притеснения и грубости Бирона и тем самым подтолкнула фельдмаршала к решительным действиям. Судя по всему, столкновение между Анной Леопольдовной и Бироном рано или поздно должно было произойти. Как писал 1 ноября Финч, несмотря на величайшую мягкость и уважение, проявляемые публично регентом в отношении Анны, они враги: «Герцог всегда видел в принцессе смертельного врага и чувствует, что присвоение регентства в ущерб ей, особенно по устранении ее от самого престола, она ему никогда не простит». Так это и было.

Получив благословение матери царя, отважный воин с 80 солдатами в ночь на 9 ноября 1740 года двинулся к Летнему дворцу, где мирно почивал регент. Подойдя к дворцу, Миних приказал своему адъютанту Манштейну арестовать Бирона, а при попытке сопротивления – да, да! – прикончить. Манштейн вошел во дворец и, минуя отдающих ему честь часовых и кланяющихся слуг, уверенно и спокойно зашагал по залам, будто бы со срочным донесением к регенту. Но его прошибал холодный пот, и в душе нарастала тревога: он явно заблудился, спрашивать же у попадавшихся навстречу слуг, где спит герцог, он не мог – это было бы слишком странно и подозрительно. Впрочем, предоставим слово самому Манштейну (он пишет о себе в третьем лице): «Он прошел в сад и беспрепятственно дошел до покоев. Не зная, однако, в какой комнате спал герцог, он был в большом затруднении, не зная, куда идти».

Остановимся на минуту и представим себе чувства как мерзнувшего на ночном сквозняке фельдмаршала, так и его незадачливого адъютанта, потерявшегося во тьме дворцовых переходов. «После минутного колебания он решил идти дальше по комнатам в надежде, что найдет наконец то, чего ищет. Действительно, пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверью, запертой на ключ; к счастью для него, она была двустворчатая и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки, таким образом, он мог открыть ее без особенного труда (а если бы слуги не забыли про задвижки, что делал бы Манштейн? – Е. А.). Там он нашел большую кровать, на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери.

Манштейн, подойдя к кровати, отдернул занавесы и сказал, что имеет дело до регента, тогда оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневаясь, что он явился к ним с недобрым известием. Манштейн очутился с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому регент соскочил с кровати, очевидно, с намерением спрятаться под нею, но тот поспешно обежал кровать и бросился на него, сжав его как можно крепче обеими руками, [и держал] до тех пор, пока не явились гвардейцы. Герцог, встав наконец на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево; солдаты отвечали ему сильными ударами прикладов, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голого до гауптвахты, где его накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую его тут карету фельдмаршала».

Сам Бирон в позднейших мемуарах к описанию печального эпизода собственного падения смог только добавить: «Тут меня ровно ни о чем не спрашивали». Да, уж конечно, – спрашивать будут следователи! Заметим попутно, что ночная беготня и шум подняли на ноги весь дворец, и только покойной императрице не было до всего этого никакого дела – она тихо лежала в гробу в парадном зале и не видела, как мимо пронесли мычащего и лягающегося ее обер-камергера.

«В то время когда солдаты боролись с герцогом, – заключает Манштейн свой приключенческий рассказ, – герцогиня соскочила с кровати в одной рубашке и выбежала на улицу, где один из солдат взял ее на руки, спрашивая у Манштейна, что с ней делать. Он приказал отнести ее обратно в ее комнаты, но солдат, не желая утруждать себя, сбросил ее на землю, в снег, и ушел».

НОВЫЙ ГОДУНОВ

На следующий день крошечный император разразился пространнейшим обличительным – в адрес свергнутого регента – манифестом. «Он, герцог Курляндский... Нашим вселюбезнейшим родителям, Нашей государыне матушке и Нашему государю отцу, столь великое оскорбление и пренебрежение публично нанести» посмел, «при том разные неслыханные, непристойные угрозы» употребил и вообще нарушал государственные права и виноват в «малослыханном похищении нашей казны». Кроме того, Бирон удостоился чести быть сравненным с Борисом Годуновым, которого тогда рассматривали как убийцу царевича Дмитрия и узурпатора. Вот и Бирон, «будучи надмен гордостью и ненасытством властолюбия», поступал «так же, как и вышеупомянутый Годунов».

Чтобы прийти к такому сравнению, потребовалось нарядить специальную комиссию, которая начала расследование преступной деятельности Бирона. Сохранились материалы следствия, и по ним видно, что найти криминал для расправы с регентом было довольно трудно, он ловко уходил из-под ударов. Когда его обвиняли «в небрежении здоровья» императрицы Анны Иоанновны, которая, несмотря на подагру, хирагру и почечнокаменную болезнь, была вынуждена много времени проводить вместе с Бироном в конном манеже, то он, во-первых, ссылался на докторов, не предрекавших государыне скорого конца, и, во-вторых, рассказывал, как он самоотверженно боролся за ее здоровье и, увидев, что императрица «лекарство с великой противностью принимает, а часто и вовсе принимать не изволит», припадал к ногам Е. И. В., «слезно и неусыпно просил, чтобы теми определенными от докторов лекарствами изволили пользоваться. А больше всего принужден был Е. В. в том докучать, чтоб она клистер себе ставить допустила... к чему напоследок и склонил».

Еще в вину герцогу ставилось то, что он «в церковь Божию не ходил», все дела «по своей воле и страстям отправлял», «оставя свою природную совесть, домогался регентства», был невежлив с придворными и знатью и так на них «крикивал и так продерзостно бранивался, что и Ее величество сама от того часто ретироваться изволила». Представь, читатель, эту картину, достойную кисти художника: «Бирон, разгоняющий посредством многоэтажного мата двор и вынуждающий ретироваться императрицу Анну».

Серьезнее по тем временам были обвинения в том, что «к российским честным людям и ко всей нации был весьма зол», а одного нерасторопного придворного выругал «русской канальей». Чтобы сделать обвинения как можно весомей, следователи туманно намекнули на государственную измену: Бирон якобы заключал «тайные секретнейшие договоры и обязательства... к повреждению государственных здешних интересов с чужими державами».

Надо сказать, что ответы Бирона были обстоятельны и хорошо аргументированы. Он убедительно отвергал одно обвинение за другим, но даже трогательный рассказ о том, как он склонил императрицу поставить клистир, не убедил суровых судей: 14 апреля император Иван Антонович вынес приговор: Бирона и его братьев по «отписанию всего их движимого и недвижимого имущества на Нас, в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение и наглые обиды, которые верные Наши подданные от него претерпели... без всякого взыскания не остались».

В общем, за все это решено было Бирона со всем семейством сослать в Сибирь, в Пелым,

навечно. Сам великий инженер Миних заботливо подготовил чертеж дома для своего поверженного врага и послал специального комиссара в Пелым для наблюдения за сибирской новостройкой. Правда, в Сибири Бироны пробыли недолго – вскоре Елизавета Петровна приказала перевести их в Ярославль.

Неверный насест власти

Тотчас после ареста Бирона войска были собраны к Зимнему дворцу и присягнули на верность «благочестивой государыне правительнице великой княгине Анне всея России» – таким стал титул Анны Леопольдовны. Наступил час фельдмаршала Миниха. «Ночная революция» 9 ноября 1740 года уже вознесла его на вершину власти, хотя, совершая ее, он многим рисковал. Манштейн, хорошо знавший своего честолюбивого патрона, иронически заметил, что Миних мог не раз арестовать регента днем, еще в покоях Анны Леопольдовны, однако «любивший, чтобы все его предприятия совершались с некоторым блеском, избрал самые затруднительные средства» – пошел ночью, понимая при этом, что «если бы один только человек исполнил свой долг (и поднял бы тревогу. – Е. А.), то предприятие фельдмаршала не удалось бы».

Весь двор потешался над Остерманом, который утром, после свержения Бирона, ссылаясь на болезни, отказался явиться к правительнице. Тогда Миних просил передать хитрецу, решившему переждать смуту, что есть некоторые признаки, могущие заставить Остермана сделать над собою усилие, – регент сидит в караульне. Остерман тотчас выздоровел и поспешил к разделу пирога. «Фельдмаршал Миних, – пишет Манштейн, – арестовал герцога Курляндского единственно с целью достигнуть высшей степени счастья... он хотел захватить всю власть, дать великой княгине звание правительницы и самому пользоваться сопряженной с этим званием властью, воображая, что никто не посмеет предпринять что-либо против него. Он ошибся».

Да, Миних ошибся: его, российского Марса, победителя страшного Бирона, вскоре низринула с Олимпа тихая, рассеянная женщина – Анна Леопольдовна. Произошло это так. Миних рассчитывал стать генералиссимусом за «подвиг» своего адъютанта в Летнем дворце, но просчитался – высшее воинское звание 10 ноября получил Антон Ульрих. Миних был оскорблен до глубины души и обращался с отцом царя без почтения, что было отмечено при дворе с неудовольствием. К тому же, сделав фельдмаршала первым министром, правительница поручила иностранные дела Остерману, а внутренние – Михаилу Гавриловичу Головкину. В итоге Миних остался не у дел.

Он вытерпел это только до весны 1741 года. 3 марта он подал прошение об отставке – к этому приему шантажа незаменимый фельдмаршал прибегал не раз, и всегда с успехом. Но тут правительница, немного поколебавшись, вдруг подписала указ, гласивший, что, поскольку Миних «сам Нас просил за старостью и что в болезнях находится и за долговременные Нам и предкам Нашим и государству Нашему верные и знатные службы его от воинских и статских дел уволить», то просьбу его удовлетворить. Миних пал жертвой своей амбициозности – ведь он думал, что незаменим, что без него не обойдутся и, как это бывало при Петре II и Анне Иоанновне, будут просить остаться и выполнят все его требования.

«Это известие, как гром, поразило его, – пишет Манштейн. – Его отблагодарили (отставкой) за его службу, как раз в то время, когда он воображал, что могущество его утверждается более чем когда-либо». Я думаю, сработал принцип «мавр сделал свое дело...» Кажется уместной и приводимая секретарем саксонского посольства Пецольдом латинская пословица «*Proditionem amo, proditorem odi*» («Люблю предательство, ненавижу предателя»).

Миниху определили пенсию и караул возле дома, который отставной, но полный сил и замыслов деятель считал почему-то – в отличие от всех – почетным.

Надо сказать, что слабой женской рукой правительницы водила рука Остермана, который наконец почувствовал, что настал его час и что власть будет принадлежать ему. Мы теперь знаем, что и этот правитель низринул с насеста власти через несколько месяцев после Миниха, и оба они уже при Елизавете отправились в Сибирь: один в Пелым, другой – в Березов. Судьбе было угодно, чтобы в Казани, по дороге в Пелым, бывший фельдмаршал встретился с бывшим регентом, которого везли из Пельма в Ярославль – на новое место ссылки. Встреча была неприятна обоим. Миних ехал на место Бирона. Но поселиться в том доме, который он построил для своего врага, ему не удалось – пожар помешал Миниху проверить, такой ли он хороший архитектор. Больше повезло Остерману. Он обосновался в Березове, на месте, «нагретом» сначала Меншиковым, сосланным из-за интриг Долгоруких и Остермана осенью 1727 года, а потом самими Долгорукими, оказавшимися в Березове в 1730 году. В 1742 году настал черед Андрея Ивановича – свято место, как известно, пусто не бывает.

Простодушные и доверчивость

Провозгласив себя 10 ноября 1740 года великой княгиней и правительницей государства и став, в сущности, самодержавной императрицей, Анна Леопольдовна продолжала жить, как жила раньше. Мужа своего она презирала и частенько даже не пускала на свою половину. Ныне трудно разобраться, почему так сложились их отношения, почему принц был так неприятен Анне. Возможно, в нем не было изящества, лихости и мужественности графа Линара. Фельдмаршал Миних говаривал, что хотя и провел рядом с принцем две военные кампании, но еще его не знает: рыба или мясо. Когда Артемий Вольнский как-то спросил Анну, чем ей не нравится принц, она отвечала: «Тем, что весьма тих и в поступках несмел».

Действительно, история краткого регентства Бирона показала, что в острые моменты, когда требовалось защищать свою честь и благополучие семьи, принц выглядел тряпкой, и не без оснований герцог говорил со смехом саксонскому дипломату Пецольду, что Антон Ульрих привлек к своему заговору против него... придворного шута, а потом на грозные вопросы регента отвечал с наивностью, что ему «хотелось немножко побунтовать». Еще раньше Бирон цинично заметил Пецольду, что главное предназначение принца в России «производить детей, но и на это он не настолько умен. Надобно только желать, чтобы дети, которые могут, пожалуй, от него родиться, были похожи не на него, а на мать», то есть на Анну Леопольдовну. Словом, вряд ли мог бедный Антон Ульрих рассчитывать на пылкую любовь молодой жены.

А драма самой Анны состояла в том, что она совершенно не годилась для ремесла королей, да ее к этому и не готовили. Кроме того, у нее отсутствовало множество качеств, для этого необходимых: трудолюбие, честность, энергия, воля, умение понравиться подданным приветливостью или, наоборот, привести их в трепет грозным видом. Фельдмаршал Б. Х. Миних писал, что Анна «по природе своей... была ленива и никогда не появлялась в Кабинете [министров]; когда я приходил к ней утром с бумагами, составленными в Кабинете, или теми, которые требовали какой-либо резолюции, она, чувствуя свою неспособность, часто мне говорила: „Я хотела бы, чтобы мой сын был в таком возрасте, когда мог бы царствовать сам“».



Правительница Анна Леопольдовна

Далее Миних пишет то, что подтверждается другими источниками – письмами,

мемуарами и даже портретами: «Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фижм (дело, как читатель понимает, совершенно недопустимое! – Е. А.) и в таком виде появлялась публично за столом и после полудня за игрой в карты с избранными ею партнерами, которыми были принц – ее супруг, граф Линар – министр польского короля и фаворит великой княгини, маркиз де Ботта – министр Венского двора, ее доверенное лицо... господин Финч – английский посланник и мой брат (барон Х. В. Миних. – Е. А.)». Только в такой обстановке, дополняет Эрнст Миних, «бывала она свободна и весела в обхождении».

Эти вечера проходили за закрытыми дверями в апартаментах ближайшей подруги правительницы, ее фрейлины Юлианы (Юлии) Менгден, или, как ее презрительно звала Елизавета Петровна, Жулии, Жульки. Без этой «пригожей собою смуглянки» Анна не могла прожить и дня. Их отношения были необычайны. Как писал Финч, любовь Анны к Юлии «походила на самую пламенную любовь мужчины к женщине». Не хочется углубляться в сомнительные предположения на сей счет. Известно лишь, что было намерение поженить Линара и Юлию, которое не было осуществлено из-за переворота, хотя в августе 1741 года их успели обручить, и Анна подарила подруге несметное число драгоценностей и полностью обставленный дом. Цель этого брака состояла в том, чтобы замаскировать связь правительницы с Линаром. Многие наблюдатели сообщали, что значение Линара при Анне непрерывно возрастало. Французский посланник Шетарди получил из рук Елизаветы перехваченную ее людьми записку Линара к правительнице. Тон и содержание ее не оставляют сомнений относительно действительно огромного влияния саксонского посланника на Анну.

Осенью 1741 года Линар уехал в Дрезден, чтобы получить там отставку и стать при Анне Леопольдовне обер-камергером, то есть занять такую же должность, какую имел при Анне Иоанновне Бирон. По дороге назад, в Россию, он услышал о свержении Анны Леопольдовны и повернул обратно. И правильно сделал – не избежать бы ему испытания сибирскими морозами. Как бы то ни было, именно Юлия Менгден, посиживая у камина вместе с Анной за рукоделием (долгими вечерами подруги спарывали золотой позумент с камзолов низвергнутого Бирона), давала правительнице советы об управлении Россией. От этих советов провинциальной лифляндской барышни, имевшей колоссальное влияние на правительницу, у Остермана и других министров вставали волосы дыбом.

Вообще же Анна Леопольдовна была существом безобидным и добрым. Правда, как не без юмора писал Манштейн, правительница «любила делать добро, но вместе с тем не умела делать его кстати». Таким, как Анна, – наивным, простодушным и доверчивым – нет места в волчьей стае политиков, и рано или поздно они гибнут. Так произошло и с Анной. Получив достоверные сведения о готовящемся перевороте в пользу Елизаветы, она не нашла ничего лучшего, как рассказать об этом самой цесаревне, по-родственному ее пожутив и пригрозив взять под арест ее главное доверенное лицо – врача Лестока. Елизавете ничего не оставалось, как отбросить все мучившие ее сомнения и страхи и свергнуть свою родственницу.

Но это было в ноябре 1741 года, а до этого в течение целого года Россией правил император Иван VI, известный по его указам как Иоанн III Антонович (здесь, по-видимому, считались только цари; следовательно, Иваном I считался Иван IV Грозный – первый русский царь, а Иваном II – брат Петра Великого Иван V Алексеевич). Пройдем вслед за матерью к колыбели младенца-императора в опочивальне Зимнего дворца.

«Успел, к несчастью, родиться»

Что можно рассказать о младенце, ставшем самодержцем в возрасте 2 месяцев и 5 дней и свергнутом с престола в 1 год, 3 месяца и 13 дней? Ни многословные указы, им «подписанные», ни военные победы, одержанные «его» армией, сказать о нем ничего не могут. Младенец: он и есть младенец – лежит в колыбельке, спит или плачет, сосет молоко и пачкает пеленки. Сохранилась гравюра, на которой мы видим колыбель, окруженную аллегорическими фигурами Правосудия, Процветания, Науки. Прикрытый пышным одеялом, на нас сурово смотрит пухлощекий малыш. Вокруг его шейки обвита тяжеленная, как вериги, цепь ордена Андрея Первозванного – едва родившись, наследник стал кавалером высшего российского ордена. Что же, таков был удел Ивана Антоновича: всю свою жизнь, от первого дыхания до последнего, он провел в цепях.

Но вот единственный документ, который дает представление о подлинной жизни маленького Ивана, – описание императорских покоев. Пройдя через кабинет императора, покои для советников и секретарей, министерскую комнату, покой «для адмиралтейства», галерею, еще семь покоев, «большую залу и другую залу», мы попадем в опочивальню. Здесь всем командовала старшая мамка царя Анна Федоровна Юшкова, не отходившая от младенца ни на шаг. Ночевала она в соседней комнате, рядом жила и тщательно выбранная из множества кандидаток кормилица Катерина Иоанновна со своим сыном.

У царя были две дубовые колыбели, оклеенные «с лица парчею, а внутри тафтою зеленою», а в них клали «матрацы, подушечки, одеяльца, пуховички». Колыбели строил столярный мастер Партикулярной верфи Иоганн Шмит и употребил на это леса 33 пуда ценою на 7 рублей, 18 и 2/3 копейки. На маленьких скамеечках лежали подушечки, покрытые алым сукном. Не менее красивы были и «креселки» – малиновый бархат, золотой позумент. Стояли в опочивальне и «маленькие, высокие на колесцах кресла» – первый трон государя. Мебель, убранство комнат – все это были произведения искусства выдающихся мастеров, за работой наблюдали архитектор Растрелли и живописец Каравак. Особенно великолепными были вышитые обои. На них шел такой материал: серебро в нитках и шнурках, шелк разнообразный, гродетур, фланель, тафта, узкий и широкий позумент, как золотой, так и серебряный. Оконные и дверные занавеси подбирались в тон обоям, они могли быть зелеными, желтыми, малиновыми, и все непременно с позументом. Пол обивали сукном, красным или зеленым, заглушавшим все шумы и скрипы. До райской опочиваленки царя мог долетать лишь нежный перезвон часов, стоявших в дальних комнатах, да легкое шуршание платьев служанок и мамок, которые сдували каждую пылинку с младенца – повелителя империи.



Император Иван VI с матерью

Дошло до нас и описание «путешествия» императора из Летнего в Зимний дворец в субботу поутру 21 октября 1740 года, составленное Э. Финчем: «По дороге я встретил юного государя. Его величество сопровождал отряд гвардии, впереди ехали обер-гофмаршал и другой высший чин двора, камергеры шли пешком. Сам государь в карете лежал на коленях кормилицы, его сопровождала мать, великая княгиня Анна Леопольдовна. За их первой каретой ехало еще несколько, образуя поезд. Я немедленно остановил свой экипаж и вышел из него, чтобы поклониться Его Величеству и Ея Величеству».

Со слоненком подружиться

Да, у мальчика-императора такая возможность была. 10 октября 1741 года петербуржцы высыпали на улицу, чтобы поглазеть на невиданное зрелище, по сравнению с которым меркли все календарные празднества. В русскую столицу вступало посольство персидского шаха Надира Афшара. К этому времени он достиг вершины славы – к его ногам пала империя Великих Моголов. Разграбив Дели, он захватил добычи на 700 миллионов рупий. И вот частью ее шах решил поделиться с великой северной страной, воевавшей с турками, врагами Надира. При встрече с Анной Леопольдовной персидский посол сказал именно так: «Повелитель мой захотел поделиться отнятою у Великого Могола добычей с таким добрым союзником, каков российский император».



Император Иван Антонович. 1741 г.

Огромный красочный караван прошел по Невской перспективе. Посол в расшитых золотом одеждах гарцевал на великолепном скакуне, следом величественно вышагивали четырнадцать слонов, которые предназначались в подарок императору Ивану. Бесконечная вереница мулов и верблюдов тащила подарки и припасы. Но это было далеко не все посольство. Вступление персидского каравана в пределы империи у Астрахани поначалу вызвало панику в Петербурге – гигантское шестнадцатитысячное посольство весьма напоминало армию под прикрытием пальмовой ветви мира. С трудом удалось уговорить персов сократить посольство в четыре раза, но и так оно осталось огромным.

Но еще невероятнее были подарки – нет, сказочные дары! – персидского шаха: бесценные восточные ткани, сосуды, оружие и конская сбруя, усыпанные драгоценными камнями, редкостные алмазы. Вероятно, Анна Леопольдовна и девица Менгден забросили Бироновы позументы и перебирали эти камушки, гадая, сколько же дивных богатств у Надир-шаха в его столице Мешхеде.

Посольство Надира прибыло в Петербург уже после свержения Бирона. Любопытно, что за год до этого французский посланник Шетарди, узнав о назначении Бирона регентом, поразился похожести судеб этих двух людей, почти одногодков. До какого-то момента их жизненные пути совпадали просто удивительно. Надир – чужестранец в Персии, тюрк из племени афшаров, беглый раб из Хорезма – сумел полностью подчинить своему влиянию

шаха Тахмаспа II Сефевиды. Затем хитростью, силой и коварством он добился низложения своего повелителя и провозглашения шахом восьмимесячного сына Тахмаспа – Аббаса III. Надир стал при мальчике регентом. Но спустя четыре года он решил покончить с династией Сефевидов.

В 1736 году Надир собрал в Муганской степи большой курултай (собрание – до 20 тысяч человек) и предложил избрать нового шахиншаха: Аббас III – ребенок, а он, Надир, утомился от дел и хочет покоя. Это было притворство, и когда убили главу шиитского духовенства, который ратовал за сохранение династии Сефевидов, всем стало ясно, кто должен сесть на персидский престол. И хотя Надир заставил долго себя упрашивать, в конце концов он согласился взвалить на свои плечи эту ношу. Низложенного мальчика Аббаса III и его отца Тахмаспа II по приказу Надир-шаха умертвили. Так перестала существовать династия Сефевидов...

Забавно, но вскоре выяснилось, что Надир-шах прислал посольство для сватовства. До далекого Мешхеда докатилась слава о голубоглазой красавице цесаревне Елизавете Петровне, и, покорив Индию, Надир решил ослепить блеском золота и бриллиантов дочь Петра Великого. Но посланнику не удалось лицезреть ее огромных очей – Остерман не допустил. Цесаревна была в гневе и велела передать Андрею Ивановичу такие слова: «Он забывает, кто я и кто он сам – писец, ставший министром благодаря милости моего отца. Я же никогда не забуду, какие права предоставлены мне Богом и моим происхождением. Он может быть уверен, что ему ничего не будет прощено». И как мы уже знаем, не простила! Дело было не в том, что Елизавета рвалась в гарем Надир-шаха. Она рвалась к власти! Ее час приближался, она уже почувствовала свою силу, и это ясно проявилось в ее гневе.

«Швед вопиет: Ох мне, ах! Ох, мне страх!»

Наверняка этот известный петровский кант был популярен в Петербурге осенью 1741 года. 23 августа войска императора Ивана, врученные правительницей фельдмаршалу П. П. Ласси, наголову разгромили шведов генерала Врангеля под крепостью с труднопроизносимым для русских солдат названием Вильманстранд. (Хотя, думаю, солдаты-победители быстро приспособились, ведь называли же они Ревель – Левером, Шлиссельбург – Шлюшиным, а Ораниенбаум – Рамбовом.)

Швеция начала войну в конце июля 1741 года. Смерть Анны Иоанновны, свержение Бирона, а потом Миниха стали сигналом для реваншистов из Стокгольма. Они сочли момент удобным для того, чтобы попробовать вернуть себе Восточную Прибалтику, пересмотрев тем самым Ништадтский мир 1721 года. Швеция выставила три главные причины войны: убийство русскими шведского дипкурьера барона Синклера, отказ их посылать хлеб в Швецию и, наконец, война была объявлена освободительной. В шведском манифесте говорилось: «Намерение короля шведского состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании...»

Таким образом, как видит читатель, имелось в виду освобождение России от иноземного засилья! Командовавшие русскими солдатами генералы – немцы, англичане, шотландцы Кейт, Иксюль, Стоффельн, Фермор, Альбрехт – под началом Ласси, по-видимому, о благородной цели шведов не знали и делали свое дело, как всегда, профессионально, быстро и решительно. Совершив стремительный марш от Выборга навстречу шведской армии, к ночи 23 августа были под стенами Вильманстранда, где и разбили бивуаки. Несколько пуль (правда, по ошибке своих) насквозь пробили палатку, в которой невозмутимо спал Петр Петрович Ласси, «хоть и иноземец, но человек добрый», как говорили о нем солдаты.

Утром русские войска, преодолев сильно пересеченную местность, атаковали шведскую армию, а потом ворвались в крепость. Большая часть шведов погибла в сражении. Их командующий генерал Врангель и больше тысячи солдат и офицеров попали в плен. В русской армии были убиты генерал Иксюль, полковники Ломан, Бельмен, ранены генералы Альбрехт, Стоффельн, полковники Манштейн и Левашов. Общие потери шведов составили четыре с половиной тысячи из пяти тысяч трехсот участников битвы, а у русских меньше – две тысячи человек из десяти.

Для русской армии это был тяжелейший поход. Манштейн вспоминал: «Когда подумаешь о выгодах позиции, занимаемой шведами, и о неудобной местности, по которой русские должны были подходить к ним, то становится удивительным, что шведы были тут разбиты». Особая тяжесть легла на два гренадерских полка, которые атаковали неприятельскую батарею. Манштейн писал: «Так как место было тут чрезвычайно узкое и из леса, находившегося перед русскими, нельзя было выйти иначе как фрунтом только в две роты, приходилось спускаться по крутому оврагу и подыматься на гору в виду неприятеля и под чрезвычайно сильной его пушечной и ружейной пальбой, – то эти два полка были приведены в замешательство и отступили». Кейт приказал Астраханскому и Ингерманландскому полкам атаковать шведов и «это приказание было исполнено быстро и так счастливо, что после первого залпа, сделанного в 60 шагах от шведов, последние

обратились в бегство и побежали прямо к городу, куда последовали за ними оба полка».

По мнению иностранца, русские солдаты вновь подтвердили свою блестящую репутацию. Саксонский посланник Зум писал накануне войны: «В оборонительной войне я считаю это государство непобедимым... Русский тотчас становится солдатом, как только его вооружают. Его с уверенностью можно вести на всякое дело, ибо его повиновение слепо и вне всякого сравнения. Он довольствуется плохой и скудной пищею. Он кажется нарочито рожден для громадных военных предприятий».

Победа над шведским львом была яркая, неожиданная, ее отмечали в Петербурге очень торжественно. Император был уже грозен для врагов! М. В. Ломоносов, после одобренной властями оды на взятие Минихом турецкой крепости Хотин в 1739 году, поспешил отличиться и на этот раз:

*Российских войск хвала растет,
Сердца продерзки страх трясет,
Младый орел уж льва терзает!*

Из-за границы хорошего не насоветуют

Казалось, что победа над шведами, подтвердившая могущество России, укрепит власть Анны Леопольдовны и внутри страны. На это рассчитывал А. И. Остерман – руководитель правительства. Он составил пространное «Мнение о состоянии и потребностях России», которое можно рассматривать как инструкцию для начинающей правительницы. Кроме советов об экономии расходов, взимании недоимок, содержании флота, составлении свода законов хитроумный Андрей Иванович дает детальные советы, как прийти «к облегчению бремени правления». Он исподволь приучает правительницу Анну к мысли о необходимости совещаться с министрами, и особенно с ним. «Поелику, – пишет вице-канцлер, – государь не может быть без министров и слуг, то справедливость того требует, чтоб доверенность между государем и рабом была взаимна и совершенна».

Сладкие речи Остермана не особенно убаюкивали Анну Леопольдовну – она слушала и его противников. А они, в первую очередь министр Михаил Головкин и обер-прокурор Сената Иван Брылкин, советовали ей немедленно провозгласить себя императрицей, приняв всю полноту власти. Анна соглашалась с этими советами, и была даже назначена дата провозглашения императрицей Анны II – 7 декабря 1741 года, в день, когда ей исполнялось двадцать три года.

Но ничего не вышло, и свое двадцатитрехлетие Анна встретила в томительном путешествии под конвоем на дороге от Нарвы к Риге, и уже никогда в день ее рождения в столице не палили пушки и не зажигали фейерверки. Мы не знаем теперь, какой императрицей была бы Анна Леопольдовна. Может быть, возложив себе на голову корону, она бы изменилась – обстоятельства бы заставили. Ведь произошла же метаморфоза с австрийской эрцгерцогиней, а потом императрицей Марией-Терезией. Почти ровесница Анны (родилась в 1717 году), она в 1740 году унаследовала престол после смерти своего отца Карла VI и сразу же была вынуждена начать отчаянную борьбу против множества врагов, мечтавших оторвать от империи кусок пожирнее, захватить ее трон. Самым опасным врагом был прусский король Фридрих II, сумевший завладеть Силезией. Но все же молодая, неопытная Мария-Терезия оказалась достойной своего предназначения и сумела не только сохранить империю, но и упрочить ее положение в мире. Она собрала вокруг себя выдающихся людей – графа В. Кауница, графа Гаугвица, графа Хотека и других, провела реформы – административные, судебные, финансовые, которые обеспечили безбедное существование империи на долгие десятилетия. Хорошим помощником императрицы оказался ее муж Франц Стефан Лотарингский, а потом и сын Иосиф II, ее соправитель и преемник, родившийся всего лишь на несколько месяцев позже Ивана Антоновича...

К ноябрю 1741 года в окружении Елизаветы окончательно сложился замысел свержения Ивана и его матери. Уже давно цесаревна, пользуясь симпатией гвардии, с помощью французского и шведского посланников плела антигосударственный заговор. Но «плетение» это было довольно грубое, и многие знали о намерениях дочери Петра Великого. По разным каналам правительство стало получать известия о действиях заговорщиков и их зарубежных покровителей.

Самое серьезное предупреждение пришло из Лондона весной 1741 года. Читая послание статс-секретаря лорда В. Гаррингтона русскому правительству, удивляешься точности

информации, в нем содержащейся, ясности и недвусмысленности каждой фразы текста. Такие бумаги готовят только профессионалы высочайшего уровня: «В секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска, расположенные в Финляндии, усилить их из Швеции... Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. На эти предприятия комиссия ободрена и подвигнута известием, полученным от шведского посла в Санкт-Петербурге Нолькена, будто в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны... Нолькен также пишет, что весь этот план задуман и окончательно улажен между ним и агентами великой княжны и при помощи французского посла маркиза де ла Шетарди, что все переговоры между ними и великой княжной велись через француза-хирурга (Лестока. – Е. А.), состоящего при ней с самого детства».

Английский посол Финч вручил послание правительства Его Величества короля Георга II Остерману и Антону Ульриху. Оба государственных мужа благодарили, кивали, соглашались, но фактически ничего не сделали. Как известно, в нашей стране никогда и в грош не ставили дружеские предупреждения из-за границы о готовящихся мятежах, войнах, заговорах. Да и мудрый Остерман, вероятно, искренне не верил, что эта изнеженная и капризная красавица, прожигательница жизни способна на такое мужское, в стиле Миниха, предприятие – переворот. Нет, глупости! Но все оказалось не так, как предполагал Остерман. Напуганная откровениями простодушной Анны, в ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета решилась: она надела кирасу, поехала в казарму преображенцев и затем... захватила Зимний.

«Ах, мы пропали!»

Анна Леопольдовна проснулась от шума и грохота солдатских сапог. За ней пришли. Есть две версии ареста Брауншвейгской фамилии. По первой, Елизавета вошла в спальню правительницы и разбудила ее словами: «Сестрица, пора вставать!» В постели рядом с Анной лежала Жулька. По другой, более правдоподобной версии, цесаревна, убедившись, что дворец блокирован, послала отряд гренадер на второй этаж арестовывать правительницу, а сама дожидалась внизу «благополучной резолюции и виктории». Ведь встретаться с племянницей Елизавете вряд ли хотелось.

Увидев солдат, Анна вскричала: «Ах, мы пропали!» По всем источникам видно, что сопротивления она не оказывала, безропотно оделась, села в приготовленные сани и позволила отвезти себя во дворец Елизаветы, что стоял у Марсова поля. Один из современников рассказывает о скверном предзнаменовании: незадолго до переворота при встрече с Елизаветой правительница оступилась и на глазах присутствующих упала перед ней на колени. Предзнаменование сбылось. Антону Ульриху одеться не позволили и полуголого снесли вниз, к саням. Надо полагать, что это было сделано умышленно: подобным же образом поступили и с Бироном, а затем с его братом Густавом. Расчет был прост – без мундира и штанов не очень-то покомандуешь, будь ты хоть генералиссимус.

Не все обошлось гладко при «аресте» годовалого императора. Солдатам был дан приказ взять ребенка, но лишь дождавшись, когда он проснется. Так около часа они и простояли молча у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых физиономий гренадеров. В суматохе сборов в опочивальне уронили на пол четырехмесячную сестру царя, Екатерину. Она, как выяснилось потом, из-за этого потеряла слух. Но на эти мелочи никто не обращал внимания. Ивана бережно перевезли к Елизавете, и она, взяв его на руки, якобы сказала: «Малютка, ты ни в чем не виноват!» Она крепко прижимала к груди этого ребенка – свой приз, своего врага, свою судьбу.

Хотя Елизавета захватила власть, положение ее было крайне неустойчиво: она не имела поддержки среди знати, были поначалу сомнения в верности армии и гвардии (ведь за ней пошло всего триста солдат и ни одного офицера). Неясно было, что же делать с императором и его родителями. Переворот получился бескровным, не было никакого штурма дворца, при котором могли бы якобы случайно погибнуть члены Брауншвейгской фамилии.

Елизавета понимала, что она узурпатор, ибо, захватив власть, она свергла законного императора, получившего трон по завещанию Анны Иоанновны, составленному согласно петровскому Уставу о наследии престола 1722 года. Не имела Елизавета прав на престол и по Тестаменту 1727 года Екатерины I, своей матери. Это завещание открывало дорогу к трону не Елизавете, а ее племяннику – сыну ее старшей сестры Анны, герцогу Голштинскому Карлу Петеру Ульриху, которому было в ту пору тринадцать лет. Не могла Елизавета не учитывать и тесных связей Антона Ульриха с правящими домами Европы: одна его сестра была замужем за прусским королем Фридрихом II, другая – за датским королем Христианом VI.

Раздумья новой императрицы были недолги. 28 ноября огласили манифест о высылке свергнутого императора, его сестры и родителей за границу, в столицу Курляндии, что было связано исключительно с «особливой природной милостью» Елизаветы, ее желанием, как

она сказала Шетарди, «заплатить добром за зло». В чем же состояло зло, причиненное крошечным мальчиком своей троюродной бабушке, – об этом никто не говорил. В ту же ночь, в два часа, санный обоз с большим конвоем под командой генерал-полицмейстера В. Ф. Салтыкова по рижской дороге поспешно покинул Санкт-Петербург.

Ранненбург или Оренбург – не все ли им равно?

Перед отъездом Салтыков получил инструкцию, согласно которой экс-императора надлежало везти как можно быстрее через Нарву, Дерпт, Ригу до Митавы, оказывая «их светлостям должное почтение, респект (уважение. – Е. А.) и учтивость». Не успел поезд из многих крытых возков отъехать от Петербурга, как Салтыков одну за другой получил две новые инструкции, требовавшие от него совершенно противоположного: «Ради некоторых обстоятельств *то* (то есть быстрая езда до Митавы. – Е. А.) отменяется, а имеете вы путь ваш продолжать как возможно тише и держать роздыхи на одном месте дни по два», а в Нарве – не менее восьми – десяти дней и, доехав до Риги, ждать указа.

«Некоторые обстоятельства» заключались в том, что Елизавета пожалела о своем великодушном поступке. Более опытные ее сподвижники вопрошали: «А не произойдет ли какого замешания, когда император Иван окажется в чужих краях?» К тому же Елизавета опасалась, как бы отец Антона Ульриха герцог Брауншвейгский вместе с герцогом Мекленбургским, родным дядей Анны Леопольдовны, не воспрепятствовали проезду через их владения герцога Голштинского Карла Петера Ульриха, выписанного императрицей в Россию примерно в то же время. К тому же прусская королева Елизавета Христина – жена Фридриха II – была, как уже говорилось, сестрой Антона Ульриха.

Словом, Елизавете Петровне нужны были заложники. Вероятно, вскоре у нее созрело желание вообще оставить в России брауншвейгское семейство – иначе непонятно, зачем в Риге Анну Леопольдовну заставили присягнуть на верность Елизавете за себя и за детей. В присяге говорилось: «Хочу и должен Е. И. В... верным, добрым и послушным рабом и подданным быть». Короче говоря, на них продолжали смотреть как на российских подданных.

Постепенно режим содержания семьи начали ужесточать: строго следили за возможными контактами, перепиской. От «респекта и учтивости» не осталось и следа. В конце 1742 года всех арестантов перевели в Динамюнде – неприступную крепость на Даугаве. Стало окончательно ясно, что клетка захлопнулась навсегда. В январе 1744 года Салтыков получил указ отправить всю семью в глубь России – в Ранненбург (ныне Чаплыгин Липецкой области), причем «отписать, в сердитом или в довольном виде принцесса и муж ее явились при отправлении из Динамюнде». Генерал-полицмейстер сообщал, что когда члены семьи увидели, что их намереваются рассадить по нескольким повозкам, то «с четверть часа поплакали». Они, вероятно, думали, что их хотят разлучить.

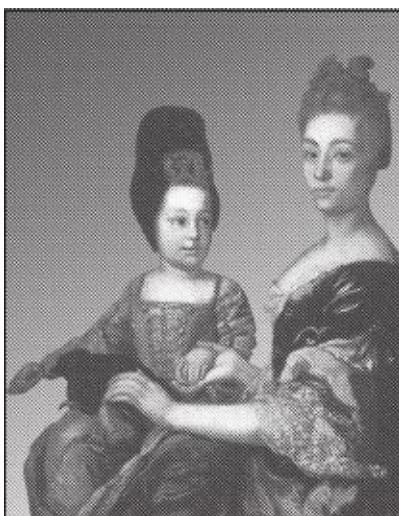
Начальник конвоя капитан М. Д. Вындомский по ошибке повез арестантов не в Ранненбург, а в Оренбург (известно, что география – наука не дворянская!), и только в дороге маршрут был уточнен. Ранненбург был городом-крепостью, который Меншиков создал для себя. Отсюда осенью 1727 года он отправился дальше на восток – в Сибирь. Теперь пришла очередь Брауншвейгской фамилии – ее недолго держали в Ранненбурге. В конце августа 1744 года сюда прибыл личный посланник императрицы, майор гвардии Н. А. Корф с секретным указом...

Совершенное отчаяние

Корф должен был ночью отнять у родителей Ивана Антоновича и передать его капитану Миллеру, которому приказали везти четырехлетнего мальчика в закрытом возке на Соловки, никому его не показывая и не выпуская из возка ни на минуту. Особо примечательно, что Миллер должен был называть мальчика новым именем – Григорий. Не было ли в этом намек на Лжедмитрия I – Григория Отрепьева?

Корф, судя по его письмам, не был тупым служакой-исполнителем. Он, понимая, что его руками делается недоброе дело, запрашивал, как поступить с ребенком, если он будет «неспокоен разлучением с родителями». Корфу жестко предписали из Петербурга: «Поступать по указу!» Второй запрос Корфа был о ближайшей подруге правительницы – Юлии Менгден. Он писал: «Если разлучить принцессу с ее фрейлиной, то она впадет в совершенное отчаяние». В столице оказались глухи к доброте Корфа – ему повелели немедленно отвезти арестованных на Соловки, а Менгден оставить в Ранненбурге. Что пережила Анна, когда ее разлучили с болевшим тогда сыном, и особенно с Юлией, трудно представить. Ведь, уезжая из Петербурга, Анна в ответ на обещание императрицы исполнить ее желание, попросила: «Не разлучайте с Юлией!» Скрепя сердце Елизавета тогда дала согласие. И вот теперь она его отменила.

Корф докладывал, что известие о разлучении подруг, о предстоящем путешествии, как они полагали – в Сибирь, всех как громом поразило. «Эта новость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы (она была беременна. – Е. А.), они отвечали, что готовы исполнить волю государыни». По раскисшим осенним дорогам, в непогоду, холод и снег арестантов отправили в путь.



Император Иван Антонович с фрейлиной Юлианой фон Менгден

Вся эта издевательская жестокость скорее всего не была продиктована государственной необходимостью или опасностью, исходившей от арестантов. Здесь отчетливо видны пристрастия Елизаветы. Именно ненавистью дышит письмо императрицы к Корфу в марте 1745 года, когда Юлию и Анну уже разделяли сотни верст: «Спроси Анну, кому розданы алмазные вещи ее, из которых многие не оказываются [в наличии]. А ежели она, Анна, запирается станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажи, что я принуждена

буду Жульку розыскивать (то есть пытаться. – Е. А.), то ежели ей жаль, то она ее до того мучения не допустит».

Раньше Елизавета так же долго терзала Анну вопросами о каком-то драгоценном опухле с красными камнями и бриллиантами, которое она не может никак найти. Предвзятость императрицы видна и в письме к Салтыкову от 1 октября 1742 года. «Господин генерал! – писала она. – Уведомились мы, что принцесса Анна вас бранит», – и требовала разобраться. Василий Федорович отвечал: «У принцессы я каждый день поутру бываю, токмо кроме ее учтивства никаких противностей, как персонально, так и чрез... офицеров ничего не слыхал, а когда ей что потребно, о том с почтением меня просит». Надо полагать, ответ Салтыкова не понравился Елизавете – ее ревнивой злобе не было предела.

Брауншвейгская семья ехала почти два с половиной месяца, но дальше Шенкурска возки из-за бездорожья продвинуться не смогли. Корф взмолился: нужно прекратить это невыносимое путешествие и хотя бы на зиму поселить арестантов, например, в Холмогорах, в пустующем архиерейском доме. Елизавета с неохотой согласилась. Весной следующего года решили, что Холмогоры будут не хуже, вернее, не лучше Соловков, и узников оставили в архиерейском доме. Началось долгое-долгое холмогорское заточение.

«Известная особа», ставшая в гробу «благочервной принцессой»

Анна Леопольдовна недолго прожила в Холмогорах. Она приехала туда с мужем и двумя дочерьми, Екатериной и Елизаветой, родившейся в 1743 году в Динамюндской крепости. 19 марта 1745 года Анна родила сына Петра, а 27 февраля 1746 года – Алексея. Появление на свет принцев радости у императрицы, понятно, не вызвало. Получив рапорт о рождении Алексея, Елизавета «изволила, прочитав, оный рапорт разодрать».

Понять раздражение Елизаветы можно, ведь согласно указу, подписанному Анной Иоанновной перед смертью, в случае если Иван «прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится», престол должен был перейти к «первому по нем принцу, брату его от нашей любезной племянницы... Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, а в случае и его преставления» – к другим законным, «из того же супружества рождаемым принцам». Кроме того, сразу же после рождения 26 июля 1741 года принцессы Екатерины Антоновны был издан манифест, распространявший норму этого указа и на детей женского пола.

Рождение детей бывшей правительницы тщательно скрывали, коменданту их тюрьмы запрещалось даже упоминать о детях и «какого полу они». Даже после кончины Анны Елизавета, потребовав от принца сообщить подробности о смерти жены, предупреждала, чтобы он конспирации ради «только писал, какую болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». Но, как часто бывало в России, о принцах можно было узнать уже на холмогорском базаре, о чем свидетельствуют многие документы. И слухи эти, весьма сочувственные к узникам, широко расходились по сотням других базаров и торжков – нельзя же забывать, что всероссийский рынок к этому времени если не сложился, то, несомненно, складывался вполне успешно.

Следом за рапортом о рождении принца Алексея, так огорчившем Елизавету, в столицу пришло известие о последовавшей 7 марта 1746 года смерти Анны от послеродовой горячки. В официальных документах для сохранения тайны была указана иная болезнь – «огневица», то есть жар, общее воспаление. Комендант Гурьев должен был действовать по присланной еще весной 1745 года инструкции: «Ежели, по воле Божией, случится иногда из известных персон кому смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положи в спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером».

18 марта поручик Писарев доставил тело правительницы в Петербург, точнее, в Александро-Невский монастырь. В официальном извещении о смерти Анны Леопольдовны она была названа «благочервною принцессою Анною Брауншвейг-Люнебургскою». Титула правительницы-государыни, великой княгини за ней не признавали, равно как и титула императора за ее сыном. В служебных документах чаще они упоминались как безымянные «известные особы». И вот Анна после смерти стала «благочервною принцессой».

Хоронили ее как второстепенного члена семьи Романовых. На утро 21 марта были назначены панихида и погребение. В Александро-Невский монастырь съехались все знатнейшие чины государства – всем хотелось взглянуть на эту женщину, о драматической

судьбе которой было так много слухов и пересудов. Говорят, что, стоя у гроба Анны, Елизавета всплакнула. Может быть, эти слезы и не были притворными – грех есть грех.

Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви, где ранее похоронили ее бабушку Прасковью Федоровну и мать Екатерину Иоанновну. До сих пор сохранилась белая мраморная плита над ее гробницей. Так 21 марта 1746 года три женщины, связанные родством и любовью друг к другу – царица Прасковья, «Катюшка-свет» и несчастная Анна Леопольдовна, – соединились навек в одной могиле.

«Он возбуждал к себе сострадание»

Умирая в архиерейском доме в Холмогорах, Анна не ведала, что ее первенец уже целый год живет с ней рядом, за глухой стеной. Мы не знаем, как капитан Миллер вез мальчика и что он отвечал ребенку, отнятому у родителей, все эти долгие недели, которые они провели в одном возке, но известно, что Ивана Антоновича привезли в Холмогоры втайне от семьи и поселили в изолированной части дома. Вероятно, комната-камера Ивана была устроена так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к императору не мог. Содержали его строго. Миллер запрашивал Петербург: «Когда жена к нему [Миллеру] приедет, допускать ли [ее] младенца видеть?» В этом было отказано. Ивану, по-видимому, так и было суждено за всю оставшуюся жизнь не увидеть ни одной женщины, кроме двух императриц – Елизаветы и Екатерины II.

Многие факты говорят о том, что, разлученный с родителями в четырехлетнем возрасте, Иван был нормальным, резвым мальчиком. Нет сомнения и в том, что он знал, кто он такой. Примечательно письмо Елизаветы к охранявшему арестантов в Динамюнде В. Ф. Салтыкову от 11 ноября 1742 года (ребенку в это время два года): «Господин генерал! Уведомились мы, что... принц Иоанн, играючи с собачкою, бьет ее по лбу, а как его спросят: „Кому-де, батюшка, голову отсекаешь?“, то он отвечает, что Василью Федоровичу». Полковник Чертов, готовивший на Соловках узилище для мальчика, получил инструкцию наблюдать за Иваном, чтобы «в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил». Позже, уже в 1759 году, то есть когда Иван сидел в Шлиссельбурге, офицер Овцын рапортовал, что узник называл себя императором и говорил: «Никого не слушаюсь, разве сама императрица прикажет».

Рассказывают также о многочасовой беседе Ивана с Петром III в 1762 году. Когда император спросил экс-императора: «Кто ты таков?», тот отвечал: «Император Иоанн». «Кто внушил тебе эти мысли?» – продолжал Петр. «Мои родители и солдаты», – отвечал узник, который помнил мать и отца и рассказал об офицере Корфе, который был с ним добр и даже разрешал ходить на прогулку.

Все это говорит о том, что Иван вовсе не был дебилом, идиотом, как его порой изображают. Значит, его детство, отрочество, юность, проведенные в холмогорском заточении, были подлинной пыткой, страшным мучением. Вероятно, сидя в темнице, он слышал лишь шумы за стенами своей комнаты, видел лишь своих тюремщиков – коменданта архиерейского дома и его служителя, которые почему-то называли его Григорием и не отвечали ни на один вопрос, обращаясь с ним грубо и бесцеремонно. Сохранилось упоминание о деле по поводу «учиненных человеком его (то есть Миллера. – Е. А.) младенцу продерзостях».

Конечно, Елизавета была бы рада узнать, что тело ее соперника везут в Петербург. Врач императрицы Лесток авторитетно говорил в феврале 1742 года французскому посланнику Шетарди, что Иван мал не по возрасту и что он «должен неминуемо умереть при первом серьезном нездоровье». Но природа оказалась гуманнее царицы – она дала младенцу возможность выжить. В 1748 году у восьмилетнего мальчика начались оспа и корь. Комендант, видя всю тяжесть его состояния, запросил Петербург, можно ли допустить к ребенку врача, а если будет умирать, то и священника. Ответ был недвусмысленный:

допустить можно, но только монаха и только в последний час для приобщения Святых Тайн. Иначе говоря – не лечить, пусть умирает!

Один из современников, видевший Ивана, когда тому было больше двадцати лет, писал: «Иоанн был очень белокур, даже рыж, роста среднего, очень бел лицом, с орлиным носом, имел большие глаза и заикался. Разум его был поврежден, он говорил, что Иоанн умер, а он же сам – Святой Дух. Он возбуждал к себе сострадание, одет был худо». О «повреждении разума» скажем чуть ниже особо, а сейчас отметим, что Иван прожил в Холмогорах до начала 1756 года, когда неожиданно, глухой ночью, его – тогда пятнадцатилетнего юношу – вывезли в Шлиссельбург, а в Холмогорах солдатам и офицерам приказали усилить надзор за Антоном Ульрихом и его детьми – «смотреть накрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки».

Последствия аудиенции сибирского мужика в Сан-Суси

Обстоятельства, сопровождавшие поспешный перевод секретного узника в Шлиссельбург, до сих пор остаются таинственными. Летом 1755 года на русско-польской границе был пойман некто Иван Зубарев, тобольский посадский, беглый преступник. Он дал такие показания, что его делом стали заниматься первейшие чины империи. Зубарев рассказал, что он, бежав из-под стражи за границу, оказался в Кенигсберге. Здесь его пытались завербовать в прусскую армию, а затем он попал в руки известного нам адъютанта Манштейна, который к этому времени стал генерал-адъютантом короля Фридриха II. Манштейн повез Зубарева в Берлин, а потом в Потсдам. По дороге его познакомили с принцем Фердинандом, братом Антона Ульриха, видным полководцем Фридриха II. Этот принц уговорил его пробраться в Холмогоры и известить Антона Ульриха о том, что весной 1756 года к Архангельску придут «под видом купечества» военные корабли и попытаются «скрасть Ивана Антоновича и отца его». Зубарева якобы познакомили и с капитаном – начальником предстоящей экспедиции.

Кроме того, Зубарев должен был возбудить к возмущению раскольников, прельщая их именем царя Ивана. Как рассказывал Зубарев, Манштейн говорил: «А как-де мы Ивана Антоновича скрадем, то уж тогда чрез... старцов сделаем бунт, чтобы возвести Ивана Антоновича на престол, ибо-де Иван Антонович старую верулюбит».

Через два дня тобольскому посадскому во дворце Сан-Суси дал аудиенцию сам Фридрих II, наградивший его деньгами и чином полковника. После этого Манштейн, снабдив Зубарева золотом и специальными медалями, которые мог узнать Антон Ульрих, отправил его через польскую границу. В Варшаве тот посетил прусского посланника и, заручившись его поддержкой, двинулся через русскую границу, при переходе которой и попался.

История, рассказанная Зубаревым, отчаянным авантюристом и проходимцем, загадочна. Наряду с совершенно фантастическими подробностями своего пребывания в Пруссии он приводит сведения абсолютно достоверные, говорящие о том, что, возможно, сибиряк побывал-таки во дворце Сан-Суси. К тому же настораживает, что постоянным героем его рассказов, организатором всей авантюры выступает Манштейн. Это чрезвычайно важно. Как только Елизавета взошла на престол, Манштейн уехал в Пруссию и поступил на королевскую службу. Дело это по тем временам было обычным. Но русское правительство настойчиво требовало возвращения Манштейна, а потом суд заочно приговорил его к смертной казни за дезертирство. Между тем бывший адъютант Миниха сделал карьеру у Фридриха, став его главным советником по русским делам.

Примечательно, что Зубарев рассказал и о встрече с фельдмаршалом Кейтом, который, как и Манштейн, долго служил в России, а потом тоже перешел на службу к Фридриху II. Отбрасывая явные домыслы Зубарева об Иване Антоновиче – «царе старообрядцев», в которых отразились слухи, ходившие в народе о заточенном в темницу императоре, пострадавшем «за старую веру», мы можем предположить, что с помощью Зубарева Фридрих II задумал освободить своих родственников из заточения.

Возможно, что весь этот план был предложен пруссакам самим авантюристом

Зубаревым. Один из свидетелей по делу показал, что Зубарев, приехав с товарищами в Кенигсберг, спросил у прусских солдат, где находится ратуша, а потом сказал: «Прощайте, братцы, запишусь я в жолнеры (солдаты. – Е. А.) и буду просить, чтоб меня повели к самому прусскому королю: мне до него, короля, есть нужда!» Думаю, эта-то нужда и привела Зубарева на аудиенцию в Сан-Суси. И Манштейн, а за ним и Фридрих II решили рискнуть деньгами – вдруг замысел освободить брауншвейгскую фамилию осуществится?

Но дело Зубарева все равно остается темным. Следственные материалы о нем резко обрываются, и нет никаких сведений о наказании авантюриста. Впрочем, уже в наше время стало известно, что после всех описанных событий в Тобольске всплыл некий дворянин Зубарев и зажил своим домком. Возможно, что вся эта история была хорошо устроенной провокацией. Слухи о симпатиях дворянства к Ивану достигали ушей Елизаветы, и в ее окружении было решено спровоцировать заграничных родственников опального царя на какие-то действия. А это могло, по мысли властей, заставить проявить себя и сторонников Ивана внутри России. Известно дело некоего Зимнинского в Тайной канцелярии. Он признался, что говорил: «Дай-де Бог страдальцам нашим счастья и для того многие партии его (Ивана. – Е. А.) держат... а особливо старое дворянство все головою». Известно также, что в Берлин посылали из России некоего «надежного человека». Все это наводит на мысль, что Зубарев действовал по заданию властей и потом в награду получил дворянство, которого прежде тщетно добивался.

Как бы то ни было, 26 января 1756 года комендант архиерейского дома получил указ немедленно и тайно вывезти Ивана в Шлиссельбург, причем предписывалось, «чтобы не подать вида о вывозе арестанта... накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывали».

Несчастнейшая из человеческих жизней

Иван Антонович прожил в Шлиссельбурге в особой казарме под присмотром специальной команды еще восемь лет. Можно не сомневаться, что его существование вызывало постоянную головную боль у трех сменявших друг друга властителей. Свергнув малыша в 1741 году, Елизавета взяла на свою душу этот грех. Но умирая, она передала его Петру III, а тот – своей жене-злодейке Екатерине II. И что делать с этим человеком, не знал никто.

Слухи о жизни Ивана Антоновича в темнице, о его мученичестве «за истинную веру» не исчезали в народе и вызывали серьезное беспокойство властей. Известно, что однажды, в 1756 году, Ивана привезли в Петербург, в дом Ивана Шувалова, где Елизавета увидела его впервые за пятнадцать лет. В марте 1762 года Петр III ездил в Шлиссельбург и разговаривал с узником. Вскоре после своего вступления на престол, в августе 1762 года, приезжала к нему и Екатерина II.

Этому визиту предшествовала довольно любопытная история. 29 июня 1762 года, на следующий день после свержения Петра III, Екатерина распорядилась вывезти Ивана Антоновича, названного в указе «безымянным колодником», в Кексгольм, а в Шлиссельбурге срочно «очистить самые лучшие покои и прибрать по известной мере по лучшей опрятности». Нетрудно понять, что у Екатерины было намерение поместить в Шлиссельбурге нового узника, очередного экс-императора, Петра III. Майор Силин в начале июля вывез Ивана на барке, но бурная Ладога проявила свой нрав – в тридцати верстах от Шлиссельбурга судно разбилось, узник и конвой едва спаслись, пришлось вернуться в крепость. Тут как раз произошло убийство свергнутого императора в Ропше, и везти его нужно было не в Шлиссельбург, а в Александро-Невский монастырь – в усыпальницу.

Но Екатерина об Иване Антоновиче не забывала. Она хотела найти ему место поглуше и поспокойнее. Императрица писала своему ближайшему советнику графу Никите Ивановичу Панину: «Главное, чтоб из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался, только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкой и в не весьма отдаленный монастырь, особенно где богомолья нет», – например, в Муромских лесах, в Новгородской епархии или в Коле, то есть на Кольском полуострове. Но осуществить этот замысел не удалось.

Нет сомнения, что Иван производил тяжелое впечатление на своих высоких визитеров. Он был, как писали охранявшие его капитан Власьев и поручик Чекин, «косноязычен до такой степени, что даже и те, кои непрестанно видели и слышали его, с трудом могли его понимать. Для сделания выговариваемых им слов хоть несколько вразумительными он принужден был поддерживать рукою подбородок и поднимать его кверху». И далее тюремщики пишут: «Умственные способности его были расстроены, он не имел ни малейшей памяти, никакого ни о чем понятия, ни о радости, ни о горести, ни особенной к чему-либо склонности». В манифесте о смерти Ивана Екатерина тоже утверждает: «С чувствительностью Нашею [Мы] увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого».

Важно заметить, что сведения о сумасшествии Ивана идут от офицеров охраны и их начальников. И те и другие были небольшими специалистами в психиатрии. Английский

посланник писал в 1764 году о секретной беседе с графом Паниным, который только для него (и соответственно – для английского правительства) «раскрыл тайну» бывшего императора: «Ему случалось в разные времена видеть принца... он всегда находил его рассудок совершенно расстроенным, а мысли его вполне спутанными и без малейших определенных представлений. Это совпадает с общим мнением о нем, но сильно расходится с отзывом, слышанным мною насчет подробного свидания его с покойным императором [Петром III]. Государь этот... заметил, что разговор его был не только рассудителен, но даже оживлен». В самом деле, разговор Ивана Антоновича с Петром III, изложенный выше, не свидетельствует в пользу версии об узнике-безумце.

Представить Ивана сумасшедшим было выгодно власти. С одной стороны, это оправдывало суровость его содержания – ведь тогда психически больных за людей не признавали и держали в тесных «чуланах» на цепях или в дальних монастырях. С другой стороны, это в какой-то степени оправдывало его убийство: психически больной себя не контролирует и легко может стать игрушкой в руках авантюристов. Конечно, сомневаясь в компетентности и объективности тюремщиков, Панина, Екатерины II, мы должны помнить, что двадцатилетнее заключение не могло способствовать развитию личности ребенка. Для личности Ивана одиночество и то, что врачи называют «педагогической запущенностью», оказались губительны. Скорее всего, он не был ни идиотом, ни сумасшедшим, каким представляет его официальная версия властей. Его жизненный опыт был деформированным и дефектным.

В доказательство безумия Ивана тюремщики пишут о его неадекватной, по их мнению, реакции на действия охраны: «В июне [1759 года] припадки приняли буйный характер: больной кричал на караульных, бранился с ними, покушался драться, кривлял рот, замахивался на офицеров». Между тем известно, что офицеры охраны наказывали его – лишали чая, теплых вещей, наверно, и бивали втихомолку за строптивость и уж наверняка дразнили, как собаку. Об этом есть сообщение офицера Овцына, писавшего в апреле 1760 года: «Арестант здоров и временем безпокоен, а до того его доводят офицеры (охранники Власьев и Чекин. – Е. А.), всегда его дразнят». Для Ивана охранники были мучителями, которых он ненавидел, и его брань была естественной реакцией психически нормального человека.

«Положение Ивана было ужасно, – пишет современник. – Небольшие окна его каземата были закрыты, дневной свет не проникал сквозь них, свечи горели непрерывно, с наружной стороны темницы находился караул. Не имея при себе часов, арестант не знал время дня и ночи. Он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке».

К этому можно еще добавить отрывок из инструкции коменданту, которую составил в 1756 году начальник Тайной канцелярии граф Александр Шувалов. В ней предписывалось «арестанта из казармы не выпускать, когда ж для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли». В 1757 году последовало уточнение: «В инструкции вашей упоминается, чтоб в крепость, хотя б генерал приехал, не впускать, еще вам присовокупляется – хотя б и фельдмаршал и подобный им, никого не впускать и объявить, что без указа Тайной канцелярии не велено».

Неизвестно, сколько бы тянулась эта несчастнейшая из несчастных жизней, если бы не произошло трагедии 1764 года.

«Пресечь пресечением жизни одного»

Ночью 4 июля 1764 года жители Шлиссельбурга вдруг слышали в крепости ожесточенную стрельбу. Там была совершена неожиданная попытка освободить секретного узника Григория. Предприятием руководил подпоручик Смоленского полка Василий Минович. Осенью 1763 года он, служа в столице, узнал историю императора-узника. Жизненные неудачи и зависть мучили этого двадцатитрехлетнего офицера. Он хотел богатства, но на две его челобитные о возвращении некогда отписанных у его деда – сподвижника Мазепы – имений он получил отказы. Он хотел известности, но его (как он потом рассказывал) даже не пускали во дворец как унтер-офицера и выгнали из придворного театра, когда в него вошла окруженная блестящей свитой Екатерина II. Позже графу Панину на вопрос о причинах столь отчаянного поступка он прямо сказал: «Для того чтобы быть тем, чем ты стал!»

Минович со своим приятелем Аполлоном Ушаковым разработали план операции: заступив начальником караула в крепости, Минович вскоре получит из рук прибывшего нарочного (Ушакова) «указ» об освобождении Ивана и отвезет бывшего императора на шлюпке в столицу. Там он поднимет заранее составленными от имени Ивана манифестами, присягой и другими указами народ и солдат, займет Петропавловскую крепость, приведет к присяге полки и учреждения.

Но сообщника послали в командировку, во время которой он утонул, переправляясь через реку. Минович начал действовать в одиночку. Почти сразу же после вступления в командование караулом крепости в ночь с 4 на 5 июля он поднял солдат в ружье по тревоге, приказал закрыть ворота крепости, арестовал коменданта и двинул свое войско на казарму, в которой сидел Иван. На окрик охраны подпоручик вместо пароля ответил: «Иду к государю!» Завязалась перестрелка. Минович приказал притащить пушку, что и было исполнено. Это решило дело: охрана сложила оружие. «И мы, – писали в своем рапорте Власьев и Чекин, – видя [неприятеля] превосходную силу, арестанта... умертвили».

Действовали они согласно данной им инструкции, которая предусматривала и такой вариант развития событий. До нас дошли жуткие подробности убийства: Власьеву и Чекину не удалось сразу убить Ивана Антоновича. Раненный в ногу первым ударом шпаги, он отчаянно сопротивлялся, в спешке и панике его кололи куда попало, пока Власьев не нанес смертельный удар. Ворвавшийся в казарму Минович увидел тело Ивана, приказал положить его на кровать и на ней вынести его во двор. Плача, он поцеловал покойному руку и ногу и сдался Власьеву.

Через полтора месяца бунтовщика казнили – отсекли голову. По свидетельству Державина, народ, огромной толпой облепивший Обжорный рынок – место казни и мост через ближайшую канаву, почему-то ждал, что Екатерина помилует преступника, и, «когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Вечером тело сожгли вместе с эшафотом. Примкнувших к бунту солдат прогнали сквозь строй. Сам же истинный мученик российской истории был по указу Екатерины тайно похоронен «в особенном месте» в крепости. Так он и лежит где-то под нашими ногами, когда мы гуляем по двору Шлиссельбургской крепости.

История с убийством Ивана Антоновича вновь ставит извечную проблему соответствия морали и политики. Две правды – Божеская и государственная – сталкиваются здесь в неразрешимом конфликте. Получается так, что смертный грех убийства может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, «присяжная должность», если грех этот совершается во благо государства, ради безопасности больших масс людей. Противоречие неразрешимое. Мы не можем с порога отвергать утверждение манифеста Екатерины, оправдывающее Власьева и Чекина как верных присяге офицеров, сумевших «пресечь пресечением жизни одного, к несчастью рожденного», неизбежные бесчисленные жертвы в случае удачи авантюры Мировича. Из следственного дела видно, что солдаты пошли за подпоручиком не задумываясь, власть же Екатерины в начале ее царствования была непочна, и известие об освобождении Ивана могло бы вызвать брожение столичной гвардии.

Настроения солдат, которых поднял за собой Мирович, не могли не насторожить власти. Как выяснилось на следствии, в ответ на призывы подпоручика караульные отвечали: «Ежели солдатство будет согласно, то и мы согласны». «Солдатство» оказалось «согласно», и кровь в Шлиссельбурге пролилась. Неслучайно Екатерина писала Панину: «Весьма кажется нужно смотреть, в какой дисциплине находится Смоленский полк», в котором служил Мирович. По сообщениям иностранных дипломатов, правительству пришлось привести в боевое состояние полевые полки в Петербурге как противовес беспокойной гвардии. А как бы повело себя «солдатство», если бы вдруг экс-император Иван вместе с Мировичем прибыл в Петербург, и сколько бы тогда пролилось крови – не знает никто. Может быть, авантюра Мировича удалась бы не менее успешно, чем авантюра «Петра III» – Емельяна Пугачева.

Тем не менее сомнения в действиях власти появлялись даже у судей Мировича. Английский посланник писал, что Екатерина II была встревожена процессом, «многое было очень неприятно императрице, так, например, ревность некоторых судей, пытавшихся поднять вопрос о том, правы ли были офицеры, убивая Иоанна».

Спустя несколько дней после драматических событий в Шлиссельбурге дипломатическим представителям России за границей было направлено циркулярное письмо графа Панина о произошедшем. Что же узнали из него посланники и резиденты? Их ставили в известность, что «содержался от некоторого времени в той крепости один арестант по имени Безымянного, который в причине своего ареста соединял со штатским резонансом резон и совершенного юродства в своем уме и потому был поручен особливому хранению двух состарившихся в службе обер-офицеров, при которых под их командою был малый от гарнизона пикет».

Далее кратко рассказывалось о попытке тоже безымянного караульного подпоручика освободить узника, «но, получа такое сопротивление своему изменческому предприятию, какого только от верных и заслуженных офицеров ожидать было должно, наконец [он] взят и арестован тою собственною командою». Посланников заверяли, что попытка освобождения арестанта Безымянного – это не следствие «знатного заговора», а безумная авантюра «от отчаяния молодого промотавшегося и оттого в фанатизм впавшего» одиночки. Письмо завершалось предписанием: «Сообщая вам сие, прошу я вас делать из онаго такое употребление, какое разсудите вы за полезное для службы Ея Императорского Величества и уничтожения всяких ложных разглашений, в коих, конечно, не будет недостатков».

Можно представить себе задумчивость, которая охватила русских дипломатов при

чтении этого не просто туманного, но дивного по содержанию правительственного документа. Кто такой «Безымянный», что за «штатский резон» и для чего неизвестному, где-то промотавшемуся подпоручику, впавшему в фанатизм, нужно было освободить загадочного узника? Ну хотя бы сказали правду, чтобы увереннее врать, опровергая неизбежную клевету неприятелей России!

Нет, это слишком просто! Вот придут местные газеты – и посланники России узнают из них, что подпоручик Мирович 4 июля пытался освободить находившегося в заточении экс-императора Ивана VI и при этом офицеры охраны убили узника, а Мирович был арестован. И уже после этого можно будет смело врать мировой общественности, что ничего подобного никогда не было. Как это нам, живущим в XXI веке, до боли знакомо, как все узнаваемо!

«Известная комиссия в Холмогорах»

Кажется, что смерть Ивана Антоновича обрадовала Екатерину II и ее окружение. Никита Панин писал императрице: «Дело было произведено отчаянною ухваткою, которое несказанно похвальною резолюциею капитана Власьева и поручика Чекина пресечено». Екатерина отвечала: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшия в Шлиссельбурге: руководство Божие чудное и неиспытанное есть!» Одним словом, по известной присказке: нет человека – нет проблемы. Власьев и Чекин получили награду – по семи тысяч рублей – и полную отставку.

Конечно, «проблема» была решена, но не вся: «известная комиссия в Холмогорах» – так назывались в официальных документах узники архиерейского дома – продолжала «работать». Семья принца Антона Ульриха (он сам, две дочери и два сына) по-прежнему жила там. Дом стоял на берегу Двины, которая чуть-чуть виднелась из одного окна, был обнесен высоким забором, замыкавшим большой двор с прудом, огородом, баней и каретным сараем. Мужчины жили в одной комнате, а женщины – в другой, и «из покоя в покой – одни двери, покои старинные, малые и тесные». Другие помещения были заполнены солдатами, многочисленной прислугой принца и его детей.



Принц Антон Ульрих Брауншвейгский

Живя годами, десятилетиями вместе, под одной крышей (последний караул не менялся двенадцать лет), эти люди ссорились, мирились, влюблялись, доносили друг на друга. Скандалы следовали один за другим: то Антон Ульрих поссорился с Биной (Якобиной Менгден – сестрой Юлии, которой, в отличие от сестры, разрешили ехать в Холмогоры), то солдат поймали на воровстве, то офицеров – на амурах с кормилицами. Несколько лет тянулись истории с Биной: выяснилось, что у нее появился любовник – приезжавший из Холмогор доктор, и в сентябре 1749 года она родила ребенка «мужеска пола», за что ее заперли в отдельной комнате, а она буянила, била приходивших к ней с проверкой офицеров. Немало жалоб холмогорских узников относилось к качеству провизии, которую доставляли местные обыватели.

Принц, как всегда, был тих и кроток. С годами он растолстел, обрюзг. После смерти жены он стал жить со служанками, и в Холмогорах было немало его незаконных детей, которые, подрастая, становились прислугой членов Брауншвейгской семьи. Изредка принц

писал императрице письма: благодарил за присланные бутылки венгерского или еще за какую-нибудь милостыню-передачу. Особенно он бедствовал без кофе, который был ему необходим ежедневно.

В 1766 году Екатерина II послала в Холмогоры генерала А. И. Бибикова, который от имени императрицы предложил принцу покинуть Россию. Но тот отказался. Датский дипломат писал, что принц, «привыкший к своему заточению, больной и упавший духом, отказался от предложенной ему свободы». Это неточно – принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать вместе с детьми. Но эти условия не устраивали уже Екатерину. Ее встревожили как дело Мировича, так и разговоры в обществе, что она могла бы выйти замуж за одного из «Ивашкиных братьев» – все же царская кровь, не чета низкопородному Григорию Орлову, мечтавшему о формальном браке с императрицей. Принцу отвечали, что отпустить его с детьми невозможно, «пока дела наши не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли».

Так и не дождался Антон Ульрих, чтобы дела императрицы приняли благоприятное для него положение. К шестидесяти годам он одряхлел, ослеп и, просидев в заточении тридцать четыре года, скончался 4 мая 1776 года. Ночью гроб с его телом тайно вынесли во двор. Там его и похоронили – без священника, без обряда, как самоубийцу или бродягу. Провожали ли его в последний путь дети? Даже этого мы не знаем.

Неведомые цветы на лугах

Дети Антона Ульриха после его смерти прожили в заточении еще четыре года. К 1780 году они уже давно были взрослыми: глухой Екатерине шел тридцать девятый год, Елизавете было тридцать семь, Петру – тридцать пять, Алексею – тридцать четыре года. Все они были болезненными, слабыми, с явными физическими недостатками. О старшем сыне, Петре, офицер охраны писал, что «он сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног. Меньшой сын Алексей – сложения плотноватого и здорового... имеет припадки». Дочь принца Екатерина «сложения больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого».

Но несмотря на жизнь в неволе, без образования (в 1750 году в Холмогоры был прислан указ Елизаветы «о необучении детей известной персоны грамоте до указу»), все они выросли разумными, добрыми и симпатичными людьми, выучились они и грамоте.

Побывавший у них ярославский наместник А. П. Мельгунов писал о Екатерине Антоновне, что, несмотря на ее глухоту, «из обхождения ее видно, что она робка, уклончива, вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого; увидя, что другие в разговорах смеются, хотя и не знает тому причины, смеется вместе с ними... Как братья, так и сестры живут между собою дружелюбно, и притом незлобивы и человеколюбивы. Летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегают взапуски [и] на лошадях по пруду, читают церковные книги и играют в карты и шашки. Девицы, сверх того, занимаются иногда шитьем белья».

Быт их был скромн и непритязателен, как и их просьбы. Главой семьи была Елизавета, полноватая и живая девица, родившаяся в Динамюнде. Она рассказывала Мельгунову, что «отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать вольность, когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то испрашивали позволения проезжаться, но ни на что не получили ответа». Говорила она и о несбывшемся их желании «жить в большом свете», научиться светскому обращению. «Но в теперешнем положении, – продолжала Елизавета Антоновна, – не остается нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели».

У Елизаветы было целых три просьбы, от которых у Алексея Петровича Мельгунова, человека тонкого, гуманного и сердечного, вероятно, все перевернулось в душе: «Просим исходатайствовать нам у Е. В. милость, чтоб позволено нам было выезжать из дома на луга для прогулки, мы слышали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет»; чтобы пускали к ним дружить жен офицеров охраны – ведь скучно! И последняя просьба: «Присылают нам из Петербурга корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить. Сделайте милость, пришлите такого человека, который умел бы наряжать нас». В конце этого разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнят эти просьбы, «то мы будем очень довольны, ни о чем более утруждать не станем, ничего больше не желаем и рады остаться в таком положении навек».

Прочитав доклад Мельгунова, Екатерина дрогнула – она дала указ готовить детей Анны

Леопольдовны к отъезду.

Свобода, которая опоздала на целую жизнь

Екатерина II завязала переписку с датской королевой Юлией Маргаритой, сестрой Антона Ульриха и теткой холмогорских пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции Дании. Королева ответила, что может разместить их в самой Дании. Начались сборы. Неожиданно в скромных палатах архиерейского дома засверкали золото, серебро, бриллианты – это везли и везли подарки императрицы: гигантский серебряный сервиз, бриллиантовые перстни мужчинам и серьги женщинам, невиданные чудесные пудры, помады, туфли, платья.

Семь немецких и пятьдесят русских портных в Ярославле поспешно готовили платье для четверых узников. Чего стоят одни «шубы золотого глазета на собольем меху» для Екатерины Антоновны и Елизаветы Антоновны. И хотя императрица была чистокровной немкой, поступила она по-русски – знай наших! – чтобы датские родственники видели, как содержат у нас арестантов царской крови.

26 июня 1780 года Мельгунов объявил Брауншвейгской фамилии указ императрицы об отправке их в Данию, к тетушке. Они благодарили Мельгунова за вольность и только просили поселить их в маленьком городке, подальше от людей. Ночью 27 июня их вывели из дома. Впервые в жизни они вышли за пределы тюрьмы, сели на яхту и поплыли вниз по широкой, красивой Двине, кусочек которой они всю свою жизнь видели из окна. Когда в сумраке белой архангельской ночи появились угрюмые укрепления Новодвинской крепости, братья и сестры стали рыдать и прощаться – они думали, что их обманули и что на самом деле их ждут одиночки крепостных казематов. Но их успокоили, показав на стоявший на рейде фрегат «Полярная звезда», который готовился к отплытию.

До самого конца Антоновичей строго охраняли, и полковник Циглер, руководивший всей экспедицией, получил строгий указ не давать арестантам писать и отправлять письма, никого к ним не допускать. «Но если бы кто, – отмечалось в инструкции, – сверх ожидания, отважился войти на фрегат силою и тем вознамерился бы отнять из рук Циглера принцев и принцесс, в таком случае велено ему отражать силу силою и оборониться до последней капли крови». К счастью, пункта об убийстве пленников в инструкции не было – видно, к 1780 году дела Екатерины приняли «надлежащее положение».

Ночью 1 июля капитан М. Арсеньев отдал приказ поднять якоря. Дети Анны Леопольдовны навсегда покидали свою родину. Они плакали, целуя руки провожавшего их Мельгунова. Плавание выдалось на редкость тяжелое. Долгих девять недель непрерывные штормы, туманы, встречные ветры мешали «Полярной звезде» дойти до берегов Дании. Мы не знаем, о чем думали и говорили ее пассажиры. Наверное, сидели, тесно прижавшись друг к другу, молились по-русски русскому Богу, мечтая лишь об одном – умереть вместе.

Но судьба благоволила к ним. 30 августа 1780 года показался Берген. Здесь Антоновичей пересадили на датский корабль. Они по-прежнему не были свободны, и их насильно разлучили со слугами – побочными братьями и сестрами, которых, как положено по тупым бюрократическим законам (ведь на слуг нет бумаги!), оставили на российской территории – на палубе «Полярной звезды».

Вырванные из привычной им обстановки, окруженные незнакомыми людьми, говорившими на чужом языке, принцы и принцессы были несчастны и лепились друг к

другу. Тетка-королева поселила их в маленьком городке Горзенсе в Ютландии, но ни разу не пожелала повидаться с племянниками. А они, как старые птицы, выпущенные на свободу, были к ней не приспособлены и стали один за другим умирать. Первой в октябре 1782 года умерла их предводительница – Елизавета. В 1787 году умер Алексей, в 1798-м – Петр. Дольше всех, целых шестьдесят шесть лет, прожила старшая, Екатерина, та самая, которую уронили в суеде ночного переворота 25 ноября 1741 года.

И вот в августе 1803 года император Александр I получил письмо как будто из другой, давно ушедшей эпохи. Екатерина Антоновна просила царя, чтобы ее забрали домой, в Россию, в монастырь; что, пользуясь ее болезнями и неведением, датские придворные и слуги грабят ее и «все употребляй денга для своей пользы и что они были прежде совсем бедны и ничего не имели, а теперича они оттого зделались богаты, потому что всегда лукавы были... Я всякий день плачу и не знаю, за что меня сюда Бог послал и почему я так долго живу на свете, и я всякий день поминаю Холмогор, потому что мне там был рай, а тут – ад». Государь молчал. И, не дождавшись ответа, последняя дочь несчастной брауншвейгской четы умерла 9 апреля 1807 года.

Глава 4

Порфиросносная девица: Елизавета Петровна

Цена девичьих слез



Глухой ночью 25 ноября 1741 года генерал-прокурор Сената князь Я. П. Шаховской был поднят с постели громким стуком в дверь. Это был сенатский экзекутор. «Вы, благосклонный читатель, – писал в своих мемуарах Шаховской, – можете вообразить, в каком смятении дух мой находился! Нимало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов не имея, я сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и вмиг удалился, но вскоре увидел [я] многих по улице мимо окон моих [людей], бегущих необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я немедленно поехал... Не было мне надобности размышлять в которой дворец ехать». Все бежали к Царицыну лугу – Марсову полю, возле которого стоял дворец цесаревны Елизаветы Петровны. В эту глухую, темную, морозную ночь он сиял огнями. Веселые крики гвардейцев вокруг разожженных прямо на улице костров, густая толпа зевак, запрудивших все подходы к жилищу дочери Петра Великого, – все это с неумолимой ясностью говорило генерал-прокурору, что пока он спал, в столице произошел государственный переворот, и власть перешла к Елизавете. Так начался «славный век императрицы Елизаветы».

Думаю, что опытный царедворец Шаховской слегка лицемерил, рассказывая про то смятение, которое его охватило: о грядущем перевороте он, как и многие другие, наверняка знал заранее. Это уже давно был секрет Полишинеля. Великую княгиню Анну Леопольдовну, правительницу России при императоре-младенце Иване Антоновиче, а также

ее министров не раз и не два предупреждали о честолюбивых намерениях тетушки Елизаветы. Об этом доносили шпионы, писали дипломаты из разных стран. Но больше всего первого министра Андрея Ивановича Остермана встревожило письмо, пришедшее из Силезии, из Бреславля. Хорошо информированный агент сообщал, что заговор Елизаветы окончательно оформился и близок к осуществлению; необходимо немедленно арестовать личного врача цесаревны И. Г. Лестока, в руках которого сосредоточены все нити заговора.

Анна Леопольдовна не послушалась тех, кто советовал задержать Лестока, и поступила по-своему – наивно и глупо. На ближайшем куртаге – приеме при дворе 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласила тетушку в соседний покой. Держа в руках бреславское письмо, она попыталась приструнить Елизавету по-семейному. Когда обе дамы вновь вышли к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас отметили присутствовавшие на куртаге дипломаты. Вскоре Елизавета уехала домой. Как писал в своих «Записках» генерал Х. Г. Манштейн, «цесаревна прекрасно выдержала этот разговор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастливой, что...», – одним словом, полились слезы, в потоках которых утонули все подозрения, ибо вместе с Елизаветой разрыдался и ее простодушный следователь, который, действительно, к своему несчастью, поверил, что цесаревна ни в чем не виновата.

Вернувшись к себе, Елизавета испытала леденящий страх. Она прекрасно понимала, что в случае ареста Лестока разоблачение неминуемо – болтливый и слабовольный хирург-француз все рассказал бы в Тайной канцелярии при одном только виде дыбы. И тогда... дальний монастырь, пострижение, прощай сладкая жизнь! Нет, это Елизавете представить было невозможно! Раз встав на путь лжи и клятвопреступлений, она решила не сходить с него до конца.

Через сутки, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, горячо и со слезой помолившись Богу, цесаревна надела кавалерийскую кирасу, села в сани и по темным и завьюженным улицам столицы полетела в казармы Преображенского полка.

Три сотни разгневанных кумовьев

В слободе Преображенского полка Елизавету уже ждали. Она, раскрасневшаяся от мороза и волнения, была прекрасна, как Венера, но лапидарна, как Юлий Цезарь, когда обратилась к солдатам: «Друзи мои! Как вы служили отцу моему, то при нынешнем случае и мне послужите верностью вашею!» В ответ гренадеры дружно прокричали: «Рады все положить души наши за Ваше Величество и Отечество наше!» – и устремились за своим прелестным полководцем в сторону Зимнего дворца.

Вряд ли стоит говорить, что гренадеры не были подняты со своих постелей так же внезапно, как генерал-прокурор Шаховской. Они были давно подготовлены к «революции» Елизаветы. Предварительные разговоры, намеки доверенных цесаревны, деньги и обещания, которые они щедро раздавали, сделали свое дело наилучшим образом. Но все же успех был бы невозможен, если бы не весьма благоприятная для Елизаветы политическая конъюнктура. После смерти императрицы Анны Иоанновны осенью 1740 года наступили смутные времена. Как помнит читатель, формально у власти стоял (точнее – лежал в люльке) двухмесячный император Иван Антонович – сын правительницы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха. У трона крошечного императора сразу же началась отчаянная борьба. Вначале власть прибрал к своим рукам фаворит покойной императрицы Бирон, через три недели его сверг фельдмаршал Миних, которого вскоре оттеснил от власти Остерман.

Чехарда у трона, в которой участвовали преимущественно иностранцы на русской службе, безликость, неавторитетность верховной власти правительницы Анны Леопольдовны и всей Брауншвейгской фамилии слишком раздражали многих и прежде всего – гвардию. Этим и сумела воспользоваться цесаревна Елизавета Петровна. Особенно популярна она была среди гвардейских низов: из 308 рядовых, которые отправились с Елизаветой брать Зимний дворец, всего лишь 54 были дворянами, то есть меньше 20 %. Остальные были выходцами из крестьян, церковников, однодворцев и даже холопов. И хотя они уже оторвались от своей прежней социальной среды и находились во власти типично преторианской психологии с ее туповатой сплоченностью, фамильным отношением к власти предрешающим, весьма преувеличенным представлением о собственной роли в судьбе трона и страны, тем не менее, их особые симпатии к дочери великого царя и лифляндской прачки были очевидны.

Напротив того, дворянство, особенно родовитое, и тогда и позже с пренебрежением относилось к Елизавете, чье «подлое» и незаконное происхождение (ведь Елизавета родилась до свадьбы Петра I и Екатерины) и «простонародное» поведение коробило светских дам и кавалеров. Гвардейским же солдатам эта милая, веселая, «любезная взором» красавица очень нравилась. Она запросто, как некогда ее великий отец, водила с ними компанию. Более того, Елизавета даже породнилась со многими гренадерами, охотно откликаясь на приглашения быть крестной матерью их отпрысков. А крестное родство (по русским православным традициям – кумовство на «ты»), считалось весьма близким, ибо шло от Бога. И вот мы читаем в донесениях французского посланника Шетарди о том, как Миних на Новый 1741 год пришел поздравить цесаревну с праздником и был просто ошарашен зрелищем, которое перед ним открылось: «Сени, лестница и передняя были

заполнены сплошь гвардейскими солдатами, фамильярно величавшими эту принцессу своей кумой. Более четверти часа он не в силах был прийти в себя в присутствии принцессы Елизаветы, ничего не видя и не слыша».

Тревога старого фельдмаршала понятна: сила Елизаветы – гвардейской кумы – состояла в том, что она была дочерью Петра Великого, которую – по мнению гвардейцев – несправедливо отстранили от престолонаследия, отдав трон Брауншвейгской фамилии. И Миних, увидав толпы гвардейцев во дворце Елизаветы, вполне это оценил.

Недовольство слабым режимом правительницы сочеталось у гвардейцев с идеализацией Петра Великого – (строгого, но справедливого, радевшего о благе подданных государя – не то что ничтожества, толпившиеся у трона Ивана Антоновича!). Идеализация эта в полной мере распространялась и на его дочь, в которой гвардейцы видели прямую продолжательницу великого, но ныне заброшенного дела Петра. Дошедшие до нас списки участников переворота показывают, что почти треть гвардейцев отряда Елизаветы начала службу при Петре Великом. К 1741 году это были пятидесятилетние, убеленные сединами ветераны, чьим рассказам о славных летах, проведенных рядом с великим царем, о белокурой девочке – его любимой дочери, выросшей на их глазах, жадно внимали молодые солдаты: среди участников переворота их было 120 человек, то есть больше трети. Все они были взяты в гвардию в конце царствования Анны Иоанновны. Придумал это Бирон. Опасаясь дворянских вольнодумцев в гвардейских мундирах, временщик начал обновлять гвардию за счет рекрутов из крестьян и других «подлых». Именно сочетание удалцов-ветеранов и необстрелянных наивных юношей, смотревших им в рот, и стало горячим материалом переворота. Искру в него бросила Елизавета, самолично явившись к гвардейцам – своим кумовьям.

Как маркиз Шетарди руководил заговором

В истории революции 25 ноября 1741 года есть одна страница, о которой Елизавете всегда хотелось забыть. Речь идет об активном участии в заговоре иностранных держав в лице французского посланника в России Иоахима Жана Тротти маркиза де ла Шетарди и шведского посланника Эрика Матиаса Нолькена. Французский дипломат, прибывший в Россию в 1739 году, имел от Версаля конкретное задание: разрушить русско-австрийский союз 1726 года, серьезно укреплявший позиции давнего врага «христианнейшего» короля Людовика XV – Австрии, или, как тогда говорили, Империи. Добиться этого можно было лишь путем смены проавстрийского правительства Анны Леопольдовны.

Ту же цель ставил перед собой и Нолькен. В Стокгольме были очень сильны реваншистские настроения. Шведским правителям казалось, что при ослаблении власти в России и при первом волнении в Петербурге можно добиться пересмотра Ништадтского мира 1721 года и возвращения Швеции Восточной Прибалтики. Нолькен и Шетарди начали вести подрывную работу: искать и поддерживать те силы, которые были бы в состоянии свергнуть правительство Анны Леопольдовны. И вот осенью 1740 года Нолькен первым вышел на Елизавету, и она вступила с ним в переговоры, точнее – в недостойный ее, дочери Петра Великого, политический торг.

Нолькен предложил ей простой и ясный план: цесаревна подписывает обращение-обязательство к шведскому королю с просьбой помочь ей взойти на престол, король начинает войну против России, наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в пользу Елизаветы. Для исполнения плана он дает Елизавете сто тысяч экю, а она обещает, в случае успеха предприятия, удовлетворить все территориальные претензии Швеции. Цесаревна была на все согласна, но просила выдать ей вперед деньги, в которых, как всегда, очень нуждалась. Нолькен настаивал на обратном варианте – сначала письменное обязательство, а потом деньги. Елизавета не возражала, была готова тотчас подписать нужную бумагу, но деньги просила выдать раньше. За этим бесплодным спором и застал заговорщиков Шетарди, пронюхав у Нолькена о честолюбивых намерениях цесаревны. Он сразу же ввязался в интригу и начал действовать.

Сделаем небольшое отступление. В действиях Нолькена и Шетарди был, конечно же, криминал, но участие иностранных дипломатов в интригах при дворе своей аккредитации в те времена было явлением обычным. Можно написать целую сагу о том, как русские посланники золотом устилали дорогу для угодных России ставленников в Польше, Швеции и других странах. И вообще, редкий международный трактат не содержал тайных статей о вмешательстве высоких договаривающихся сторон во внутренние дела третьих стран. Нолькен и Шетарди не были благородным исключением из этих грязных правил.

Шетарди, в отличие от осторожного Нолькена, денег для цесаревны не жалел, он не на шутку увлекся заговором, мысля себя его движущей силой, главным, как бы теперь сказали, координатором. Маркиз был по природе своей человеком пылким, романтическим, но легкомысленным и глупым. Условные знаки, пароли, записки, передаваемые во время менуэта или котильона, плащи, ночная тьма, переодевания – весь этот пошлый набор заговорщицкой атрибутики пошел в ход. Как пишет мать Екатерины II, княгиня Иоганна-Елизавета, свидания заговорщиков «происходили в темные ночи, во время гроз, ливней,

снежных метелей, в местах, куда кидали падаль», то есть на помойках. Соглядатаи регулярно сообщали начальству о том, как французский посланник тайно, по ночам, огородами пробирался во дворец Елизаветы, но явно «не для амуру».

Шетарди и Нолькен непрерывно писали своим министрам пространные реляции, обещая, что вот-вот успех увенчает переговоры с цесаревной. Но нет! Елизавета почему-то стала тянуть время: она колебалась, сомневалась, медлила, а главное – бумаг никаких не подписывала. Наконец, Нолькен и Шетарди пришли к выводу, что Елизавета серьезно опасается подписывать какие-либо обязательства о будущих уступках земель, отвоеванных ее отцом – победителем тех же самых шведов, ибо она рискует «сделаться ненавистной народу, если окажется, что она призвала шведов», чтобы взойти на престол такой ценой.

Вскоре выяснилось, что остановить запущенную машину уже невозможно: победные реляции дипломатов об успехах в переговорах с Елизаветой сыграли свою роковую роль. В Стокгольме решили действовать, не дожидаясь от Нолькена подписанных цесаревной бумаг. Летом 1741 года Швеция начала войну против России в Финляндии и... сразу же потерпела сокрушительное поражение под Вильманстрандом 23 августа 1741 года. Надежды на шведскую помощь с треском провалились. От пылкого Шетарди тоже толку было мало. Рассчитывать Елизавете приходилось только на себя. И после куртага 23 ноября 1741 года она решила действовать самостоятельно.

Впрочем, маркиз Шетарди до самого конца полагал, что именно он руководит заговором в пользу Елизаветы, и можно представить его ужас, когда ночью 25 ноября в его дом, стоявший на Адмиралтейской площади, почти напротив резиденции императора, стали грубо ломиться солдаты. Он подумал, что разоблачен и его неминуемо ждет Сибирь. На самом деле вышла ошибка – часть гвардейцев, сопровождавших Елизавету, была откомандирована от основного отряда, чтобы арестовать Остермана, Михаила Головкина и других сановников Анны Леопольдовны. В темноте солдаты перепутали дом, чем и перепугали до смерти всю французскую миссию во главе с Шетарди.

Можно предположить, что маркиз, стоя у окна в ночном колпаке и халате, видел сам «штурм Зимнего», который он так усиленно готовил на балах и помойках. Выйдя из саней на Адмиралтейской площади, Елизавета в сопровождении трехсот своих кумовьев, чтобы не слишком шуметь, пошла к Зимнему пешком. Солдаты нервничали, спешили, цесаревна же пугалась в юбках, вязла в снегу, да и, вероятно, ей было трудно идти в тяжелой кирасе, – одним словом, она явно задерживала всю честную компанию. Вот тогда-то и произошел невиданный в истории революций и переворотов эпизод: гренадеры, недолго думая, подхватили, как перышко, на свои широкие плечи прелестную Венеру, и она, верхом на своих солдатах, въехала в Зимний дворец.

Штурм Зимнего

Архиепископ Арсентий в проповеди в день коронации Елизаветы, изумляясь свершенному императрицей в памятную ночь штурма Зимнего, помянул мужество ее, когда эта девица была принуждена, забыв деликатность своего пола, «пойти в малой компании» на очевидный для жизни риск, «не жалеть... за целостность веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля».

В описанную красноречивым пастырем ночь неприятель этот блаженно спал в колыбели, с вечера насосавшись молока из груди кормилицы Катерины Ивановой, и не подозревал, что против него «заводят шеренги». Спали и родители императора, приближенные и слуги. Ворвавшись во дворец, Елизавета не мешкала: входы и выходы были перекрыты, караул сразу же перешел на сторону мятежников, и затем в императорские апартаменты на втором этаже устремилась «группа захвата». Солдаты разбудили и арестовали правительницу России Анну Леопольдовну и ее мужа Антона Ульриха. Ни принц, ни его супруга сопротивления не оказывали. Они безропотно подчинились своей горькой судьбе и позволили увезти себя во дворец Елизаветы, куда вскоре проследовала и сама хозяйка. Ей, счастливнице, пора было принимать поздравления – курьеры будили своих начальников, и те, кое-как одевшись, спешили, подобно Шаховскому, на поклон.

Завершая описание «штурма Зимнего», отметим, что, несмотря на легкость и бескровность переворота, во всей этой истории были моменты весьма острые, и Елизавета проявила в них всю свою волю и характер. Ей, привыкшей к праздничной, беззаботной жизни, было совсем не просто решиться на государственный переворот. В тот момент, когда она в сопровождении только трех человек – Лестока, Воронцова и учителя музыки Шварца – садилась в сани, чтобы ехать в казармы преображенцев, никто не мог дать гарантий, что успех заговорщикам обеспечен, что сопротивления не будет, что ее, наконец, не ждет наказание за государственное преступление. Ночь переворота всегда черна и страшна, как бездна, в которую нужно шагнуть не раздумывая. И чтобы преодолеть этот страх, требуется мужество даже сильным мужчинам. Цесаревна – слабая женщина – такое мужество проявила, и даже дважды. Вначале она подняла солдат на мятеж, а потом возглавила штурмовую группу. Иначе она поступить не могла, ведь среди мятежников не было ни одного офицера, чтобы командовать солдатами. Так что пришлось ей, действительно забыв «деликатность своего пола», в первый и последний раз в жизни выступить в роли военачальника...

А потом был ярко освещенный дворец, шампанское, толпа льстивых царедворцев, павшая к ее ногам. К утру манифест о восшествии на престол и присяга подданных были готовы, войска и жители присягнули, и под крики «Виват!» и пушечную пальбу императрица вступила в Зимний дворец. Из окна ее нового жилища была видна Петропавловская крепость, шпиль собора, под полом которого вечным сном спали ее родители. Может быть, в свете новоселья Елизавета на минуту остановилась у окна и вспомнила прошлое – между ее новым дворцом и крепостью пролегало не только белое ледяное поле застывшей Невы, но и тридцать лет жизни цесаревны, ставшей императрицей.

«Четвертная лапушка»

Елизавета родилась, несомненно, под счастливой звездой. Событие это произошло 18 декабря 1709 года, когда русская армия завершала победную кампанию 1709 года торжественным вступлением в Москву. Сохранившиеся гравюры показывают, сколь красочным и величественным было это зрелище: несли трофейные знамена, вели знатных пленных, генералов, приближенных Карла XII, тысячи солдат и офицеров. Петр, распорядившись всей церемонией, перед самым ее началом получил известие о благополучном разрешении Екатерины дочерью. Он дал приказ отложить на три дня вступление победителей в старую столицу и начал пир в честь рождения девочки, названной редким тогда именем Елизавет.

Детство и юность Елизаветы прошли в Москве и Петербурге. Девочку воспитывали вместе со старшей сестрой Анной, родившейся в 1708 году. Отец девочек был почти все время в разъездах, мать часто его сопровождала. Дочерей царя опекали либо младшая сестра Петра, царица Наталья, либо семья Меншикова.

Теперь, проходя по анфиладе нарядных и уютных залов Меншиковского дворца-музея, невольно думаешь о том, что тогда, во времена детства Елизаветы, здесь не было так тихо и чинно. Царские дочери в веселой компании с Сашей и Машей – дочерьми светлейшего князя, а также с его сыном Александром, должно быть, устраивали изрядные шум и беготню. А потом их уводила обедать или спать заботливая горбунья Варвара Арсеньева – сестра хозяйки дома княгини Дарьи Меншиковой. В своих письмах к Петру и Екатерине Меншиков писал: «Дорогие детки ваши, слава Богу, здоровы».

Одно из первых упоминаний о Елизавете встречается в письме Петра I от 1 мая 1710 года, когда он передал привет пятимесячной дочери. Вообще, в письмах к дочерям и о дочерях суровый, озабоченный сотнями важных дел Петр преображается – он ласков, весел и заботлив: Аннушка и Лизанька, играя и кувыркаясь, проникли в его железное сердце и уютно там расположились. Он постоянно шлет приветы детям, особенно младшей, посылает им гостинцы.

Первый официальный выход Елизаветы состоялся 9 января 1712 года. Этот день был весьма важен для судьбы будущей императрицы: ведь она и ее сестра были бастардами, или, как тогда говорили по-русски, выблядками. Петр узаконил свои отношения с Екатериной церковным браком, и девочки, обойдя вслед за родителями вокруг аналоя, стали законными – «привенчанными» – детьми царской четы. После церемонии венчания Анна и Елизавета некоторое время восседали за пиршественным столом во дворце в качестве «ближних девиц» матери-невесты, пока их, усталых и сонных, не унесли в постель.

11 июня 1717 года Екатерина писала мужу, что Елизавета заболела оспой, но болезнь оказалась легкой и вскоре дочь «от оной болезни уже освободилась без повреждения личика своего». Можно с уверенностью сказать, что если бы после болезни Елизавета стала рябой, то вся история ее жизни, да и, наверное, России, была бы тоже другой – ведь божественная красота цесаревны, а потом и императрицы, сильнейшим образом повлияла на ее характер, привычки, поступки и даже политику.

Царских дочерей начали обучать грамоте довольно рано. Уже в 1712 году Петр писал Елизавете и Анне записки, впрочем, без особой надежды на ответ. А вот в 1717 году

переписка уже шла вовсю. Екатерина, которая была с Петром за границей, просила Анну «для Бога потщиться: писать хорошенько, чтоб похвалить за оное можно и вам послать в презент прилежания вашего гостинцы, на что б смотря, и маленькая сестричка также тщилаась заслужить гостинцы». И вскоре, действительно, младшая заслужила гостинец! В начале 1718 года Елизавета получила от отца письмо: «Лизетка, друг мой, здравствуй! Благодарю вас за ваши письма, дай Боже вас в радости видеть. Большова мужика, своего братца (царевичу Петру Петровичу было чуть больше двух лет. – Е. А.) за меня поцелуй».

Совершеннолетней, то есть пригодной к браку, Елизавету признали 9 сентября 1721 года, когда ей не исполнилось еще и двенадцати. На торжественной церемонии Петр срезал с платья дочери маленькие белые крылышки, и начался новый этап ее жизни – она стала невестой на выданье. К этому царевен готовили чуть ли не с пеленок. С 1716–1717 годов кроме привычных мамок и нянек в окружении царевен появляется француз – учитель танцев. Графиня М. Маньяни и учитель Глюк преподают девочкам итальянский, немецкий и французский, последняя взрослая Елизавета знала в совершенстве. В итоге дочери Петра умели читать, писать, бегло говорить на нескольких языках, разбираться в музыке, танцевать, одеться к лицу, знали этикет. А что еще нужно, чтобы, имея такую ослепительную красоту, стать французской королевой?

Именно такую судьбу готовил средней дочери (к этому времени родилась еще Наталия) Петр. В 1721 году он писал русскому посланнику во Франции князю В. Л. Долгорукому, что, будучи в Париже в 1719 году, он говорил матери короля Людовика XV «о сватанье за короля из наших дочерей, а особливо за среднюю, понеже равно летна ему (Луи родился в 1710 году. – Е. А.), но пространно, за скорым отъездом, не говорили, которое дело ныне вам вручаем, чтоб, сколько возможность допустит, производили». Поручение царя оказалось для Долгорукого тяжелым и, в сущности, невыполнимым – Версаль не был в восторге от предложенной партии с дочерью прачки, рожденной, к тому же, до брака царя. Французы отговаривались юностью короля, а когда Петр Великий в 1725 году умер, с мнением его преемницы Екатерины I уже и вовсе не считались, женили Людовика на дочери когда-то свергнутого русскими войсками польского экс-короля Станислава Лещинского – Марии, и тем самым поставили точку в русско-французских брачных переговорах. Так и не суждено было Елизавете стать женой развратного Людовика XV и свекровью Марии-Антуанетты. Впрочем, ее судьба еще долго была неопределенна.

Наслаждение жизнью

Умирая в мае 1727 года, мать Елизаветы – императрица Екатерина I – завещала дочери выйти замуж за Карла Августа, младшего брата ее зятя – герцога Голштинского, мужа Анны Петровны. Карл Август – симпатичный, приветливый юноша – к тому времени уже приехал в Россию и ходил в женихах Елизаветы. Но, к несчастью, летом 1727 года он неожиданно заболел и умер. Впоследствии, в 1744 году императрица Елизавета расплакалась, увидев мать будущей Екатерины II, Иоганну-Елизавету, – так удивительно похожа была она, младшая сестра Карла Августа, на покойного жениха цесаревны.

Впрочем, тогда цесаревна-невеста печалилась недолго, она стала первой звездой двора юного императора Петра II, осенью 1727 года освободившегося от власти Меншикова и вкусившего наконец-то свободу самодержца. Но мальчик-император, сын погибшего в застенке Петропавловской крепости царевича Алексея, не мог самостоятельно управлять страной. Он оказался под сильным влиянием своего фаворита – девятнадцатилетнего князя Ивана Долгорукого – и всей большой семьи князей Долгоруких, которые стремились укрепиться у власти. С этой целью они потакали всем прихотям императора, всячески ублажали и развлекали его. Главной целью и смыслом жизни Петра II стала охота. После переезда двора в Москву в начале 1728 года Петр и князь Иван Долгорукий неделями пропадали в богатых дичью подмосковных лесах. Кроме того, князь Иван, прослывший в обществе человеком разгульного нрава, большим любителем дамского пола, втянул своего царственного приятеля в развлечения «золотой молодежи». В характере императора рано проявились малоприятные черты, которые обещали России правителя самовлюбленного, черствого и далекого от учения и труда. «Он очень высокий и крупный для своего возраста... – писала леди Рондо, – у него белая кожа, но он очень загорел на охоте, черты его лица хороши, но взгляд тяжел и, хотя император юн и красив, в нем нет ничего привлекательного или приятного». О жестоком сердце, посредственном уме, упрямстве Петра, его склонности к безделью и развлечениям, нежеланию учиться писали и многие другие иностранные наблюдатели.

В конце 1727 года разнесся слух о романе императора и его красавицы тетушки. Действительно, для сплетен были основания: восемнадцатилетняя Елизавета не была пуританкой, а двенадцатилетний император не по годам был росл, крепок и в компании князя Ивана Долгорукого уже многое познал от древа греха. Петр и Елизавета стали на какое-то время неразлучны. У них нашлось много общего – оба были изрядными прожигателями жизни и без ума любили развлечения: праздники, поездки, танцы, охоту. Испанский посланник герцог де Лириа писал в Мадрид: «Русские боятся большой власти, которую имеет над царем принцесса Елизавета: ум, красота и честолюбие ее пугают всех...» У меня нет никакого желания разносить, как далеко зашла нежная семейная дружба тетки и племянника. Пусть Петр и Елизавета останутся в нашей памяти такими, какими их увидел художник Валентин Серов: два изящных наездника на великолепных конях летят по осеннему полю, и юноша-император догоняет и не может догнать ускользающую от него красавицу с манящей улыбкой на устах...

Впрочем, дружба эта продолжилась недолго, и вскоре рядом с цесаревной по полям Подмосковья уже скакали другие спутники. В эти годы Елизавета была особенно беспечна и

весела – жизнь, с ее кажущейся в молодости бесконечной вереницей лет, лежала перед нею. Она очень рано поняла значение своей божественной красоты, ее завораживающее воздействие на мужчин и стала истинной и преданной дочерью своего гедонического века, века наслаждений и удовольствий. Нега веселья и праздности поглотила Елизавету с головой. Об уровне интересов цесаревны и ее окружения выразительно говорит письмо ее ближайшей подруги, Мавры Шепелевой, из Киля, куда та поехала вместе с Анной Петровной: «Матушка-царевна, как принц Орьдов хорош!

Истинно, я не думала, чтоб он так хорош был, как мы видим: ростом так велик, как Бутурлин, и так тонок, глаза такие, как у вас цветом и так велики, ресницы черния, брови темнорусия... румянец алой всегда на щеках, зубы белы и хараши, губи всегда алы и хараши, речь и смех – как у покойника Бишова, асанка паходит на государеву (то есть Петра II. – Е. А.) асанку, ноги тонки, потому что молат; девятнадцать лет, волосы свои носит и волосы по поес... Еще ж данашу: купила я табакерку, и персона в ней пахожа на вашу высочество, как вы нагия».

В этом письме упомянут Александр Борисович Бутурлин. Этот красавец исполинского роста был камергером двора Елизаветы и ее любовником. Верховники – члены Верховного тайного совета, управлявшие страной при малолетнем императоре, – внимательно следили за поведением Елизаветы и, уstraшенные слухами о кутежах цесаревны и ее камергера в подмосковном владении Елизаветы – Александровской слободе, нашли предлог отправить Бутурлина подальше от Москвы, в армию, на Украину. Впрочем, увлеченная прожиганием жизни, Елизавета легко перенесла разлуку с Бутурлиным – на его месте уже был другой.

Весной 1728 года Елизавета потеряла самого близкого ей человека – из Киля было получено известие о смерти ее сестры Анны. Судьба старшей дочери Петра Великого сложилась трагически. В 1725 году согласно воле покойного отца она была выдана за герцога Голштинского Карла Фридриха, причем Петр долго колебался, решая, какую из двух дочерей – Елизавету или Анну – оторвать от себя. В этом смысле судьба Анны могла вполне стать судьбой Елизаветы и наоборот. В столице Голштинии, куда ей пришлось отправиться с мужем летом 1727 года, среди чужих людей, дочь Петра Великого чувствовала себя одиноко, да и муж оказался недостоин такого сокровища, каким, по единодушному мнению современников, была Анна. Герцог был пьяница, распутник и гуляка. Письма Анны к сестре, Петру II полны тоски, слез и жалоб. Но изменить ничего уже было невозможно: Анна была беременна. Осенью 1727 года Мавра Шепелева писала Елизавете, что в кильском дворце шьют рубашонки и пеленки и что у Анны «в брюхе что-то ворошится».

В феврале 1728 года герцогиня родила мальчика, которого называли Карлом Петером Ульрихом. Вскоре у Анны открылась скоротечная чахотка, и она умерла, завещав похоронить себя в Петербурге, возле родителей. Думаю, что Анне, так нежно относившейся к младшей сестричке, хотелось, чтобы та приехала на похороны – ведь все детство и юность они были неразлучны. Но ее тело доставили в Петербург только осенью, а осень – время охоты, и Елизавета не нашла двух-трех дней, чтобы домчаться до столицы и поклониться праху близкого человека. То, что она в то время была здорова, мы знаем точно.

В деревне застали Елизавету и события начала 1730 года, когда заболел и умер Петр II. Французский дипломат Маньян писал в Париж, что принцесса Елизавета вовсе не показывалась в Москве в продолжение всех толков о том, кто будет избран на престол. Она жила в деревне, несмотря на просьбы своих друзей, готовых ее поддержать, и явилась в город не раньше как по избранию Анны Иоанновны. Одни наблюдатели усматривали в этом

какую-то особую тактику честолюбивой дочери Петра, ждавшей своего часа, другие шипели, что как раз в это время она была беременна. Думаю, что все было проще – честолюбие цесаревны еще спало, ее не интересовала власть, в ней лишь играла молодая кровь. Да, сказать по правде, шансы ее занять в тот момент престол были ничтожно малы, а времени на раздумья у нее не было вовсе – сразу после смерти Петра II верховники объявили об избрании на русский престол герцогини Курляндской Анны Иоанновны. Обсуждая этот вопрос, глава верховников князь Дмитрий Голицын – старый аристократ, предложивший кандидатуру этой «чисто русской» дочери царя Ивана V и царицы Прасковьи Федоровны, – походя помянул недобрым словом отродье лифляндской прачки. И этого было достаточно – имя цесаревны более не возникало.

«Послушная раба Елизавет»

Царствование Анны Иоанновны, которая приходилась Елизавете двоюродной сестрой, оказалось для цесаревны долгим, тревожным и малоприятным. Нет, ничего страшного с ней не происходило. По придворному протоколу Елизавета занимала весьма почетное место – третье, сразу после царицы и ее племянницы принцессы Анны Леопольдовны. Она имела собственный дворец, штат придворных, слуг, вотчины и денежное содержание. Но ей, привыкшей к положению избалованной дочери-красавицы, всеобщей любимицы, чьи капризы – закон, приходилось несладко: новая императрица не жаловала кухню. За неприязнью Анны Иоанновны скрывалось многое: и презрение к «худородности» Елизаветы, и опасения относительно ее намерений на будущее, но главное – жгучая зависть к счастливой судьбе, беззаботной веселости девушки, не познавшей, как она, Курляндская герцогиня Анна, ни бедности, ни унижений.

Кроме того, Елизавете ничего и не нужно было делать, чтобы возбудить ненависть царицы: достаточно было появиться в бальном зале с бриллиантами в великолепной прическе, в новом платье, с милой улыбкой на устах. И наградой был шелест восхищения в толпе гостей и придворных. Со своего трона тяжелым взглядом следила императрица за Елизаветой – звездой бала. Ей, царице, – рябой, чрезмерно толстой, старой (Елизавета была на семнадцать лет моложе Анны!) – не суждено было соперничать с цесаревной в бальном зале. Леди Рондо описывает посещение придворного бала китайским послом: «Когда он начался, китайцев, вместе с переводчиком, ввели в залу: Ее Величество спросила первого из них (а их было трое), какую из присутствующих здесь дам он считает самой хорошенькой. Он сказал: „В звездную ночь трудно было бы сказать, какая звезда самая яркая“, но заметив, что она ожидает от него определенного ответа, поклонился принцессе Елизавете: среди такого множества прекрасных женщин он считает самой красивой ее, и если бы у нее не были такие большие глаза, никто не мог бы остаться в живых, увидев ее». Нетрудно представить, что испытывала в такие минуты императрица Анна Иоанновна.

Она отводила душу в другом – угнетала Елизавету экономически и морально. Для начала она положила кокетке на содержание 30 тысяч рублей в год и не давала ни копейки больше. Это было трагедией для Елизаветы, раньше никогда не считавшей денег. Цесаревне было крайне неудобно при дворе Анны Иоанновны – Елизавета чувствовала себя лишней в царской семье. О характере отношений Анны и Елизаветы прекрасно говорит прошение цесаревны к императрице за 1736 год. Елизавета посадила под арест управляющего своими имениями, заподозрив его в воровстве. Но по распоряжению Анны Иоанновны его неожиданно освободили. Это очень напугало цесаревну, и она решила упредить возможный донос управляющего. Прошение написано в традиционных уничижительных тонах и кончается подписью: «Вашего императорского величества *послушная раба Елизавет*». Так оно и было на самом деле: как и все подданные, Елизавета была в полной власти самодержицы, и Анна Иоанновна могла поступить с кухней, как с обыкновенной дворянской девицей.

Анна Иоанновна была озабочена тем, чтобы власть никогда не попала в руки потомков Екатерины I. Несмотря на публичную присягу Елизаветы на верность любому решению императрицы о престолонаследии, покоя ни Анна, ни ее окружение не знали. Расчетливый вице-канцлер Андрей Иванович Остерман писал, что «в том сомневаться невозможно, что,

может быть, мочи и силы у них (то есть у Елизаветы и ее племянника Карла Петера Ульриха. – Е. А.) не будет, а охоту всегда иметь будут» к занятию престола.

Проще всего решить «проблему Елизаветы» можно было, выдав ее замуж за какого-нибудь иностранного принца. И таких женихов перед цесаревной прошла целая вереница: Карл Бранденбург-Байрейтский, принц Георг Английский, инфант Мануэль Португальский, граф Маврикий Саксонский, инфант Дон Карлос Испанский, герцог Эрнст Людвиг Брауншвейгский. Присылал сватов и персидский шах Надир. Может быть, некоторые из женихов и понравились бы привередливой цесаревне, да все они не нравились самой императрице, которая, вместе с Остерманом, мечтала выдать Елизавету «за такого принца... от которого никогда никакого опасения быть не может». Представить, что в Мадриде или Лондоне подрастает внук Петра Великого – претендент на русский престол, было выше сил Анны Иоанновны. Поэтому она тянула и тянула с замужеством Елизаветы, пока сама не умерла.

Все годы царствования Анны Иоанновны за Елизаветой постоянно следили. Когда в 1731 году цесаревна поселилась в Петербурге, Миних получил секретный указ императрицы днем и ночью наблюдать за тем, куда она ездит и кто к ней приходит. Зная о слежке, Елизавета старалась держаться как можно дальше от политики, но все же имя ее встречается чуть ли не во всех политических процессах аннинского периода. По материалам дел князей Долгоруких и Артемия Волынского видно, что ни Анна Иоанновна, ни Бирон не воспринимали цесаревну всерьез как политическую фигуру, но все же опасения на ее счет у властей оставались. Поэтому многие царедворцы, боясь навлечь на себя подозрения мнительной императрицы, сторонились дочери Петра Великого, избегали встреч и разговоров с нею. Да и саму Елизавету мало привлекала жизнь двора Анны Иоанновны. Хотя двор и блистал роскошью, живой и веселой девушке было там скучно – танцы и маскарады устраивались редко, императрица и ее придворные предпочитали карточные игры и забавы с шутами. Неудивительно, что Елизавета стремилась укрыться в своем дворце возле Царицына луга (Марсова поля) или в загородном доме – в кругу близких ей людей, подальше от недоброжелательных глаз императрицы.

Двор самой цесаревны был невелик – не больше ста человек вместе со служителями. Среди ее придворных выделялись три камер-юнкера – братья Петр и Александр Шуваловы и Михаил Воронцов. Фрейлинами двора были преимущественно ближайшие родственницы Елизаветы – графини Скавронские и Гендриковы. Это были дочери тех самых лифляндских крепостных крестьян – братьев и сестер Екатерины I, которых привезли в 1726 году в Петербург, оторвав от их вил и подойников, и сделали помещиками и графами. После смерти Екатерины I все они были оттеснены от престола, на котором сидела настоящая царская дочь Анна Иоанновна, презиравшая вчера еще босоногих графов и графинь. Елизавета стала для своих многочисленных племянников единственной опорой и надеждой в жизни. Цесаревне все время приходилось устраивать их на службу и учебу, хлопотать об их карьере, разбирать их споры, ссужать деньгами – словом, нести тяжкое бремя высокопоставленного родственника, могущество и возможности которого всегда кажутся безграничными провинциальной родне.

Жизнь двора цесаревны Елизаветы заметно отличалась от жизни «большого двора». Придворные цесаревны не были отягощены ни титулами, ни орденами, ни государственными обязанностями. И главное – все они были молоды. В 1730 году, когда самой Елизавете исполнился двадцать один год, братьям Шуваловым было около двадцати,

будущему канцлеру России Михаилу Воронцову – шестнадцать лет, ближайшей подруге цесаревны Мавре Шепелевой – двадцать два года. Все они были детьми Петровской эпохи, жизнь в европейском Петербурге казалась им естественной и удобной, и они, как и все молодые люди, любили веселье, танцы и прогулки. Заводилой всех празднеств, путешествий и развлечений была энергичная и неумная Елизавета. Никто не мог лучше ее ездить верхом, танцевать, петь, даже сочинять стихи и песни. В ней рано проявился творческий талант, и до наших дней дошли написанные ею в начале 1730-х годов несовершенные, но искренние стихи – плач по возлюбленному.

За этим стояла драма, которую Елизавете суждено было пережить в самом начале царствования Анны Иоанновны. В это время у цесаревны был возлюбленный – камер-паж А. Шубин. Их бурный роман был грубо прерван императрицей, которая в январе 1732 года велела Миниху арестовать и сослать фаворита цесаревны в Сибирь. Ссылка Шубина должна была разорвать все связи дочери Петра с гвардейцами, которые не раз выказывали ей, как доносили шпионы, «свою горячность». И хотя никаких компрометирующих Шубина документов не нашли, воля Анны была непреклонна. Возможно, кроме политических соображений, ею двигала злобная зависть к красавице кузине. Несчастный возлюбленный Елизаветы провел в Сибири десять лет. В начале 1742 года, сразу же после манифеста о восшествии на престол императрица Елизавета Петровна подписала указ о его освобождении, но специально посланному в Сибирь офицеру пришлось долго разыскивать Шубина по сибирским тюрьмам – имя его не упоминалось в списках узников. Сам же Шубин, услышав, что его всюду ищут, опасался назвать себя. Не зная, что Елизавета стала императрицей, он боялся, что его ждет еще более тяжкое наказание – ведь незадолго до этого императрица Анна вот так же извлекла из Сибири и казнила князей Долгоруких. Найти Шубина помог только счастливый случай...

Сослав в Сибирь возлюбленного Елизаветы, Анна Иоанновна не успокоилась. Она стремилась выведать все, что делает цесаревна, что она думает, о чем говорит с близкими друзьями за закрытыми дверьми своего маленького дворца. А веселая и жизнерадостная дочь Петра Великого часто грустила. В одной из песен, которую Елизавета сочинила, или, как тогда говорили, напела, красавица-нимфа, сидя на берегу ручья, обращается к его быстрым струям:

*Тише же ныне, тише протекайте
Чисты струйки по песку
И следов с моих глаз вы не смывайте,
Смойте лишь мою тоску...*

О чем, казалось бы, грустить и тосковать юной красавице? Ведь можно уехать в загородное имение Царское Село, скакать по полям, охотиться с собаками, устраивать водные прогулки или маскарад – да мало ли найдет себе занятий молодость, когда есть время и фантазия! Можно было заняться и хозяйством: по письмам Елизаветы видно, что она, несмотря на огромные траты, была рачительной и даже прижимистой хозяйкой. «Степан Петрович, – пишет она городскому приказчику, – прикажите объявить, где надлежит, для продажи яблок, а именно в Царском и в Пулковском, кто пожелает купить, понеже у нас уже был купец и давал за оба огорода пятьдесят рублей, и мы оному отказали затем, что дешево дает, того ради прикажите, чтобы в нынешнее время, покамест мы здесь, чтобы продать, а то уже и ничего не видя валяются».

Но нет! Как повествует дело Тайной канцелярии, стоял как-то солдат гвардии Пospelов на часах во дворце цесаревны и слышал, как хозяйка вышла на крыльцо и затянула песню: «Ох, житье мое, житье бедное!» В казарме Пospelов рассказал об этом своему другу солдату Ершову, а тот, не подумав, и брякнул: «Баба... бабье и поет!» Это было грубовато, но совершенно точно. Благополучие незамужней девицы в тогдашнем обществе было непрочным, а будущее – тревожным. Одно только слово императрицы – и ты уже едешь в глухую германскую землю, чтобы стать женой какого-нибудь немецкого ландграфа или герцога и смотреть всю жизнь, как он экономит каждый грош на свечах или наоборот – проматывает твои доходы с любовницами. Одно только царское слово – и ты уже пострижена в каком-нибудь дальнем монастыре, и судьба строптивой княжны Юсуповой, сгинувшей в 1730-е годы в темной и холодной келье, может стать и твоей судьбой. Вот тут-то и спасал... театр, седьмое чудо света.

На подмостках театра мечты

В 1735 году Тайная канцелярия неожиданно арестовала регента придворной капеллы цесаревны Ивана Петрова вместе с бумагами, которые у него нашли. Начальник Тайной канцелярии граф Ушаков допросил Петрова и выпустил на волю, предупредив, чтобы он об аресте «никому не разглашал, также и государыне цесаревне об этом ни о чем отнюдь не сказывал». Неприятная история с регентом Петровым возникла не случайно. Он был активным участником спектаклей придворного театра Елизаветы, а бумаги, взятые у него в Тайную канцелярию, были текстами ролей, которые он исполнял. Анна Иоанновна отправила тексты на экспертизу архиепископу Феофану Прокоповичу – большому знатоку театра и любителю политического сыска. Нет ли в комедии оскорбления чести Ее Императорского Величества? Это было весьма распространенным тогда политическим обвинением. Осторожный Феофан криминала в бумагах не усмотрел. Только после этого и выпустили Петрова на свободу.

Интерес императрицы к спектаклям во дворце цесаревны был явно нетеатрального свойства. Она знала, что представления проходят за закрытыми дверями и, как показал на допросе Петров, «посторонних, кроме придворных, никого на тех спектаклях не бывало». Действительно, Елизавета создала тесный, закрытый мирок, куда соглядатаям и шпионам «большого двора» проникнуть было невозможно. Вокруг цесаревны собрались только близкие, преданные ей люди, которые разделили с ней полуопалу и твердо знали, что при дворе Анны им карьеры уже не сделать.

И вот в маленьком зале небольшая группа этих зрителей – только свои, доверенные люди – замороженно смотрела на сцену, где в неверном свете свечей разворачивалась перед ними драма о «преславной палестинских стран царице» Диане, жене царя Географа, красивой, доброй, милой – такой же, как цесаревна. Ее нещадно гнетет и тиранит злая, грузная, конопатая свекровь. И переглядываться зрителям не нужно – и так ясно, кого вывел на сцену доморощенный драматург Мавра Шепелева. Плачут зрители, не в силах помочь оклеветанной свекровью, опозоренной, изгнанной мужем в пустыню Диане. Ко всем прочим несчастьям львица утаскивает у нее сына-младенца.

Но все же есть Бог на небе и правда на земле! Путешественники находят несчастную и ее дитя, привозят их к обманутому матерью Географу, все выясняется, ложь и интриги зловерной свекрови разоблачены, и Диана с триумфом занимает место на троне рядом с мужем. В таком же аллегорическом духе были выдержаны и другие спектакли этого, как потом назовут исследователи, «оппозиционного» театра во дворце цесаревны.

Истинно, театр – волшебная, необыкновенная вещь. Театральное чудо победы добра над злом, красоты над безобразием, правды над несправедливостью свершалось всякий раз на глазах нашей красавицы и ее молодых друзей, и всем им, вероятно, казалось, что вот-вот это чудо произойдет и с ними.

Чудо идеологии, или «Тит времен наших»

И 25 ноября 1741 года чудо это свершилось – императрица Елизавета I Петровна стояла у окна в своем императорском Зимнем дворце и смотрела на город и страну, теперь ей безраздельно принадлежавшие. Шел первый день ее двадцатилетнего царствования... С первым же днем пришли проблемы и хлопоты, ранее неведомые полуопальной цесаревне. Сразу же нужно было решить, что же делать с арестованной брауншвейгской фамилией, узнать, нет ли волнений в армии, примет ли ее Москва – старая столица. Нужно было составить Манифест о восшествии дочери Петра на престол, а дело это было непростое: требовалось объяснить стране и миру, как Елизавета оказалась на троне. Ведь мир прекрасно знал, что император Иван Антонович вступил на престол в 1740 году согласно завещанию Анны Иоанновны и все, в том числе и Елизавета, присягали на кресте и Евангелии на верность ему. Следовательно, власть императора Ивана – законна, а ее – нет. Узурпаторов же в почтенном королевском семействе Европы, естественно, не жаловали.

Первый манифест, подписанный императрицей 25 ноября 1741 года, кажется, написан простодушными людьми – сразу видно отсутствие опытной руки незаменимого в этих случаях Андрея Ивановича Остермана. Его время кончилось, и он маялся в ожидании своей судьбы в темнице Петропавловской крепости, чтобы позже отправиться в Сибирь навечно. В манифесте указывалось на две причины, побудившие Елизавету въехать на плечах гвардейцев в Зимний дворец: во-первых, настойчивые просьбы всех «как духовного, так и светского чинов верноподданных», в особенности гвардейцев, и, во-вторых, «близость по крови» Петру Великому и императрице Екатерине I. Три дня спустя еще в одном Манифесте уточнялось, что Елизавета заняла престол согласно Тестаменту – завещанию Екатерины I. Довольно скоро об этой причине постарались забыть: по Тестаменту выходило, что преимущественное право на престол имеет как раз не Елизавета, а ее племянник – герцог Голштинский 13-летний Карл Петер Ульрих.

Так же быстро исчезло из официальных документов и упоминание о нижайших просьбах верноподданных – уж очень не хотелось гвардейской куме вспоминать о тех, кто помог ей водрузиться на престол. Отчетливо видно главное: Елизавета стремилась утвердить в обществе мысль о том, что престолом она обязана Божьей воле и самой себе. На триумфальных воротах в Москве по случаю коронации Елизаветы весной 1742 года была помещена аллегорическая картина с изображением солнца в короне и подписью: «Само себя венчает» – «Semet coronat». В «Описании» триумфальных ворот дано такое пояснение: «Сие солнечное явление от самого солнца происходит не иначе, как и Ее Императорское Величество, имея совершенное право [на престол], сама на себя корону наложить изволила».

Ясно, что картины для триумфальных ворот готовили заранее, как заранее был продуман и эффектный жест в церемонии коронации, которым она хотела подчеркнуть свою полную независимость. «Санкт-Петербургские ведомости» писали о торжестве в Успенском соборе Московского Кремля: «Изволила Ее Императорское Величество собственною своею рукою императорскую корону на себя наложить» – «Само себя венчает!»

Церемония коронации состоялась в старой столице – Москве, в Кремле, как дань традиции, которая отныне включала дочь Петра Великого в длинную вереницу российских

правителей. Кремль – особое место в Москве и во всей России. Это не только ценнейшие памятники – величественные древние соборы, изумительной красоты дворцы, над которыми парит в небе огромная колокольня Ивана Великого. Это не только высокий холм, на котором в древности была заложена первая деревянная крепость. Кремль – важнейшая страница истории России. Вся земля в Кремле и вокруг него пропитана кровью людей, штурмовавших и оборонявших эти древние стены, казненных на эшафотах и растерзанных разъяренными толпами. Кремль видел народные бунты, страшные пожары и эпидемии, татарских ханов и Наполеона, в его стенах плелись интриги и совершались убийства, он знал предательство одних и мужество других. Но прежде всего Кремль – это обиталище власти. Магия власти, ее манящая и отталкивающая сила всегда витали над этим холмом, и русский человек испытывает непонятное волнение и страх, вступая на землю Кремля. Странными, неуместными в нем, но в то же время такими близкими и родными кажутся пышно цветущий яблоневый сад на склоне холма и крики ласточек в небе – там, где державно сверкает золотом Иван Великий...

Чтобы быть признанной Россией, Елизавета Петровна венчалась с властью в Кремле. Весной 1742 она стояла в Успенском соборе, там же, где восемнадцать лет назад, весной 1724 года, стояла ее мать – Екатерина. Тогда Петр I водрузил императорскую корону на голову своей супруги, а теперь Елизавета Петровна уже сама возложила на свою голову корону, кстати, ту же самую, которой в 1730 году венчалась на царство Анна Иоанновна. Вся церемония, как и во времена прадедов новой российской государыни, была торжественна, красива и величественна: гул бесчисленных московских колоколов, блеск золота и церковной утвари, пение хора, славящего императрицу, тяжесть мантии с белыми горностаями и холодок от капелек миро, которые архиепископ нанес тонкой кисточкой на лицо Елизаветы – тем самым Бог, а значит, и народ, признал нового земного властелина. А потом были пиры, балы, клики восторженного московского люда, помнившего веселую, стройную цесаревну, некогда вихрем пронесившуюся по улицам старой столицы на белом коне – в поля, на охоту.

Нельзя не удивляться, насколько быстро, уже в первые дни и недели царствования Елизаветы возникло удивительное для XVIII века сочетание идей, жупелов и штампов, которые иначе, как идеологией, и не назовешь. Конечно, сама императрица до этого додуматься не могла – помогли ученые люди, архиереи, верные последователи покойного к тому времени архиепископа Феофана Прокоповича, потом подхватили писатели, драматурги, артисты и всякие доверчивые люди.

Суть идеологии властвования Елизаветы была предельно проста: она, дочь великого Петра, видя невероятные страдания русского народа под властью ненавистных иноземных временщиков – всего «счастия российского губителей и похитителей», – восстала против них, и с нею вошло солнце счастья. Мрак прежде – и свет ныне, разорение вчера – и процветание уже сегодня – эта антитеза повторялась все царствование Елизаветы. Никогда раньше так плодотворно для режима не обыгрывались патриотические мотивы, чтобы утвердить законность узурпированной темной ночью власти. «Воистину, братец, – задумчиво говорит один из персонажей пьесы-агитки „Разговоры, бывшие между двух российских солдат“ (1743 год), – ежели бы Елисавета Великая не воскресла, и нам бы, русским людям, сидеть бы в темности адской и до смерти не видать света».

Архиепископ Дмитрий Сеченов в опубликованной большим тиражом проповеди 1742 года клеймит тех, кому недавно так преданно служил: «Прибрали все Отечество наше в

руки, коликий яд злобы на верных чад российских отрыгнули, коликое гонение на церковь Христову и на благочестивую веру восстановили, их была година и область темная». Мурашки бежали, верно, по коже патриотов в тот миг. Но воцарилась волшебным образом «Порфиросная девица» – и все пошло, как нужно:

О Матерь своего народа!

Тебя произвела природа

Дела Петровы окончатъ, —

так восклицал первейший поэт России Александр Сумароков. А вот другое произведение – пролог к опере «Милосердие Титово» под названием «Россия по печали паки обрадованная». Богиня Астрея спускается с облака к несчастной Рутении (читай – России), сидящей в потемках среди развалин, и «обнадеживает ее восстановлением времен Петра Великого и возвращением совершенного благополучия ее детям и при том увещевает ее к похвале и прославлению высочайшего имени Е. И. В. и к сооружению в честь ее публичных монументов».

Не сводя с себя глаз

Было бы ошибкой думать, что Елизавету особенно волновала идеология ее царствования. Как и Анна Иоанновна, она не мечтала прослыть философом на троне, ее беспокоило совсем другое: в чем появиться на балу и неужели на щеке вскочил прыщик?

Да, императрица была влюблена исключительно в себя. Античный Нарцисс выглядит жалким мальчишкой у ручья в сравнении с Елизаветой Петровной, всю жизнь проведенной у океана зеркал своих дворцов. Впрочем, это нетрудно понять, а автору-мужчине невозможно осуждать – женщины более красивой, чем Елизавета, не было тогда на свете. По крайней мере, так считают современники, каких бы взглядов они ни придерживались, каким бы темпераментом ни обладали. Французский посланник в России Ж.-Ж. Кампредон писал в 1721 году о Елизавете как возможной невесте Людовика XV (ей тогда было двенадцать лет): «Она достойна того жребия, который ей предназначается, по красоте своей она будет служить украшением версальских собраний... Франция усовершенствует прирожденные прелести Елизаветы. Все в ней носит обворожительный отпечаток. Можно сказать, что она совершенная красавица по талье, цвету лица, глазам и изящности рук».

В 1728 году испанский посланник герцог де Лириа сообщал в Мадрид о девятнадцатилетней Елизавете: «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива».

Ангальт-цербстская принцесса, ставшая впоследствии Екатериной II, впервые увидела императрицу, когда той было уже тридцать четыре года: «Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от того не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива... Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся». Это свидетельство особенно ценно – ведь Екатерина II в молодости столько натерпелась от придирок императрицы Елизаветы и так была на нее впоследствии зла!

Иной читатель устремится листать иллюстрации, чтобы найти подтверждение вышесказанному. Увы! Почти все портреты Елизаветы были созданы, когда ей было уже под пятьдесят, и писали их так, как было принято писать тогда тяжеловесные, неподвижные парадные портреты цариц, да и не жили тогда в России Веласкес или Рембрандт, чтобы донести до нас живое обаяние этой красавицы, темно-синий глубокий свет ее огромных глаз, изящество поз и движений.

За всем этим стояла не только данная природой красота, но и тяжелейшая работа портных, ювелиров, парикмахеров, да и самой царицы – самой строгой судьи своей красоты. Вкус у Елизаветы был тончайший, чувство меры и гармонии – изумительное, строгость к нарядам и украшениям – взыскательнейшая. Каждый выход в свет, на люди, был для нее событием, к которому она готовилась, как полководец к генеральному сражению. Француз

Ж. Л. Фавье, видевший Елизавету в последние годы ее жизни, писал что «в обществе она является не иначе как в придворном костюме из редкой и дорогой ткани самого нежного цвета, иногда белой с серебром. Голова ее всегда обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны назад и собраны наверху, где связаны розовой лентой с длинными развевающимися концами. Она, вероятно, придает этому головному убору значение диадемы, потому что присваивает себе исключительное право его носить. Ни одна женщина в империи не смеет причесываться так, как она».

С годами красота Елизаветы меркла – женщины XVIII века ничего не ведали ни о диете, ни о спортивных занятиях. Фавье, видевший императрицу в год ее пятидесятилетия, писал, что Елизавета «все еще сохраняет страсть к нарядам и с каждым днем становится в отношении их все требовательнее и прихотливей. Никогда женщина не примирялась труднее с потерей молодости и красоты. Нередко, потратив много времени на туалет, она начинает сердиться на зеркало, приказывает снова снять с себя головной и другие уборы, отменяет предстоявшие театральные зрелища или ужин и запирается у себя, где отказывается кого бы то ни было видеть».



Императрица Елизавета Петровна

Елизавета была не в силах признать, что ее время проходит, что появляются новые красавицы, которые могут состязаться с ней в изяществе нарядов и причесок. Она, разумеется, боролась как могла. Екатерина II писала в своих мемуарах, что императрица не любила, чтобы на балах дамы появлялись в слишком нарядных туалетах. Однажды на балу, вспоминает Екатерина, императрица Елизавета подозвала к себе Н. Ф. Нарышкину и у всех на глазах срезала украшение из лент, очень шедшее к прическе молодой женщины; в другой раз она своими руками остригла половину завитых спереди волос у двух фрейлин под тем

предлогом, что не любит такой фасон причесок. Потом обе девицы уверяли, что императрица вместе с волосами содрала и немного кожи. Наконец, в 1748 году был издан именной указ о запрещении делать такие прически, какие носила Ее величество. В один прекрасный день, вспоминала Екатерина II, императрице пришла фантазия велеть всем придворным дамам обрить головы. Все с плачем повиновались; Елизавета послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они вынуждены были носить, пока не отросли волосы. Дело в том, что в погоне за красотой царица неудачно покрасила волосы, и ей пришлось с ними расстаться, но при этом она захотела, чтобы и другие дамы мужественно разделили с ней печальную участь, чем и был вызван беспрецедентный в истории мирового законодательства указ высшей власти. До самого конца Елизавета Петровна хотела, чтобы все были «китайским посольством» и восхищались ее красотой и грацией до бесконечности.

Особое место в придворной жизни, начинавшейся, как правило, вечером, занимали маскарады. Это были те главные события в жизни Елизаветы, ради чего она, собственно, и жила. Маскарады были сложными увеселениями: костюмы, маски, танцы и музыка являлись далеко не единственными их атрибутами. Гости съезжались уже в костюмах и масках согласно врученным им заранее билетам-приглашениям. Допускались и люди без масок, их размещали в ложах, где они могли наблюдать за танцующими в партере и на сцене, но не более того. Для гостей-масок в отдельных помещениях выставлялись напитки и закуски, ставились карточные столы, разыгрывались лотереи. Как писал знаменитый Казанова, посетивший придворный бал в Петербурге (правда, уже при Екатерине II, в 1765 году), столы ломились от снеди, и вся обстановка бала поражала «причудливой роскошью» как убранства комнат, так и нарядов гостей.

Маскарады, как и все торжества и праздники, сопровождались музыкой. Репертуар придворных оркестров и певцов был обширный: балы и пиршества во дворце продолжались долгими часами, и все это время непрерывно звучала музыка, в основном итальянская, господствовавшая тогда в Европе. Изредка Елизавета устраивала такие маскарады, когда мужчины переодевались женщинами и наоборот. Как вспоминает Екатерина II, все выглядели ужасно, неуклюже и жалко, вполне хороша была только сама императрица, которой мужское платье очень шло (для чего, собственно, и устраивались такие маскарады...).

Тирания моды

«Дамам – кафтаны [носить] белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папелъон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные же, небольшие». Все это не рекомендации модельера в журнале мод на 1752 год, а именно, императорский указ, исполнение которого было строго обязательно для тех, кто появляется при дворе.

Зная недобросовестность и лень своих подданных, Елизавета строго следила за тем, чтобы каждый участник придворных маскарадов, готовя маскарадный костюм, проявлял инициативу и изобретательность, но только в пределах, разрешенных регламентом. В ноябре 1750 года императорский указ строго предписывал, что все дворянство, «кроме малолетних», должно явиться на публичный маскарад, но при этом «платья пилигримского и арлекинского, чтоб не было... (такие костюмы можно было легко сделать и стоили они недорого. – Е. А.) також не отважились бы вздевать каких-нибудь непристойных платьев, под опасением штрафа». В дверях дворца стояли гвардейцы и проверяли наряды всех входящих – а их было полторы тысячи человек.

В погоне за модой императрица всегда была первой. Современники пишут, что Елизавета никогда не надевала одного и того же платья дважды и – более того – меняла их по нескольку раз в день. Подтверждение этому мы находим в описании пожара в Москве в 1753 году, когда во дворце сгорело четыре тысячи платьев императрицы. Воспитатель наследника престола Якоб Штелин рассказывал, что после смерти Елизаветы новый император обнаружил в ее гардеробе 15 тысяч платьев, большей частью совсем не ношенных, два сундука шелковых чулок, несколько тысяч пар обуви и больше сотни неразрезанных кусков богатых французских материй.

Русские дипломаты, аккредитованные при европейских дворах, занимались не только своей прямой работой, но и закупками модных новинок для императрицы. Особенно трудно приходилось, как понимает читатель, дипломатам в Париже – столице европейской моды. В ноябре 1759 года канцлер Михаил Воронцов писал подчиненным, что императрице стало известно о существовании в Париже «особой лавки» под названием «Au tres galant», в которой продаются «самые наилучшие вещи для употребления по каждому сезону». Канцлер поручал нанять «надежную персону», чтобы покупать там наимоднейшие вещи и немедленно слать в Петербург. На эти расходы было отпущено 12 тысяч рублей – сумма, конечно, ничтожная, учитывая аппетиты императрицы. Вдова русского представителя во Франции Федора Бехтеева писала Елизавете, что ее муж остался должником в Париже, так как разорился на покупке шелковых чулок для Ее величества.

Привычкам Елизаветы должны были следовать все дамы света. На придворные торжества им предписывалось приходить каждый раз в новом наряде и, по слухам, чтобы они не жульничали, при выходе из дворца гвардейцы ставили на их платья несмываемые грязные метки или даже государственные печати – второй раз такое платье уже не наденешь! Впрочем, дамы, несмотря на кряхтенье своих мужей, не жалели испорченных платьев – пример императрицы был чарующе заразителен. Как писала Екатерина II, все были заняты

только нарядами, и роскошь была доведена до того, что туалеты меняли по два раза в день. И хотя дамы понимали, что нужно одеваться поскромнее, чтобы дать императрице возможность блистать на их фоне, но в атмосфере «ухищрений кокетства» удержаться было невозможно, и каждая старалась превзойти другую.

В елизаветинское царствование в погоню за модой устремились не только женщины, но и мужчины. Это удивительно – еще отцы елизаветинских модников стонали, натягивая на себя узкие петровские кафтаны, и требовали непременно положить им в гроб некогда срезанные по воле грозного царя-реформатора бороды; теперь же все волшебным образом переменялось. В сатирической литературе даже появился тип легкомысленного модника – петиметра, посвящающего жизнь нарядам. В 1750-е годы была весьма популярна сатира Ивана Елагина «На петиметра и кокеток», в которой бичевался такой повеса. Вот он сидит дома, в комнате стоит смрад – это парикмахер завивает ему волосы, петиметр грустен, так как слишком загорел на солнце – а тогда загар считался предосудительным для человека света. И далее следуют строки, актуальные в России и до сих пор:

*Тут истощает он все благовонии воды,
Которыми должат нас разные народы,
И, зная к новостям весьма наш склонный нрав,
Смеются, ни за что с нас втрое деньги взяв.
Когда б не привезли из Франции помады,
Пропал бы петиметр, как Троя без Паллады.*

Состязаться с Елизаветой большинству светских дам было сложно – возможности императрицы были безграничны. Кроме обычной таможенной проверки иностранных торговых судов, Елизавета ввела собственный досмотр. Конечно, это касалось не какого-нибудь промышленного или винного товара, а исключительно галантереи, нарядов, тканей и прочих утешительных для дам предметов. До тех пор пока императрица сама лично не отберет из доставленного иностранным купцом товара то, что ей нужно, пускать товар в продажу было запрещено. Иначе гнев царицы был страшен.

28 июля 1751 года она писала служащему Кабинета Е. И. В. Василию Демидову: «Уведомилась я, что корабль французский пришел с разными уборами дамскими и шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов... то вели с купцом сюда прислать немедленно». Вскоре выяснилось, что купец все же часть товара продал другим модницам: его понять легко – императрица была скупа, а торговаться с ней было невозможно. Елизавета, узнав об этом, вышла из себя. Демидов получил новое предписание: «Призови купца к себе и спроси, для чего он так обманывает, что сказал, что все тут лацканы и крагены, что я отобрала, а их не токмо всех, но и не единого нет, которые я видела, а именно алые. Их было больше двадцати и при том такие же и на платье, которые я все отобрала, и теперь их требую, то прикажи ему сыскать и никому в угодность не утаивать. А ежели [кто]... утаит, моим словом [скажи], что он несчастлив будет, [а также и те из дам], кто не отдает. А на ком увижу – то те равную часть с ним примут». Царица указывает имена возможных щеголих, которые могли купить эти вещи, и требует, чтобы купец у них все немедленно отобрал, «а ежели ему не отдадут, то вы сами послать можете и указом взять моим». Более выразительного документа, чем этот, для характеристики личности и нрава Елизаветы трудно и придумать.

Невероятная роскошь двора Елизаветы, непрерывные празднества требовали огромных

расходов. Если сама императрица брала деньги из государственной казны, то ее придворным приходилось труднее. Никто не хотел ударить в грязь лицом, появиться на маскараде в старом наряде или, изображая пастушков и пастушек, в одежде своих дворовых слуг. Самое лучшее и дорогое и непременно из Парижа – вот какой была высокая цель елизаветинских вельмож. Столичное дворянство украшало дома французской мебелью, картинами, великолепной посудой. Особенно важен был «выезд» – экипаж, лошади, сбруя, богато одетые кучера, стоявшие на запятках гайдуки – предпочтительно чернокожие и рослые. Но денег на это хватало не у всех. Правда, в роскоши той эпохи был размах, масштаб, но не было утонченности и лоска, присущих высшему свету Российской империи начиная со времен Екатерины II. Не без иронии Екатерина II писала в мемуарах: «Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью и всякими нечистотами и прилегающего к плохой лачуге из прогнивших бревен, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащат шесть скверных кляч в грязной упряжи, с нечесаными лакеями на запятках в очень красивой ливрее, которую они безобразят своей неуклюжей внешностью».

Наиболее состоятельные вельможи брали себе за правило держать «открытый стол», чтобы быть в состоянии в любую минуту изысканно угостить внезапно нагрянувшую к ним императрицу с огромной свитой. На это шли гигантские средства. «Жалея» своих усыпанных бриллиантами приближенных, императрица приказывала выдать им жалованье на год вперед, чтобы они могли приодеться к очередному празднеству. Но денег им все равно не хватало. Один из богатейших людей того времени канцлер Михаил Воронцов, владелец сотен крепостных, заводов, лавок, почти непрерывно выпрашивал у императрицы пожалованья в форме земельных владений, причем, добившись их, тотчас начинал просить, чтобы государство выкупило у него эти земли, – на все нужны были деньги, деньги, деньги. Но и он страдал от безденежья. В одном из прошений канцлер с грустью писал, что был вынужден покупать и строить новые дворцы, обзаводиться экипажами и слугами, которых приходится одевать в новые ливреи, не говоря уж о трагах на иллюминации и фейерверки. Со вздохом «бедняк» резюмировал: «Должность моя меня по-министерски, а не по-философски жить заставляет», – полагая, очевидно, что в бедности могут позволить себе жить только чуждые мирской суете философы. Когда умер граф Петр Шувалов – самый богатый сановник Елизаветы, – то его наследство оценивалось в астрономическую сумму 588 тысяч рублей. Но и этих денег не хватило, чтобы заплатить долги Шувалова, составлявшие 680 тысяч рублей! Вот что значит держать «открытый стол»!

Естественность каприза

Уже из того, что было сказано выше, даже не особенно проницательный читатель понял: характер императрицы был не так прекрасен, как ее внешность. Большинству гостей дворца, как и нам, не было суждено заглянуть за кулисы вечного праздника, хотя многие догадывались, что Елизавета – это блестящая шкатулка с двойным дном.

В 1735 году леди Рондо писала о своем впечатлении от встреч с цесаревной: «Приветливость и кротость ее манер невольно внушают любовь и уважение. На людях она непринужденно весела и несколько легкомысленна, поэтому кажется, что она вся такова. В частной беседе я слышала от нее столь разумные и основательные суждения, что убеждена: иное ее поведение – притворство».

Еще ближе к истине оказался Ж. Л. Фавье, имевший возможность наблюдать императрицу в конце ее жизни: «Сквозь ее доброту и гуманность в ней нередко просвечивает гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего подозрительность. В высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать уменьшением или разделом этой власти. Она не раз выказывала по этому случаю чрезвычайную щекотливость. Зато императрица Елизавета вполне владеет искусством притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает их опалу».

Ну а те, кто жил с императрицей рядом, никаких иллюзий себе не строили. Они видели, какой злой, нетерпимой, мелочной, грубой может быть Елизавета. Родственники, придворные и слуги немало страдали от ее придирок и подозрений. Общение с императрицей было делом более сложным, чем хождение по льду в бальных туфлях на высоких каблуках. Екатерина II вспоминала: «Говорить в присутствии Ее Величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем для разговора, которые она не любила: например, не следовало совсем говорить ни о короле прусском, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках (по ее указу их было запрещено носить мимо дворца и по близлежащим улицам. – Е. А.), ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках – все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять; она также бывала настроена против некоторых лиц и склонна перетолковывать в дурную сторону все, что бы они ни говорили, а так как окружающие охотно восстанавливали ее против очень многих, то никто не мог быть уверен в том, не имеет ли она чего-либо против него; вследствие этого разговор был очень щекотливым». Нередко бывало, что императрица с досадой бросала салфетку на стол и покидала компанию.

Страшен был гнев царицы, который она вымещала на приближенных, как только золоченые двери за гостями закрывались. Ее прекрасные черты уродливо искажались, лицо наливалось пунцовой краской, и она начинала мерзко и визгливо кричать. «Она меня основательно выбранила, – рассказывала Екатерина, – гневно и заносчиво... я ждала минуты, когда она начнет меня бить, по крайней мере я этого боялась: я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров».

Некоторыми чертами характера она очень напоминала своего отца – человека

неуравновешенного, тяжелого, импульсивного и беспокойного. Эта милая красавица, всегда демонстрировавшая свое «природное матернее великодушие», не колеблясь отправляла на пытку беременную женщину и писала об этом начальнику Тайной канцелярии так отрывисто, сурово и по-деловому жестоко, как некогда писал ее отец своему шефу политического сыска. Бросается в глаза, что ей были свойственны совершенно отцовская нетерпеливость и нервная подвижность. Как и Петр, она пела в церковном хоре не только потому, что ей это нравилось, но и потому, что не могла выдержать долгого стояния во время церковной службы. Известно, что в церкви она постоянно передвигалась с места на место и даже уходила, не в силах дожидаться конца литургии.

Как и отец, Елизавета была легка на подъем и любила подолгу путешествовать. Особенно нравилась ей быстрая зимняя езда в удобном экипаже с подогревом и ночным горшком. Путь от Петербурга до Москвы (715 верст) она пролетала по тем временам необычайно быстро – за 48 часов. Это достигалось за счет частых подстав свежих лошадей через каждые 20–30 верст гладкой зимней дороги. Но иногда императрица ехала не спеша, останавливаясь в специально построенных для нее путевых дворцах. На пути от Петербурга до Москвы их было двадцать пять – в среднем через каждые 25 верст. И в каждом из них все было приготовлено для приема привередливой хозяйки, которой было нужно все самое лучшее, вкусное и приятное. Создается впечатление, что большая часть этих поездок была лишена смысла, я уж не говорю о государственной необходимости. Это было просто перемещение в пространстве под влиянием каприза, безотчетного желания смены впечатлений.

Рассказывая о Елизавете, я не хочу создать образ этакой злодейки под маской ангела. Нет, это не так. Елизавета не была глубокой, рефлексивной натурой – ей хватало собственного отражения в зеркалах, ее не мучили величественные страсти, ею в жизни, как и в пути, двигал каприз. Она была вполне естественна во всех проявлениях этого каприза: чаще весела, реже мрачна, скорее добра, чем зла, почти всегда легкомысленна, иногда гневна, но быстро отходчива. Характер Елизаветы не был отшлифован воспитанием. Французский посланник Ж.-Ж. Кампредон, советуя в 1721 году своему правительству пригласить двенадцатилетнюю Елизавету во Францию как невесту Людовика XV, писал, что, конечно, ей недостает правильного воспитания, но в то же время выражал надежду, что со свойственной ей гибкостью характера, эта юная девушка применится к нравам и обычаям той страны, которая сделается вторым ее отечеством.

Но этого не произошло. Дичок не был вовремя привит и рос, как ему подсказывала его природа. Знать Петербурга недолюбливала императрицу, оскорбляясь зрелищем ее поездок в компании с какими-то бывшими прачками или лакеями. Клеймили ее и за пристрастие к английскому пиву. А Елизавета, как и ее отец, никому ничего не стремилась доказать или показать: ей было так веселее, удобнее, вкуснее. Простота поведения – характерная черта Елизаветы – сослужила ей немалую службу, когда она шла к власти: гвардейские солдаты любили свою куму, которая не сторонилась их, была добра и доступна. А это всегда приносит правителю популярность среди простых людей. Но знать воспринимала демократичность цесаревны, а потом императрицы, как свидетельство ее низкого происхождения. Сановники и их жены, не блиставшие добродетелями, осуждали в своем кругу легкомыслие Елизаветы, ее плебейские привычки. Стиль поведения императрица усвоила с детских лет, в доме своего великого отца, который жил нарочито скромно, как голландский бюргер. Но как и Петр I, Елизавета не раз демонстрировала своим поведением ту банальную истину, что демократичность правителя в быту вовсе не означает

демократизма его режима.

Когда императрица, по традиции своих предков, отправлялась пешком на богомолье, это тоже не было лицемерием. Она действительно искренне верила в Бога. Но что это были за «походы»! Как они были не похожи на путешествия богомольцев по 50-верстной дороге от Москвы к одной из святынь русского народа – Троице-Сергиевому монастырю. Долгий пеший путь к монастырю Сергия Радонежского, русского святого XIV века, был тяжел и имел для верующего значение очищения, подготовки к встрече со святыней. Елизавета же, в окружении блестящей свиты, любимцев и кавалеров, выезжала за московскую заставу на Троицкую дорогу и 5-10 верст шла, наслаждаясь природой и приятным разговором.

Затем взмах руки – и по царскому велению в чистом поле возникали сказочные шатры, где были все мыслимые в то время удобства и развлечения. Несколько дней царица отдыхала, развлекалась верховой ездой, охотой, а потом вновь двигалась в той же компании дальше. Иногда она вообще садилась в карету и отправлялась отдыхать в Москву, затем, спустя неделю-другую, возвращалась на место, до которого дошла в прошлый раз, и снова шла по дороге до следующего стана. Такие походы на богомолье могли продолжаться неделями и месяцами. И было бы ошибкой обвинять богобоязненную царицу в ханжестве и лицемерии – так ей было удобнее, таков был ее каприз.

Но все же ее жизнь, действительно похожая на вечный праздник, имела свои теневые стороны. Современники замечали, что императрица могла поздно вечером внезапно уехать из дворца, чтобы заночевать где-то еще. И в этом случае мы можем почти наверняка сказать: это не каприз, это страх гнал веселую императрицу с места на место. Все двадцать лет царствования, с той самой ночи, когда она ворвалась во дворец Анны Леопольдовны, ей был неведом покой: Елизавета страшилась ночного переворота, грохота солдатских сапог под дверью своей спальни.

С боязнью покушения связана и подлинная страсть Елизаветы к перестановкам и перестройкам интерьеров. Екатерина II свидетельствует, что императрица никогда не выходила на прогулку или на спектакль, не распорядившись что-то изменить в расположении мебели и вещей. Особенно часто переносили из комнаты в комнату ее постель. Императрица редко спала два раза подряд на одном и том же месте, и даже спальни у нее не было. Наблюдения Екатерины II подтверждает художник Александр Бенуа, который, изучив планы и описи обширнейшего Царскосельского дворца, где все было учтено и продумано, пришел к выводу, что в нем не было опочивальни императрицы, и он тоже объясняет это ее страхом перед ночным переворотом. Я думаю, что императрица, приказывая перенести постель или внезапно уезжая ночевать в другой дворец, боялась не только переворота, но также и порчи, колдовства, особенно после того, как под ее кроватью нашли лягушачью кость, обвернутую волосом, – явный след работы колдуна.

Но еще более удивительно, что за все свое двадцатилетнее царствование Елизавета ни разу не сомкнула глаз ночью. Она вообще по ночам не спала! Ювелир Позье писал в своих записках: «Она никогда не ложилась спать ранее шести часов утра и спала до полудня и позже, вследствие этого Елизавета ночью посылала за мною и задавала мне какую-нибудь работу, какую найдет ее фантазия. И мне иногда приходилось оставаться всю ночь и дожидаться, пока она вспомнит, что требовала меня. Иногда мне случалось возвратиться домой и минутой спустя быть снова потребованным к ней: она часто сердилась, что я не дождался ее».

Екатерина II подтверждает: «Никто никогда не знал часа, когда Ее Императорскому

Величеству угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что... придворные, проиграв в карты (единственное развлечение) до двух часов ночи, ложились спать и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы они присутствовали на ужине Ее Величества, они являлись туда и, так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась». Было бы ошибкой видеть в ночных бдениях царицы причуду. У нее действительно были основания опасаться за свою жизнь. В 1742 году был арестован ее камер-лакей А. Турчанинов и два его приятеля-гвардейца. Они готовили план ночного убийства Елизаветы и ее окружения. Думаю, что царица была серьезно напугана этим делом, и руки ее дрожали, когда она читала то злое место из протокола допроса сообщника Турчанинова – прапорщика Преображенского полка П. Квашнина, где было сказано, что, после первой, неудачной попытки покушения, они рассуждали: «Что прошло, тому так и быть, а впредь то дело не уйдет и нами ль или не нами, только оно исполнится». Вот, видно, с тех пор и платила Елизавета за свое желание властвовать пожизненным страхом ночного переворота.

Дитя барокко

Барокко с его капризностью завитков, причудливостью изгибов, чувственностью и пышной роскошью будто специально было создано для Елизаветы как драгоценная оправа для редкого алмаза. И Елизавета денег для этой оправы не жалела. Торгуясь с купцом за каждую мушку или брошь, она не глядя подписывала гигантские сметы, которые ей приносил Мастер – архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Именно его веселому гению мы обязаны шедеврами архитектуры школы итальянского барокко в России, и особенно в Петербурге. Он строил необыкновенно быстро и изящно. Но и ему потребовалось одиннадцать лет, чтобы возвести в пригороде столицы волшебный Царскосельский дворец.

Еще в 1730-е годы, во времена Анны Иоанновны, Царское Село было довольно глухим местом. На поляне стоял маленький дворец Екатерины I, некогда подаренный ей Петром, по наследству он перешел к их дочери Елизавете. Цесаревна полюбила это поместье, где можно было охотиться, весело проводить время с приятелями, вдали от двора Анны Иоанновны и глаз соглядатаев и шпионов. Но жить там было небезопасно – вокруг стояли нетронутые дремучие леса. Сохранилось письмо Елизаветы за 1735 год из Царского Села к своему петербургскому управляющему, в котором она просит срочно прислать ей порох и пули, так как вокруг бродят разбойники и даже грозятся напасть на дворец.

С приходом Елизаветы к власти в Царском Селе все разительным образом изменилось. Это место было дорого ей воспоминаниями о родителях, это был ее отчий дом, как для Петра Великого – Преображенское, а для Анны Иоанновны – Измайлово. Сюда Елизавету тянуло всегда, здесь она провела счастливое детство, беспечную юность, здесь она укрывалась от безобразной старости, здесь она и умерла... Строить новый дворец Растрелли начал в 1749 году, но, несмотря на весь свой талант, никак не мог угодить вкусам императрицы, раз за разом заставлявшей все переделывать, причем подчас было неясно, чего же она хочет от Мастера. Но когда великий архитектор наконец закончил свой шедевр, восторгам не было конца.

Удивительное зрелище открывалось перед теми, кто ехал в Царское Село из города: среди лесов и полей, на фоне голубого неба сверкал огромный золотой чертог. Как писал сам Растрелли, весь фасад дворца был выполнен в итальянском вкусе; капители колонн, фронтоны и наличники окон, как и столпы, поддерживающие балконы, а также статуи, установленные на пьедесталах вдоль верхней балюстрады дворца, – все было позолочено. А над всем этим великолепием сверкали золотые купола придворной церкви.

Еще больше потрясало гостей внутреннее убранство дворца. Перед ними открывалась сверкающая в лучах солнца анфилада комнат и залов, уходящих в какую-то теплую зеркально-золотую бесконечность. Вдруг в самой глубине ее что-то вспыхивало и начинало двигаться. Накатывалась, нарастала волна света, шороха тканей, аромата – это шла императрица. Александр Бенуа – великолепный знаток Царскосельского дворца – так описывает это «явление народу»: «Медленно превращалась она из еле видной, но сверкающей драгоценностями точки в явственно очерченную, шуршащую парчой и драгоценностями фигуру».

А вот другой вариант эффектного появления императрицы Елизаветы, который поразил

ее современника, французского дипломата М. Мессельера: «Красота апартаментов и богатство их изумительны, но их затмило приятное зрелище 400 дам, вообще очень красивых и очень богато одетых, которые стояли по бокам зал. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно произведенная одновременным падением всех штор темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свечей, которые со всех сторон отражались в зеркалах».

Речь идет о трех сотнях зеркал в золоченых рамах, занимавших сверху донизу простенки между окнами Большого зала. Фантастический эффект, описанный Мессельером, состоял в том, что все свечи многократно отражались как в зеркалах, так и на поверхности зеркального наборного паркета, создавая иллюзию волшебного расширения пространства. Затем, вспоминает французский дипломат, неожиданно заиграл оркестр из 80 музыкантов, и бал открылся. «Во время первых менуэтов послышался глухой шум, имевший, однако, нечто величественное, дверь быстро отворилась настежь, и мы увидели блистающий трон, сойдя с которого, императрица, окруженная своими царедворцами, вошла в бальную залу». Наступила мертвая тишина – и все услышали голос Елизаветы...

«Зала, – пишет далее дипломат, – была очень велика, танцевали зараз по двадцать менуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище. Бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить Ее Величеству, что ужин готов. Все перешли в очень обширную и убранную залу, освещенную 900 свечами, в которой красовался фигурный стол на четыреста кувертов. На хорах залы начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета. Были кушанья всевозможных наций, и служители были французы, немцы, итальянцы, которые спрашивали у единоплеменных им гостей, чего они желают».

Этот ужин, очевидно, проходил в Картинной столовой, все стены которой сплошь покрыты картинами, разделенными лишь узкими золотыми рамами. Это создает впечатление единой живописной панели, составленной из десятков картин знаменитых художников. Можно долго описывать и другие залы – они не похожи друг на друга, но одинаково прекрасны. Особое восхищение гостей вызывал Янтарный кабинет, стены которого украшали наборные панели из разных сортов янтаря, некогда подаренные Петру Великому прусским королем Фридрихом Вильгельмом I и установленные Растрелли во дворце Елизаветы. Судьба этого уникального творения печальна. Когда осенью 1941 года немецкие войска захватили Царское Село, среди других трофеев в их руках оказался и Янтарный кабинет. И с тех пор он исчез. За послевоенные годы возникло много различных версий о его местонахождении, не раз казалось, что вот-вот он будет найден. Но каждый раз ожидания бывали обмануты – Янтарный кабинет так и растворился в неизвестности. Возможно, его давно уже нет на свете, как нет десятков изящных статуй и украшений петербургских парков и дворцов, варварски уничтоженных врагом. После войны под Петергофом и Царским Селом были обнаружены огромные поля, усеянные белым, как снег, мраморным щебнем – так методичными ударами молотков уничтожались ненужные вермахту статуи. Может быть, такая же судьба постигла и Янтарный кабинет...

Царскосельский дворец был наполнен китайским фарфором, редкостной мебелью, сверкала позолотой резьба, сияли голубые изразцы высоких печей, блеснул пестрый ковер паркета, набранного из десятков ценнейших пород дерева – все создавало впечатление рая. Пресытившись созерцанием роскошного дворца, прекраснейших дам, кушаньями, музыкой, можно было выйти на огромный балкон – висячий сад. Александр Бенуа реконструирует его

в своем исследовании о Большом Царскосельском дворце: «С обеих сторон вглубь уходили колоннады с их раззолоченными капителями, орнаментами, статуями. Всю глубину этого странного зала без потолка занимал фасад церкви с ее полуколокольной, а над ним сверкали в воздухе золоченые купола и кресты. Вместо рисунка штучного паркета изгибались пестрые и яркие разводы цветников, мебель состояла из каменных скамей, расположенных под вишнями, яблонями и грушами».

После прогулки можно было вновь окунуться в золотой жар праздника. Поздно вечером, когда чуть-чуть сгущались летние петербургские сумерки, гости устремлялись к окнам и балконам. Начиналось последнее – огненное – пиршество. Фейерверки были подлинным искусством, секрет которого впоследствии утратили. Аллегорические фигуры составляли группы, которые в зависимости от замысла фейерверка поочередно сжигались. Белыми и цветными огнями, горевшими с разной скоростью, создавалось огромное количество изображений, которые восхищали зрителей красотой и четкостью. Вдруг из темноты появлялся сад с огненными деревьями или огненное озеро, по берегу которого «бегали» огненные животные, «двигались» экипажи, парили в небе боги и птицы. Фейерверк заканчивался грандиозным красочным салютом, заливавшим небо фантастическим звездопадом. Все небо вспыхивало от сотен ракет, рассыпавшихся разноцветными брызгами. Праздник кончился, праздник продолжался...

Однако не все жилища не только знати, но и самой императрицы были так удобны и великолепны, как Царскосельский дворец. Екатерина II в своих записках вспоминает, как однажды она и ее муж – наследник престола Петр Федорович – чуть было не погибли ночью в Гостилицах под Петербургом, в доме фаворита императрицы Алексея Разумовского. Только благодаря бдительности двух гвардейцев, которые вовремя заметили, как начинает медленно разваливаться огромный дом, и разбудили спящих гостей, им удалось спастись. «Едва мы, – пишет Екатерина, – переступили порог, как дом начал рушиться и послышался шум, похожий на то, как когда спускают корабль на воду». Осевшее здание раздавило шестнадцать слуг, спавших в нижнем этаже. Обычными были и пожары в дворцовых помещениях, начинавшиеся, как правило, из-за небрежности слуг или неисправности печей. По сравнению с этим все остальное – немилосердно чадившие дворцовые печи, страшные сквозняки, свистевшие по уютным залам, обшарпанная мебель, которую каждый раз перевозили туда, куда переезжала императрица, наконец, отсутствие элементарных удобств, тараканы, клопы и крысы – казалось мелочами.

Век песен

Веком песен назвал елизаветинское царствование поэт Гаврила Державин. Действительно, эти двадцать лет оказались выдающимися в истории русской музыкальной культуры. И главную роль здесь сыграли личные пристрастия императрицы, одаренной несомненными музыкальными способностями. Музыка при дворе звучало столько, что все царствование Елизаветы походило на какой-то непрерывный международный музыкальный фестиваль. «Отныне впредь при дворе каждой недели после полудня, – читаем мы указ от 10 сентября 1749 года, – быть музыке: по понедельникам – танцевальной, по средам – итальянской, а по вторникам и в пятницу, по прежнему указу, быть комедиям».

Конечно, при дворе, как я уже упоминал, господствовала итальянская музыка. В 1742 году из Италии вернулся в Россию Франческо Арайя, композитор, дирижер и режиссер, с оркестром и труппой актеров и певцов, и сразу же начались постановки грандиозных оперных спектаклей. Опера была вершиной театрального и музыкального искусства. Опера XVIII века существенно отличалась от современной и по жанру, и по сценическому воплощению. Сольное и хоровое пение, балетные номера чередовались с декламацией. Жесткие рамки классицизма заставляли постановщиков оперы думать о том, чтобы сюжет был преимущественно из античности, чтобы зло всегда наказывалось, а добро торжествовало. Спектаклям предшествовали аллегорические прологи, которые наивно агитировали зрителей, убеждая их, что лучшей самодержицы, чем Елизавета Петровна, в России еще не было. Поэтому актеры на сцене изображали сложные фигуры: «Благополучие России», «Радость верноподданных» и, наконец, «Обрадованную ревность». «При окончании оперы, – писала газета, – Ее Императорское Величество соизволила свое удовольствие оказать ударением в ладони, что и от всех прочих зрителей учинено было, причем чужестранные господа министры засвидетельствовали, что такой совершенной и изрядной оперы, особливо в рассуждении украшений театра, проспектов и машин, нигде еще не видано».

Знакомство России с итальянской оперой не прошло напрасно для русского искусства. Именно в итальянских операх впервые выступили русские оперные певцы – Максим Березовский, Степан Рашевский и другие. «Эти юные оперные певцы, – писал Якоб Штелин, – поразили слушателей и знатоков своей точной фразировкой, чистотой исполнения трудных и длительных арий, художественной передачей каденций, своей декламацией и естественной мимикой». В 1758 году в опере «Альцеста» семилетним мальчиком участвовал будущий русский композитор Дмитрий Бортнянский. В балетных номерах стали все чаще появляться русские балерины и танцовщики.

И все же оперы оставались редким зрелищем – слишком сложны были тогда оперные постановки. Доступнее были концерты оркестра и хоров. Придворная капелла обычно набиралась из голосистых украинцев и отличалась высочайшим искусством, а уж Елизавета знала в хоровом пении толк. Классическая музыка при ней вышла за стены дворца. С 1748 года в Петербурге стали впервые проводить публичные концерты, на которые был открыт доступ всем, кроме «пьяных, лакеев и распутных женщин», – так говорилось в афише первого концерта. Благодаря музыкальным пристрастиям царицы в русскую культуру вошли новые инструменты: арфа, мандолина, а главное, – гитара. Некоторые историки музыки

считают, что именно сама Елизавета стала зачинателем русской городской песни – романса – и напела несколько весьма популярных в XVIII веке романсов. Любила она и русские народные песни. Их слушали в перерывах спектаклей, и как-то раз «Ее Императорское Величество изволили сказать, что русское всегда более на сердце русское действие производит, чем чужестранное». Не оторвалась дочь Петра от своего народа!

При Елизавете родился необычайный вид искусства – роговой оркестр. Его изобрел чешский валторнист Иоганн Антон Мареш в 1748 году. Он приехал в Россию и нашел мецената в лице обер-егермейстера двора Степана Нарышкина. И вот однажды в 1757 году императрица, совершавшая прогулку верхом по осенним полям Подмосковья, была поражена звуками величественной музыки, которая как будто лилась с небес. В чистом поле слышались фуги Иоганна Себастьяна Баха. Это был сюрприз Нарышкина – концерт рогового оркестра, состоявшего из десятков музыкантов, которые дули в свои огромные инструменты. Они могли и не знать музыкальной грамоты, а лишь считали паузы, чтобы не пропустить свою партию. Это был настоящий живой орган гигантских размеров. Слушать его можно было только на приличном расстоянии – за 300–500 метров, не ближе. Вскоре он стал символом особой роскоши богатейших помещиков – владельцев тысяч рабов, из которых только и можно было набрать такой оркестр. Впрочем, императрица близко к живому органу не подъезжала и обратная сторона музыкального чуда, как и жизни ее подданных, ей была неведома.

Страсти по Сумарокову

По популярности с музыкой мог соперничать только драматический театр, основанный также при Елизавете – в Кадетском корпусе на Васильевском острове, где обучали молодых дворян. Театр императрица любила самозабвенно со времен маленького «оппозиционного» театра в своем дворце во времена Анны Иоанновны. Она доводила до изнеможения свой двор тем, что могла часами, чуть ли не днями не покидать представления, вновь и вновь требуя повторения полюбившихся ей пьес.

Конечно, этот театр мало был похож на современный. Жестко связанный догмами классицизма с его обязательными пятью актами, законами единства места и времени, возвышенным слогом, он мог бы показаться нам манерным, скучным и смешным. Поведение актера, согласно учебнику актерского мастерства того времени, ни в коем случае не должно было походить на естественное поведение людей. Нельзя было засовывать руки в карманы, сжимать кулаки, конечно, кроме тех случаев, «когда на сцене выводится престонародье, которое только и может пользоваться таким жестом, так как он груб и некрасив».

А вот важнейшие рекомендации актеру, выходящему на сцену. При выражении отвращения нужно, «повернув лицо в левую сторону, протянуть руки, слегка подняв их в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет». При удивлении «следует обе руки поднять и приложить несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю». «В сильном горе или печали можно и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе в локоть или в грудную перевязь, хотя бы публика их и не разбирала – сила горя будет понята по сему лепету, который красноречивей слов».



Александр Петрович Сумароков

Прочитав это, попробуйте воспроизвести хотя бы одну такую фигуру перед вашими ничего не подозревающими домашними и посмотрите на произведенный эффект – он, несомненно, будет очень сильным. Но не нужно думать, что у зрителей времен Елизаветы были такие же выражения лиц, которые вы только что могли наблюдать у своих близких. Язык этого театра был для них так же привычен, как нам – язык нашего театра, вероятно, странного для наших будущих потомков.

Людей XVIII века, как и во все времена, увлекало само театральное действие. «Вон, – писал Гоголь в 1842 году, – стонут балконы и перила театров: все потряслось сверху донизу, все превратилось в одно чувство, в один миг, в одного человека, и все люди встретились, как братья, в одном душевном движенье». Так это было через сто лет после Елизаветы, так будет и сто лет спустя после нас: не все ли равно, как изображается горе, если весь зал замер и плачет, ибо верит, что оно подлинное!

«Гамлет» Шекспира был до неузнаваемости переделан Сумароковым: мятежный принц свергает Клавдия, женится на Офелии и становится датским королем. Но все же великий монолог «Быть или не быть?» («Что делать мне теперь? Не знаю, что зачати?» – так Сумароков перевел его начало) остался и волновал зрителей XVIII века точно так же, как современников Шекспира, и как нас – людей конца XXI века – вечными проблемами жизни и смерти:

*Отверстыли гроба дверь и бедства окончати?
Или во свете сим еще претерпевати?
Когда умру, засну... Засну и буду спать;
Но что за сны сия ночь будет представлять?
Умреть... и внити в гроб – спокойствие прелестно,
Но что последует сну сладку? – Неизвестно.
Мы знаем, что сулит нам щедро Божество,
Надежда есть, дух бодр, но слабо естество!*

А как хохотали зрители над героями комедий Сумарокова – первого российского комедиографа, хохотали все: императрица в своей золоченой ложе, знать в партере, простолюдины на галерке – все было так узнаваемо и смешно:

*Представь бездушного подьячего в приказе,
Судью, что не поймет, что писано в указе,
Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос,
Что целый мыслит век о красоте волос,
Который родился, как мнит он, для амуру,
Чтоб где-нибудь склонить к себе такую ж дуру...
Представь мне гордого, раздута, как лягушка,
Скупого, что готов в удавку за полушку...*

Так Сумароков формулировал свое кредо драматурга – бичевателя общественных пороков. Но у его музы звучали и иные мотивы – он решался даже поучать императрицу. Его герой из драмы на темы русской истории со сцены призывал императрицу быть доброй и справедливой:

*Храни незлобие, людей чти в чести твердых,
От трона удаляй людей немилосердых
И огради ево людьми таких сердец,
Которых показал, имея, твой отец.*

Елизавета слушала это, аплодировала, хвалила и... ничего! Эти сентенции и советы пролетали мимо ее ушей, она бы удивилась, если бы ей сказали, что эти воззвания обращены к ней. Императрица, всегда подозрительная, когда шла речь о ее власти, была искренне убеждена, что она достойная преемница своего великого отца, Мать своего народа, благодетельница и прекрасная властительница, – и эти сумароковские намеки не понимала.

Царствуй, лежа на боку!

Придя к власти, Елизавета полагала, что ее задача как государственного деятеля достаточно проста: нужно смыть, уничтожить все искажения, наросты, образовавшиеся на теле государства со времен смерти Петра Великого, – и все будет в порядке, если, конечно, точно следовать всем его указам и регламентам. Сразу же скажу, что «реставрационная» политика дочери Петра закончилась полным провалом – прошлое, пусть недавнее и весьма славное, невозможно реставрировать, как невозможно и жить по его законам. Елизавета сразу поставила перед Сенатом задачу пересмотреть все изданные после Петра Великого законы и выбросить те, которые противоречили петровским принципам. Работа началась, но к 1750 году были просмотрены указы только за первые четыре года послепетровского периода (1726–1729). Наконец, вошедший в силу Петр Шувалов в 1754 году решился сказать императрице и Сенату, что путь этот ложен и что нужно заниматься составлением нового свода законов – Уложения, ибо «нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему и необходима перемена в законах».

Формально участие императрицы Елизаветы в управлении было значительным – количество подписанных ею указов увеличилось по сравнению со временем Анны Иоанновны. Но вскоре стало ясно: у Елизаветы нет ни сил, ни способностей одолеть эту гору сложнейших государственных дел. Если не находилось подходящего к делу указа Петра I, если требовалась законодательная инициатива, законотворчество, то императрица откладывала дело, и оно могло лежать годами нерассмотренное. Сказалось то, что дочь Петра не имела никакой подготовки к государственной работе и никакого желания заниматься тяжелым и утомительным трудом государственного деятеля. Несомненно, у нее было немало добрых побуждений, желания показать народу «матернюю милость», но она не знала, как это сделать, да и некогда ей было – столько предстояло перемерить платьев, посетить спектаклей и празднеств.

И поэтому она, формально ликвидировав Кабинет министров, точно так же, как и Анна Иоанновна, передоверяла все дела министрам. Но добраться до царицы, чтобы получить ее подпись, им было весьма нелегко. В 1755 году Михаил Воронцов подобострастнейше писал фавориту императрицы Елизаветы Ивану Шувалову: «Я ласкал себя надеждою, прежде отъезда двора в Царское Село получить чрез Ваше превосходительство высочайшее повеление по известному делу г. Дугласа, а ныне отнюдь не смею утруждать напоминанием, крайне опасаясь прогневить Ее Величество и тем приключить какое-либо препятствие в забавах в толь веселом и любимом месте, надеясь, однако же, что в свободный час вспамятовано будет». Вся проблема состояла, как видим, в том, чтобы нужный документ «при удобном случае государыне к подписанию поднести». Но это было непросто – достаточно посмотреть расписание занятий царицы.

Вся ее жизнь была расписана между концертами, театральными спектаклями, балами, прогулками и маскарадами.

Вот как, согласно придворному журналу, Елизавета провела январь 1751 года:

1 января – празднование Нового года, 2-го – маскарад, 3-го – в гостях у Александра Бутурлина, 5-го – Сочельник, 6-го – французская трагедия, 7-го – французская комедия, 8-го – придворный маскарад, 9-го – гуляние по улицам в карете, в гостях у Сумарокова, 13-го –

литургия в церкви, куртаг во дворце, 15-го – придворный бал, 18-го – публичный маскарад, 20-го – куртаг, французская комедия, 22-го – придворный маскарад, 24-го – русская трагедия, 25-го – французская комедия, 28 и 29-го – свадьбы придворных. Примерно таким же было времяпрепровождение императрицы и в другие месяцы и годы.

Читатель легко может подсчитать, что императрица больше половины своего времени проводила в развлечениях, а потом отдыхала от них и готовилась к новым – одним словом, работать было некогда!

Впрочем, ситуация никогда не становилась драматической или взрывоопасной. Государственная бюрократическая машина, некогда запущенная рукою Петра Великого, продолжала свою монотонную работу. Эта машина – в силу своих «вечных» бюрократических принципов – была жизнеспособна и плодотворна, несмотря на то что ее создатель умер, а у власти, сменяя один другого, находились посредственности, если не сказать – ничтожества. Кроме того, в окружении Елизаветы Петровны были не только наперсники ее развлечений, но и вполне деловые люди. Елизаветинское царствование стало важным этапом на пути эмансипации русского дворянства, при Елизавете были разработаны многие законы о дворянстве, которые реализовались позже – при Петре III и Екатерине II.

В 1744–1747 годах провели, впервые со времен Петра Великого, перепись населения, после чего с народа сняли недоимки в сборах подушной подати, накопившиеся за семнадцать лет. Это оказалось не просто гуманным актом, но и разумной политической и административной мерой: собирать недоимки было делом неблагодарным и малорезультативным – в России традиционно считалось непонятной доблестью или глупостью вовремя и сполна платить налоги.

К 1750 году экономика страны вышла из полосы кризиса, вызванного последствиями длительной Северной войны 1700–1721 годов; экстенсивные методы ведения хозяйства, навязанные Петром I в ходе его реформ, в это время начали давать свои ощутимые результаты. Спрос на прекрасное русское железо к середине XVIII века достиг невиданного уровня – 100 процентов его производства! Это породило промышленный бум, ускоренное промышленное строительство, благо под рукой были несметные богатства недр, немереные просторы лесов, полноводные реки и главное – бесплатный труд крепостных крестьян. Процветала при Елизавете и коммерция. Отмена унаследованных от Московской Руси внутренних таможен – важное экономическое нововведение – способствовала расцвету торговли. Впервые за все годы своего существования Петербург мог жить без особого льготного режима – он действительно стал главным портовым городом страны и приносил казне не расходы, как раньше, а все увеличивавшиеся доходы.

Из двадцати лет царствования Елизаветы пятнадцать оказались мирными – такого история России еще не знала. А что такое мир для каждой страны – говорить много не нужно. В этом, как и вообще в жизни, дочери Петра повезло, и когда в 1756 году началась Семилетняя война (для России она продолжалась лишь четыре года), страна перенесла ее без тяжелого напряжения.

Несмотря на почти полную отстраненность от государственных дел, Елизавета оставалась самодержицей – абсолютной монархиней, – никому не позволяя над собой властвовать. Императрица была неискушенным в политике человеком, но это не означало, что она оставалась простодушной и доверчивой. В ее политическом поведении были видны пристрастия, симпатии, капризы, но не было поспешности и скоропалительности решений. Пусть дело лучше полежит подольше, чем будет сделано с ущербом для ее власти, – таков

был ее немудреный, но проверенный жизнью принцип.

Пристрастия и вкусы Елизаветы отразились и на политике ее правительства. С 1742 года ужесточилась борьба с приверженцами старообрядчества, начались гонения на квакеров, принялись сносить мусульманские мечети и армянские церкви. В 1742 году был издан указ о полном изгнании евреев из России. За всем этим стояла религиозная нетерпимость Елизаветы. У части высшего духовенства появилась иллюзия, что теперь – при богобоязненной царь-девице, – может быть, удастся восстановить уничтоженную Петром I власть патриарха. Но этого не произошло – от принципов петровской политики Елизавета не отходила. Более того, указом 19 февраля 1743 года императрица напомнила слегка расслабившимся после смерти грозного царя подданным, что не потерпит вольностей в их внешнем виде, и чтоб не было никаких бород и длиннополых одежд!

Добродушный лентяй и его брат-президент

Почти двадцать лет душа в душу с Елизаветой жил ее фаворит граф Алексей Григорьевич Разумовский. Начало его фавора (или, как тогда говорили, «случая») относится к 1731 году. Именно тогда полковник Федор Вишневский присмотрел в хоре церкви черниговского села Чемары молодого украинца – статного красавца Алексея Розума с великолепным голосом – и забрал его в придворную капеллу, откуда тот попал ко двору цесаревны Елизаветы.

Дело это было обычное: украинские певчие высоко ценились при дворе, и по заданию императрицы наиболее даровитых мальчиков и юношей собирали по всей Украине. Родители с удовольствием отпускали детей в Петербург – жить при дворе в любом качестве считалось высочайшей милостью, да и содержание было хорошим. Часть юношей, не выдержав экзамена или потеряв голос, возвращались с наградой домой, а другие оставались в столице. Среди последних оказался и Розум.

Впервые в списках служителей двора Елизаветы он упоминается в конце 1731 года под именем Алексея Григорьева, но не среди певчих и лакеев – нижних категорий служителей, а среди их высшего разряда – камердинеров. Это с безошибочностью говорит о том особом значении, которое приобрел красавец певчий в жизни маленького двора цесаревны. И хотя Разумовский не участвовал в перевороте 25 ноября 1741 года, он был отмечен особо – стал камергером, генералом, обер-егермейстером, кавалером высшего ордена Святого Андрея Первозванного, графом и владельцем огромных поместий.

Примерно с 1742 года стали распространяться слухи о тайном венчании императрицы и Разумовского в подмосковном селе Перово. Но они были смутны и непроверяемы – слишком глухая пелена тайны окружала это дискредитирующее самодержицу событие. В 1747 году секретарь саксонского посольства Пецольд писал: «Все уже давно предполагали, а теперь знаю достоверно, что императрица несколько лет назад вступила в брак с обер-егермейстером». Но доказательств при этом дипломат не приводит – вероятно, боится доверить их бумаге.



Граф Алексей Григорьевич Разумовский

И у нас нет прямых свидетельств заключения этого брака. Выразителен только странный пропуск, сделанный в графе ведомости о семейном положении лейб-кампанцев Елизаветы напротив фамилии Разумовского. У фамилий всех трех сотен лейб-кампанцев

(привилегированной части елизаветинской гвардии) – пометы: либо «женат», либо «вдов», а у Разумовского – пустая графа. Нет и приписки «холост». Вряд ли это случайность – ведомость официальная и очень подробная.

Еще больше слухов вызывала история неких князей Таракановых – якобы детей Разумовского и Елизаветы, которых вначале будто бы держали взаперти, а потом обучали и воспитывали за границей. По мнению А. Васильчикова, исследователя рода Разумовских, речь идет о племянниках Разумовского, детях его сестры, носившей фамилию Дараган. Они долго жили при дворе Елизаветы и потом были отправлены в Швейцарию – получать воспитание и образование. В германской прессе они превратились в таинственных Таракановых. Впрочем, наверняка ни на чем настаивать не буду – ведь среди бегавших по дворцу Анны Иоанновны детей Бирона был и сын императрицы от ее фаворита.

Значение Разумовского при дворе Елизаветы было велико. «Влияние старшего Разумовского на государыню до того усилилось после брака их, что, хотя он прямо и не вмешивается в государственные дела, к которым не имеет ни влечения, ни талантов, однако каждый может быть уверен в достижении того, что хочет, лишь бы Разумовский замолвил слово», – писал Пецольд. Но влияние Разумовского было огромным еще в 1730-е годы, когда Елизавета была цесаревной. И уже тогда многие добивались его дружбы, слали ему подобострастные приветы, стремились через него добиться милостей, помощи от Елизаветы.

Современники рисуют на редкость симпатичный образ фаворита. Он, обладавший огромной властью, пользовался ею с большой неохотой, стремился не лезть в обычные при дворе интриги, не рвался к высшим государственным должностям. Со страниц воспоминаний он предстает добродушным лентяем, мало чем интересовавшимся, но не утратившим присущего его народу чувства юмора, в том числе – по отношению к своей персоне и «случаю», сделавшему его первым вельможей империи. Он был очень привязан к своему семейству, заботился о многочисленной черниговской родне, которая благодаря своему высокопоставленному родственнику отнюдь не бедствовала.

Особенно трогательно он относился к своей матери – простой казачке, представил ее ко двору, посылал ей регулярно заботливые письма и гостинцы. В 1744 году Елизавета решила отправиться на богомолье к святыням Киево-Печерского монастыря. Путь ее пролегал через родные места Разумовского. И вот фаворит пишет своей матери, чтобы управляющий его имениями Семен Пустота присмотрел за многочисленной родней и «чтоб он как зятьям, дядьям, так и всей родне именем моим приказал бы быть всем в одном собрании в деревне Лемешах и дожидаться бы тамо моего свидания, а наипаче запретить, чтоб отнюдь никто из них в то время именем моим не хвастал бы и не славился б тем, что он мне родня».

Во времена Елизаветы, в немалой степени благодаря Разумовскому, Украина получила некоторое облегчение от самодержавного гнета и даже восстановила гетманство. Произошло это вполне волшебным образом. Спустя несколько лет после путешествия на Черниговщину Алексей сумел пристроить при дворе своего младшего брата Кирилла. Его история напоминает сказку о пастухе, ставшем принцем. Так это, собственно, и было. Однажды за шестнадцатилетним юношей, пасшим стадо, приехали курьеры из Петербурга и забрали его в столицу. Там Кирилла приодели, а потом отправили за границу – путешествовать и учиться. В двадцать лет он уже стал президентом Петербургской Академии наук. Но не это было главной целью фаворита. С Украины в Петербург зачастили посольства украинской старшины, которая умоляла «маму» Елизавету вернуть Украине

гетманство. На пост гетмана и был выдвинут бывший пастух, которому к тому времени исполнилось двадцать два года...

Современники, знавшие немало волшебных возвышений при дворе, этой историей были просто поражены. Впрочем, вчерашний пастух оказался человеком простым, милым и таким же добродушным, как брат. Кстати, история российской науки и самой Академии свидетельствует, что Кирилл Григорьевич Разумовский был не самым худшим из всех президентов Академии наук. Если он и не особенно помогал ученым, то уж совсем не мешал им делать то дело, в котором сам не смыслил, а это, как известно, в России – всегда благо.

В своих мемуарах Екатерина II, вспоминая о годах своей молодости при дворе Елизаветы, пишет о Кирилле Разумовском, который был немного влюблен в нее, жену наследника престола: «Это был человек очень веселый и приблизительно наших лет. Мы его очень любили. Хорошо было известно, что все самые хорошенькие придворные и городские дамы разрывали его на части. И действительно, это был красивый мужчина своеобразного нрава, очень приятный и несравненно умнее своего брата, который, в свою очередь, равнялся с ним по красоте, но превосходил его щедростью и благотворительностью. Эти два брата составляли семью фаворитов, самую любимую всеми».

«Рожден без самолюбия безмерного»

«Я вечно его находила в передней с книгой в руке, – вспоминала о своих первых встречах с Иваном Шуваловым Екатерина II. – Я тоже любила читать и вследствие этого я его заметила; на охоте я иногда с ним разговаривала; этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться... он также иногда жаловался на одиночество, в каком его оставляли родные; ему было тогда восемнадцать лет, он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава».

Вскоре – а это произошло осенью 1749 года – в судьбе симпатичного пажа произошла существенная перемена: он перестал страдать от одиночества, потому что с ним его разделила сама императрица. Начался «случай» Шувалова. Поначалу увлечение сорокалетней императрицы двадцатидвухлетним пажем, ставшим камер-юнкером, казалось многим временным. Такие «случаи» уже происходили с молодыми людьми при дворе, но шли недели, месяцы – и Шувалов окончательно вытеснил из сердца императрицы и из придворных апартаментов самого графа Алексея Григорьевича. Фавориты – отставной и действующий – оказались выше всяких похвал: не было ни сцен, ни скандалов, ни кляуз. Разумовский попросту отошел в сторону, а Шувалов его не преследовал. Императрица подарила Разумовскому Аничков дворец на Невском проспекте, сделала его генерал-фельдмаршалом, и тот спокойно принял своеобразное отступное от бывшей супруги и зажил в свое удовольствие.

Связь Елизаветы и Шувалова оказалась долгой – до самой смерти императрицы в декабре 1761 года. Зная обоих, нельзя не поразиться несходству типов личности, интеллекта партнеров в этой паре. Но вначале поближе познакомимся с Иваном Ивановичем Шуваловым. Он происходил из небогатой, незнатной семьи, родился в 1727 году и, следовательно, еще лежал в пеленках, когда цесаревна охотилась со своим племянником императором Петром II на полях Подмосковья. Ко двору Шувалов попал благодаря своим двоюродным братьям Петру и Александру Шуваловым, входившим в круг ближайших сподвижников Елизаветы еще с 1720-х годов. Он не выделялся из блестящей толпы придворных ни ростом, ни статью, ни бриллиантовым панцирем из орденов и украшений. Он не был воинствен, лих и даже особенно мужествен.

Когда после смерти Елизаветы Петровны Петр III назначил Шувалова начальником Кадетского корпуса, его друзья покатывались со смеху. Граф Иван Чернышев писал Шувалову: «Простите, любезный друг, я все смеюсь, лишь только представлю себе вас в гетрах, как вы кричите: „На караул!“» Сам Шувалов с грустью сообщал своему другу Вольтеру 19 марта 1762 года: «Мне потребовалось собрать всю силу моей удрученной души, чтобы исполнять обязанности по должности, превышающей мое честолюбие», и далее зачеркнуто: «и входить в подробности, отнюдь не соответствующие той философии, которую мне бы хотелось иметь единственным предметом занятий». Оказавшись в следующем году за границей, он писал сестре: «Если Бог изволит, буду жив, и, возвратясь в мое отечество, ни о чем ином помышлять не буду, как весть тихую и беспечную жизнь; удалюсь от большого света, который довольно знаю; конечно, не в нем совершенное благополучие почитать надобно, но, собственно, в себе в малом числе людей, родством или дружбою со мной соединенных. Прошу Бога только о том, верьте, что ни чести, ни богатства веселить меня не

могут». Можно, конечно, скептически хмыкнуть, прочитав эти откровения отставного фаворита покойной императрицы – при дворе Екатерины II ему уже не было места. Но не будем спешить с оценками.



Граф Иван Иванович Шувалов

Многочисленные факты свидетельствуют, что Иван Иванович был все-таки необычайным фаворитом. Он был весьма скромен, не рвался к чинам, наградам, а главное – он не пытался обогатиться за счет подарков своей коронованной любовницы, что делали всегда все фавориты, понимая, что век их недолог. В 1757 году канцлер Михаил Воронцов представил Шувалову для подписания у императрицы указ, делавший Ивана Ивановича графом, сенатором, членом высшего правительственного органа – Конференции при высочайшем дворе, кавалером ордена Святого Андрея Первозванного и обладателем десяти тысяч душ крепостных. Шувалов отказался подавать на подпись этот указ и ответил Воронцову: «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, почестям и знатности; когда я, милостивый государь, ни в каких случаях к сим вещам моей алчбы не казал [будучи] в таких летах, когда страсти и тщеславие владычествуют людьми, то ныне истинно и более притчину нет». Шел, повторяю, 1757 год – вершина могущества Шувалова, и этому признанию нужно доверять: слишком слаб становится человек, едва заслышав звук медных труб славы и учуяв фимиам восхвалений.

А в том, что Иван Шувалов реально находился у власти больше десяти лет, сомнений нет никаких. Его влияние на государственные дела превосходило во много раз то влияние, каким пользовался до него Разумовский. Он подготавливал царские указы, вел переписку с министрами, послами, генералами, на протяжении ряда лет был единственным докладчиком у императрицы, которая, видя, как гаснет ее красота, не хотела никого принимать и все больше времени проводила во внутренних апартаментах дворца. «Он вмещается во все дела, не нося особых званий и не занимая особых должностей, – писал в 1761 году о Шувалове Фавье, – одним словом, он пользуется всеми преимуществами министра, не будучи им». С годами недоверчивая императрица все больше полагалась в делах на Шувалова, у нее не раз бывала возможность проверить честность и порядочность своего молодого друга, и он всегда подтверждал свою блестящую репутацию бессребреника. В 1759 году Воронцов, ходивший в приятели Шувалова, попросил фаворита похлопотать перед Елизаветой о предоставлении ему, Воронцову, исключительной монополии на вывоз за границу русского хлеба. В подобных случаях предполагалось, как само собой разумеющееся, что ходатай по такому делу разделит выгоду всего предприятия. Шувалов в

свойственной ему мягкой манере отвечал приятелю, что в данный момент монополия на хлебный вывоз государству не нужна и «против пользы государственной я никаким образом на то поступить против моей чести не могу, что Ваше сиятельство, будучи столь одарены разумом, конечно, от меня требовать не станете».

Впрочем, Шувалов был умен и тонок и знал истинную цену дружбе с ним – фаворитом царицы. За месяц до смерти Елизаветы, 29 ноября 1761 года он писал Воронцову: «Вижу хитрости, которые не понимаю, и вред от людей, преисполненных моими благодеяниями. Невозможность их продолжать прекратила их ко мне уважение, чего, конечно, всегда ожидать был должен и не был столь прост, чтоб думать, что меня, а не пользу свою во мне любят». Это был и упрек «верному другу» Михаилу Илларионовичу, который, подобно всем другим царедворцам, почуявшим приближающуюся смерть императрицы, уже начал вертеться возле ее наследника – великого князя Петра Федоровича.

Конечно, в бескорыстности, честности и преданности Шувалова состояла одна из причин долговечности фавора Ивана Ивановича. Но были и другие причины особой привязанности к нему императрицы. Елизавете, вступившей в зрелые годы, которые быстрой вереницей потянулись к ненавистной старости, Ванечка Шувалов давал то, чего уже не мог дать Разумовский – ее ровесник, а именно – ощущение молодости, радости жизни, свежести чувств. Не расставаясь ни на день с возлюбленным, Елизавета останавливала для себя время, чувствовала себя молодой.

Выше упоминалась сатира Елагина «На петиметра и кокеток». Сатирик бил наверняка – все узнали в капризном петиметре, думающем о красе ногтей и французских духах, Ивана Ивановича. Он был изрядным модником, галломаном и, как писал Фавье, «с приятной наружностью он соединял чисто французскую манеру выражаться». Шувалов был обижен сатирой и просил поэта и ученого Михаила Ломоносова ответить Елагину. После долгих колебаний Ломоносов выдал из себя не самое сильное свое стихотворение, которое начиналось словами:

*Златой младых людей и беспечальный век
Кто хочет огорчить, тот сам не человек...*

Вероятно, дурно одетый неряха и не смог бы стать фаворитом императрицы-щеголихи. Стремясь хорошо одеваться, изящно выглядеть, думая о красе ногтей и с удовольствием разделяя ту праздничную жизнь, которой жила императрица, Иван Иванович оставался дельным человеком.

*Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елизавет.
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов,
Туда, где ей Цейлон и в севере светет.
Где хитрость мастерства, преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасный вид...*

Так писал Ломоносов, воспевая прогулки царицы и ее фаворита в царскосельских оранжереях и зимних садах. Но далее следуют другие строки:

*Толь многи радости, толь разные утехи
Не могут от тебя парнасских гор закрыть,
Тебе приятны коль российских муз успехи,
То можно из твоей любви к ним заключить.*

Эти строки, обращенные в 1750 году к совсем еще молодому любовнику Елизаветы, не были поэтическим преувеличением. С юности Шувалов был глубоко и искренне предан культуре, литературе, искусству. Это увлечение с годами возрастало – светская рассеянная жизнь постепенно приедалась, и то, что Шувалов писал в 1763 году сестре о пустоте света, было правдой. Он стремился к другой жизни, в мир гармонии и тишины, спокойного чтения, искренних и глубоких бесед с друзьями, в царство музыки и искусства. Но его реальная жизнь долго складывалась так, что об этом можно было только мечтать.

И все же, находясь у вершины власти, в водовороте интриг беспокойного двора, он находил время и силы предаваться любезным музам и стал великим русским меценатом.

Меценат и поэт

Несомненно, Шувалов не обладал творческими талантами. Ему не помогли уроки версификации, которые он брал в молодости у Ломоносова, – ни стихи, ни живопись ему не удавались. Но у Шувалова было то, что довольно редко встречается у бесталантных людей, – он не был завистлив к таланту других. Наоборот, он радовался появлению гения и помогал ему расцвести. Шувалов был истинным меценатом: внимательным и благодарным слушателем, тонким ценителем и знатоком изящного, страстным коллекционером, щедрым и немелочным богачом, в поощрении искусства и культуры он видел цель своей жизни. Сопричастность творцу доставляла ему истинное наслаждение.

Конечно, связь Поэта и Мецената не была бескорыстной с обеих сторон. Поэт рассчитывал на материальную и нравственную поддержку Мецената, а тот, в свою очередь, на благодарность Мастера. А какой же может быть благодарность Мастера, как не желание увековечить Мецената в произведении искусства, помочь ему, восторженному любителю, переступить порог вечности?

Именно такой была связь Шувалова и Ломоносова. Но их дружбу цементировало еще нечто общее, казавшееся им вечным и неизменным: вера в неограниченные возможности Просвещения, точнее – просвещенного русского разума, способного на благо себе изменить все вокруг. Оба они были истинными сынами Отечества – так называли тогда патриотов. Елизаветинское время стало временем национального подъема, оптимизма. Воодушевляющая мысль о том, что благодаря реформам Петра I Россия разорвала «пути варварства» и вошла в единую дружную семью просвещенных народов, владела в равной степени и крестьянином Михаилом Ломоносовым, и дворянином Иваном Шуваловым. Нужно только больше работать, творить во благо прекрасной России, чьи ресурсы неограниченны, люди талантливы, а язык способен выразить самые тонкие человеческие чувства. Ученик Ломоносова и протеже Шувалова Николай Поповский в речи, обращенной к юношам-гимназистам при открытии гимназии Московского университета в 1755 году, говорил: «Если будет ваша охота и прилежание, то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие же, какими целые народы хвалятся; уверьте свет, что Россия больше за поздним начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещенных народов войти не успела».

В письме французскому философу Гельвецию Шувалов писал, что в России мало своих искусных людей или, вернее, их почти вовсе нет, но причина этого – не отсутствие склонности к наукам и разума у русских людей, а плохая организация дела просвещения. В создании научных и педагогических учреждений Шувалов видел свой долг. Вместе с Ломоносовым он развивал идеи Просвещения в русском варианте, когда вся энергия просветительских идей направлялась не на разрушение старого порядка, а на его укрепление, воспитание новой генерации русских людей, образованных, умных, талантливых, но обязательно законопослушных и верноподданных. Так понимал Шувалов Просвещение и, преклоняясь перед творческим гением Вольтера, он не разделял иронии своего французского друга, уничтожавшей старый порядок, осуждал его атеизм.

Благодаря Шувалову в Москве в 1755 году были основаны Московский университет, первые гимназии в Москве и Казани, в 1760 году в Петербурге была открыта Императорская

Академия художеств. Шувалов собрал огромную, великолепную коллекцию картин Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, Пуссена и других живописцев, которая стала основой всемирно известной художественной коллекции петербургского Эрмитажа. Меценат не жалел сил и средств, чтобы создать в России интеллектуальное поле, он заботился о законах, которые ограждали университет от вмешательства невежественной светской и церковной власти, многие годы он собирал книги для университета и Академии художеств, но самое главное – он искал и находил талантливую молодежь.

Выбирать из хотя и бедных, но способных молодых людей – таков был его принцип. В 1761 году он писал в Дворцовую канцелярию о зачислении в студенты Академии художеств дворцового истопника Федота Шубина, который «дает надежду, что со временем может быть искусным в своем художестве мастером». Так начал свою карьеру выдающийся русский скульптор Федот Иванович Шубин. Краткий «шуваловский» период истории Академии художеств оказался благодаря уму, предусмотрительности, заботливости ее основателя, не жалевшего денег на дорогостоящих иностранных учителей, картины, скульптуру, пособия и материалы, чрезвычайно плодотворным, дал мощнейший толчок развитию искусства в России, открыл миру новые таланты. Уже в первом выпуске Академии художеств оказались незаурядные мастера: архитектор Иван Старов, скульптор Федор Гордеев, художник Антон Лосенко и другие. Без них невозможно представить русское искусство XVIII – начала XIX века.

Главным советчиком и другом Мецената был Поэт. Для Шувалова Ломоносов являлся живым воплощением успеха просвещенного знаниями русского народа. Благодаря настояниям Шувалова, за спиной которого стояла императрица, Ломоносов занялся русской историей, писал много стихов. Но, как часто бывает в жизни, отношения их не были простыми и равными – слишком разными были эти люди. Шувалова и Ломоносова разделяли пропасть лет, различие в происхождении, социальном положении, диаметрально несходство характеров. Один – интеллигентный, мягкий и одновременно беззаботный, избалованный, другой – с тяжелым характером, необузданный в гневе, болезненно честолюбивый и, под влиянием винных паров, подозрительный, вечно страдающий от укусов, как ему казалось, ничтожеств и бездарностей. Ломоносов хотел, чтобы Шувалов не только восхищался его гением, но и помогал осуществлять его грандиозные планы, реализовывать весьма амбициозные идеи при дворе императрицы.

Но у Шувалова-царедворца был свой счет, свои проблемы, с которыми великий крестьянский сын не считался и которых даже не понимал. Так, после открытия Московского университета Ломоносов хотел добиться с помощью Шувалова создания нового университета в Петербурге, причем себя видел его ректором. Шувалова же пугали деспотические замашки властного Ломоносова, который мог поступить круто, своевольно и неразумно. Поэтому Шувалов тянул с реализацией планов, которые они так горячо и заинтересованно обсуждали вместе. И все это страшно огорчало нетерпеливого и подозрительного помора.

Возвращаясь как-то раз из Петергофа после очередного бесполезного визита ко двору, Ломоносов остановился на отдых на поляне и тут же написал горькие стихи, обращенные к кузнечнику, который скачет и поет, свободен, беззаботен:

*Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.*

Шувалов – петиметр и барин – подчас не щадил обостренного самолюбия Ломоносова, никогда не забывавшего о своем социальном происхождении, и от души смеялся, глядя, как происходит за его столом подстроенная им же самим неожиданная встреча Сумарокова и Ломоносова – соперников в поэзии и заклятых врагов в жизни.

Один из гостей Ивана Ивановича, вернувшись домой, записал в свой дневник: «Бешеная выходка бригадира Сумарокова за столом у камергера Ивана Ивановича. Смешная сцена между ним и господином Ломоносовым». Ломоносов же увидел в этом совсем другое: его унизили, пытались уподобить Третьяковскому, шуту-рифмоплету и, приехав домой, он написал своему покровителю полное гнева и оскорбленного достоинства письмо: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже (даже. – Е. А.) у самого Господа Бога, который мне дал смысл (разум. – Е. А.), пока разве отнимет». Иван Иванович не обиделся и, может быть, просил прощения у Ломоносова, ведь он его искренне любил.

Не прошло и года после этого случая, как умерла Елизавета, Шувалов уехал за границу, жил в Париже, у Вольтера в Фернее, а потом провел долгие годы в Италии. Когда он вернулся домой, Поэта уже не было в живых – Ломоносов умер в 1765 году. Фавор Ивана Шувалова оборвался, когда ему было тридцать пять лет; впоследствии оказалось, что это – ровно половина его жизни. И еще тридцать пять лет, до самой смерти в 1797 году, Шувалов прожил так, как и мечтал: вдали от суетного света, в уютном дворце своей сестры, среди любимых картин и книг, в тишине и покое.

Он остался самим собой до самого конца. Однажды гость Шувалова, войдя в его кабинет, застал хозяина в мягких креслах, в халате, с томиком Вольтера в руке. «Вот, хоть не люблю его, бестию, – шутливо воскликнул Иван Иванович, – а приятно пишет!» Он был счастливым человеком и сподобился того, о чем мечтает каждый Меценат: имя его, вплетя в свои стихи, обессмертил Поэт, который сам будет жить, пока живет русское слово.

*Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже минералов...*

или:

*Начало моего великого труда
Прими, Предстатель муз, как принимал всегда
Сложения мои, любя Российско слово,
И тем стремление к стихам давал мне ново.
Тобою поощрен, в сей путь пустился я:
Ты будешь онога споспешник и судья.*

Шувалов повидал мир, был знаком с гениями, провел годы в благословенной Италии, он познал власть, почет, любовь и славу. Во второй половине жизни он писал, что, наконец, свободен, что сумел «приобрести знакомство достойных людей – утешение, мне до сего времени не известное, все друзья мои, или большею частию, были [друзьями] только моего благополучия, теперь [стали] собственно мои».

Братья-разбойники

Иван Иванович Шувалов был прост и бескорыстен, но его добротой вполне бесцеремонно и даже нагло пользовались ближние родственники – старшие двоюродные братья графы Петр и Александр Шуваловы, некогда приведшие скромного интеллигентного юношу ко двору. Особенно заметен был своими повадками и даже внешним видом старший из братьев – Петр. Это был вельможа во всем блеске значения этого понятия для XVIII века. Он, как пишет Фавье, «возбуждал зависть азиатской роскошью в доме и своим образом жизни: он всегда покрыт бриллиантами, как Могол, и окружен свитой из конюхов, адъютантов и ординарцев».

Он весьма удачно женился – взял в жены некрасивую, но близкую императрице фрейлину Мавру Шепелеву. Женщина умная и ловкая, Мавра хорошо знала характер своей повелительницы и тонко пользовалась влиянием на нее, чтобы добиваться милостей для своего мужа. В своих записках князь Яков Шаховской рассказывает, как Мавра Шувалова, выполняя задание мужа, сумела опорочить Шаховского в глазах императрицы. Зная, что прямая жалоба на подозрительную в таких случаях Елизавету не подействует, она прибегла к хитрости: встав с одной из своих приятельниц-фрейлин у окна во дворце, Мавра стала что-то шептать ей на ухо. Этого было достаточно, чтобы скучающая императрица обратила на дам внимание и решительно подошла к ним. Мавра притворно сконфузилась и замолкла. Заинтригованная Елизавета потребовала рассказать, о чем секретничают ее фрейлины. Мавра отнекивалась, краснела, а потом, как бы неохотно, идя навстречу воле государыни... вылила ведро помоев на врага своего мужа. Князь Михаил Щербатов, описывая нравы двора Елизаветы Петровны и ее главных вельмож, называет Петра Ивановича Шувалова настоящим «чудовищем», отвратительным человеком, но вместе с тем пишет, что тот был человек не только «быстрый, честлюбивый», но и умный.

Несомненно, Петр Шувалов был крупным деятелем елизаветинской эпохи, одним из центральных столпов ее режима. В нем было много энергии, властности, воли, он ясно и широко мыслил. Современники замечали в нем редкостную для государственных деятелей той эпохи способность понимать и ценить новое, даже увлекаться им. Он был плодовитым прожектером и всячески покровительствовал прожектерству в различных сферах жизни – от финансов до фейерверков. В его обширном петербургском дворце была создана целая «фабрика прожектов», и там появилось немало идей, которые были им реализованы при поддержке Ивана Ивановича. Важнейшими из мер, проведенных Петром Шуваловым, были реформы в экономике и финансах. Он стал осуществлять новую, революционную для русских финансов идею перехода от прямого (подушного) обложения к косвенному, за счет повышения цен на соль, вино. Но еще более смелой оказалась реформа таможенного обложения. Шувалов добился ликвидации внутренних таможен – наследия средневековья. Финансисты опасались снижения доходов казны. Действительно, это был риск, однако он оправдался – освобождение торговли от стесняющих ее пут привело к росту доходов казны за счет увеличения торгового оборота.

По инициативе Петра Шувалова началась работа над созданием нового свода законов – Уложения. Результаты деятельности Комиссии, которую он сам возглавлял, были впоследствии использованы правительствами Петра III и Екатерины II. Впечатляющими

были и успехи реформ Шувалова в армии, особенно – в артиллерии, ставшей одной из самых передовых в мире. Шуваловские гаубицы, отличавшиеся необычайной точностью стрельбы, увековечили его имя в истории русского оружия.

Но все же больше, чем государственной деятельностью, Петр Шувалов (как и его брат Александр) прославился казнокрадством, стяжательством, беззастенчивым обогащением за счет казны. Братьям Шуваловым удалось провести такие законы, которые позволяли им, а также их ближайшим приятелям, присвоить богатейшие уральские металлургические заводы и получать с них гигантские доходы, иметь невиданные льготы и даже финансовую помощь государства.

В отношении своих конкурентов – частных предпринимателей – Шуваловы вели себя, как разбойники с большой дороги, разоряя их дотла. Еще больше доходов и дурной славы принесли Петру Шувалову многочисленные монополии на промыслы. Когда в 1760 году он умер, то собравшиеся на похороны долго томились в ожидании выноса тела. Екатерина II пишет в мемуарах, что одни, «вспомня табашной того Шувалова откуп, говорили, что табаком [тело] осыпают, другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала; иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что ту зиму трески ни за какие деньги получить нельзя было и начали Шувалова бранить». Так под многотысячный хор проклятий и матерщины и был отвезен в Александро-Невский монастырь Петр Иванович Шувалов. Незавидная судьба для государственного деятеля.

Александр Иванович Шувалов держался всегда в тени «Могола» – старшего брата, но его побаивались не меньше, чем всемогущего прожектера. С 1747 года он сменил на посту начальника тайной полиции – Тайной канцелярии – умершего Андрея Ушакова и бессленно руководил этим славным учреждением до его ликвидации при Петре III. Никто не стремился поближе познакомиться с подвалом Александра Ивановича, да и внешность его была отталкивающая – лицо его то и дело перекашивалось от нервного тика, тяжелая, видно, была работа...

Впрочем, на его время пришлось немного крупных дел – царствование Елизаветы в политическом смысле было спокойно, даже безмятежно: ни серьезных заговоров, ни мятежей, ни крупных бунтов.

Взойдя на престол, Елизавета поклялась не выносить смертных приговоров и свою клятву сдержала – указов о смертной казни в ее царствование нет. Конечно, людей могли сжить со света иными средствами (что, кстати, и делалось), но все же мы не можем вспомнить в тысячелетней истории России ни одного другого двадцатилетия, в течение которого никого не казнили.

«Система Петра Великого»

Говоря о почти полной отстраненности Елизаветы Петровны от государственного управления, сделаем только одну поправку – были дела, которые ни при каких обстоятельствах без нее решить было невозможно. До тех пор, пока она оставалась самодержицей и не хотела утратить этой власти, она была вынуждена подписывать именные указы, вести минимальную переписку.

Но среди документов, к которым прикоснулось перо Елизаветы, есть такие, которые отражают самое пристальное внимание императрицы к определенному виду дел. Это были дела по внешней политике, требовавшие как раз того, чем не обладала императрица: внимания, трудолюбия, таланта. И тем не менее, в непрерывной череде празднеств и развлечений Елизавета находила «окна», чтобы выслушивать доклады канцлера А. П. Бестужева-Рюмина или Ивана Шувалова, читать донесения русских посланников из-за границы и выписки из иностранных газет. На этих бумагах остались пометы, сделанные рукою императрицы. Чем же объяснить такое исключение из правил царицы, далекой от всякого труда?

Ларчик открывается просто: внешняя политика была интересна императрице. Дипломатия тогда была «ремеслом королей», вся Европа была монархической (за исключением, пожалуй, Венеции), всюду сидели императоры, короли, князья, ландграфы, герцоги. Это была большая и недружная семья властителей, хотя и связанная родством, но раздираемая противоречиями и враждой. Члены коронованного семейства постоянно интриговали друг против друга, стремились то расстроить чьи-то союзнические отношения, то заполучить новых союзников. Дипломатическая предыстория переворота Елизаветы весьма характерна для нравов тех времен. И еще важное обстоятельство: дипломатия была всегда персонифицирована – и часто, имея в виду Австрию, Пруссию или Францию, говорили «Мария-Терезия», «король Фридрих» или «Людовик».

Это был мир, в котором жили и интриговали мадам Помпадур и кардинал Флери, Уолпол и десятки других известных личностей, между которыми с годами устанавливались довольно сложные отношения симпатии и антипатии, дружбы и вражды. Многие из них никогда не видели друг друга, но ощущали свое королевское родство. Елизавета в полной мере осознавала себя членом этой семьи и явно симпатизировала некрасивой Марии-Терезии, с которой возмутительно вызывающе вел себя прусский король Фридрих II. У меня нет сомнений, что участие России в Семилетней войне было во многом обусловлено мстительным желанием Елизаветы «проучить» высокомерного зазнайку, атеиста и масона Фридриха, который с первых дней своего правления посмел вести себя в королевском обществе дерзко, нагло и бесцеремонно. Явно недолгоблывала императрица и этот «развратный Версаль», хотя признавала его несомненное первенство в «галантереях».

Елизавете нравилось читать донесения посланников, особенно тех, которые подробно описывали перипетии придворной жизни и интриги при дворе своего аккредитования. В мае 1745 года Бестужев поощрял русского посланника в Копенгагене Корфа и впредь в своих донесениях «свободно продолжать рассуждения и известия, а особливо из Швеции приходящие и касающиеся до Ее Императорского Величества высочайшего дома и интереса, также и княжеской Голштинской фамилии». Бестужев далее пишет: «Ее Императорское

Величество сама читать изволит и, будьте уверены, что оными всегда Ее Величество бывает довольна». Крайне любопытное чтение для императрицы представляли зарубежные газеты. Выписки из них делались с таким расчетом, чтобы императрица могла узнать все важнейшие европейские слухи и скандалы. И Елизавета полностью отдавалась этому столь любезному для нее миру интриг и сплетен. Этот мир представлялся ей огромным дворцом, где можно было внезапно отворить дверь одной из комнат и застать там камер-юнкера, тискающего в потемках камер-фрейлину. Все это было, конечно, в европейском масштабе.

Вместе с тем, хотя это может показаться странным, Елизавета проявляла качества хорошего дипломата. В ее характере и поведении было много черт, тому способствовавших. Некоторые зарубежные посланники создавали себе обманчивое представление об императрице, как о простодушной, наивной и доверчивой красотке, которой легко управлять и с помощью которой можно легко добиться своих целей и выгод даже в ущерб интересам России. Но таких дельцов неизбежно ждало жестокое разочарование. Не без оснований француз Лафермиер писал в 1761 году, что из великого искусства управлять народом императрица Елизавета усвоила себе только два качества: умение держать себя с достоинством и скрытность.

Последнее качество, как мы знаем, для дипломата первейшее, после ума, конечно. И оно не раз выручало Елизавету, спасало от опрометчивых поступков. История красавца маркиза де ла Шетарди – ярчайший тому пример. Поначалу Шетарди – активный участник заговора – ходил в героях. Гвардейцы обнимали французского приятеля, императрица называла его своим «партикулярным другом». Как-то она взяла маркиза-католика на богомолье в Троицу и даже – по слухам – позволила ему больше, чем можно было позволить иностранному посланнику.

Между тем Версаль был недоволен своим дипломатом: он регулярно сообщал о своих успехах у русской императрицы, но главное, ради чего его послали в Россию, – разорвать русско-австрийский союз и сместить канцлера Бестужева-Рюмина – оставалось по-прежнему недостижимым. Более того, француз видел, что императрица, относившаяся к нему весьма дружелюбно и даже шаловливо, всячески избегала серьезных разговоров и обещаний. Месяцы шли один за другим, а ощутимых результатов теплой дружбы Елизаветы с Шетарди все не было и не было. Маркиз был взбешен. Он, как писала Екатерина II, «нашел двери, которые ему были открыты ранее, на этот раз заперты; он разобиделся и писал об этом своему двору, не стесняясь ни относительно выражений, ни относительно лиц; он думал, что будет управлять императрицей и делами, но ошибся; он писал языком злым и язвительным, он говорил в этом же духе с моей матерью».

Действительно, сохранившиеся перлюстрации писем Шетарди подтверждают вышесказанное. Он с досадой писал в Версаль, что императрица целыми днями бездельничает, что в центре ее внимания смена туалетов четыре или пять раз в день и увеселение во внутренних покоях со всяким подлым сбродом. Это было, как мы знаем, правдой, но не всей. Шетарди не понял, что, пока его не было в России, ситуация изменилась и, придя к власти, императрица, по словам Екатерины II, увидела, что интересы империи отличаются от тех, какие имела цесаревна Елизавета, что, помимо любви к нарядам, у императрицы Елизаветы Петровны могут быть и какие-то принципы, которыми она руководствовалась в своих поступках уже не как окруженная всеобщим восхищением царица бала, а как самодержица, думающая о своей власти и своей империи.

В отличие от Шетарди, мы знаем, что основным принципом Елизаветы было следование

так называемой «системе Петра Великого», которая предполагала учет национальных интересов России как главный критерий внешней политики. Этот принцип был усвоен императрицей с детства, и известная читателю история о том, как она, подобно куску мыла в воде, ускользала от домогательств Нолькена и Шетарди накануне переворота 25 ноября 1741 года, – выразительный тому пример.

Благодаря следованию «системе Петра» весьма долго держался на первых ролях канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Он был опытным дипломатом петровской школы и одновременно лукавым царедворцем послепетровской формации. Именно он, глядя на трогательную дружбу Елизаветы и Шетарди, дал приказ вскрывать и расшифровывать (с помощью Академии наук) письма французского посланника, а потом летом 1744 года, когда набралось довольно много оскорбительных для Елизаветы цитат, улучил момент и подал выписки – плоды своего потайного труда – государыне. Взбешенная неблагодарностью своего «партикулярного друга», императрица приказала объявить Шетарди, чтобы он в течение суток выехал из столицы и больше никогда в России не появлялся. Это была победа Бестужева, которому Шетарди сильно вредил.



Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин

Вообще, тема Бестужева была главной в дипломатической переписке посланников при русском дворе на протяжении многих лет. Нет сомнений – канцлер был продажен, брал взятки ото всех держав, но, тем не менее, держался раз и навсегда принятой еще при Петре Великом дипломатической доктрины – ориентироваться в политике на те государства, с которыми у России общие долговременные имперские интересы.

Лишь после 1757 года престарелый Бестужев-Рюмин допустил несколько серьезных ошибок. Во-первых, он позволил втянуть Россию в «лишнюю» для нее Семилетнюю войну, и страна надолго оказалась заложницей австрийских интересов, практически не работая на себя. И во-вторых, он начал опасную придворную интригу с участием великого князя Петра Федоровича и его жены великой княгини Екатерины Алексеевны. Интрига была раскрыта, и канцлер с грохотом слетел со своего места. На посту канцлера оказался Михаил Воронцов, человек не особенно умный, но бесхитростный и верный, первый друг Ивана Ивановича Шувалова.

В сложной борьбе за власть Воронцов не был самым проворным и хитрым. Он долгие годы находился на вторых ролях, и хотя был вице-канцлером, влиянием при дворе не пользовался, во всем проигрывая своему более ловкому шефу – Бестужеву-Рюмину. Тот, зная давнюю близость Воронцова к Елизавете – ведь именно Воронцов играл в спектаклях

цесаревны и стоял на запятках саней, которые ночью 25 ноября 1741 года уносили ее в казармы гвардейцев, – всячески стремился дискредитировать старого соратника императрицы в ее глазах, что ему и удалось. Лишь в конце 1740-х годов, когда возшла звезда Ивана Шувалова, Воронцов вышел из тени. Он прилепился к молодому фавориту, и Елизавета стала благосклоннее, чем раньше, смотреть на старого, полузабытого приятеля. Воронцов, в отличие от Петра Шувалова, оставил у современников хорошее впечатление. Фавье писал о нем: «Этот человек хороших нравов, трезвый, воздержанный, ласковый, приветливый, вежливый, гуманный, холодной наружности, но простой и скромный... Когда он имеет точное понятие о деле, то судит о нем вполне здраво». Через Воронцова Иван Шувалов стал оказывать серьезное влияние на внешнюю политику России.

Последние годы правления Елизаветы были окрашены в зловещие цвета войны. Несколько лет подряд русская армия воевала в центре Европы – на территории Пруссии. Ей удалось одержать две блестящие победы над прусскими войсками: под Гросс-Егерсдорфом в августе 1757 года и ровно через два года – под Кунерсдорфом. В январе 1758 года русские войска взяли Кенигсберг, и великий философ Иммануил Кант – профессор Кенигсбергского университета – присягнул вместе со всеми жителями города на верность своей новой государыне Елизавете Петровне, присоединившей Восточную Пруссию к России. В 1760 году русско-австрийский отряд занял Берлин.

Конечно, в ходе войны в армии проявилось много недостатков, неразберихи. Как и всегда, царили воровство, злоупотребления и глупость. Но тем не менее, несмотря на огромные потери русской армии, ресурсы ее были неисчерпаемы, а воинский опыт и мастерство солдат и офицеров непрерывно совершенствовались, и потому русские войска все увереннее шли к конечной победе в войне. Елизаветинские полководцы и дипломаты сумели внести необходимые коррективы в политику и тактику. Канцлер Воронцов в 1758 году писал командующему армией генералу Фермору, призывая его думать над исправлением недостатков, перенимать у противника все новое и полезное: «Нам нечего стыдиться тем, что мы не знали о иных полезных воинских порядках, кои у неприятеля введены; но непростительно б было, если б мы их пренебрегли, узнав пользу оных на деле. Смело можно народ наш, в рассуждении его крепости и узаконенного правительством послушания, уподобить самой доброй материи, способной к принятию всякой формы, которую ей дать захотят».

С этим утверждением было трудно спорить. К концу 1761 года казалось, что победа не за горами. Но Елизавета умерла, и ее преемник Петр III, старый почитатель гения Фридриха II, резко повернул корабль русской дипломатии на сближение с пруссаками...

«Урод рода человеческого» и московский «король»

В елизаветинское царствование прогремели два скандальных уголовных дела, имена героев которых вошли в русскую историю и литературу: Салтычиха и Ванька Каин.

Обе криминальные истории происходили в Москве почти одновременно и доставили немало хлопот властям и страхов обывателям. В конце 1750-х годов по старой столице поползли зловещие слухи о страшных делах, которые творятся на Сретенке в доме молодой вдовы Дарьи Николаевны Салтыковой. Говорили о сотне зверски замученных помещицей дворовых, о страшных пытках, которым она их подвергала перед тем, как отправить на тот свет. Молва так возбудила общество, что пришлось нарядить следствие. Комиссия после долгой работы была вынуждена признать, что зверства Салтыковой стали причиной гибели «если не всех 100 человек, объявленных доносителями, то, несомненно, 50 человек».

Было установлено, что садистка избивала своих дворовых (в основном – сенных девушек) самыми различными предметами и орудиями, обливала кипятком, морозила на снегу. По ее приказу непослушных рабов и рабынь конюхи запарывали насмерть кнутом. В отчете следственной комиссии отмечалась и главная причина убийств – гнев госпожи при виде «неисправного мытья полов и белья».

Несомненно, Салтыкова была садисткой-маньяком, но ведь она убивала людей не в глухом, отдаленном поместье, а в доме посреди Москвы, чуть ли не на глазах полиции, которая была сверху донизу подкуплена Салтыковой и всякий раз послушно оформляла очередное дело о «нечаянной смерти» ее дворовых. Взятки от богатой помещицы брали даже руководители Сыскаго приказа. Расследование преступлений Салтычихи тянулось весьма долго, и после длительных проволочек, уже при Екатерине II, ее лишили дворянства и приговорили к пожизненному заключению, в котором она и провела оставшиеся тридцать три года жизни, ни в чем не раскаявшись и всех проклиная.

Салтычиха, чье имя стало нарицательным как символ изуверской жестокости, была для тогдашней России и уникальна, и типична. В той или иной степени многие помещики поступали со своими крепостными так же жестоко и бесчеловечно. Крепостное право развращало и рабов и господ. Екатерина II писала, что во времена императрицы Елизаветы в Москве не было ни одного помещичьего дома, в подвале которого не было бы тюрьмы и камеры пыток для рабов. Представление о том, что дворовые – это не люди, а «хамы» и «подлянки», что жестокости с ними неизбежны и необходимы, прочно сидело в сознании дворянства и, как уверяет та же Екатерина, в середине XVIII века вряд ли в России нашлось бы десяток человек, осуждавших крепостное право. Естественно, мысли об этом никогда не приходили к Елизавете. Этот мир каждодневного насилия и издевательства был для нее естествен, и проблемы гуманизма ее никогда не волновали. Да она и сама чувствовала себя, как и ее предшественница императрица Анна Иоанновна, помещицей и с непокорными слугами была весьма крута.

Не менее любопытно было и дело Ваньки Каина, имя которого стало символом предательства и беспринципности в русском варианте. Крепостной человек московского купца Петра Филатьева, Каин с самого раннего детства нес в себе как бы «ген преступности» – воровство, обман были его стихией. В восемнадцать лет Ванька, обворовав своего хозяина, бежал из дому и опустился на «дно» Москвы, где довольно скоро достиг

выдающихся успехов в преступном мастерстве.

Он был дьявольски талантлив и изобретателен в планировании и проведении воровских операций, в умении преодолеть крепкие запоры, обмануть бдительную стражу, уйти от неутомимой погони. Вместе со своим ближайшим приятелем Петром Камчаткой он совершил сотни преступлений как в Москве, так и в других городах, куда на летние «гастроли» отправлялась шайка Каина. В 1741 году Ванька Каин пристал к банде Михаила Зори, которая занималась грабежами и разбоем на ярмарках и больших дорогах.

Эта крайне опасная и беспокойная жизнь Ваньке явно не понравилась, и сразу же после Рождества 1741 года он явился с повинной в Сыскной приказ. К своему покаянному донесению он приложил список своих товарищей по воровскому промыслу и, получив в помощь отряд солдат, начал хватать их в известных ему московских притонах. В одной из пещер на берегу Москвы-реки полицейские во главе с Ванькой захватили беглого солдата Соловьева, который при свете лучины вел дневник ежедневных преступлений. Эта тетрадка дошла до нашего времени: «В понедельник взято в Всесвятской бане ввечеру 70 копеек... в четверг – 50 копеек, штаны голубые... на Каменном мосту – 54 копейки» и т. д. Благодаря энергии доносчика за несколько дней были выловлены десятки преступников.

Розыскное усердие Каина не знало удержу: в один прекрасный день он сдал полиции и своего ближайшего друга Камчатку, много раз спасавшего Каина от верной смерти на плахе. С годами деятельность Каина расширялась. Он получил от властей специальную грамоту, защищавшую его от возможных доносов и преследований, и, уже не стесняясь, занялся ловлей воров, грабителей и скупщиков краденого, но при этом и сам грабил, шантажировал, убивал. Каин женился, завел дом и устроил в нем караульную для солдат полиции и одновременно... притон, где был тайный шинок, шла большая игра. Сюда стекались преступники и проститутки и отсюда Каин, с приданными ему солдатами, совершал налеты на «малины» и дома честных москвичей. Его власть была огромна, и благодаря прекрасному знанию теневой стороны жизни Москвы и своей безнаказанности Каин стал грозой всех, кто не жил в дружбе с законом: купцов, провозивших контрабанду, ремесленников, владевших тайными мастерскими, именитых горожан, имевших в прошлом наказуемые законом грехи. Одних он – для отчетности и собственного куражу – сдавал властям, других, зная, что они будут молчать, безжалостно грабил, третьих, попугав, великодушно отпускал, четвертым даже помогал обдeldывать их темные дела.

Он пинком ноги открывал двери всех полицейских начальников, подьячие сыскного ведомства почитали за честь испить с Ванькой чаю в трактире, все они были подкуплены, получали от него подарки и долю с «доходов» от его мастерства оборотня. Состоятельные люди, обнаружив в своем доме пропажу, могли не кручиниться. Стоило только обратиться к Ваньке, и он – конечно, за мзду – находил украденные вещи: целый отряд мелких воришек и жуликов по заданию Каина в поисках пропажи обшаривал все толчки и рынки, где сбывали краденое со всей Москвы.

Власть Каина длилась почти десять лет. Изобретательный и наглый, с задатками актера и мистификатора, он был неуязвим для правосудия, ловко выпутываясь из расставленных сетей. В нем поразительно сочетались молодечество, удаль, широта натуры с вероломством, жадностью и мелочностью. Но, как часто бывает в жизни, его погубили женщины, точнее – безмерное любострастие. Отец одной из его жертв сумел прорваться к московскому губернатору, началось следствие, всплыли другие преступления Ваньки, его посадили в тюрьму. Он, как и прежде, спасался предательством и начал выдавать всех своих

многочисленных приятелей, в том числе и покровителей из полиции.

Встревоженные власти, не доверяя продажным московским полицейским чинам, создали специальную комиссию по делу Ваньки Каина и начали следствие. Оно вскрыло ужасающую картину должностных преступлений, тесную связь преступного мира с чиновниками, полное пренебрежение законами государственными и Божескими. Ванька подробно рассказал, как припеваючи и вольготно он жил благодаря покровительству московских чиновников. Но, как известно, ворон ворону глаз не выклюет. Чиновники, замешанные в деле Каина, вышли из воды сухими, но зато Ванька из тюрьмы, а потом из Сибири никогда не вышел – последнего предательства ему уже не простили.

Последние деньки жизни-праздника

К своему пятидесятилетнему юбилею в декабре 1759 года Елизавета сильно сдала. Все кремы, мази, пудры, ухищрения парикмахеров, портных, ювелиров были бессильны – приближалась безобразная старость. Для Елизаветы, как ни для какой другой женщины, был актуален жестокий афоризм Ларошфуко: «Старость – вот преисподняя для женщины». Она с ужасом смотрела в зеркало, которое уже не говорило ей, как царице из пушкинской сказки: «Спору нет, ты, царица, всех милее, всех румяней и белее».



Императрица Елизавета Петровна

Годы ночной, неумеренной жизни, отсутствие всяческих ограничений в еде, питье, развлечениях – все это рано или поздно должно было сказаться на организме царицы. Весь двор был напуган неожиданными ударами, которые стали преследовать Елизавету в самых неподходящих местах – в церкви, на приеме. Это были какие-то глубокие обмороки, продолжавшиеся довольно долго. После них Елизавета долго не могла оправиться, и, как вспоминает Екатерина II, в то время с ней нельзя было ни о чем говорить. Врачи полагали, что главной причиной обмороков является тяжелый процесс климакса, неуравновешенность и истеричность больной, а также нежелание придерживаться режима. Как и надлежит врачам XVIII века, они выражались туманно и загадочно: «Несомненно, что по мере удаления от молодости жидкости в организме становятся более густыми и медленными в своей циркуляции, особенно потому, что они имеют цинготный характер». Рекомендации докторов: покой, клизмы, кровопускания, лекарства – все это было отвратительно Елизавете, знавшей в жизни только приятное, шумное и веселое. Даже выписанные ей лекарства приходилось запрыгивать в мармелад и конфеты – как маленькой капризной девочке.

Все понимали, что наступают последние деньки жизни-праздника веселой дочери Петра. Да уж и веселой царицу назвать было трудно – все чаще уединялась она в Царском Селе, никого не принимала, стала сверх меры капризна, мрачна и плаксива. «Любовь к удовольствиям и шумным празднествам, – писал французский дипломат Лафермиер, – уступила в ней место расположению к тишине и даже к уединению, но не к труду. К этому последнему императрица Елизавета Петровна чувствует большее, нежели когда-либо, отвращение. Для нее ненавистно всякое напоминание о делах, и приближенным нередко случается выжидать по полугоду удобной минуты, чтобы склонить ее подписать указ или

письмо».

Как-то неожиданно для себя она поняла, что в ее империи не все так уж благополучно, что до ее трона не долетают жалобы множества обиженных и гонимых чиновниками людей. Горечью проникнуты слова одного из последних манифестов Елизаветы: «С каким Мы прискорбием по нашей к подданным любви, должны видеть, что установленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою незаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают». Елизавета требует срочно навести порядок в правосудии и всячески пресекать злоупотребления, о которых она, как оказалось, даже не подозревала. Впрочем, это и неудивительно – «беспечность, или умственная леность», о которых писали современники, характеризую императрицу, властвовали над нею до конца, и сам этот манифест придумал Шувалов, что видно из его набросков, императрица же только подписала документ.

Не все благополучно было и в императорской семье. Семья была невелика: императрица, ее племянник великий князь Петр Федорович с женой великой княгиней Екатериной Алексеевной и сыном, цесаревичем Павлом Петровичем, родившимся в 1754 году. У тетушки с племянником сложились тяжелые отношения. Взойдя на престол, Елизавета сразу же выписала из Голштинии своего четырнадцатилетнего племянника – герцога Карла Петера Ульриха. Отец мальчика, герцог Карл Фридрих, умер в 1739 году, и этот единственный близкий родственник Елизаветы был брошен на произвол судьбы, пока, наконец, императрица не взяла его в Россию, чтобы вскоре крестить по православному обряду, назвав Петром Федоровичем, и затем назначить его своим наследником. Делалось это не по большой любви к сыну старшей сестры, а по необходимости – живя за границей, Карл Петер Ульрих мог представлять серьезную опасность для захватившей престол младшей дочери Петра. Теперь он оказывался в золотой клетке.

Своими манерами, обликом и поведением Петр Федорович раздражал императрицу. Он был инфантилен, капризен, проявлял черты человека необузданного и взбалмошного. «Умом и характером они были до такой степени несходны, – писала впоследствии Екатерина II, – что стоило им поговорить между собою пять минут, чтобы неминуемо повздорить. Это не подлежит никакому сомнению». Елизавета держала наследника престола в стороне от государственных дел, не доверяя ему ни в чем. В 1745 году его женили на ангальт-цербстской принцессе Софии Августе Фредерике – Екатерине Алексеевне, будущей императрице Екатерине II.

Как только родился великий князь Павел Петрович, Елизавета сразу же взяла младенца к себе и посвящала ему много времени. Сохранившиеся письма императрицы за последние годы говорят, что она просто пылала любовью к этому мальчику, глубоко и искренне интересовалась его здоровьем и воспитанием, думала о его будущем. Ходили упорные слухи, что Елизавета и Шуваловы задумали устранить великого князя Петра Федоровича и его жену от престолонаследия, выслать их в Голштинию, а престол передать Павлу, которого начали тщательно готовить к будущему великому поприщу.

Именно такого варианта и боялась Екатерина, начиная интригу с Бестужевым, а также с английским посланником Уильямсом, который снабжал великую княгиню деньгами. Как мы видим, не прошло и двадцати лет, как вновь на сцене – молодая, честолюбивая женщина, иностранный дипломат с тугим кошельком, опять интрига, переписка, переговоры, многозначительные улыбки на балах. Но Елизавета была решительнее Анны Леопольдовны.

Заговор был быстро задушен в зародыше. Только страшным усилием воли Екатерина сумела выдержать личный допрос Елизаветы и ничем себя не выдать. Разумеется, с тех пор императрица стала испытывать еще меньше доверия к великокняжеской чете...

Смерть пришла в Рождество

Всю осень 1761 года императрица безвылазно провела в Царском Селе, спасаясь от посторонних глаз. С ней неразлучно находился только Иван Иванович Шувалов. Мы почти ничего не знаем о последних днях жизни Елизаветы – Шувалов никому не рассказывал об этом. Вероятно, Елизавета, чьи набожность и суеверность усиливались с годами, была в отчаянии. Ее должна была страшно напугать неожиданная сильная гроза, которая гремела над дворцом в необычайно позднее осеннее время, на пороге зимы. Такого не помнили даже старики.

Возможно, в раскатах грома и мертвящих голые деревья парка вспышках молний Елизавета увидела зловещее предзнаменование. Известно, что она панически боялась смерти. Лафермиер писал в мае 1761 года: «Ее с каждым днем все более и более расстраивающееся здоровье не позволяет надеяться, чтобы она еще долго прожила. Но это тщательно от нее скрывается и ею самой – больше всех. Никто никогда не страшился смерти более, чем она. Это слово никогда не произносится в ее присутствии. Ей невыносима сама мысль о смерти. От нее усердно удаляют все, что может служить напоминанием о конце».

Но конец неумолимо приближался: в животном страхе смерти Елизавета отказывалась лечиться или хотя бы следовать какому-либо режиму. Осенью 1761 года датский посланник Гакстгауз писал о болезни императрицы: «Ноги ее покрыты чириями, так сильно распространившимися, что она совершенно не в состоянии стоять на ногах», у нее часто повторялись припадки, которые заканчивались обмороками. Развязка наступила в день, который христианский мир отмечает как великий праздник, – Рождество. Судьбе было угодно, чтобы и смерть пришла за императрицей в праздничных одеждах 25 декабря 1761 года. Накануне она тихим, слабым голосом простилась с Петром Федоровичем и его женой...

Ее хоронили уже в новом 1762 году. Все было как всегда на царских похоронах – многолюдно, утомительно и красиво. Все смотрели, как экстравагантно вел себя на церемонии новый император Петр III, ломавший всю процессию то излишне медленным шагом, то бегом вприпрыжку. Елизавете до всего этого уже не было никакого дела – она лежала в гробу, но и там она оставалась тем, кем была всю свою жизнь, – кокеткой. Как писала Екатерина II, «в гробу государыня лежала, одетая в серебряной робе с кружевными рукавами, имея на голове императорскую золотую корону, на нижнем обруче с надписью: „Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня императрица Елизавета Петровна, родилась 18 декабря 1709 года, воцарилась 25 ноября 1741 года, скончалась 25 декабря 1761 года“». Другой очевидец – Гакстгауз – сообщал, что императорская корона стоит 10 тысяч рублей и что она останется на государыне и в могиле...

Глава 5

Владычица Севера: Екатерина Вторая

Очарование первого знакомства



Французский посланник граф Л. Ф. Сегюр быстро шел по залам Зимнего дворца на свою первую аудиенцию у Екатерины II 23 сентября 1785 года. Он волновался, тщетно пытаясь вспомнить слова официальной приветственной речи, которую ему предстояло произнести перед императрицей. Поспешим за графом, чтобы не опоздать к началу аудиенции...

Пройдя ряд комнат, он оказался перед закрытой дверью, «которая вдруг отворилась... и я, – вспоминал впоследствии Сегюр, – предстал перед императрицей. В богатом одеянии стояла она, облокотясь о колонну. Ее величественный вид, важность и благородство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная поза – все это поразило меня, и я окончательно все позабыл».

Первое свидание с русской императрицей на многих действовало ошеломляюще. Опытные государственные мужи, дипломаты, полководцы бледнели и терялись. Знаменитый Дени Дидро просто впал в оцепенение; давний заочный приятель Екатерины, барон Гримм, и тот пришел в замешательство, когда в 1774 году впервые предстал перед нею.

Смутиться было немудрено: посетители оказывались перед женщиной необычайной, поразительной, слава о которой треть века гремела по всему миру. И ее величественный облик, к тому же – на фоне сияющего великолепия Зимнего дворца, соответствовал этой славе. Но проходила минута-другая, и спокойный, дружелюбный, даже ласковый тон императрицы все преобразил – лед смущения и скованности таял, и вскоре новый знакомый

Екатерины чувствовал себя рядом с нею легко и свободно. Ее простота в сочетании с внутренним достоинством – вот что поражало собеседника уже в первые минуты общения. Все это так не соответствовало ходячим представлениям о Великой Екатерине, Семирамиде Севера! «Принц де Линь, – писала Екатерина Гримму в 1787 году, – признался мне, что в первое свое путешествие он ожидал увидеть во мне женщину большого роста, неподвижную, как железная спица, выражающуюся не иначе, как сентенциями, и требующую, чтобы ей постоянно удивлялись, что он был очень рад, что ошибся и нашел существо, с которым можно разговаривать и которое само умеет болтать».

Проходило еще какое-то время, и посетитель, приглядевшись к Екатерине, мог заметить, что она совсем не красавица. Фавье – секретарь канцлера Михаила Воронцова – суров к нашей тогда тридцатипятилетней героине: «Никак нельзя сказать, что красота ее ослепительна: довольно длинная, тонкая, но не гибкая талия, осанка благородная, но поступь жеманная, не грациозная; грудь узкая, лицо длинное, особенно подбородок, постоянная улыбка на устах, но рот плоский, вдавленный; нос с горбинкой; небольшие глаза, но взгляд живой, приятный; на лице видны следы оспы. Она скорее красива, чем дурна, но увлечься ею нельзя».

Другого мнения о Екатерине был английский дипломат граф Джон Бекинхэм. Он не увидел на ее лице следов оспы, поскольку Екатерина ею никогда не болела, но согласился с Фавье, что «черты лица ее далеко не так тонки и правильны, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой». И все же, по его мнению, она очаровательна: «Прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные блестящие каштановые волосы создают, в общем, такую наружность, к которой очень немного лет тому назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно, если только он не был бы человеком предубежденным или бесчувственным... (Екатерине тогда было тридцать три года – возраст весьма почтенный по критериям XVIII века. – Е. А.) Она была, да и теперь остается тем, что часто нравится и привязывает к себе более, чем красотой. Сложена она чрезвычайно хорошо, шея и руки ее замечательно красивы и все члены сформированы так изящно, что к ней одинаково подходит как женский, так и мужской наряд. Глаза у нее голубые, и живость их смягчена томностью взора, в котором много чувствительности, но нет вялости. Кажется, будто она не обращает на свой костюм никакого внимания, однако она всегда бывает одета слишком хорошо для женщины, равнодушной к своей внешности».

Прошло еще три десятилетия, и другой гость Екатерины – граф Штернберг – записал в памятной книжке почти то же самое, что и его предшественник: «Императрица среднего роста, крепко сложена и довольно полна, что затрудняет ее походку. Оживленные молодостью черты ее, должно быть, были очаровательны: овал лица несколько удлинен, подбородок немного выдается, уста приветливо сомкнуты, изогнутый, хорошо очерченный нос сообщает лицу нечто серьезное, при этом у нее влажные, оживленные глаза и высокий лоб». В одном, пожалуй, ошибся наблюдатель – это бы несомненно вызвало нешуточный гнев Екатерины – нос ее считался совершенным. Он был не только не изогнутым, но абсолютно прямым, греческим, и Екатерина не без гордости писала, что в профиль она – вылитый Александр Македонский. В этом действительно можно убедиться, разглядывая камеи екатерининской коллекции в Эрмитаже.

Вернемся на аудиенцию. Вслушавшись в то, что она говорит на изящном французском, гости делали вывод, что императрица – умница, ее знания обширны, суждения о предмете глубоки и оригинальны. Принц К. Г. Нассау-Зиген, сопровождавший Екатерину во время ее

путешествия в Крым в 1787 году, писал с придыханием восторга: «Поистине, я восхищен ею, с каждым днем все более и более, трудно представить простоту ее обхождения. Разговор ее очарователен и когда он касается серьезных предметов, то меткость ее суждений свидетельствует об обширности и правильности ее ума. Она бы была самым привлекательным частным человеком».

А вот она весело засмеялась шутке собеседника, что-то ответила ему в тон, и стало ясно, что Екатерина обладает тонким чувством юмора, а веселый, заразительный смех ее говорит о характере легком, натуре оптимистичной и жизнерадостной. Так это и было. Чуть ли не главным своим свойством Екатерина считала оптимизм, или, как тогда говорили, – веселость. «Надобно быть веселою, – писала она в 1766 году давней подруге матери, госпоже Бьельке. – Только это одно все преодолевает и переносит. Говорю это по опыту: я много переносила и преодолевала в моей жизни, однако смеялась, когда могла, и, клянусь Вам, что в настоящую минуту, когда у меня столько затруднений в моем звании, я охотно играю, когда представляется случай, в жмурки с моим сыном и часто без него». В этом проявлялась не только природа. Екатерина была убеждена, что в оптимизме выражается гений человека. Узнав, что Фридрих II – человек веселый, она заметила, что черта эта, несомненно, – от чувства превосходства, и вообще, «был ли когда великий человек, который бы не отличался веселостью, не имел в себе неистощимый запас ее?» Запас такой жизнерадостности в ней самой действительно казался неистощимым. За несколько месяцев до смерти она сообщила Гримму, что до сих пор чувствует себя очень хорошо, весела и легка, как птица...

Сегюр, с сожалением простившись с обаятельной государыней, покинул тронный зал. Впрочем, некоторые визитеры, обласканные императрицей, совершенно шалели: Дидро хватал ее за руки, а Гримм просил позволения остаться у нее в качестве комнатного мопса. Мы же не будем надоедать Екатерине и выйдем вслед за Сегюром, чтобы посидеть в архиве и библиотеке и поподробнее узнать об этой «птице» – государыне Екатерине II.

Гнездо, где появилась птица

Она не любила отмечать свои дни рождения. «Каждый раз – лишний год, без которого я могла бы отлично обойтись, – писала Екатерина в 1774 году Гримму, – скажите по правде, ведь было бы прекрасно, если бы императрица оставалась в пятнадцатилетнем возрасте?» И она всячески избегала поздравлений и празднеств по поводу дня, который иным людям почему-то кажется главным в году. Для Екатерины это был обычный день трудов и воспоминаний. Вот как она начинает первый вариант своих мемуаров: «Я родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года (тому сегодня 42 года) в Штеттине, в Померании». Можно представить себе, как были написаны эти строки: 21 апреля 1771 года Екатерина проснулась, как обычно, рано-рано утром, растопила камин приготовленными с вечера дровами, выпила чашку крепчайшего кофе и села за свой секретер, где ее ждали чистые листы бумаги. Так начинались сотни дней императрицы, в том числе и дни рождения...

София Фредерика Августа – таким было от крещения по лютеранскому обряду имя Екатерины – происходила из древнего, хотя и бедного, княжеского рода Ангальт-Цербстских властителей. Это – по линии отца, князя Христиана Августа. По линии же матери – княгини Иоганны-Елизаветы – ее происхождение было еще более высоким, ибо Голштейн-Готторпский герцогский дом принадлежал к знатнейшим в Германии, и дядя Екатерины Адольф Фридрих (или, по-шведски, Адольф Фредрик) был даже шведским королем в 1751–1771 годах.

К моменту рождения принцессы Софии (или, по-домашнему, Фике), отец ее командовал расквартированным в Штеттине (ныне Щецин, Польша) прусским полком, был генералом, а позже – в немалой степени благодаря брачным успехам своей дочери – стал, согласно указу Фридриха II, фельдмаршалом и губернатором. То, что он не сидел на троне в своем крошечном Цербсте, а состоял на службе у прусского короля, было делом обычным в Германии. Титулованные германские властители жили много беднее какого-нибудь российского Шереметева или Салтыкова и поэтому были вынуждены идти на службу к могущественным государям – французскому, прусскому, русскому (так, русским фельдмаршалом стал владетельный принц Гессен-Гомбургский). По этому же пути с ранних лет пошел и отец будущей Екатерины – ведь доходами с крошечного домена семью не прокормишь, а трогательные истории о том, как бедный король сам идет со свечой в руке к дверям замка открывать бредущему мимо свинопасу, оставим на совести сказочника Андерсена.

Фике появилась на свет в сохранившемся до сих пор Штеттинском замке. «Я жила и воспитывалась в угловой части замка, – писала впоследствии Екатерина, – и занимала наверху три комнаты со сводами, возле церкви, что на углу. Колокольня была возле моей спальни. Там учила меня мамзель Кардель и делал мне испытания господин Вагнер. Через весь этот угол, по два или по три раза в день, я ходила, подпрыгивая, к матушке, жившей на другом конце. Впрочем, не вижу в том ничего занимательного, разве, может быть, вы полагаете, что местность что-нибудь значит и имеет влияние на произведение сносных императриц». Да, у историков есть основания так полагать!

Детство принцессы Фике было обычным для ребенка XVIII века, пусть даже и из княжеского рода. Ведь для родителей дети тогда не были, как ныне, бесценными

сокровищами. Никто особенно не печалился, если ребенок (тем более девочка) – как правило, один из многих в семье, – тяжело болел или умирал: «Бог дал – Бог взял». Судьбу ребенка решала, в конечном счете, его природная крепость. Неслучайно в 1777 году, думая о будущем новорожденного внука Александра, Екатерина шутливо «шепчет» на ухо его феям: «Природы, милостивые государыни, запасите [ему] природь». Для принцессы Фике феи запасли природы больше чем достаточно. Это позволило девочке выжить в ужасных, по нынешним представлениям, условиях и перенести тяжелые детские болезни. В семилетнем возрасте у нее открылся сильнейший кашель, жар и «колотье» в боку. Через три недели мучений девочка «выздоровела»: «Когда меня стали одевать, – вспоминала Екатерина, – увидели, что я скорчилась за это время наподобие буквы Z: правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина». Местный палач, который был не только костоломом, но и костоправом или, по-современному говоря, мануальным терапевтом, порекомендовал массировать плечо, натирая его слюной, а также носить корсет, с которым девочка не расставалась несколько лет.

Природа – природой, но принцессе Фике к тому же здорово везло: ведь ее не укусила тифозная вошь, и она не умерла от сыпняка в тринадцать лет, как ее младший брат; ее, как этого же брата, не уронили на пол в полтора года сонные няньки, от чего он получил вывих бедра и до самой своей ранней смерти страшно хромал. Она не ослепла от последствий хронического авитаминоза – золотухи, которая покрывала ее все детство с головы до ног слоем коросты. («Когда она появлялась на голове, мне стригли волосы, пудрили голову и заставляли носить чепчик. Когда она появлялась на руках, мне надевали перчатки, которых я совсем не снимала до тех пор, пока не отпадали корки». – Из «Записок» Екатерины II.) Следует еще заметить, что она бы никогда не стала русской императрицей, если бы окривела в детстве от случайного укола ножницами, острие которых проткнуло веко девочки, только чудом не задев глазного яблока.

Между родителями и детьми не было близости. Отец – человек пожилой, занятый делами, – существовал где-то вдали, как высшая власть в семье, и дети видели его редко. Мать же, Иоганна-Елизавета, в четырнадцать лет выданная замуж за сорокадвухлетнего Христиана Августа, была особой легкомысленной, увлеченной интригами и «рассеянной жизнью». Основное внимание она уделяла не детям (как вспоминала Екатерина, мать совсем не любила нежностей), а светским развлечениям. Забавно, что впоследствии, приехав с четырнадцатилетней дочерью – невестой великого князя – в Россию, тридцатидвухлетняя Иоганна-Елизавета вела себя так, как будто вся поездка была устроена ради нее одной, ревновала собственную дочь, оказавшуюся, естественно, в центре внимания русского двора.



Княгиня, в отличие от своего мужа – служаки и домоседа, постоянно путешествовала, подолгу гостя у многочисленных родственников, живших в разных городах Германии. Она часто брала с собой Фике и ее младшего брата Фридриха Августа, и девочка с раннего возраста привыкла к новым местам, легко адаптировалась в незнакомой обстановке, быстро сходилась с людьми. Впоследствии ей это очень пригодилось.

Нельзя забывать еще одну особенность местности, где «производили сносных императриц»: Екатерина жила в наиболее развитой, протестантской части Германии. Сюда с конца XVII века бежало от ужаса католических расправ великое множество французских гугенотов. Поэтому здесь, на севере Германии и в Пруссии, французская культура и образованность пустили глубокие корни. В этой атмосфере и жила семья будущей Екатерины. Следует прислушаться к мнению Людовика XVI, возражавшего одному из первых историографов Екатерины П К. К. Рюльеру, который писал, что якобы ее ранняя жизнь была пропитана духом казармы. «Ничего подобного! – восклицал король. – Просто автор плохо знаком с укладом домашней и придворной жизни мелких немецких князей, при дворах которых говорили на изящном французском языке».

Как бы то ни было, с молоком кормилицы Фике впитала французский язык – великий и могучий двигатель интеллектуального прогресса в XVIII веке. Став взрослой, она особенно часто вспоминала свою воспитательницу мадемуазель Елизавету (Бабетту) Кардель – француженку-эмигрантку. Бабетта, по словам Екатерины, была на редкость добрым и милым существом, с возвышенной от природы душой, развитым умом, превосходным сердцем; «она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы могли всегда [для детей] найти подобную». В письме 1775 года, вспоминая свою уже давно покойную воспитательницу, Екатерина писала: «Кроме разных наук, она еще знала, как свои пять пальцев, всякие комедии и трагедии», цитатами из которых так и сыпала.

Принцесса Фике – живой, впечатлительный ребенок – все это впитывала и басни Лафонтена знала не хуже, чем Библию, отрывки из которой ее заставляли заучивать наизусть. Но важно подчеркнуть, что ни в семье Фике, ни в обществе протестантской Германии не было и тени религиозного фанатизма, который так часто коверкал души детей тех времен. О религиозных воззрениях зрелой императрицы Екатерины скажем потом, теперь же отметим, что немыслимо и представить, чтобы в католической части Германии маленькая принцесса могла вести дискуссию со своим духовным отцом – пастором – о том, почем уже должны гореть в адском пламени гении античности только за то, что они родились раньше Христа и знать не могли о его душеспасительном учении.

Особенно пристрастилась Фике к чтению. Бабетта нашла вернейший способ привить эту любовь: она читала вслух своей воспитаннице что-нибудь очень интересное, но при условии, чтобы та хорошо вела себя на уроках; если же Бабетта была недовольна успехами Фике, то читала книгу про себя, чем очень огорчала девочку. Возможно, в то же самое время в Киле Брюммер – наставник юного голштинского принца Карла Петера Ульриха, почти ровесника и будущего мужа Екатерины – бил мальчика и привязывал его, вместо обеда, к ножке стола или ставил голыми коленями на горох, отчего ноги принца распухали. Может быть, и по этой причине Петр III и Екатерина стали такими разными...

Конечно, домашнее образование, которое получила принцесса Фике, было отрывочным и

несистематическим. Да из нее и не собирались делать ученую даму. Как только стало ясно, что Фике выжила и относительно здорова, ей определили иной удел – в четырнадцать-пятнадцать лет принцессе Софии предстояло стать женой какого-нибудь принца или короля. Так было заведено в ее мире, и девочку с малолетства готовили к будущему браку, обучая этикету, языкам, рукоделию, танцам и пению. К последнему предмету Фике оказалась абсолютно непригодной из-за полного отсутствия музыкального слуха. Впрочем, уже того, чем она владела, было вполне достаточно, чтобы стать хорошей женой короля или наследника престола. И Фике с нетерпением ждала своего будущего мужа. Как-то много лет спустя в разговоре Екатерина ополчилась на дам, вступающих в брак по расчету; я думаю, что императрица лицемерила: сама она с детских лет готовилась отдать себя не тому, кто ей понравится, а багрянородному избраннику. Но понять ее можно: ведь юная Фике, как честная и добропорядочная девушка, мечтала, что полюбит того, кого судьба и родители дадут ей в мужья, подарит ему наследников, и все будет хорошо. И ее ли вина, что мечты эти не сбылись?

И вот наступил долгожданный день, решивший судьбу принцессы. Екатерина так вспоминала о нем: «1 января 1744 года мы были за столом, когда принесли отцу большой пакет писем; разорвав первый конверт, он передал матери несколько писем, ей адресованных. Я была рядом с ней и узнала руку обер-гофмаршала Голштинского герцога, тогда русского великого князя... Мать распечатала письмо, и я увидела его слова: «с принцессой, вашей старшей дочерью». Я это запомнила, отгадала остальное и, оказалось, отгадала верно...»

Дорога в будущее

Да, письмо было именно о том, чего ждала девушка: от имени императрицы Елизаветы Петровны граф Брюммер приглашал Иоганну-Елизавету с дочерью приехать в Россию под предлогом изъявления благодарности Ее Величеству за все милости, которые она расточала их семье. «Как только встали из-за стола, – вспоминала Екатерина, – отец и мать заперлись и поднялась большая суета в доме... но мне не сказали ни слова. Так прошло три дня...»

Екатерина пишет в мемуарах, что она заставила мать подробно рассказать ей о содержании письма и сама уговорила родителей дать согласие на поездку в Россию. В этом можно усомниться. Известно, что Иоганна-Елизавета уже давно торила себе дорогу в Россию: посылала императрице Елизавете льстивые поздравления, портрет ее старшей сестры – герцогини Голштинской Анны Петровны, а также – вряд ли случайно – в марте 1743 года брат Иоганны-Елизаветы голштинский принц Август лично привез в Петербург портрет принцессы Софии кисти художника Пэна. Он сохранился до наших дней: мы видим свежее, продолговатое лицо, маленький рот и тяжеловатый подбородок. Художник не приукрашивает натуру, но в повороте головы, смелом и внимательном без улыбки взгляде он показал нам личность и характер.

Впрочем, вряд ли именно этот портрет определил решение императрицы Елизаветы остановить свой выбор на Фике – цена таким рекламным парсунам всегда была невысока, ведь не бывает на свете некрасивых и злых принцесс! У императрицы были свои, далекие от эстетики расчеты. Она долго искала невесту своему наследнику, перебирая все европейские коронованные семейства и знатные фамилии. Среди кандидаток были принцесса из французского королевского рода, дочь польского короля красавица Мария-Анна, но Елизавета выбрала все же именно Фике, ибо та отвечала двум важнейшим критериям: во-первых, была протестанткой, то есть могла легче перейти в православие, и, во-вторых, происходила из знатного, но столь малого рода, что ни связи, ни свита принцессы не должны были возбудить особенного внимания или зависти российских придворных. Так императрица объясняла свой выбор вице-канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину.

Думаю, что именно отсутствие связей и влиятельной родни было в глазах императрицы главным достоинством цербстской принцессы. Елизавета не хотела, чтобы при ее дворе возникла какая-то особая «партия» наследника престола и его жены, поддерживаемая кланом заграничных коронованных родственников. Впрочем, в последний момент один могущественный человек все-таки попытался незримо вскочить в экипаж, в котором 10 января 1744 года Фике навсегда уезжала из Цербста и Германии. Этим человеком был прусский король Фридрих II. Как только ему стало известно о письме Брюммера, он сразу же написал Иоганне-Елизавете, что предложение женить русского наследника на ее старшей дочери принадлежит именно ему, что он приказал хлопотать об этом в глубочайшем секрете – в том числе и от родителей девушки(!), и что, преодолев массу трудностей, он достиг цели: приглашение императрицы Елизаветы Петровны наконец получено. Таким смелым приемом Фридрих решил присвоить плоды чужого династического труда.

Когда Фике по дороге в Россию прибыла вместе с родителями в Берлин, ей был устроен прием, не виданный ранее ни одной из десятков принцесс, выросших в германской провинции. К своему удивлению, на обеде в королевском дворце, куда ее пригласили,

принцесса София увидела, что ей назначено место за столом рядом с самим Фридрихом II. Принцесса смутилась и хотела уйти, но король удержал ее. Он был необычайно учтив и любезен и весь вечер говорил только с Фике. Да, особая галантность Фридриха II объяснима: лучшего способа влиять на позицию России, как через жену наследника престола, а потом – возможно – и императрицу, трудно было и придумать. Что из этого получилось, мы узнаем позже, теперь же проследим путь и судьбу Фике после ее расставания с отцом. Его, в отличие от матери, императрица Елизавета видеть не желала.

На прощание Христиан Август вручил дочери памятную записку, в которой заклинал ее сохранять верность родной лютеранской религии, подчиняться Богу, императрице и будущему мужу. Христиан Август советовал дочери не ввязываться в придворные интриги и правительственные дела, аккуратно вести свои финансы, избегать крупной картежной игры, ни с кем не вступать в дружеские отношения и быть со всеми сдержанной. Как ни любила Фике отца, фактически ни одного из его наставлений она не выполнила: так резко изменилась ее жизнь, когда принцесса София Фредерика Августа вступила на землю Российской империи.

Это произошло 26 января 1744 года в Риге. Памятная, знаменательная дата: великая империя впервые встретила свою будущую великую императрицу! И встреча эта была великолепна – залпы салюта, грохот барабанов, роскошный экипаж, высшие чиновники лифляндской администрации в парадных мундирах, величественные апартаменты, а потом удивительная «каравелла снегов» – гигантские сани, обшитые снаружи серебром и соболями, запряженные десятью лошадьми. Наконец – почетный караул. Иоганна-Елизавета обратила внимание на бравых молодцов-кирасир, во главе которых красовался ловкий ротмистр, и написала об этом в письме домой. Может, она даже и спросила имя блестящего ротмистра, да тут же и забыла: для нее и Фике, как и для всего остального человечества, оно ровным счетом ничего не говорило. Для нас же имя это более чем выразительно: двадцатичетырехлетним ротмистром – начальником почетного караула будущей императрицы – был Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен, да, тот самый враль, непревзойденный «король лжецов». Впрочем, такой ли уж он враль?

Вероятно, много лет спустя, сидя в родном, тихом Боденвердене в кругу друзей за кружкой пива, он рассказывал свои невероятные истории о России – стране злобных волков, страшных снежных бурь, заносивших дома до крыш, а церкви – до крестов на куполах. Возможно, один из его рассказов начинался так: «Когда я командовал почетным караулом Екатерины Великой и помогал ей ложиться в гигантские сани, обшитые сверху донизу серебряными галунами и драгоценными соболями и запряженные десятком белоснежных, как лебеди, лошадей...» Гости, слушая эти рассказы, хохотали до колик, и им было невдомек, что все это правда: и волки, и многодневные снежные метели, заметавшие до крыш русские деревни, и императрица (правда – будущая), и сани-линей в соболях и серебряных галунах, запряженные цугом десятью, а то и шестнадцатью лошадьми...

«Notre fille trouve grande approbation»

Мюнхгаузен, конечно, как всегда, немного приврал: помогал Фике лечь в сани (иначе в них невозможно было ехать) не он, а камергер Семен Нарышкин. Екатерина вспоминала: «Чтобы научить меня садиться в эти сани, [он] сказал мне: „Надо закинуть ногу (enjamber), закидывайте же!“ Это слово, которого никогда не приходилось мне слышать раньше, так смешило меня дорогой, что я не могла его вспомнить без хохота».

Принцесса Софья оставалась Фике – девочкой смешливой и веселой. Без страха и сомнения она мчалась в санях по гладкой зимней дороге в Петербург и, вероятно, мечтала о будущем – ведь молодости свойственны скорее мечты, чем воспоминания. Рядом с ней в санях лежала ее мать – княгиня Иоганна-Елизавета. Хотя она была женщина опытная, много в жизни повидавшая, но и ей происходившие с ними перемены кружили голову. Долгий, мучительный путь от Берлина до Кенигсберга и Мемеля по непролазной грязи, ночевки в клоповниках, разбойники, ледяной ветер с моря – все это, как по волшебству, исчезло на русской границе. Внимание, почет, богатый стол, собольи шубы с царского плеча, веселый морозец на укатанной зимней дороге, залихватское гиканье ямщиков...

От Нарвы до Петербурга чудо-сани домчали путников за сутки, в столице мать и дочь приветствовали залпом орудий с бастионов Петропавловской крепости, их встречали высшие чиновники и придворные, назначенные императрицей фрейлины, в Зимнем дворце для них были приготовлены роскошные апартаменты. Самой Елизаветы Петровны, к сожалению, в Петербурге не было – двор откочевал в старую столицу. Но и без императрицы княгиню и ее дочь принимали великолепно, по-королевски, на зависть германским провинциальным родственникам, которых Иоганна-Елизавета об этом победно извещала.

Ради высоких гостей устроили прием, представление слонов, на улицах оживленной праздничной столицы, так непохожей на тихие, занесенные снегом немецкие городки, шумела разудалая русская масленица с ее балаганами, качелями, блинами, гигантскими снежными горами, визгом, криком и пением. Иной, нарядный, пестрый, неизвестный девочке мир...

А потом была стремительная езда в Москву. В сани на этот раз заложили 16 лошадей и, как писала Иоганна-Елизавета мужу, они скорее летели, чем ехали: 70 верст за три часа, да еще по дурной дороге, – огромная по тем временам скорость. 9 февраля мать и дочь были уже в Москве, в Анненгофе – дворце на Яузе, где их сердечно приняла императрица Елизавета. Еще раньше, не дав гостям раздеться, прибежал великий князь и сразу же стал болтать с Фике, как со старой знакомой. Да так это и было – они уже виделись в 1739 году в Германии.

И вот начались смотрины: немки с любопытством осматривали с ног до головы и с головы до ног – так писала мать, хотя, надо полагать, смотрели в первую очередь на дочь. И она очень всем понравилась. «Восторг императрицы» – так записал первое впечатление Елизаветы от встречи с принцессой Софьей учитель великого князя Петра Федоровича Якоб Штелин. А Иоганна-Елизавета сообщила мужу: «Наша дочь стяжала полное одобрение, императрица ласкает, великий князь любит ее». И когда в начале марта Фике внезапно и тяжело заболела, императрица прервала богомолье в Троицком монастыре и поспешно вернулась в Москву. Екатерина вспоминала, что, очнувшись, она увидела себя в объятиях

императрицы. Был огорчен болезнью Фике и великий князь, уже сдружившийся с нею. После этого эпизода сомнений ни у кого не осталось: все поняли, что кандидатура Фике как Невесты утверждена высочайшей волей.

До той поры вокруг претендентки на руку наследника престола шла упорная борьба придворных группировок. Вице-канцлер А. П. Бестужев-Рюмин – влиятельнейший и уважаемый императрицей политик – опасался, что в результате брака великого князя и принцессы Ангальт-Цербстской усилится влияние Пруссии на Россию. И опасения эти не были безосновательны.

Иоганна-Елизавета, выполняя наставления Фридриха II, не успев осмотреться в Москве, сразу же с ногами влезла в русскую политику, сошлась с французским посланником маркизом де ла Шетарди, его приятелем – врачом Елизаветы графом Жаном Германом Лестоком, обер-гофмаршалом наследника графом Оттоном Брюммером и с прусским посланником бароном Акселем Мардефельдом, которому Фридрих писал, что очень рассчитывает на помощь княгини Цербстской в своих делах. Все они были, как на подбор, отъявленные враги вице-канцлера и его антифранцузской и антипрусской линии и только ждали падения старого хитреца с политического Олимпа. Интриги княгини Иоганны-Елизаветы против Бестужева в сочетании с неумным, ревнивым в отношении дочери поведением были замечены Елизаветой Петровной, вызвали сначала недовольство, а потом и гнев. Неслучайно сразу же после свадьбы Петра и Екатерины императрица выпроводила Иоганну-Елизавету за границу и больше никогда не позволяла ей ни приезжать в Россию, ни переписываться с дочерью.

Фике в интригах матери не участвовала. Линия ее жизни все дальше и дальше расходилась с линией матери, хотя Иоганна-Елизавета так не считала и по привычке еще пыталась управлять дочерью. При этом княгиня встречала все большее и большее сопротивление со стороны императрицы Елизаветы, которая уже как бы приняла Фике в свою маленькую семью и защищала ее интересы. Наша героиня, оказавшись в сказочной обстановке двора Елизаветы, с головой погрузилась в тот вечный праздник, который устроила себе и окружающим императрица.

«Я так любила танцевать, – писала в мемуарах Екатерина, – что утром с семи часов до девяти я танцевала под предлогом, что беру уроки балетных танцев у Ланде, который был всеобщим учителем танцев и при дворе, и в городе; потом в четыре часа после обеда Ланде опять возвращался, и я танцевала под предлогом репетиций до шести, затем я одевалась к маскараду, где снова танцевала часть ночи». Для девушки наступила та пленительная и короткая пора жизни, когда однажды кончилось нудное ученичество и исчез опостылевший режим, отменились как бы сами собой надоевшие до смерти ограничения, когда пришла наконец вожделенная взрослая жизнь, но еще без утомительных обязанностей взрослого человека, с одним только счастьем долгожданной свободы: теперь можно было танцевать до упаду, одеваться во что захочешь, часами делать прически, какие нравятся, можно было даже не спать по ночам!

Уединяясь на ночь в спальне с молоденькой графиней Румянцевой, принцесса Софья устраивала там настоящий кавардак, все ночи проходили в том, что девицы прыгали, танцевали, резвились и засыпали часто только под утро. Когда же невесте великого князя назначили целых восемь горничных, радости ее не было предела: это были очень живые, молодые девушки, по вечерам они все вместе поднимали страшную возню, жмурки стали их любимой игрой. Фике училась тогда играть на клавесине у Арайи, регента итальянской

капеллы императрицы; это значит, вспоминала она, что когда Арайя приходил, «он играл, а я прыгала по комнате; вечером крышка моего клавесина становилась нам очень полезной, потому что мы клали матрацы на спинки диванов и на эти матрацы крышку клавесина, и это служило нам горюю, с которой мы катались».

Вся компания, в том числе и невеста наследника, укладывалась спать на полу, и девицы до утра вели шумную дискуссию... о различиях полов. «Думаю, – писала много лет спустя Екатерина, – большинство из нас было в величайшем неведении; что меня касается, то могу поклясться, что хотя мне уже исполнилось шестнадцать лет (описанный эпизод относится к 1745 году. – Е. А.), но я совершенно не знала, в чем состоит эта разница, я сделала больше того: я обещала моим женщинам спросить об этом на следующий день у матери; мне не перечили и все заснули. На следующий день я действительно задала матери несколько вопросов, и она меня выбрала. Немного ранее у меня появилась другая прихоть. Я велела подрезать себе челку, хотела ее завить и потребовала, чтобы вся эта бабья орава сделала то же; многие воспротивились, другие плакали, говоря, что будут иметь вид хохлатых птиц, но наконец мне удалось заставить их завить челки».



Великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна

К этому времени Фике уже звали иначе: летом 1744 года она перешла в православие и стала великой княгиней Екатериной Алексеевной. К этому важнейшему событию ее готовили давно: она учила русский язык, но тщательнее всего зубрила наизусть Символ веры: «Верую в единого Бога – Отца, Вседержителя, Творца небу и земли...» 28 июня 1744 года в Успенском соборе Московского Кремля, в присутствии императрицы, двора и высшего духовенства состоялась торжественная церемония. Фике-Екатерина держалась молодцом. Вскоре Иоганна Елизавета «рапортовала» супругу о том, что их дочь ясным и твердым голосом и с хорошим русским произношением, удивившим всех присутствующих, прочла Символ веры, не пропустив ни одного слова. Все в церкви заплакали от умиления, и даже

ревнивая мать Екатерины не могла скрыть своего восхищения благородством и грацией будущей жены наследника престола.

А назавтра состоялась долгожданная церемония обручения: великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна были официально объявлены женихом и невестой. Народ ликовал. В честь торжественного дня для него приготовили царский подарок: шесть зажаренных быков, набитых жареной же птицей, хлеб и вино в немислимых количествах. Зрелище дарового кормления народа всегда было ужасно – Ходынка 1897 года стала лишь финалом подобных мероприятий.

«Перед дворцом находится очень большая площадь, – описывал французский дипломат Корберон подобную кормежку уже при Екатерине II, – на которой может поместиться до 30 000 человек. Посреди этой площади был воздвигнут помост из бревен с несколькими ступенями. На него кладут жареного быка, покрытого красным сукном, из-под которого виднеются голова и рога животного. Народ стоит вокруг, сдерживаемый в своем прожорливом нетерпении чинами полиции, которые, с хлыстами в руках, обуздывают его горячность. Это напоминает наших охотничьих собак, ожидающих своей доли оленя, которого загнали и разрубает на части, прежде чем выкинуть им. На этой же площади, направо и налево от помоста, бьют фонтаны, имеющие форму ваз, из них льются вино и квас. При первом выстреле из пушки все настораживаются, но только после второго выстрела полиция отходит в сторону и весь этот дикий народ кидается вперед; в это мгновение он производил впечатление варваров и скотов. Помимо прожорливости здесь было и другое побуждение: предлагалось схватить быка за рога и оторвать ему голову, тому же, кто принесет голову во дворец, обещано было сто рублей награды за ловкость и силу. И сколько желавших одержать эту победу! Люди опрокидывают, увечат, топчут друг друга, и все хотят быть причастными к этой славе. Триста несчастных тащили с криками свой отвратительный трофей, от которого каждый рвал куски и обещанные сто рублей были поделены между ними».

Однако не будем забывать, что сам Корберон прибыл из страны, в которой весной 1770 года во время празднества бракосочетания Людовика XVI и Марии-Антуанетты озверевшая толпа, устремившись за даровыми угощениями, затоптала свыше тысячи человек. Думаю, что зрелище это было не менее жуткое и дикое, чем то, которое француз видел в России. Но на сей раз наград никто не получил и даже винные фонтаны не забили – народ провинился, ибо уже по первому выстрелу пушки смял оцепление и в безобразной драке разорвал быков... «Чем больше приближался день моей свадьбы, – вспоминала уже под старость Екатерина, – тем я становилась печальнее, и очень часто я, бывало, плакала, сама не зная, почему...»

«Никогда мы не говорили между собою на языке любви»

Слезы Екатерины – это не обычные слезы невесты, прощавшейся с беззаботной девичьей жизнью. Здесь иное: мечты о предназначенном ей принце, которого она готова была любить, быстро разбились вдребезги. Принц-то был, но любить его было невозможно, она не могла отдать ему свое сердце – он в этом не нуждался, он этого даже не понял бы, потому что, несмотря на свои семнадцать лет, оставался ребенком, к тому же капризным и невоспитанным...

Для этого были свои причины. Карл Петер Ульрих – сын старшей дочери Петра Великого Анны и герцога Голштинского Карла Фридриха – родился в Киле в феврале 1728 года. Вскоре двадцатилетняя мать его умерла от скоротечной чахотки, а отец ребенком не занимался, препоручив его воспитателю. Им стал уже упоминавшийся выше граф Оттон Брюммер. Хуже воспитателя для юного принца трудно было и придумать: он издевался над мальчиком, бил его, мало чему учил.

Отец – личность вполне ничтожная – повлиял на сына только в одном смысле: приучил его с ранних лет к шагистике, муштре, которые буквально впитались в мальчика и – ирония судьбы! – стали проклятием всех последующих Романовых, терявших голову при виде плаца, вытянутых носков и ружейных приемов. Впрочем, в ту пору было принято поручать воспитание принцев простым офицерам, а то и солдатам, всю жизнь тянувшим армейскую лямку и, как казалось, знавшим секрет изготовления из хилых и изнеженных няньками недорослей великих полководцев. Так что голштинские офицеры, взявшие – по указанию герцога – семилетнего Карла Петера Ульриха в оборот, учили его тому, что знали сами: уставу, ружейным приемам, маршировке, дисциплине, порядку.

Конечно, от них было невозможно ожидать знания системы Аристотеля или Коперника, а их вкусы, шутки и запросы были весьма незатейливы. Впрочем, любовь к военному делу, основанному на линейной тактике, требующей муштры, была присуща и Фридриху Великому. Это не мешало ему быть образованным, остроумным человеком, выдающимся политиком. Но в жизни и биографии будущего русского императора Петра III плац, лагерь, идеально ровный строй приобрели совершенно иное, гипертрофированное значение. В страсти к военному делу проявлялась не сила, а слабость этого человека; погружаясь в эту страсть, он спасался тем самым от внешнего мира – такого неприятного, сложного, враждебного. Но это пришло потом, в России, основы же такого мировосприятия были заложены в детстве, когда грохот барабанов на улице или развод на дворе замка заставляли мальчика бросать все занятия и жадно прикипать к окну, чтобы насладиться созерцанием марширующих солдат.

Отец его умер в 1739 году, когда мальчику было одиннадцать лет. Он сделался отныне герцогом Голштинии, хотя был, в сущности, слабым, болезненным и хилым ребенком. В том же году Фике впервые встретилась со своим будущим мужем в Эйтине. Это была родственная встреча, ибо Петер приходился Фике троюродным братом.

Схема родства была такова: в конце XVII века Голштейн-Готторпский герцогский дом имел две линии – от двух братьев. Старший – герцог Фридрих II – погиб на войне в 1702 году.

После него на голштинский престол вступил его сын, Карл Фридрих – муж цесаревны Анны Петровны и отец Карла Петера Ульриха, будущего Петра III. Младший же брат Фридриха II Голштинского – Христиан Август – стал отцом Иоганны-Елизаветы и дедушкой Фике. У Иоганны Елизаветы был еще брат, Адольф Фридрих, епископ Любекский и тогда – в 1739 году – регент при малолетнем герцоге Голштинском Карле Петере Ульрихе. Во дворце дяди десятилетняя Фике и познакомилась с одиннадцатилетним Петером.

Юная Фике не обратила внимания на мальчика. Она упивалась предоставленной ей редкой свободой носиться по замку, да еще готовила с горничными какой-то волшебный молочный суп. Правда, девочка заметила, что троюродный брат завидовал свободе, которой она пользовалась, тогда как он был окружен педагогами, и все шаги его были распределены и сосчитаны.

Придя к власти в ноябре 1741 года, императрица Елизавета Петровна сразу же вспомнила о своем племяннике. Елизаветой владели как родственные чувства, так и политические соображения: внука Петра Великого, имевшего, согласно завещанию своей бабки Екатерины I, больше прав на российскую корону, чем сама Елизавета, следовало держать под присмотром. И в начале 1742 года Петера привезли в Россию, окрестили по православному обряду, назвали Петром Федоровичем и объявили наследником российского престола. Его интеллект, воспитание, интересы производили тяжелое впечатление на окружающих. Чрезмерная инфантильность, капризность, вспыльчивость племянника, его неумение прилично вести себя в обществе беспокоили Елизавету. В мае 1746 года канцлер А. П. Бестужев-Рюмин составил инструкцию обер-гофмаршалу двора великого князя. В ней предписывалось всемерно препятствовать играм и шуткам Петра с лакеями, служителями, «притаскиванию всяких бездельных вещей». Кроме того, нужно было смотреть, чтобы наследник достойно вел себя в церкви, «остерегался от всего же неприличного в деле и слове, от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платей и лиц [и] подобных тому неистовых издеваний». Нельзя забывать, что речь идет не о дерзком сорванце-подростке, а о девятнадцатилетнем взрослом человеке, который к тому времени уже был женат.

В первые месяцы жизни Фике в России Петр сдружился с ней, но это не была та дружба юноши с девушкой, которая перерастает в любовь. «Ему было тогда шестнадцать лет, он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребенок; он говорил со мною об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему; я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я не покидала его и он тоже думал, что надо говорить со мною; так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мною подолгу. Многие приняли это за настоящую привязанность, особенно те, кто желал нашего брака, но никогда мы не говорили между собою на языке любви: не мне было начинать этот разговор, скромность мне воспретила бы это, если б я даже почувствовала нежность, и в моей душе было достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг; что же его касается, то он и не помышлял об этом, и это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу: девушки, что ни говори, как бы хорошо воспитаны ни были, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого они могут их выслушать, не краснея». Петру же нужна была не жена, а, как писала в тех же воспоминаниях Екатерина, «поверенная в его ребячествах». Она таковою для Петра и стала, но не более того.

21 августа 1745 года их обвенчали: Фике стала женой наследника российского престола.

В первую брачную ночь Екатерина, лежа в постели, долго прождала своего суженого, а когда «Его императорское высочество, хорошо поужинав, пришел спать, и когда он лег, он завел со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидал нас вдвоем в постели, после этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня... Я очень плохо спала, тем более, что, когда рассвело, дневной свет мне показался очень неприятным в постели без занавесок, поставленной против окон... Крузе (новая камер-фрау. – Е. А.) захотела на следующий день расспросить новобрачных, но ее надежды оказались тщетными, и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения...»

«У меня были хорошие учителя: несчастье с уединением»

Фике не повезло ни в любви, ни в семейной жизни, хотя – по складу ее характера – она казалась созданной для счастья. С грустью она писала в январе 1767 года госпоже Бьельке: «Я принадлежу к числу тех женщин, которые думают, что всегда виноват муж, если он не любим, потому что, поистине, я бы очень любила своего, если бы представлялась к тому возможность и если бы он был так добр, что желал бы этого».



Великий князь Петр Федорович

Эту же тему она развивала и потом – в своих мемуарах: «Я очень бы любила своего нового супруга, если бы только он захотел или мог быть любезным... по закалу, какой имело мое сердце, оно принадлежало бы всецело и без оговорок мужу, который любил бы только меня и с которым я не опасалась бы обид, каким подвергалась с данным супругом; я всегда смотрела на ревность, сомнение и недоверие и на все, что из них следует, как на величайшее несчастье, и была всегда убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав; услужливость и хорошее обращение мужа покорят ее сердце».

Здесь нет рисовки. За несколько лет до того, как процитированные выше слова легли на бумагу из-под пера Екатерины, граф Джон Бекинхэм писал, что по натуре императрица бесконечно нежна, взглянешь на нее – и сразу видишь, что она могла бы любить и что любовь ее составила бы счастье достойного ее поклонника.

Муж ее долгие годы оставался великовозрастным дитятей. Когда Елизавета вознамерилась женить шестнадцатилетнего племянника, ее врач Лесток советовал императрице сделать это не раньше, чем Петру исполнится двадцать пять лет, – так отставал наследник в своем физическом и умственном развитии. Екатерина описывает, как Петр на протяжении нескольких лет их супружеской жизни натаскивал в спальню, прямо в кровать, игрушек и часами играл в куклы, втянув в эту забаву камер-фрау. Но дело было не только в инфантильности великого князя. Екатерина была гордой и самолюбивой женщиной, с тем достоинством, которое бросалось в глаза при первой же встрече с нею. Такие женщины больше всего боятся оскорбления или даже пренебрежения к себе.

В самые первые дни жизни с мужем, вспоминает Екатерина, «у меня явилась жесткая для него мысль... Я сказала себе: если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле; по характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности; этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах или почти что так и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя; ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого, следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежностей к этому господину; думайте о себе, сударыня. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня и эта мысль никогда не выходила из головы, но я остерегалась проронить слово о твердом решении, в котором я пребывала, – никогда не любить безгранично того, кто не оплатит мне полной взаимностью». От этого признания так и веет сухим рационализмом, весьма необычным в столь юном возрасте. Это была «обратная сторона» нежной Фике, та эгоистичная расчетливость, из которой всегда произрастает честолюбие.

Как мы помним, в своем наказе отец Фике советовал дочери почитать Бога, императрицу и своего мужа. Это пожелание Екатерина преобразила в формулу: «1. Нравиться великому князю. 2. Нравиться императрице. 3. Нравиться народу... Поистине, я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность – все с моей стороны постоянно к тому было употребляемо с 1744 по 1761 год. Признаюсь, что когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия, чтобы выполнить два последних; мне казалось, что не раз успевала я во втором, а третий удался мне во всем своем объеме, без всякого ограничения каким-либо временем и, следовательно, я думаю, что довольно хорошо исполнила свою задачу».

С первой задачей все было ясно – она оказалась неразрешимой. Часто с годами семейной жизни противоречия сглаживаются, супруги сближаются и становятся даже в чем-то неуловимо похожи. В этой паре все было как раз наоборот: на парадном портрете, относящемся к началу их общей жизни, супруги стоят, неловко взявшись за руки: два так похожих друг на друга длинноносых подростка, сведенных вместе судьбой. Позднейшие портреты показывают как они изменились, как стали разительно непохожи – чужие, далекие друг другу люди, каждый из которых уже давно шел своей дорогой.

Петр от игр с деревянными солдатиками и живыми лакеями перешел к постоянной военно-полевой игре, которая заменяла ему жизнь, создал соединение голштинских войск и летом в окрестностях Ораниенбаума проводил с ним маневры, походы, парады, разводы. Он превратился в настоящего военного и с наслаждением дышал воздухом казармы. Он ощущал себя не наследником русского престола, а голштинским герцогом, временно и неведомо зачем заброшенным в чуждую ему страну, с ее ужасным климатом, унылой столицей, грязными городишками, языческой церковью, дурацкой парной баней, в которую он наотрез отказывался ходить, высокомерной, холопствующей знатью, взбалмошной теткой-императрицей, которая так и не стала ему родной. Все, что шло от нее, он с трудом терпел, тихо ненавидел и отчаянно боялся.

Стремясь сохранить свое «я», он защищался разными способами: ложью в юности, грубостью в зрелые годы, самоизоляцией в кругу лакеев и своих кавалеров-голштинцев, идеализацией своей милой, зеленой Голштинии, безмерной любовью к Фридриху Великому. Но все это было как-то карикатурно преувеличено: и ложь, и грубость, и военные игры с живыми и игрушечными солдатиками. Карикатурен был и его патриотизм, и любовь к

потсдамскому кумиру, как был карикатурен весь облик великого князя – узкоплечего, худого, в чрезмерно тесном мундире прусского образца, с гигантской шпагой на боку и в чудовищной величины ботфортах.

Читая мемуары Екатерины II, мы видим Петра Федоровича ее глазами, до нас долетает с его половины визг истязаемых им собак, пиликанье на скрипке, какой-то шум и грохот. Иногда он вваливался на половину жены, пропахший табаком, псиной и винными парами, будил ее, чтобы рассказать какую-нибудь скабрезную историю, поболтать о прелестях принцессы Курляндской или о приятности беседы с какой-либо другой дамой, за которой он в данный момент волочился. Екатерина, как в первые месяцы жизни в России, притворно внимательно его слушала, незаметно зевала и ждала, когда он закончит свои откровения, конечно, не радовавшие ее.

Они были совершенно несхожие люди и говорили на разных, непонятных друг другу языках. Екатерина пишет, что в таких беседах для нее было тяжелым трудом поддерживать разговор о подробностях по военной части, очень мелких, о которых он говорил с удовольствием, тем не менее она старалась не дать ему заметить, что изнемогает от скуки и усталости. «Я любила чтение, он тоже читал, но что читал он? Рассказы про разбойников или романы, которые мне были не по вкусу. Никогда умы не были менее сходны, чем наши; не было ничего общего между нашими вкусами, и наш образ мыслей и наши взгляды на вещи были до того различны, что мы никогда ни в чем не были бы согласны, если бы я часто не прибегала к уступчивости, чтобы не задевать его прямо». Когда он наконец уходил, самая скучная книга казалась ей приятным развлечением.

Кроме того, Екатерина постоянно убеждалась, что ее муж – трус и не в состоянии защитить интересы их маленькой семьи от постоянного и бесцеремонного вмешательства посторонних – порученцев и соглядатаев императрицы Елизаветы. Бывало, когда императрица ее бранила, великий князь, чтобы угодить тетушке, начинал бранить жену вместе с ней. Особенно тяжело Екатерине пришлось в 1758 году, когда, заподозренная в заговоре вкупе с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым, она была допрошена лично Елизаветой в присутствии начальника Тайной канцелярии графа А. И. Шувалова и великого князя, который не только не защищал жену, но стремился направить гнев императрицы на нее, что в конце концов возмутило даже саму Елизавету. А сколько раз, сидя за столом рядом с перепившим мужем, великая княгиня сгорала от стыда за его кривлянья, грубости, недостойное наследника престола поведение на людях...

Все это мешало их сближению. Но не будем забывать, что рассказанное выше основано на мемуарах самой Екатерины. Мы видим ненавистного ей мужа ее глазами. Нельзя сказать, что Петр был совершенно равнодушен к супруге. Когда Екатерину заподозрили в симпатиях к красивому камер-лакею Андрею Чернышеву, то между супругами произошла трогательная сцена: после обеда Екатерина лежала на канапе и читала книгу, вошел Петр, «он прошел прямо к окну, я встала и подошла к нему; я спросила, что с ним и не сердится ли он на меня? Он смутился и, помолчав несколько минут, сказал: „Мне хотелось бы, чтобы вы любили меня так, как любите Чернышева“».

И потом, он тянулся к ней – как и Екатерина, он был совсем одинок при дворе, и за каждым его шагом следили. Когда от него убрали любимых камердинеров Крамера и Румберга – самых доверенных и близких ему с детства людей, – то Петр, пишет Екатерина, «не имея возможности быть с кем-нибудь откровенным, в своем горе обращался ко мне. Он часто приходил ко мне в комнату, он знал, скорее чувствовал, что я была единственной

личностью, с которой он мог говорить без того, чтоб из малейшего его слова делалось преступление, я видела его положение, и он был мне жалок...» Но мостик доверительности и нежной близости так и не был ими построен. Он как бы не замечал в ней женщины, видя в лучшем случае товарища по несчастью, а она исполняла жестокий обет, некогда подсказанный ей холодным разумом.

Известно, что великая княгиня, а потом императрица, была гением общения (и ниже я об этом расскажу), она могла очаровать, привлечь на свою сторону самых разных людей. В Екатерине был какой-то обаятельный магнетизм, который чувствовали не только люди, но и животные. Современник рассказывает, что к ней со всех сторон бежали ласкаться собаки, отыскивая во дворце ходы, они проникали в апартаменты императрицы, чтобы лечь у ее ног; птицы, обезьянки признавали только ее одну.

Конечно, муж – не обезьянка, но очарование Екатерины почему-то не коснулось его. Причина их семейного несчастья состояла, по-видимому, не только в инфантильности или черствости Петра, не только в гордости и чрезвычайно высоких требованиях Екатерины к своему партнеру, но и в каком-то холодном, трезвом расчете, который она привнесла в свой брак с самого начала. Это мы видим из признаний, которые она делает в мемуарах, рассуждая о тех жестких мыслях о Петре, которые к ней пришли в первые дни их совместной жизни: «Думайте о себе, сударыня!»

В другом месте мемуаров она проговаривается: «Великий князь во время моей болезни проявил большое внимание ко мне; когда я стала лучше себя чувствовать, он не изменился ко мне, по-видимому, я ему нравилась; не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился: я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж». И далее – самое главное: «Но по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, чем его особа». Беда в том, что она тоже не стремилась к союзу, она видела себя соперницей Петра, и рано разгоревшееся честолюбие цербстской принцессы – российской великой княгини уже не позволяло им сблизиться.

Домашние университеты

Не менее трудна была и вторая задача плана покорения России – нравиться императрице. Поначалу Елизавета была весьма расположена к девушке из Цербста, писала ей ласковые письма, называя Екатерину «дорогой моей племянницей». Но потом наступили перемены. Императрице очень не нравились интриги, которые затевала при русском дворе княгиня Иоганна-Елизавета, и то, что на какое-то время ее дочь, против своей воли, была в них втянута. К тому же со временем неприязнь императрицы к племяннику стала распространяться и на его жену, и общение с великокняжеской четой стало тяготить ее. Екатерина же, в свою очередь, быстро поняла, что за блеском двора Елизаветы скрываются грязные интриги, зависть и ненависть, что божественная красавица-императрица может быть сущей ведьмой, способной разом, по ничтожному поводу, превратиться в фурию, гневно браниться или донимать окружающих мелочными придирками, без вины, как тогда говорили, «мыть голову» близким, сановникам и слугам. Но самое главное – на императрицу было мудрено угодить: ее капризам и подозрениям не было конца. Все восемнадцать лет, которые прожила Екатерина возле Елизаветы, были сплошным испытанием нервов, школой терпения. С горечью вспоминая годы своей молодости, Екатерина писала в мемуарах, что императрица Елизавета много ее бранила, часто обходилась с ней грубо, большей частью без всякой на то причины, не оделяла ни вниманием, ни лаской.

Все в жизни великой княгини строго регламентировалось: дни говенья и банные дни, место расположения канапе в комнате и время прогулок; ей не давали бумаги и чернил и присылали фрейлин сказать, какое платье надеть, а какое снять. Живя с молодыми буквально через стенку, императрица целыми месяцами не виделась с ними, но постоянно давала им знать, что не спускает с них придирчивых глаз: ее манерой было поручать придворным и даже лакеям делать Екатерине или Петру выговоры, часто в довольно грубой форме, за проступки, о которых ей доносили соглядатаи. Екатерину лишили даже права переписки с родными, и она только подписывала послания, которые составлялись от ее имени в Коллегии иностранных дел.

Когда в 1747 году умер отец Екатерины, то императрица послала придворную даму передать ей приказ: перестать плакать, так как князь Ангальт-Цербстский не был королем и «потеря невелика». Стоило только молодой женщине наладить отношения с горничными, слугами или придворными дамами, как их немедленно отсылали от двора. Это делалось сознательно – Екатерине ни с кем не позволяли сблизиться или подружиться, будь то мужчина или даже женщина. Это больше всего огорчало великую княгиню, такую общительную и открытую. Поэтому на горьком опыте потерь близких ей людей Екатерина усвоила искусство вести себя так, чтобы ничем не выдавать своих привязанностей.

Лишенная поддержки и защиты мужа, она чувствовала себя одинокой в толпе елизаветинских придворных, презирала их как пустых, невежественных, завистливых интриганов. Но эта жизнь многое и дала Екатерине: она приучилась к изворотливости, терпению, скрытности. Она постигла великое искусство политика: управлять собой, сдерживать чувства. Один из современников писал: «Весь состав ее казался сотворенным из огня, от коего малейшая искра в силах произвести воспаление, но она тем огнем совершенно

управлять умела».

С большим трудом, буквально годами, великая княгиня отвоевывала, выщарапывала для себя жизненное пространство. Ее большой победой стало право оставаться одной в своей спальне, где она могла всласть и без помехи читать. Екатерина взяла в руки книгу поначалу со скуки, от одиночества, а потом втянулась в чтение, ставшее ее страстью, спасением, тем оселком, на котором будущая императрица оттачивала свой ум. С раннего утра до позднего вечера она не расставалась с книгой, с сожалением оставляя ее ради обеда, прогулки или развлечений. Читала Екатерина много и сначала без разбора. Бесконечно длинные, пресные французские романы про пастушков и пастушек скоро перестали удовлетворять ее, и она перешла к более серьезной литературе. Надо сказать, что немало людей, познакомившись с Екатериной, предсказывали ей блестящее будущее и для этого советовали заняться образованием. Среди них были придворный врач Лесток, прусский посланник Мардефельд, шведский граф Гюлленборг. Советы и авансы графа в немалой степени разожгли честолюбие Екатерины и побудили ее совершенствовать свой ум чтением – единственным в ее условиях вариантом университета. Неизгладимое впечатление на Екатерину произвели «Письма мадам Севинье» – эмоциональные, яркие и остроумные признания образованной французской аристократки XVII века. Книги по истории, от Тацита до «Всеобщей истории Германии» Барра, приучали ее к историческому подходу в жизни и политике. Это было уже не развлечение, не просто бегство от скуки, а тяжелый умственный труд, причем Екатерина сознательно делала усилия над собой: читая по одному тому в неделю, одолела все десять огромных фолиантов Барра. Такое же усердие и работоспособность проявила Екатерина, когда целых четыре года изучала гигантскую «Энциклопедию» П. Бэля – свод разнообразных сведений по истории, философии, религии, филологии, данных в оригинальной, критической трактовке. На долгие годы ее героем стал великий французский король Генрих IV – непревзойденный образец политика и государя. Много лет спустя она писала Вольтеру, что мечтает на том свете встретиться именно с королем Генрихом. Я думаю, что им есть о чем поговорить там: собеседники достойны друг друга. Возможно, к ним подсели бы два других кумира молодой Екатерины: Монтескье и Вольтер. Они дали мощный толчок интеллектуальному росту будущей императрицы как государственного деятеля, законодателя.

Впоследствии она признавалась, что не считает себя оригинальным мыслителем. Больше того, в 1791 году, на склоне лет она писала: «Я никогда не думала, что имею ум, способный создавать, и часто встречала людей, в которых находила без зависти гораздо более ума, нежели в себе». Нужно снять шляпу перед этой выдающейся женщиной, способной в расцвете всемирной славы на подобные признания. Даже если она была права, все же тот комплекс свежих, глубоких идей об обществе, государстве, праве, морали, религии, содержащийся в творениях Монтескье и Вольтера, который Екатерина восприняла от них, позволял ей всю жизнь оставаться на очень высоком интеллектуальном уровне и превосходить многих своих современников и даже потомков.

И тогда, как и сейчас, существовало множество людей, взявших за основу своей жизни банальный, но правильный лозунг «Книга – источник знаний» и прочитавших во много раз больше книг, чем Екатерина. Но этого, как мы знаем, еще недостаточно, чтобы стать личностью и государем такого масштаба. Ведь гигантский книжный материал должен быть переработан в энергию, расчет, смелость и осторожность политика, в умение масштабно мыслить, на полшага, на чуть-чуть опережать события, чтобы они, как слепая волна, не

накрыли и не потащили в глубь с политической поверхности. Екатерина оказалась способной превратить книжный материал в идеи.

Но она отнюдь не была «синим чулком», книжным червем. Став великой княгиней, Екатерина впервые занялась верховой ездой и сразу же достигла замечательных успехов, даже изобрела какое-то удобное ей седло, и ее посадкой любовалась императрица Елизавета Петровна – сама прекрасная наездница. Екатерина самозабвенно любила охоту, долгие прогулки по лесу, вообще движение, танцы и маскарады. Как истинная женщина, она знала толк в одежде и украшениях, не раз и не два одевалась к придворному балу так, что сама императрица – модница с тонким вкусом – скрежетала от зависти зубами. Екатерина любила наряжаться, и примечательно, что, вспоминая в своих мемуарах далекое-далекое прошлое, она с поразительными подробностями описывает фасон и цвет своих «победоносных» платьев, а также нарядов Елизаветы и других дам.

О Павле, сыне Петра

20 сентября 1754 года, через девять лет после свадьбы, Екатерина родила мальчика, названного Павлом. Вокруг его происхождения сразу же возникло немало слухов. Самый устойчивый из них гласил, что истинным отцом будущего императора Павла I был не великий князь Петр Федорович, а камергер его двора Сергей Васильевич Салтыков. Несомненно, отсутствие детей в семье наследника престола на протяжении столь длительного – девятилетнего – срока не могло не беспокоить Елизавету, желавшую продолжения рода Петра Великого: ведь она всегда помнила, что в Холмогорах, в заточении, сидят свергнутый ею император Иван Антонович, два его брата и две сестры. Примерно через девять месяцев после свадьбы Елизавета, видя, что брак не дал необходимого империи плода, приставила к великой княгине новую обер-гофмейстерину – свою двоюродную сестру Марию Чоглокову – и предписала ей тщательно наблюдать за Екатериной.

Чоглокова получила инструкцию, смысл которой, несмотря на витиеватость стиля, был предельно ясен: от этого брака нужен наследник, и обер-гофмейстерина должна следить за тем, чтобы Екатерина вела себя так, как необходимо для зачатия и рождения ребенка. С точки зрения династического интереса здесь нет ни цинизма, ни грубого вмешательства в интимную сферу человеческих отношений, а есть только государственные целесообразность и необходимость. Этим и объясняется столь строгий режим и постоянное наблюдение за Екатериной. Кстати, сразу же после рождения Павла режим этот был резко ослаблен, и великая княгиня получила невиданную ранее свободу.

Инструкция была написана, принята к исполнению, великий князь ни единой ночи не проводил за пределами спальни жены – за ним тоже постоянно следили, но шли месяцы, годы, а детей так и не было. Елизавета даже запрещала Екатерине ездить верхом по-мужски, считая, что это может помешать беременности. Но все было тщетно. Читатель уже понял, что у Екатерины были свои, довольно жесткие взгляды на брак с Петром, но в династических браках дети появляются и у нелюбящих друг друга супругов. В источниках встречаются какие-то смутные толки о том, что Петр имел некий физический недостаток, который по прошествии лет был довольно легко устранен хирургом. Кроме того, великий князь был неправдоподобно неопытен в интимной сфере. Впрочем, предоставим слово самой Екатерине, которая написала (вероятно, в 1774 году) «Чистосердечную исповедь» для Потемкина.

Это своеобразная амурная летопись, рассказ о мужчинах, которые были у Екатерины до Потемкина. «Марья Чоглокова, – начинает Екатерина, – видя, что через девять месяцев обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и быв от покойной государыни часто бранена, что не старается их переменить, не нашла инаго к тому способа, как обеим сторонам сделать предложение, чтоб выбрали по своей воле из тех, кого она на мысли имела. С одной стороны выбрали вдову Грот, которая ныне за артиллерии генерал-поручиком Миллером, а с другой – Сергея Салтыкова и сего по видимой его склонности и по уговору мамы (то есть Елизаветы. – Е. А.), которую в том наставляла великая нужда и потребность».

Близок к этому рассказу и отрывок из первого варианта мемуаров Екатерины, где она описывает под 1752 годом беседу с Чоглоковой, которая после многословных отступлений

заявила, что «бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила», и что «Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний. На это я воскликнула: „Нет, нет, отнюдь нет“. Тогда она сказала: „Ну, если это не он, то другой наверно“. На что я не возразила ни слова и она продолжала: „Вы увидите, что помехой вам буду не я“. Я притворилась наивной...»

В принципе, мораль и высшие государственные цели позволяли Чоглоковой прибегнуть к подобному способу сексуального обучения своих подопечных. Нравы XVIII века, особенно при дворах государей, этому благоприятствовали – они были весьма вольные, если не сказать резко, и сама Екатерина в мемуарах часто рассказывает о постоянных интрижках, происходивших вокруг нее. Плоха была та дама, у которой не было своего «амуру». Измены считались нормой, а любовь в супружеской паре встречалась крайне редко: как с возмущением восклицала героиня одной из комедий А. Сумарокова, она «не какая-то посадская баба», чтобы мужа своего любить.

Несомненно, двадцатишестилетний Сергей Васильевич Салтыков, который сам, кстати, был женат, нравился Екатерине, и расставание с ним стало потом причиной «великой скорби». Он, «прекрасный, как день», появился в поле зрения великой княгини не сразу после первых девяти месяцев ее супружества, как может показаться нам из «Чистосердечной исповеди», а несколько лет спустя после назначения Чоглоковой в обер-гофмейстерины великой княгини, в 1752 году, что согласуется с последующей хронологией любовников по «Исповеди».



И. Г. Пульман. Портрет великого князя Павла Петровича

Рассказ о Салтыкове в мемуарах Екатерины II овеян романтическим флером, так часто

свои воспоминания о первой, самой чистой и возвышенной любви. А объяснение на охоте, беллетризованное впоследствии мемуаристкой, выглядит как сцена из романа: «Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему: я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец, он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна, я ответила: „Да, да, но только убирайтесь“, а он: „Я это запомню“, и прищпорил лошадь, я крикнула ему вслед: „Нет, нет!“, а он повторил: „Да, да!“ Так мы расстались». Заметим при этом, что свидание происходило в имении Чоглоковых, с которыми Салтыков был близок.

Никто не может поручиться, что отцом Павла был именно Сергей Салтыков, но слухам об этом конца не было. Они ходили и при Екатерине-императрице, достигая ушей цесаревича Павла Петровича и, конечно, мало способствуя его психической уравновешенности. Сохранилась резкая по тону записка императрицы примерно 1783 года к обер-гофмаршалу князю Н. М. Голицыну, в которой она запрещает камергеру Дмитрию Матюшкину впредь показываться ей на глаза. Можем предположить, что гнев императрицы, наложившей опалу на камергера двора, был вызван его сплетнями о происхождении Павла, которыми он имел неосторожность поделиться с самим цесаревичем и его женой. В этом Екатерина увидела попытку поссорить ее с сыном, бросить тень на ее честь. Замечу, что женой Д. М. Матюшкина была Анна Алексеевна, урожденная Гагарина, одна из фрейлин великой княгини Екатерины и ее близкая в молодости подруга. Ее удалили от двора сразу после рождения Павла и тогда же отослали за границу и Салтыкова. Предписывая своему обер-гофмаршалу объявить высочайший гнев Матюшкину в присутствии его жены и подчеркивая, что та к болтовне мужа непричастна, Екатерина все-таки целит в Анну Алексеевну, косвенным образом предупреждая, чтобы она, как женщина умная, держала язык за зубами и не снабжала своего мужа – дурака и болтуна – сплетнями (или... – позволим предположить – достоверной, ей хорошо известной информацией?). Примечательно и распоряжение Екатерины II от 25 июля 1762 года – вскоре после ее вступления на престол – о назначении Салтыкова посланником в Париж. 19 августа она поторопила дипломатическое ведомство: «Отправьте скорее Сергея Салтыкова». Позже, узнав о болезни бывшего фаворита, императрица потребовала арестовать архив Салтыкова в случае его смерти...

Рождение Павла вызвало огромную радость при дворе. Как только малыша обмыли, императрица сразу же забрала его к себе, Петр Федорович ушел на свою половину отмечать с приятелями рождение наследника, а роженица осталась в пустой комнате одна, брошенная всеми, страдающая от холодных сквозняков и жажды. Первые горькие часы после родов она запомнила на всю жизнь, для нее это был символ отношения к ней, женщине,

предназначенной только для производства наследника. Да и первенца у нее отняли, и она впервые увидела его лишь через сорок дней! Елизавета полностью взяла заботу о нем на себя, не подпуская к мальчику даже родителей.

С рождением сына Екатерина наконец получила свободу. Петр посещал ее крайне редко, с головой уйдя в свои военные занятия, дружеские застолья, и кроме того, он серьезно увлекся фрейлиной Елизаветой Воронцовой. Великая княгиня смогла беспрепятственно приступить к выполнению третьей и самой важной задачи своего плана – «нравиться народу».

Маленькие секреты о том, как понравиться великому народу

Начиная с 1754–1755 годов Екатерина усердно осваивает премудрости политической жизни. Она довольно рано поняла, что ее будущее как политика определяют два важнейших фактора: общественное мнение и связи в верхах русского общества и в армии, точнее – среди гвардейцев. Именно в этом и состояли маленькие секреты, как понравиться великому народу.

Сначала нужно было как можно скорее натурализоваться. Став женой наследника российского престола, Екатерина делала все, чтобы ее считали русской. Для нее это не было трудно. До приезда в Россию Фике жила и воспитывалась в довольно космополитической немецко-французско-лютеранской среде, проникнутой духом начинающегося Просвещения. Весь образ жизни семьи, частые путешествия по Германии способствовали тому, что у девочки не возникло какой-то особой привязанности к определенному месту, отчужденности от дома. Наконец, умение приспособиться, гибкость были с детства присущи Фике. Она писала в мемуарах, что поставила себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить, и прилежно усваивала их образ действий, их манеру: «Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили».

Позже, в 1776 году, в письме невесте своего сына принцессе Вюртембергской Софии Доротее (будущей императрице Марии Федоровне) Екатерина II так сформулировала свою «доктрину ассимиляции»: меняя отечество, нужно быть благодарной новой родине, которая предпочла избранницу другим кандидаткам. Именно такие чувства испытывала сама Екатерина. Когда она говорила: «моя страна», ни у нее, ни у кого другого не возникало сомнений, о какой стране идет речь, – конечно, о России, которую она любила, гордясь тем, что судьбе было угодно отправить ее именно сюда. Современник пишет о Екатерине: «Она была в душе русская и рождена для нашей империи. Сохраняла все обычаи, отправляла на святках игры, подблюдные песни, носила и ввела при дворе русское платье, знала все пословицы, приговорки и даже парилась в бане».

Конечно, были вещи поважнее бани и подблюдных песен. Церковь – вот что нужно чтить больше всего, ибо русским может называться только православный. Эту мысль Екатерина усвоила очень быстро, и можно представить, сколько терпения и воли нужно было проявлять этой женщине – атеистке, ученице Вольтера, – чтобы выдерживать многочасовые службы, отбивать десятки земных поклонов и потом с еще умиротворенным лицом выходить из храма в толпе своих новых соотечественников. Только став императрицей, она позволяла себе выслушивать службу с хоров, раскладывая за маленьким столиком сложный пасьянс, а до этого – ни-ни!

В итоге, как пишет биограф Екатерины Великой В. А. Бильбасов, мало-помалу, под давлением разнообразных фактов, обстоятельств, влияний, церкбстская Фике стала перерождаться в русскую Екатерину Алексеевну. Насколько она успела уже обрусеть, показывает ее поступок с камердинером Шкуриным. Вопреки запрещению Екатерины, Шкурин передал Чоглоковой довольно невинные слова великой княгини. Узнав об этом, Екатерина вышла в гардеробную, где обыкновенно находился Шкурин, и – сколько было

силы – дала ему пощечину, прибавив, что велит еще отодрать его. «Похоже ли это на Фике из Цербста?» – риторически вопрошает Бильбасов.

Добавим еще смешной эпизод 1768 года в связи с ожидаемым приездом в Петербург важного гостя – датского короля. Екатерина – уже императрица – приказала московскому генерал-губернатору, чтобы он прислал ей список всех московских красавиц. Она хотела выбрать самых-самых красивых, которых надлежало, как бы сказали в нынешний железный век, «этапировать» в северную столицу. Для чего? А для того, чтобы в ответ на восхищение датского монарха красотой русских дам небрежно сказать, что у нас-де, в России, все такие! Датский король не приехал, но искушение пустить пыль в глаза иностранцам (как это принято у нас) вошло в плоть и кровь императрицы.

Уже в первые годы жизни в России Екатерина усвоила еще одну важную истину: несмотря на безгласность общества, в России существует то, что позже назовут общественным мнением, и пренебрегать им может только дурак. Иностранцы, сопровождавшие императрицу в поездках по стране, не могли надивиться набожности Екатерины, которая выстаивала литургии во всех церквях, мимо которых проезжал ее экипаж. Видели они и как государыня частенько выходила из экипажа, чтобы поговорить с народом, мгновенно сбегавшимся к ней. Граф Сегюр вспоминал, что сначала толпа валилась царице в ноги, но потом окружала ее, крестьяне называли ее «матушкой», радушно говорили с нею, чувство страха в них исчезало, а крестьянки лезли целоваться так, что ей приходилось отмываться от белил и румян, которыми злоупотребляли сельские модницы.

В таком вполне современном популистском поведении Екатерины был свой смысл и резон. Ей, вышедшей не из Рюриковичей или хотя бы Романовых, ей, сотворившей 28 июня 1762 года недоброе дело с собственным мужем, были до крайности нужны популярность и народная любовь. Она понимала, что весть о минутной остановке в забытой Богом деревеньке или о ее присутствии на обедне в бедной приходской церквушке станет достоянием всей округи, понесется по всему уезду, губернии легкокрылой молвой о доброй матушке царице, не брезгующей спуститься с заоблачных высот к своему народу. И вот в 1763 году она просит А. В. Олсуфьева и Н. И. Панина, чтобы ни в коем случае до ее приезда в Ростов не ставили богатую раку над мощами чтимого народом святого Дмитрия Ростовского, чтобы простой народ не подумал, что мощи «спрятались» от императрицы.

Свою манеру поведения она выработала давно – еще тогда, когда лишь мечтала о власти, и сама рассказала о том, как ей удалось добиться расположения русского общества: «И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы об их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености молодых людей, сама спрашивала их совета в разных делах и потом искренне их благодарила. Я узнала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разлилась по всей России. Этим простым и невинным образом составила я себе громкую славу, и, когда зашла речь о занятии русского престола, очутилось на моей стороне значительное большинство». Конечно, Екатерина говорит не всю правду – ее путь к власти был непростым и долгим, но, несомненно, она всегда учитывала общественное мнение и умело его использовала.

Мы помним, что императрица Елизавета выбрала Фике в жены своему племяннику еще и потому, что у той не было и, как полагала Елизавета, не будет своей «партии» в России. Поначалу расчеты императрицы оправдались – и в своих мемуарах Екатерина много и с горечью пишет о почти полном одиночестве в первые годы замужества. Но после рождения сына, когда контроль над великой княгиней ослаб, ситуация стала меняться. Благодаря некоторым придворным – особенно вернувшемуся из Польши Сергею Салтыкову, который по части интриг был «настоящий бес» (слова Екатерины), и Льву Нарышкину – она тайком выезжает из дворца, чтобы повидаться с друзьями, которых становится все больше, повеселиться, поговорить о делах. С ее политическими суждениями, которых она не скрывала, начинают считаться первейшие вельможи елизаветинского двора, такие как Шуваловы, фельдмаршал С. Апраксин, вице-канцлер М. И. Воронцов, братья Алексей и Кирилл Разумовские, а также канцлер Бестужев.

Именно он, видя, что Екатерина умна и имеет характер в высшей степени твердый и решительный, первым решился втянуть великую княгиню в свою политическую интригу. В середине 1750-х годов здоровье Елизаветы ухудшилось, и канцлер понимал, что приход к власти Петра III для него, последовательного врага Пруссии, означает конец. Поэтому он и сделал ставку на Екатерину, увидев в ней сильную личность. Себе же Бестужев отводил роль наставника и руководителя Екатерины. Он старался понравиться великой княгине: помог ей наладить тайную переписку с матерью, всячески покровительствовал ее бурному роману с красавцем Станиславом Августом Понятовским, приехавшим в Петербург в 1755 году.

Бестужев и Екатерина опасались, что императрица Елизавета, умирая, подпишет завещание в пользу цесаревича Павла и сделает кого-то из Шуваловых регентом при малолетнем императоре, отстранив тем самым от престола и Петра и Екатерину. Канцлер составил проект манифеста, согласно которому к власти приходила Екатерина как регентша при императоре Павле, а он, Бестужев, получал пост президента всех главных коллегий и командующего всеми гвардейскими полками. Честолюбивый канцлер, предлагая свой план Екатерине, не подозревал, что имеет дело со сложившимся политиком, не нуждавшимся в обучении и покровительстве, и что честолюбие великой княгини уже давно пышет жарким пламенем...

«Я буду царствовать или погибну»

За два месяца до смерти, в сентябре 1796 года, Екатерина писала Гримму: «Царствовать или умереть! – вот наш клич. Эти слова надо бы с самого начала выгравировать на нашем щите.

Теперь уже слишком поздно...» Императрица не лукавит, она просто забыла, что этот девиз был выгравирован на ее невидимом щите уже сорок лет тому назад. В письме английскому посланнику Ч. Г. Уильямсу 12 августа 1756 года великая княгиня подробно рассказывала, как она будет действовать в день и час смерти императрицы Елизаветы, если Шуваловы попытаются возвести на престол Павла и устранить от власти ее с мужем. Вспоминая короля Адольфа Фредрика, ограниченного в своих правах ригсдагом, она пишет: «Вина будет на моей стороне, если возьмут верх над нами. Но будьте убеждены, что я не сыграю спокойной и слабой роли шведского короля и что я *буду царствовать или погибну*».

Это было кредо двадцатисемилетней женщины, уже давно мечтавшей о короне. Уильямс был ее самым близким политическим приятелем, он постоянно снабжал великую княгиню деньгами, и в письмах к нему она откровенно раскрывала все свои планы по будущему захвату власти. Детали их теперь уже не так важны и интересны, ценнее другое – письма к Уильямсу показывают нам ту Екатерину, которой нет в ее мемуарах и трогательных рассказах о ненавязчивой агитации среди старушек петербургских салонов. Здесь она предстает в новом облики: цинична, расчетлива, смела, готова на многое ради власти и безмерно честолюбива. Читая эти письма, вспоминаешь одно ее шутовское признание принцу де Линю, которое она сделала при виде своего мраморного бюста в Эрмитаже: «Я не могу пройти мимо него без того, чтобы у меня не расшевелилась желчь. В выражении его... что-то нахальное, именно то, что плохие живописцы и скульпторы называют величественным видом». Вот нахальством-то и веет от писем великой княгини к английскому посланнику. Впрочем, может быть, без этого свойства ничего в политике и не достигнешь?

Дебют Екатерины-заговорщицы оказался крайне неудачным: Елизавета поправилась, сговор Бестужева и Екатерины был раскрыт, и хотя следователям ничего не удалось раскопать о проектах старого канцлера и молодой предприимчивой дамы (Бестужев, к счастью для себя самого и Екатерины, успел уничтожить их переписку), дела обоих пошли как никогда плохо. Весной 1758 года Бестужев был лишен должности и сослан в деревню, сочувствовавший заговорщикам фельдмаршал Апраксин умер на допросе в августе 1758 года, Понятовский и Уильямс были высланы за границу, а близкий Понятовскому Иван Елагин – в Казанскую губернию. Петр окончательно отвернулся от жены, избегая ее, как чумную.

«Бедная великая княгиня в отчаянии...», «дела великой княгини плохи...» – вот рефрен донесений иностранных дипломатов о Екатерине после падения Бестужева. Несколько месяцев она находилась в совершенной изоляции, фактически под домашним арестом, на грани истерики, писала императрице, прося доставить ей «неизреченное благополучие увидеть очи Вашего императорского величества». Но Елизавета молчала. Вконец отчаявшись, Екатерина прикинулась умирающей, духовник исповедовал ее... Уловка удалась, аудиенция в виде беспроточного допроса все-таки состоялась, и Екатерина сумела,

мобилизовав весь свой ум и всю волю, оправдаться перед высоким следователем, растопив сердце императрицы просьбой отправить ее в Германию к матери, если здесь, в России, ей совершенно не доверяют и держат за преступницу. Это был сильный ход, и императрица Елизавета на него попала – в мае 1759 года великой княгине было разрешено бывать в обществе. Императрица же после этого эпизода пришла к выводу, что племянник ее дурак, а его жена очень умна.

Опаснейшая угроза для Екатерины миновала, но ей по-прежнему приходилось нелегко: она переживала тяжелую драму расставания со Станиславом Августом, который был вынужден покинуть Россию. «Нетерпеливый человек, – так она называет Понятовского в одном из писем 1758 года к Ивану Елагину, сосланному к тому времени в деревню, – уехал уже месяц тому назад, и скука и горечь моя велика, надежду имею на его возвращение». Но шли месяцы, потом год, другой – Станислав Август не возвращался, да как будто и не делал к этому никаких попыток.

А между тем жить в одиночестве, среди врагов и чужих, так трудно. Но тоска Екатерины постепенно стихает, скука незаметно улетучивается, и в 1760 году у нее появляется новый любовник – красавец, воин, сорвиголова отчаянной смелости: Григорий Григорьевич Орлов, двадцатипятилетний артиллерийский капитан, только что вернувшийся с войны в Пруссии, один из пяти братьев Орловых, известных своими подвигами на поле брани и успехами среди петербургских дам.

Орлов оказался подлинной находкой для Екатерины: за его широкой спиной можно было надежно спрятаться от невзгод жизни. Она обрела счастье в любви к нему – Орлов, настоящий рыцарь, мог за свою возлюбленную пойти в огонь и воду. Важно, что он был не придворный ловелас и повеса, как Салтыков, не иностранец – чужак для русских, как Понятовский, а природный русак, офицер, с которым водил компанию весь Петербург; он имел множество друзей, собутыльников, сослуживцев, его любили как доброго малого, веселого, щедрого – ведь в его распоряжении находились деньги артиллерийского ведомства, которые он, разумеется, тратил не только на изготовление новых артиллерийских фур...

В 2 часа пополудни 25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Петровна. Никаких сюрпризов под конец своей жизни она не приготовила, а мирно простилась с Екатериной и Петром, прося наследника любить маленького сына. Без всяких проблем великий князь стал императором, а великая княгиня – императрицей. Но тревога за будущее не исчезла. Как писал французский дипломат Бретейль, большинство горевали в душе, питая к будущему императору не любовь, но страх и робость, все трепетали и спешили заявить ему свою покорность прежде, чем императрица закроет глаза...

С тех пор как мы расстались с Петром Федоровичем, мало что изменилось. Он стал уже взрослым человеком, в куклы не играл, муштровал теперь не лакеев, а воспитанников Кадетского корпуса и вывезенный из Голштинии отряд; пил довольно сильно, уже не таясь, как прежде, много играл на скрипке и в обществе вел себя так, что все дипломаты в один голос говорили: «Такой император долго на престоле не усидит».

Еще в 1747 году, когда Петру было девятнадцать лет, прусский посланник Финкельштейн провидчески писал Фридриху II, что русский народ так ненавидит великого князя, что тот рискует лишиться короны, даже если она естественно перейдет к нему после смерти императрицы. Когда же в 1761 году Петру исполнилось тридцать три года, француз Лафермиер писал о нем то же самое: «Великий князь представляет поразительный пример

силы природы или, вернее, первых впечатлений детства. Привезенный из Германии тринадцати лет, немедленно отданный в руки русских, воспитанный ими в религии и нравах империи, он и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем другим... Никогда нареченный наследник не пользовался менее народной любовью. Иностранец по рождению, он своим слишком явным предпочтением к немцам то и дело оскорбляет самолюбие народа, и без того в высшей степени исключительного и ревнивого к своей национальности. Мало набожный в своих приемах, он не сумел приобрести доверия духовенства».

Этим сказано все: дальше можно только приводить подробности о том, как новый император заключил невыгодный для России мир с Фридрихом II, как он ради голштинских интересов готовился к войне с Данией, как публично пренебрегал церковной службой и не крестился в церкви, приблизил к себе много немцев, ходил в прусском мундире, ввел в армии столь необходимую, но тягостную для баловней Екатерины строжайшую дисциплину с ежедневными экзерцициями, и так далее... Человек негибкий, упрямый, он шел во всем напролом, не считаясь ни с ропотом за спиной, ни с советами своего кумира Фридриха II и других людей, желавших ему добра.

Английский посланник Кейт, глядя на Петра III, не выдержал и как-то сказал графине Брюс: «Послушайте, да ведь ваш император совсем сумасшедший; не будучи безумным, нельзя поступать так, как он поступает». Нет, Петр III не был ни безумцем, ни глупцом, ни злодеем и не пролил ничьей крови. Он казался каким-то нелепым, странным, случайным на русском троне человеком. Необузданный и взбалмошный, он, приняв во всем объеме безграничную власть, не был в состоянии контролировать события, быть политиком, осознавать себя российским самодержцем.

Фигура Петра III драматична, ему не повезло с судьбой и – главное – со страной. Если бы он остался в Голштинии, то, наверное, прожил бы долгую жизнь и умер бы, оплаканный своими добрыми подданными как примерный герцог. Но он попал в Россию, и за ним упрочилась обидная кличка немца – ненавистника России, любителя муштры, самодура и глупца. Но все же если каждый человек – хозяин своей судьбы, то Петр распорядился ею бездарно: нужно согласиться с Екатериной, как-то написавшей, что первым врагом Петра III был он сам – до такой степени все его действия были неразумны.

Обратимся теперь снова к Екатерине. Пять недель, пока народ прощался с покойной императрицей, она провела в полном трауре возле ее гроба. Она не отходила от усопшей ни на день, не отпугивал ее даже сильный запах тления. Конечно, совсем не скорбь каждое утро гнала Екатерину в затемненный траурный зал – ведь мы знаем, что ее отношения с Елизаветой были весьма натянуты и что именно великая княгиня в письме к Уильямсу с нетерпением повторяла слова Понятовского: «Ох, эта колода! Она просто выводит нас из терпения! Умерла бы она скорее!» Здесь было другое. Как женщина умная, она понимала, что столь продолжительная скорбь не останется незамеченной и принесет ей пользу, ведь рядом кривлялся, болтал с фрейлинами и передразнивал священников ее супруг-император.

Но вместе с тем она не отходила от гроба Елизаветы, как будто боясь расстаться с прошлым, оказаться перед лицом неприятностей, испытаний и горестей, которые неминуемо ждали ее за стенами траурного зала. Все заметили, что имя императрицы даже не было упомянуто в манифесте о восшествии Петра III на престол, что император публично унижал свою царственную супругу, что она, полная идей, знаний, честолюбивых помыслов и стремлений, не получила и тени реальной власти.

Английский посланник Кейт в марте 1762 года писал в Лондон, что влияние императрицы совершенно ничтожно: с нею не только не советуются в государственных делах, но и в частных делах бесполезно рассчитывать на успех, прибегая к ее посредничеству. Французский посланник Бретейль солидарен с коллегой: «Положение императрицы самое отчаянное: ей выказывают полнейшее презрение... Император удвоил внимание к девице Воронцовой. Он назначил ее гофмейстериною. Она живет при дворе и пользуется чрезвычайным почетом. Признаться, странный вкус! Она не отличается умом, а что касается наружности, то она ниже всякой критики. Она походит во всех отношениях на трактирную служанку самой низкой пробы».

Ну, о вкусах не спорят – мы же не видели жену самого Бретейля! Несомненно одно – привязанность Петра к Елизавете Романовне Воронцовой была сильной и глубокой. Именно в этом и заключалась опасность для Екатерины. Фаворитку поддерживал весь влиятельный при дворе клан Воронцовых во главе с ее дядей – канцлером Михаилом Илларионовичем. Петр не только не скрывал своей связи с ней, но и не раз высказывал намерение отставить опостылевшую ему супругу. Слухи о секретной подготовке уютной келейки в Шлиссельбургской крепости, неподалеку от тюрьмы Ивана Антоновича, ползли по столице. В письме барону Остену в июне 1762 года сама Екатерина писала, что Воронцовы замыслили заточить ее в монастырь и посадить на престол рядом с Петром свою родственницу.

В 1766 году в Москве была записана народная песня о царице, которая плачет от одиночества и больше волков, воров и разбойников боится собственного мужа. А тот открыто гуляет с любимой своей фрейлиной, Лизаветой Воронцовой, водит ее «за правую руку, они думают крепку думушку», как бы царицу «срубить-сгубить...»

К прочим несчастьям императрицы добавилась еще и беременность. 11 апреля 1762 года она родила мальчика – сына Орлова (будущего графа Алексея Григорьевича Бобринского) – и новорожденного тотчас тайно увезли из дворца в дом камердинера императрицы Шкурина.

Возвращаясь к донесению Бретейля, все же отметим, что кончается оно вполне оптимистично: «Я полагаю, что императрица, смелость и горячность коей мне известны, решится рано или поздно на крайние меры. У нее есть друзья, которые стараются успокоить ее, но они решатся для нее на все, ежели она того потребует».

Действительно, друзья Екатерины предлагали ей не сидеть сложа руки, а, используя всеобщую ненависть к Петру, свергнуть его, заточить в каземат, чтобы самой править как самодержице или как регентше при малолетнем императоре Павле I. Ситуация начала лета 1762 года этому благоприятствовала: особенно негодовали армия и гвардия – им предстояло вскоре садиться на суда и плыть на войну с Данией, которой российский император хотел отомстить за аннексию в 1702 году части Голштинского герцогства. Эта война была непопулярна, как и прусского покроя мундиры, в которые переодели армию. Екатерина знала, что она не одинока, и верные друзья пойдут за ней без колебаний – стоило только посмотреть на Орлова и его братьев. Она обсуждала вариант переворота и с графом Кириллом Разумовским – влиятельнейшим сановником и шефом Измайловского полка, а также с воспитателем наследника Никитой Паниным. И тот и другой тоже были готовы поддержать Екатерину. Но, как бывает в подобных случаях, решиться на такое отчаянное дело, как переворот, было трудно, требовался повод, толчок, после которого назад возврата нет.

Таким толчком и стал инцидент на торжественном обеде 9 июня 1762 года, когда Петр,

разгневавшись на жену, в присутствии знати, генералитета, дипломатического корпуса крикнул ей через весь стол: «Folle!» – «Дура!» За столько лет жизни рядом с Екатериной Петр так и не понял, что женщин, подобных ей, оскорблять нельзя. С этого дня Екатерина стала внимательнее слушать тех, кто советовал ей действовать решительно и быстро.

Шел июнь, двор переехал за город. Екатерина поселилась в Петергофе, а Петр жил в своем любимом Ораниенбауме. 19 июня императрица приехала туда и в последний раз видела своего мужа живым: она смотрела комедию в маленьком театре Ораниенбаумского дворца, а сам император играл в оркестре на скрипке. Мы никогда не узнаем, о чем размышляла в это время Екатерина. Может быть, видя своего мужа-императора среди оркестрантов, она, вспомнив последние слова римского императора Нерона, подумала: «Какой музыкант пропадает!» После спектакля Екатерина вернулась в Петергоф. Она была готова к своей революции и только ждала известий от Орловых.

28 июня, накануне дня своего тезоименитства (ведь 29 июня – праздник святых Петра и Павла), Петр вместе с канцлером Воронцовым, фельдмаршалом Б. Х. Минихом, возвращенным им из ссылки, прусским посланником, девицей Воронцовой и прочими «ближними» дамами и кавалерами отправился в Петергоф. Прибыв туда, император и его свита увидели, что дворец Монплеизир, в котором жила императрица, пуст, и с удивлением услышали, что она еще в пять часов утра тайно уехала в Петербург. Дамы, почувствовав неладное, заголосили...

Славная революция 28 июня

Фридрих II говорил графу Сегюру по поводу переворота 28 июня 1762 года: «Их заговор был безумен, плохо составлен. Петра III погубило то, что, несмотря на совет храброго Миниха, в нем не оказалось достаточно мужества, он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать». Однако, добавил прусский король, Екатерине «нельзя вменить... ни честь, ни преступление в этом перевороте, она была молода, слаба, иностранка, накануне развода с мужем и своего заточения. Все сделали Орловы... Екатерина еще ничем не могла руководить, она прибегла к помощи желавших ее спасти».

Много справедливого в словах великого короля. Орловы – эти бузотеры, выпивохи и хвастуны в роли заговорщиков – компания, по-видимому, действительно комичная. Они действовали в пользу «матушки» так топорно, что близкие Петру сановники, узнав об особой антигосударственной активности Григория Орлова, приставили к нему соглядатая – С. Перфильева, адъютанта Петра III, которому было поручено выведать у Орлова все его замыслы.

Но все же, не ставя под сомнение ум и опытность Фридриха Великого, скажем, что Россия – не Германия, и перевороты в ней почти всегда удаются. Разве лучше был «составлен» заговор Елизаветы Петровны в 1741 году или заговор против Бирона осенью 1740 года? Все революции безумны, замыслы революционеров алогичны, кажутся неисполнимыми, противоречат реальности, но тем не менее они часто достигают успеха – во всяком случае, в России.

Славная революция 28 июня была подготовлена не столько усилиями отважных Орловых, которые в дружеских застольях с гвардейскими офицерами вели пропаганду и агитацию в пользу Екатерины, а также раздавали по ротам деньги на чарку водки за здоровье государыни (чтоб помнили доброту «матушки»), сколько самим Петром III, который своей безумной политикой так восстановил против себя солдат и офицеров, что им были недовольны все, и для мятежа нужна была только вспышка. Сам же император пребывал в полном благодушии. В ответ на предупреждения Фридриха II о честолюбивых намерениях Екатерины и заговоре в гвардии он писал: «Что касается Ваших забот о моей личной безопасности, то прошу Вас об этом не беспокоиться, солдаты зовут меня отцом, по их словам, они предпочитают повиноваться мужчине, а не женщине; я гуляю один, пешком по улицам Петербурга; ежели бы кто злоумышлял против меня, то давно исполнил бы свое намерение, но я делаю всем добро и уповаю во всем только на Бога, под его защитой мне нечего бояться». Скорее всего Петр не знал русскую пословицу: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Об обстановке накануне выступления говорит эпизод с безымянным преображенским капралом, ставший прологом революции 28 июня. Капрал, по-видимому, опасаясь пропустить историческое событие, ходил от одного офицера к другому и спрашивал: когда же будем свергать императора? Поручик Измайлов прогнал любознательного подчиненного, но все же, для собственной безопасности, доложил о происшедшем своему ротному, тот – выше по начальству; выяснилось, что накануне капрал об этом же спрашивал капитана Пассека и тот тоже выгнал любопытного, но, в отличие от служаки Измайлова, командиру не донес. Недоносительство – преступление в России серьезное, Пассека арестовали и

посадили в холодную на полковом дворе. Он был ближайшим приятелем и собутыльником Орловых, а следовательно, – заговорщиком, и, узнав о его аресте, Орловы заметались по столице: «Пассек арестован! Заговор раскрыт! Пропадаем, надо действовать!» Григорий Орлов из дела был выключен – он спаивал своего соглядатая Перфильева, поэтому «штаб революции» составили его младшие братья: Алексей по кличке Алехан и Федор.

Федор поехал к Кириллу Разумовскому и сказал, что брат Алексей собирается ехать за Екатериной в Петергоф, чтобы доставить ее в Измайловский полк, где много расположенных к императрице офицеров. Разумовский не бегал по кабинету, не суетился, цену Орловым он знал, и поэтому в ответ на горячую речь Федора молча покинул и выпроводил его восвояси. Но как только Орлов ушел, Разумовский, как президент Петербургской Академии наук, тут же распорядился привести академическую типографию в полную готовность, чтобы по первой команде начать печатать манифест о восшествии на престол императрицы Екатерины II. Стало быть, в успехе предприятия хитрый президент не сомневался...

«Пора вставать, все готово, чтобы провозгласить вас!» – таковы были исторические слова, которыми Алексей Орлов рано утром 28 июня приветствовал в Монплеzure внезапно разбуженную Екатерину. Она тотчас встала, быстро оделась и вместе со своей фрейлиной Екатериной Шаргородской села в карету. Орлов вскочил на козлы – и лошади поскакали... Фридрих II не ошибся: Екатерина действительно не руководила заговором – в этом не было необходимости, у нее была своя роль, и она сыграла ее отлично. Роль была проста: народ, возмущенный правлением Петра III, позвал ее – и она пришла.

Так, собственно, и говорилось в извещении Коллегии иностранных дел посланникам, аккредитованным при русском дворе: «Ее императорское величество по единодушному желанию и усиленным просьбам своих верных подданных и истинных патриотов империи» взойшла на престол. Но все же нужно признать, что Екатерина проявила мужество. Самообладанием, волей и хладнокровием в тяжелые минуты жизни она отличалась всегда. Она была спокойна, когда однажды во время поездки на юг кони испугались и понесли ее карету под гору; в другой раз Екатерина, к удивлению свиты, не вышла из своей каюты на палубу яхты, когда та ночью столкнулась с другим судном. Утром она объяснила придворным причину своего спокойствия: «Если опасность, то ничем не помогу, а только помешаю, а если нужно думать о спасении, то вы меня, конечно, уведомите».

То же самое было и 28 июня 1762 года, когда взмыленные кони мчали ее карету по пыльной петергофской дороге к Петербургу. Екатерина летела навстречу своей судьбе со спокойным чувством оптимистичной фаталистки: назад хода нет, кони понесли, верные люди в беде не бросят – и будь что будет: Бог не выдаст, свинья не съест! Известно, что по дороге она хохотала, потешаясь над Шаргородской, которая впопыхах при сборах оставила в Монплеzure какую-то очень-очень важную деталь женского туалета. Какую – история деликатно замалчивает.

Алехан кучером был отменным – от Петергофа до Красного кабачка в Автово он доставил императрицу за полтора часа и бережно передал ее, как ценную эстафету, брату Григорию, который, перепив-таки Перфильева, поджидал карету вместе с князем Федором Барятинским. С ними была открытая коляска, в которую и пересадили Екатерину. Этот дрянной старый экипаж стал колесницей славы Екатерины Великой, и место бы ему в музее возле броневика «Враг капитала», с которого выступал в 1917 году Ленин, да жаль, не сохранился.

У слободы Измайловского полка коляску окружили измайловцы, оглушительно крича здравицы «магушке». Тут же полковой поп привел солдат и офицеров к присяге, и во главе со своим командиром графом Разумовским измайловцы двинулись вслед за коляской к казармам Семеновского полка, откуда уже бежали обрадованные нежданной встречей с «магушкой» семеновцы. Вскоре к ним присоединились преображенцы, прося прощения за опоздание: пришлось вязать некоторых непослушных офицеров. При выезде на Невский проспект императрицу приветствовала в полном составе конная гвардия, блистающая латами и оружием, с развернутым знаменем. Все кричали «ура!», отовсюду бежал народ: это был не переворот, а триумфальное шествие, демонстрация победителей. На некоторое время Екатерина остановилась у церкви Рождества Богородицы для богослужения, а потом двинулась дальше. Народ был уже весело возбужден: кабатчики бесплатно, без единого слова возражения выдавали всем желающим, «прямым сынам Отечества», горячительное. «Сынов» становилось все больше и больше – Невский был запружен толпами, и коляска Екатерины с трудом продвигалась вперед. Наконец показался Зимний дворец. Там императрицу уже ждало все «государство» – Сенат, Синод, высшие чиновники, придворные, чтобы присягнуть на верность своей новой государыне.

Энтузиазм был так велик, что прямо на Дворцовую площадь доставили фуры с отмененным Петром III елизаветинским обмундированием, и солдаты, не стесняясь дам, тут же начали переодеваться, бросая наземь ненавистные прусские мундиры. После короткого отдыха и совещания с доверенными лицами было решено кончать дело. Екатерина написала указ на имя Сената о том, что выступает в поход со своим войском. Конечным пунктом был Ораниенбаум, а противником – бывший уже император Петр III и его голштинцы. Трудно вспомнить в истории нечто подобное – войну жены против мужа. Екатерина переделалась в зеленый мундир Преображенского полка: лихо заломлена треуголка, на боку шпага, темляк, который вовремя подал проворный одноглазый унтер-офицер Григорий Потемкин, отличный конь под седлом, ну а какой наездницей она была, мы уже знаем!

Выступили в десять часов пополудни. Стоял теплый солнечный вечер. Зрелище было, по-видимому, потрясающее: блеск оружия, стройные ряды гвардейских полков, знамена, толпы вдоль улиц, а впереди, на гордом коне, со шпагой в руке – прекрасная амазонка-императрица... Но лучше всех об этом сказал великий Державин, заменив ради красного поэтического словца треуголку шлемом с перьями и добавив Екатерине доспехов:

*Одень в доспехи, в брони златы
И в мужество ея красы,
Чтоб шлем блистал на ней пернатый,
Зефиры веяли власы,
Чтоб конь под ней главой крутился
И бурно бразды опенял,
Чтоб Норд седой ей удивился
И обладать собой избрал.*

Ропшинская драма

Петр III со свитой прибыл в Петергоф в 2 часа дня, то есть в тот момент, когда в Петербурге Екатерина открыла совещание высших сановников, на котором решали вопрос о судьбе свергнутого императора. В 3 часа Петр узнал от вернувшегося из столицы поручика Бернгорста о волнении в Преображенском полку. Нельзя сказать, что Петр вел себя как ребенок: он сразу направил указ в Кронштадт, чтобы немедленно прислали в Петергоф три тысячи солдат; такой же указ получили и негвардейские полки, стоявшие в столице, – Астраханский и Ингерманландский. Им он приказал срочно маршировать в Ораниенбаум. В случае успеха замысла Петра и его окружения поход Екатерины с веселыми гвардейцами мог бы закончиться не так триумфально, как он начался.

Миних предложил свой план: императору явиться в Петербург и своим грозным видом усмирить бунт, подобно Петру Великому, расстроившему замыслы стрельцов. Но, увы, внук Петра Великого был лишь жалкой тенью своего гениального деда. Нерешительный и трусливый, он ударился в панику, начал метаться и отменять только что принятые указы. У него еще оставалась возможность бежать как в Лифляндию или Нарву, где стояли готовые к отправке в Данию полки, так и за границу. Он мог уплыть на яхте и в Финляндию, и в Швецию. Но Петр этого не сделал – отчасти потому, что сразу же оказался в изоляции: посылаемые им во все стороны гонцы не возвращались (либо их задерживали сторонники Екатерины, либо они сами перебежали к победительнице), поэтому император не мог понять, что все-таки происходит в Петербурге.

Екатерина оказалась явно проворнее своего супруга. Она сразу же послала указы по направлениям возможного бегства Петра с требованием воспрепятствовать этому всеми силами. В итоге Петр упустил время, и когда он сел на галеру и подошел к кронштадтской гавани, вход в нее был уже перекрыт бонами и караульный мичман Михаил Кожухов в ответ на приказ императора пропустить его, Петра III, в гавань, прокричал, что теперь уже нет Петра III, а есть только Екатерина II. Это означало, что эмиссары Екатерины успели в Кронштадт раньше, чем люди Петра. Выход в открытое море также был перекрыт вооруженным кораблем. И тут Петр сник и прекратил всякие попытки бороться. Он вернулся в Ораниенбаум и повел себя именно так, как и сказал об этом Фридрих II, – позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого отправляют спать.

Когда утром 29 июня войска подошли к Стрельне, Екатерина получила письмо Петра, в котором он просил у жены прощения за обиды и обещал исправиться. Она ничего не ответила мужу, и поход продолжался. В Петергофе посланник Петра передал императрице вторую, написанную карандашом записку, в которой Петр обещал отказаться от престола в обмен на небольшую пенсию, голштинский трон и фрейлину Воронцову. Недорого же оценил внук Петра Великого Российскую империю – дедушкино наследство!

Екатерина на этот раз откликнулась и потребовала, чтобы он письменно подтвердил свое отречение от престола. К обеду Григорий Орлов привез из Ораниенбаума в Петергоф собственноручное отречение Петра III, а следом – и самого бывшего императора вместе с Воронцовой. В Петергофе их сразу же разлучили, уже навсегда. И вечером того же дня Алексей Орлов, капитан Петр Пассек и князь Федор Барятинский увезли Петра в Ропшу. Предполагалось, что пленник проживет там несколько дней, пока не приготовят покои в

Шлиссельбурге. Чтобы на одном маленьком острове не оказались сразу два бывших императора, тамошнего узника, Ивана Антоновича, решили срочно вывезти севернее, в крепость Кексгольм. Чем это закончилось, читатель помнит.

Полки вернулись в столицу, и 30 июня – воскресенье – стало днем всеобщего ликования и пьянства. Но императрице было не до веселья. Нужно было взять под контроль всю страну, нужно было думать о будущем. Самой острой была проблема Петра III – будущего пожизненного узника и, соответственно, страдальца (пример Ивана Антоновича, который, по народной молве, пострадал за «истинную» православную веру, был у всех на устах). Договориться с Петром было невозможно. Он вел себя по-детски капризно, наивно, не понимая ситуации, в которой оказался. Даже письма, которые он послал жене 29 июня, написаны каким-то неустоявшимся, детским почерком.

В первом он писал: «Ваше Величество, если Вы решительно не хотите уморить человека, который уже довольно несчастлив, то сжальтесь надо мною и оставьте мне мое единственное утешение, которое есть Елизавета Романовна. Этим Вы сделаете одно из величайших милостивых дел Вашего царствования. Впрочем, если бы Ваше величество захотели на минуту увидеть меня, то это было бы верхом моих желаний. Ваш нижайший слуга Петр».

Следом он шлет другую записку: «Я еще прошу меня, которой Вашей волею исполнял во всем, отпустить в чужие края с теми, которых я Вашему Величеству прежде просил, и надеюсь на Ваше великодушие, что Вы меня не оставите без пропитания». Повторение просьбы возратить ему подругу, глубоко ненавистную императрице, разрешить уехать с ней в Голштинию и обеспечить «пропитанием», говорило о том, что наивность Петра, как ни жаль нам его по-человечески, должна все же называться иначе. Представить себе ход мыслей Екатерины, узурпировавшей власть законного императора, внука Петра Великого, он абсолютно не может, как не может предусмотреть и возможных внутренних и международных последствий своей эмиграции в Голштинию. Даже пример Ивана Антоновича, которого Елизавета не выпустила за границу и заточила пожизненно только за то, что он в годовалом возрасте был императором, ему на ум не приходит.

30 июня доставили еще одно письмо Петра. Он капризничал: комната мала и ему негде прохаживаться, а он, как известно, любит это занятие. Кроме того, караульный офицер не выходит, пока узник справляет нужду. Заканчивал это письмо он так: «Ваше Величество может быть во мне уверенною: я не подумаю и не сделаю ничего против Вашей особы и против Вашего царствования». Нет, верить такому человеку, как Петр, Екатерина не могла. Ей надо было думать, что же делать дальше...

У нас нет никаких данных, чтобы утверждать, что Екатерина дала негласный приказ убить Петра. Но есть все основания считать, что она и не предупредила эту трагедию, хотя сделать это могла. Письма Алексея Орлова из Ропши от 2 и 6 июля 1762 года – этому свидетельства.

2 июля Орлов писал: «Матушка, милостивая государыня, здравствовать Вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь... благополучны. Только наш (арестант, Петр. – Е. А.) очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаясь, чтоб не ожил». И далее Алехан поясняет, в чем опасность выздоровления бывшего императора: «Первая опасность – для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнее состояние быть» (то есть

вернуть власть).

В том-то и крылись истоки будущей трагедии: Петра охраняли те, кто был непосредственно замешан в заговоре и свержении императора – тягчайшем государственном преступлении, причем Алексей Орлов был одним из руководителей всего дела. И эти люди, естественно, были заинтересованы в том, чтобы избежать возможной суровой ответственности. Достичь этого они могли только новым преступлением – убийством бывшего императора. Екатерина не могла этого не понимать. Письмо Орлова от 2 июля, то есть еще за четыре дня до убийства, более чем откровенно, и тем не менее императрица промолчала, тюремщиков в Ропше не поменяла, оставила все как есть. Теперь о здоровье Петра. Действительно, с 30 июня он прихворнул – сказалось нервное потрясение. Но прибывшие 3 и 4 июля врачи констатировали улучшение состояния больного.

6 июля Алехан прислал императрице еще два письма. В первом говорилось: «Матушка наша, милостивая государыня. Не знаю, что теперь начать. Боюсь гнева от Вашего Величества, чтоб Вы чего на нас неистового подумать не изволили и чтоб мы не были причиною смерти злодея Вашего и всей России, также и закона нашего. А теперь и тот приставленный к нему для услуги лакей Маслов занемог, а он (то есть Петр. – Е. А.) сам теперь так болен, что не думаю, чтоб дожил до вечера и почти совсем уже в беспмятстве, о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорее с наших рук убрался. А оный же Маслов и посланный офицер может Вашему величеству донести, в каком он состоянии теперь, ежели Вы обо мне усумниться изволите».

Дело неумолимо близится к развязке: утром вдруг «занемог» лакей Петра III Маслов, но его тем не менее привезли в Петербург, чтобы он подтвердил, как внезапно и сильно заболел его господин. Подозрительно, что Орлов – небольшой специалист по медицинской части – сам поставил «диагноз»: больной до вечера не доживет. Этот «диагноз» больше похож на приговор.

Так и случилось – около 6 часов вечера пришло знаменитое письмо Орлова, написанное пьяными слезами и невинной кровью: «Матушка, милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не милуешь. Матушка, Его нет на свете! Но никто сего не думал и как нам задумать поднять руку на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором (Барятинским. – Е. А.), не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй, хоть для брата (то есть фаворита Григория. – Е. А.)! Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек». Часть историков ставит под сомнение достоверность этого письма Орлова. Но если даже допустить, что оно было позже сфальсифицировано врагами Орловых, то упомянутые раньше другие письма Орлова свидетельствуют о готовящейся развязке.

Убийство совершилось. При каких обстоятельствах – не знает никто. Неслучайно Орлов просит не назначать расследования, так как «принес повинную». Никакого расследования и не проводилось. Иначе пришлось бы как-то объяснять противоречия в двух письмах Орлова за 6 июля: в первом говорится, что Петр смертельно болен и «почти совсем уже в беспмятстве», а во втором – что этот, казалось бы, безнадежный больной как ни в чем не бывало пил со своими тюремщиками, вступил за столом в спор, а потом и в драку с

Барятинским... Екатерина эти белые нитки прекрасно видела, но она мыслила уже другими категориями: ей был важен конечный результат, и она его получила – Петр был мертв, проблемы больше не существовало...

Публично было объявлено, что бывший император скончался «от геморроидальных колик». Доверчивый французский посол граф Мерси д'Аржанто описывал происшедшее в Ропше как раблезианскую историю: низложенный император был до того неумерен в еде и питье, что заболел сильнейшей резью в желудке, но продолжал пить, и необычайное количество пищи и всякого рода крепких напитков произвели воспаление, от которого он через 24 часа и скончался. Одним словом – умер от ожорства! Ропша существует и до сих пор. Запущен и дик парк, заброшен и погибает загаженный дворец. Проклятое место преступления. Имена тех, кто его совершил и погубил свои бессмертные души, известны. Правда, Орлов пишет Екатерине: «Все до единого виноваты». На это нужно обратить внимание: мы знаем, как убили сына Петра III – императора Павла I в 1801 году. Все набросились сворой, каждый нанес удар, чтобы не было чистеньких, и какой удар стал смертельным – не знает никто.

Историки называют ропшинскую свору поименно: граф Алексей Григорьевич Орлов, князь Федор Сергеевич Барятинский – оба убийцы без сомнения; лейб-медик Карл Федорович Крузе, капрал Григорий Александрович Потемкин, Григорий Никитич Орлов, основатель русского театра Федор Григорьевич Волков... Всего 14 человек. Нет, не все! Справедливость требует прибавить еще одно имя: Екатерина II.

Тяжесть царского венца

Когда в 1763 году, накануне коронации, придворный ювелир И. Позье изготовил большую императорскую корону, ныне хранящуюся в Оружейной палате как величайшее достояние России, то выяснилось, что она получилась весьма тяжелой – целых пять фунтов. Но Екатерина осталась ею довольна и сказала ювелиру, что в течение четырех или пяти часов во время церемонии как-нибудь продержит на голове эту тяжесть. И действительно, она продержала «эту тяжесть» не только четыре-пять часов коронации в Успенском соборе Кремля, но и еще тридцать четыре года – столько длилось ее царствование.

Как тяжел царский венец, она почувствовала уже в первый день своего правления, когда ей пришлось решать судьбу мужа. Этот день и все остальные дни, месяцы и годы царствования показали ей, что между очень амбициозной и честолюбивой, но безвластной великой княгиней и обремененной властью императрицей – дистанция гигантская. Пройдя ее за один день 28 июня 1762 года, Екатерина поняла, что ей придется поступать совсем не так, как она мечтала, читая Монтескье и мадам Севинье.

Мир человека, оказавшегося на вершине власти, становится другим, взгляды властителя определяются иными, чем у частного человека, критериями: стремлением удержать власть, соображениями политической целесообразности, сознанием огромной ответственности за судьбу династии, империи, нации и многими другими обстоятельствами, с которыми так мало знаком частный человек. «*Le terrible metier*» – «Ужасное ремесло мое», – так напишет Екатерина в начале 1763 года своей корреспондентке, госпоже Жоффрен. Чуть позже она скажет Сегюру: «В глазах самых строгих к себе государей политика редко подчиняется нравственным законам, польза руководит их действиями».

В первые месяцы и годы правления положение Екатерины было весьма уязвимым. В самом деле: она совершила государственный переворот, свергла законного императора, по завещанию и родству абсолютно бесспорного наследника своей тетки императрицы Елизаветы Петровны. «Пойдя навстречу пожеланиям народа», Екатерина стала пленницей этого народа, точнее – своего окружения и гвардии. Осенью 1762 года она писала Понятовскому в Польшу: «Я должна вести себя весьма осторожно, и последний гвардейский солдат, видя меня, говорит про себя: это дело моих рук!»

Не последний же солдат не только так думал, но и говорил, и требовал. Даже огромные пожалования и награды не успокоили наиболее жадных и нахальных из «героев революции». Бретейль писал в конце 1762 года: «Любопытно наблюдать, как в дни приемов при дворе императрица делает все возможное, чтобы понравиться своим подданным, как свободно держится большинство из них и с какой настойчивостью они обращаются к ней, говоря о своих делах и излагая свои проекты... [Она] принимает все это с удивительной кротостью и любезностью. Чего это стоит ей и до какой степени она должна считать подобный образ действий для себя обязательным, чтобы ему подчиняться!»

Далее он рассказывал о горячем споре, который тут же на приеме вел с императрицей бывший «пьянее вина» А. П. Бестужев-Рюмин, возвращенный ею из ссылки. Потом Екатерина подошла к Бретейлю и спросила, видел ли он когда-нибудь травлю зайца? На его утвердительный ответ она заметила: «Вы должны признать, что нечто подобное происходит со мною, так как меня всюду преследуют и загоняют, несмотря на все мое старание

избежать разговоров, которые не всегда имеют в основе здравый смысл и честность убеждений». Позже она добавила, что «ей приходится управлять людьми, которых нет возможности удовлетворить».

Вырваться из пьяных объятий «героев революции 28 июня» было непросто – императрица и «герои» были теперь тесно связаны общей судьбой, к тому же гвардейцы впервые после 1741 года снова почувствовали свою силу, право возводить и свергать царей. Императрица зависела от них еще и потому, что у нее поначалу не было иной опоры в обществе, кроме гвардии. Бретейль пронизательно заметил: боязнь утратить все то, чего ей удалось достичь, так явно проглядывала во всех поступках императрицы, что всякий мало-мальски влиятельный человек чувствовал перед ней свою силу. Но Екатерина не отчаивалась и, как некогда при Елизавете, так и после переворота 1762 года, начала борьбу за свою свободу, а точнее – за свое реальное и полное самодержавие. При этом нельзя было никого обидеть, а тем более прогнать, нужно было быть хитрой, терпеливой и настойчивой.

Бретейль, внимательно наблюдавший за Екатериной в первые месяцы ее царствования, заметил целую гамму чувств, ею владевших. Здесь было ощущение невероятного счастья от мысли, что она – *императрица*. Не стесняясь насмешливого взгляда французского посла, Екатерина повторила раз тридцать: «Такая большая, такая могущественная империя, как моя». Она много говорила о своих прежних честолюбивых видах и о том, как удачно они осуществились в настоящее время. Вместе с тем, как писал посланник, она обнаруживала слабость и нерешительность – черты, совершенно не свойственные ее характеру. Конечно, Екатерина была начинающей властительницей, не имела никакого опыта на этом поприще, перед ней только начали открываться тайные пружины большой политики, но она, как человек умный, уже поняла грандиозность проблем, которые ей предстояло решать. И в душу закрадывался холодок страха и непривычного ей смущения: хватит ли сил, удержусь ли, смогу ли? Достаточно было пройти вдоль разложенной на полу огромной ландкарты и увидеть те места, откуда, как говорил один из гоголевских героев, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь, – так велика была Россия!

Как женщина с воображением, Екатерина замирала с непривычки перед этим океаном, космосом, бездной. Потом она, конечно, привыкла к той высоте, на которую вознесла ее судьба, но и много лет спустя она говорила Потемкину: «Россия велика сама по себе, а я что ни делаю, подобно капле, падающей в море». В начале же пути ей было страшно. Кичась своей удачей и прелестью своего положения, императрица, однако, как-то призналась Бретейлю, что ее жизнь полна тревоги: «у нее кругом идет голова от сознания, что она императрица, тем не менее, она смущена и взволнована».

Любопытно читать политические записки Екатерины, которые написаны не позже лета 1761 года, то есть примерно за год до ее вступления на престол. Эти записки можно смело назвать политическими мечтаниями человека, начитавшегося прекрасных книг, далекого от реальной политики, но исполненного глубочайшего желания творить на троне добро и одно только добро, уничтожить в России деспотизм, освободить крепостных от неволи и т. д. «Liberte, ame de tout, sans vous tout est mort!» – «Свобода, ты душа всего, без тебя все мертво!» – так начинается одна из заметок. «Хочу повиновения законам, но не рабов; хочу общей цели – сделать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества, не жесткости, которые не совместны с нею». «Власть без доверенности народа ничего не значит». «Необходимо, чтобы были обязаны вам, а не вашим любимцам». «Желаю ввести [порядок], чтобы из лести высказывали мне правду». «Противно христианской вере и справедливости делать

невольниками людей. Они все рождаются свободными». И таких неисполненных призывов-лозунгов в записках немало.

В жизни же все оказалось иначе, во много раз сложнее, противоречивее и подлее, чем об этом писали европейские мыслители – учителя Екатерины. Она сразу же отказалась от попыток провести в стране малейшие политические реформы. После восшествия на престол Екатерина получила проект Никиты Панина о создании Государственного совета и преобразовании Сената. Проект клонился к созданию высшего представительного органа в России. Вначале Екатерина одобрила его, но вскоре передумала, направив все усилия реформаторов не на политические, а на административные реформы, которые должны были совершенствовать машину самодержавной власти. И в этом она стала великим реформатором. Как и ее предшественники и потомки, Екатерина, подобно Кассее, хранившему яйцо с иглой своего бессмертия, ревниво оберегала незыблемость самодержавия. Из тех же намерений она исходила и в социальной политике. Самодержавие должно опираться на дворянство, которому нужно предоставлять все новые и новые привилегии, – вот ее доктрина с первых дней царствования. Это было прямым и непосредственным продолжением курса предшественников Екатерины, не читавших ни Вольтера, ни Монтескье.

«Шлиссельбургская нелепа»

В самом начале июля 1762 года фельдмаршал Миних мрачно пошутил, что ему еще не доводилось жить одновременно при трех государях: один сидит в Ропше, другой – в Шлиссельбурге, и, наконец, третья – в Зимнем. 6 июля фельдмаршалу стало легче, теперь он жил, как уже привык за двадцать один год, при двух императорах. Существование узника-императора Ивана Антоновича не доставляло радости ни Елизавете Петровне, ни Петру III, ни Екатерине. По стране ползли слухи о «несчастном Иванушке», якобы пострадавшем за «истинную веру», много говорили и о его законных правах на престол, который он получил из рук императрицы Анны Ивановны. В первый же год своего царствования Екатерина столкнулась с заговорами, участники которых выражали симпатии Ивану Антоновичу и даже предлагали женить его на императрице – ведь в его жилах текла кровь Романовых. О симпатиях к заточенному в тюрьме «Иванушке» говорили и многочисленные подметные письма, которые находили в Петербурге. Императрица, движимая беспокойством и интересом к русской «железной маске», летом 1762 года посетила Шлиссельбург и видела там Ивана Антоновича. В манифесте о смерти Ивана VI, составленном самой императрицей 17 августа 1764 года, она описывает этот свой визит и сообщает, что приехала в тюрьму исключительно для того, чтобы увидеть принца и, «узнав его душевные свойства, и жизнь ему, по природным ему качествам и воспитанию... определить спокойную». Но ее постигла полная неудача, она убедилась, что никакой помощи несчастному оказать невозможно, для него, утратившего рассудок, нет ничего лучшего, как остаться в каземате. Уезжая из Шлиссельбурга, пишет Екатерина, она определила к заключенному надежный караул, чтобы кто-нибудь из злоумышленников «для своих каких-либо видов не покусился иногда его обеспокоить или... мятеж произвести». И далее рассказывается, как караульные офицеры Власьев и Чекин под угрозой неминуемой смерти от рук Мировича, а также во избежание ответственности перед законом в случае передачи арестанта в руки бунтовщиков «приняли между собой крайнюю резолюцию» – умертвить принца Ивана.

Указ этот умалчивает о том, что охранники действовали строго по секретной инструкции, данной Екатериной. В ней было сказано прямо, что при попытке освободить Ивана они обязаны «арестанта умертвить, а живого его никому в руки не отдавать». Немаловажно и то, что Екатерина, движимая гуманной целью облегчить жизнь знатного узника, тем не менее, этого не сделала и после своего визита оставила его по-прежнему жить в ужасных условиях заточения в сыром, темном помещении, под присмотром грубой охраны, и запретила в случае болезни Ивана показывать его врачу. Вероятно, узник такого ранга мог рассчитывать на лучшее содержание.

Как я уже пытался доказать, Иван не был сумасшедшим, психически больным. Все это приводит к мысли, что трагедия, разыгравшаяся в ночь с 4 на 5 июля 1764 года, была как будто заранее подготовлена опытной режиссерской рукой, расставившей всех участников драмы по своим местам и определившей их роли на каждый момент действия. Или, по крайней мере, все обстоятельства складывались таким роковым образом, что иного результата быть не могло. Правда, долго не было главного исполнителя. И вот он появился – нервный, обиженный, честолюбивый юноша, мечтавший о восстановлении справедливости, о возвращении денег и владений, которые были отобраны у его предков. Когда он обратился

за помощью к своему влиятельному земляку гетману Кириллу Разумовскому, то получил от него не деньги, а совет: «Ты – молодой человек: сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим, старайся схватить фортуна за чуб, и будешь таким же паном, как и другие». А как делали другие, он сам видел 28 июня 1762 года, когда легко, быстро, бескровно свершилась екатерининская революция.

Одним словом, толкнуть на авантюру такого человека, как Мирович, было нетрудно. Некоторые историки прямо утверждают, что это и сделала Екатерина. Доказательств на сей счет нет, но многие говорят, что перед казнью нервный Мирович вел себя необыкновенно спокойно, будто был уверен, что в последний момент его помилуют. Этого не произошло. Примечательны еще два обстоятельства.

Во-первых, сохранились письма ведавшего, по поручению императрицы, этим делом графа Никиты Панина к Власьеву и Чекину. В первом письме от 10 августа 1763 года Панин, в ответ на настойчивые просьбы охранников освободить их от тягостной работы, пишет: «Извольте взять еще некоторое терпение и будьте благонадежны, что ваша служба... забыта не будет, а при том уверяю вас, что ваша комиссия для вас скоро оканчивается и вы без воздаяния не останетесь». В письме от 28 декабря того же года он, посылая каждому из них по тысяче рублей (сумма огромная по тем временам), вновь уговаривает потерпеть: «Оное ваше разрешение [от службы] не дале до первых летних месяцев продлиться может». Что имел в виду Никита Иванович, говоря о грядущем освобождении охранников от их дела, мы наверняка не знаем...

Во-вторых, когда началось следствие по делу Мировича, императрица категорически запретила его пытаться, что было процедурой обычной в делах о государственном преступлении. Не позволила Екатерина привлечь к следствию и брата Мировича, употребив пришедшуюся тут весьма кстати пословицу: «Брат мой, а ум – свой». В правильности таких пословиц политический сыск всегда сомневался – и не из недоверия к родственникам преступника, а на основании законов о расследовании государственных преступлений. Может быть, это свидетельствует о гуманизме царицы, а может быть... о ее нежелании, чтобы Мирович под пыткой сказал нечто для нее неприятное.

Реакция Панина и Екатерины на происшедшую в Шлиссельбурге трагедию была если не радостной, то приподнятой. Панин, сообщив императрице о случившемся, писал, что дело решилось «благополучно, Божиим чудным промыслом». В том же духе отвечает и Екатерина: «Провидение оказало мне очевидный знак своей милости, придав конец этому предприятию». Уж кто-кто, а Екатерина всегда руководствовалась золотым правилом: «На Бога надейся, да сам не плошай!»

Впрочем, не будем подозрительны: ведь действительно звезды могли расположиться для Екатерины так благополучно, что прошло всего два года, как два ее конкурента отправились к праотцам: один умер в Ропше от «геморроидальных колик», а другой погиб при неожиданной попытке некоего авантюриста захватить секретного узника...

«Я работаю как лошадь»

Чтобы стать той великой императрицей, которую знает история, Екатерине пришлось необыкновенно много учиться и еще больше трудиться, преодолевая вязкую рутину скучных, рядовых дел. После Петра Великого не было на русском престоле другого такого упорного труженика, как она. «Я встаю, – рассказывает Екатерина о своем дне госпоже Жоффрен в 1764 году, – аккуратно в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8, потом приходят мне читать разные дела. Всякий, кому нужно говорить со мною, входит поочередно один за другим. Так продолжается до 11 часов и долее. Потом я одеваюсь. По воскресеньям и праздникам иду к обедне, в другие же дни выхожу в приемную залу, где обыкновенно дожидается меня множество людей. Поговорив полчаса или 3/4 часа, я сажусь за стол. По выходе из-за стола является несносный генерал (И. И. Бецкой. – Е. А.), чтобы читать мне наставления: он берет книгу, а я свою работу (вязанье. – Е. А.). Чтение наше, если не прерывают пакеты с письмами и другие помехи, длится до 5 часов с половиною. Тогда отправляюсь в театр или играю, или болтаю с кем случится до ужина, который кончается ранее 11 часов. Затем я ложусь и на другой день повторяется то же самое, как по нотам». Здесь Екатерина не говорит, что, проснувшись, она выпивала чашку крепчайшего восточного кофе (фунт кофе на 5 чашек!) с густыми сливками, что, как правило, утро отводилось самой серьезной работе – сочинениям, редактуре законов и различных государственных актов, а послеобеденное время – «маранью писем» многочисленным адресатам за рубежом.



Портрет Екатерины II в шапке

К этому нужно добавить, что утром шла напряженная работа с секретарями, каждый из которых имел на неделе свой день доклада. После десяти часов, пока императрицу одевали и причесывали, она выслушивала доклады генерал-прокурора Сената, подробные рапорты генерал-полицмейстера Петербурга, который сообщал о настроениях общества, передавал важнейшие городские сплетни и слухи. Дел было много, и они шли непрерывной чередой: «Я работаю как лошадь», – писала в 1788 году императрица.

Как и прежде, без книги она не жила ни одного дня, продолжая домашние университеты своей молодости. «Да, милостивый государь, – писала она Гримму 7 декабря 1779 года о только что прочитанной книге Ж. Л. Бюффона „Естественная история“, – эта книга опять поддала мне мозгу». В том же письме Екатерина сообщала адресату: «Вы говорите, что, судя

по лицу, императрица все та же. У нее нет своей минуты. Двадцати четырех часов ей мало. Она много пишет и читает, все ей некогда, работает без перерыва и все-таки меньше, чем хотела. Огромные кипы занимают три полки».

Трудолюбие императрицы – это довольно редкое для тогдашних государей качество – вызывало всеобщее уважение. Фридрих II с завистью говорил об этой черте Екатерины, видя в ней живой укор монархам-бездельникам: «Во Франции четыре министра не работают столько, сколько эта женщина, которую следует зачислить в ряды великих людей». Каждый образованный россиянин знал посвященное Екатерине стихотворение «Фелица» Гаврилы Державина, в котором поэт восхищался непрерывными трудами императрицы на благо России:

*Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь;
Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра.*

Как и большинство великих людей, Екатерина была явной графоманкой. В данном случае в этот термин я не вкладываю уничижительного значения, а хочу лишь подчеркнуть непреодолимое желание человека изливать свои мысли на бумаге, творить с пером в руке. «Я не могу видеть равнодушно нового пера: тотчас же начинаю улыбаться и чувствую сильное искушение употребить его в дело»; «Но когда [я] увидела на столе довольно чистую чернильницу, отличное перо и белую бумагу, то не могла устоять против бумагомарателя. Вот и пословица гласит: „Не клади плохо, не вводи вора в грех“»; «Чувствую, что мною владеет демон бумагомарания» (из писем 1770-х годов).

Каждый пишущий это вполне оценит: императрица испытывала ни с чем не сравнимую радость творчества, когда появляются силы свободно парить над материалом, гладко и точно выражать свои мысли, когда одна идея спешит за другой и растет-растет, к твоему ужасу и восторгу, стопа исписанной бумаги, и не хватает времени, ибо «ничего не кончено, многое перебелено, многое в половине, один предмет цепляется за другой, несметные запасы собраны отовсюду и готовы поступить в дело» (письмо к Гримму от 7 декабря 1779 года).

После создания знаменитого «Наказа» для Уложенной комиссии 1767 года законотворчество стало любимейшим делом Екатерины. Она называла эту страсть болезнью «законобесия», припадки которой регулярно поражали императрицу и подолгу не давали ей встать из-за стола, заставляя притворно восклицать: «О, бедная женщина! Или умрет, или доведет свой труд до конца». В своих письмах иностранным приятелям Екатерина часто и подробно рассказывает, как она много работает, как замечательно «кропает», «царапает» манифесты и указы.

Здесь столько саморекламы, неумеренного хвастовства, жажды похвал! Но удивительно все же другое: сохранившиеся материалы Кабинета Екатерины II и других учреждений второй половины XVIII века однозначно говорят о невероятной трудоспособности императрицы, которая решилась не только реформировать государственную машину, но и создать практически самостоятельно новый свод законов, «наше законодательное здание». Разрабатывая новые законы, она стремилась провести в них идею целостности корпуса законов. Для этого нужно было очень много работать, и сотни сохранившихся автографов

Екатерины, переплетенных в гигантские тома, свидетельствуют о том, что царица заменяла собой целую комиссию по законодательству. И труд ее продолжался до конца жизни. За годы царствования Екатерина успела написать почти 10 тысяч писем, подписать 14,5 тысяч различных актов и постановлений! При этом можно не сомневаться: ни одной бумаги она не подписала вслепую...

«Наказ» и Кючук-Кайнарджийский мир – еще два шага к славе

Но хотя императрица была трудолюбива и быстро вошла в курс государственных дел, первые годы царствования для нее были, как мы уже говорили, очень тяжелым временем. Когда осенью 1762 года канцлер Бестужев-Рюмин предложил ей принять титул «Матери Отечества», Екатерина отвечала, что об этом еще рано говорить, потому что «растолкуют в свете за тщеславие». Дело, конечно, не в боязни Екатерины прослыть тщеславной – просто она ясно понимала: пока что титул «Матери Отечества» ничего, кроме всеобщего глумления и смеха, не вызовет. На одном из приемов в конце 1762 года она, показывая на толпу придворных, говорила французскому посланнику: «Я чувствую, что им нужны годы, дабы привыкнуть ко мне». И еще: «Обо мне можно будет произнести суждение не прежде, чем через пять лет; этот срок необходим, чтобы водворить порядок и чтобы мои заботы принесли плоды».

Испытательный срок был назван точно, именно 1767 год стал поистине годом триумфа Екатерины: в конце июля открылась первая сессия Комиссии о сочинении нового Уложения – свода законов. Подобные комиссии существовали и при Петре Великом, и при Елизавете, но работа ни одной из них не сопровождалась таким громким пропагандистским шумом. Старые комиссии тихо собирались, вызывали для совещаний представителей с мест, переписывали, дополняли старые законы, обсуждали новые. При Екатерине все было по-другому. Свыше 570 нарядно – подчас весьма экзотично – одетых людей, приехавших в Москву со всех необъятных концов страны, представляли собой яркое зрелище: ведь со времен Земских соборов XVII века в столице не собиралась вся «Земля», Россия. Великолепны были и сама красочная процедура открытия заседаний комиссии в освященной традицией Грановитой палате Московского Кремля, и многословный «Наказ» Екатерины II депутатам, где часто встречались гордые, высокие и даже крамольные по тем временам политические понятия: «равенство всех граждан», «вольность», «под защитой законов», «права» и т. д. Наконец, работа Комиссии шла в обстановке солидности и серьезности, говоривших о намерении власти и депутатов преобразовать страну.

И хотя сам «Наказ» Екатерины был довольно посредственной компиляцией (преимущественно – из «Духа законов» Монтескье) о принципах желательного устройства государства, хотя пылкие речи депутатов создавали лишь иллюзию парламентской свободы, а итоги их многомесячной работы были ничтожны, тем не менее о Комиссии и ее инициаторе заговорила вся страна, а потом и мир.

Иностранцы замечали, что деятельность Комиссии прибавила русским гордости за свою страну и народ. Да, мы, русские, особенно теперь, после крушения нашей империи, знаем, как много в истории народов значит чувство национального унижения или триумфа, позора или славы. Как триумф и славу России на гражданском поприще воспринимали тогда россияне деятельность Комиссии. И естественно, что все это связывалось с именем Екатерины, чтение «Наказа» которой депутаты слушали со слезами на глазах. Репутацию российской императрицы как «республиканки», пылкой покровительницы свобод, равенства, Просвещения подтвердил и последовавший вскоре запрет «Наказа» в Париже.

Лучшую рекламу для Екатерины трудно было придумать, ибо это дало ей на многие годы повод утверждать, что в мире нет более свободной страны, чем ее империя, – ведь в России никому в голову не придет запрещать «Наказ». И действительно, предложить запретить сочинения самодержицы в России мог только сумасшедший!

К концу 1768 года Комиссия себя изжила: утратилась новизна пленарных заседаний, не было и реальных плодов работы депутатских комиссий, бесконечные дискуссии этих «законодателей в цепях», как назвал их впоследствии М. М. Сперанский, оказались также бесплодны. Екатерина поняла, что между ее прекраснородушными, в стиле «Наказа», мыслями о равенстве, правах, свободе и реальной жизнью рабов и господ, продажных судей, свирепых начальников и бесправного народа – гигантская пропасть. Нужна упорная многолетняя работа, чтобы хоть что-то изменить в России к лучшему. И Екатерина распустила Комиссию, сославшись на то, что началась война с турками. Свою роль в укреплении ее власти она сыграла.

Идея этой войны была сродни идее «Наказа» и Комиссии о сочинении Уложения: для Славы нужна была Победа. Известно, что войну начали турки; менее известна та радость, с какой Екатерина ухватилась за идею войны. Нельзя при этом забывать, что война в те времена не считалась, как ныне, катастрофой, а наоборот, часто рассматривалась как верное средство упрочить положение государства, дать разрядку застоившейся и жаждавшей чинов, трофеев и подвигов армии. Войной можно было ослабить давление внутренних проблем, решить которые мешал, оказывается, внешний неприятель. Нужна была государю, как воздух, и слава Победителя.

Стоит ли удивляться, что 20 декабря 1768 года Екатерина возбужденно писала графу И. Г. Чернышеву: «Я нахожу, что, порешив с мирным трактатом, чувствуешь себя свободною от большой тяжести, которая давит собою воображение. Тысячу поноровок, тысячу соображений и тысячу мелочных глупостей нужно, чтобы устранить турецкие крики. Теперь же я спокойна, могу делать, что хочу, а Россия, вы знаете, может в значительной степени, а Екатерина II также иногда воображает себе всякого рода испанские замки (то есть мечты. – Е. А.) и вот ничто ее не стесняет, и вот разбудили спавшего кота, и вот кошка бросилась на мышей, и вот смотрите, что вы увидите, и вот о нас заговорят, и вот мы зададим такого звону, какого от нас не ожидали!» Сумбур, стиль хромает, но зато чувства здесь яркие и непосредственны – наконец-то пришло время, покажем нашу силу, пусть звон дойдет до спесивого Версаля и лицемерного Лондона, да и Фридрих почешет затылок, глядя на наши победы. Дома, в России, тоже кое-кто язык прикусит... Нам нужны победы не только на мирном поприще писания законов и составления мудрых учреждений, но и на поле боя. Вперед!

И победы пришли, но не сразу. Бесцветные военные действия 1769 года сменились феерической кампанией 1770 года, когда генерал Петр Румянцев разгромил турок вначале при урочище Рябая Могила, потом у реки Ларга и, наконец, – при Кагуле. Турецкие потери были гигантскими, превосходство русской армии – подавляющим. А за месяц до этого русский флот, предпринявший рискованную экспедицию в Средиземное море, под общим командованием Алексея Орлова одержал победу над турками в Хиосском проливе и в ночь на 26 июня сжег попавший в ловушку Чесменской бухты турецкий флот. Впервые русские корабли вошли в Эгейское море и блокировали Дарданеллы.

В последующие годы засверкал талант Александра Васильевича Суворова, разбившего турок при Туртукае в 1773 году и при Козлуджи в 1774-м. В том же году был подписан

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. В долгой истории русско-турецких войн еще не было столь блестящего для России мира. Русские корабли отныне могли не только плавать по Черному морю, но и проходить через Проливы. Россия получала многострадальный Азов, закреплялась в Керченском проливе и, самое главное, устанавливала свой протекторат над Молдавией и Валахией. Крымское же ханство признавалось независимым от Османской империи (читай – зависимым от России). Исполнилась мечта императора Петра Великого – своими границами Россия коснулась черноморских вод. После Кючук-Кайнарджийского мира оказалась выполненной объявленная еще в 1769 году воля Екатерины – российский флаг появился на Черном море.

Героиня в толпе героев

Побед добиваются люди, и нельзя не признать, что царствование Екатерины стало временем появления незаурядных государственных, политических и военных деятелей, художников и писателей. На знаменитой «скамейке» памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге у ног императрицы рядом сидят девять выдающихся деятелей ее царствования, ее ближайших сподвижников: генералиссимус Александр Суворов, фельдмаршал Петр Румянцев, светлейший князь Григорий Потемкин, граф Алексей Орлов, президент Российской Академии наук княгиня Екатерина Дашкова, организатор педагогического образования в России Иван Бецкой, адмирал Василий Чичагов, вице-канцлер Александр Безбородко, поэт Гаврила Державин. На эту же «скамью» можно было бы посадить еще десятка полтора, если не больше, знаменитостей. Здесь нашлось бы место и историку князю Михаилу Щербатову, и адмиралу Федору Ушакову, и государственному деятелю графу Никите Панину, а также архитектору Василию Баженову, поэту Михаилу Хераскову и многим-многим другим достойнейшим людям.

Не приходится сомневаться, что все эти многочисленные таланты созрели «под сению» Екатерины. Она обладала редкой способностью подбирать людей, облекать их своим высоким доверием, делать их обязанными и бесконечно благодарными ей. Много раз Екатерина пыталась объяснить, как это у нее получалось. Не все сказанное и написанное ею на эту тему – чистая правда, но факт есть факт; императрица прошла по истории, буквально окруженная толпой талантов, чего, например, не скажешь о правлении ее внуков.

Екатерина никогда не жаловалась на недостаток толковых людей: «По моему мнению, во всяком государстве найдутся люди, и искать их нечего; нужно только употребить в дело тех, кто под рукою. Про нас постоянно твердят, что у нас неурожай на людей, однако, несмотря на это, дело делается. У Петра I-го были такие люди, которые и грамоте не знали, а все-таки дело шло вперед. Стало быть, неурожая на людей не бывает, их всегда много множество». Этому признанию лучше не верить – легкость императрицы в подборе нужных людей кажущаяся. В 1769 году английский дипломат писал, что она выбирает людей, сообразуясь с их личными способностями и с той целью, для которой они ей нужны. Многих будущих чиновников императрица приглашала в узкое общество своего Эрмитажа и в непринужденной обстановке изучала их достоинства, навсегда расставаясь с дураками и явными прохвостами. «Изучайте людей, – предостерегала она потомков, – старайтесь пользоваться ими, не веряясь им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хотя бы оно было на краю света: по большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не выказывается из толпы, не стремится вперед, не жадничает и не твердит о себе».

Екатерина обладала способностью нравиться людям, увлекать их, сманивать на свою сторону, превращать прежде враждебных, равнодушных или нейтральных в своих верных слуг, надежных сторонников, добрых друзей. Исторические документы донесли до нас множество проявлений этого редкостного таланта. В 1771 году она писала занявшему Керчь фельдмаршалу князю В. М. Долгорукову: «Приметна мне стала из писем ваших персональная ко мне любовь и привязанность, и для того стала размышлять, чем бы я, при нынешнем случае, могла вам сделать с моей стороны приязнь». При этом милым посланием

Екатерина отправила фельдмаршалу изящную табакерку со своим портретом и с «просьбой ее носить, ибо я ее к вам посылаю на память от доброго сердца».

Думаю, что сердце старого солдата не могло не растаять от этой ласки повелительницы. То же можно сказать о сердце французского дипломата графа Сегюра, который, несмотря на все свои симпатии к Екатерине, не смог сопротивляться усилившейся в 80-е годы антирусской политике Версаля. Сегюр вспоминал, что раз, после неприятных известий из Франции, он, сидя на спектакле, неподалеку от императрицы, предавался в полутьме своим мрачным мыслям: «Я был весь погружен в думу, как вдруг услышал голос под самым ухом. Это был голос императрицы, которая, склонившись ко мне, говорила тихо: „Зачем грустить? К чему ведут эти мрачные мысли? Что вы делаете? Подумайте, ведь вам не в чем упрекнуть себя“».

Когда-то мадемуазель Кардель непрерывно твердила маленькой Фике, что от частого употребления слов «милостивый государь» язык не отсохнет, что вежливость и внимание к людям – важнейшие качества доброго человека. И Екатерина эти уроки усвоила хорошо. Здесь вспоминается и ее гнев, когда она узнавала, что придворные бьют слуг, и ее манера брать табак из табакерки левой рукой, чтобы гостям, пожалованным к руке (по обычаю – к правой), не был неприятен табачный запах.

Можно вспомнить и смешную историю с победителем шведов адмиралом Чичаговым. Екатерина хотела видеть героя, окружающие отговаривали ее: адмирал – человек не светский и к тому же изрядный матерщинник! Императрица на своем все же настояла, свидание произошло, и адмирал стал ей повествовать о своей победе над шведской эскадрой. Вначале он был смущен, косноязычен, но постепенно распалился, забылся и под конец произнес в адрес своих неприятелей несколько привычных ему непечатных слов. Спohватившись, он рухнул в ноги Екатерине, прося пощады, а она, как ни в чем не бывало, кротко сказала: «Ничего, Василий Яковлевич! Продолжайте, я ваших морских терминов не разумею».

Именно в личной доверительной беседе Екатерина познавала и покоряла людей. У нее была способность слушать собеседника, а не ждать паузы в его речи, чтобы – как это делают многие – начать говорить о себе любимом. Как я уже писал, беседовать с царицей было легко и приятно. Барон Гримм рассказывал: «Императрица обладала редким талантом, которого я ни в ком не находил в такой степени: она всегда верно схватывала мысль своего собеседника, следовательно, никогда не придиралась к неточному или смелому выражению и, конечно, никогда не оскорблялась таковым... Нужно было видеть в такие минуты эту чудную голову, это соединение гения и грации, чтобы составить понятие, какие блестящие мысли толпились и сталкивались, так сказать, устремлялись одна вслед за другою, как чистые струи водопада».

Некоторые начала ее поведения с людьми мы можем понять из пространного письма императрицы генерал-губернатору Москвы фельдмаршалу П. С. Салтыкову, который в ноябре 1770 года должен был принять в старой столице важного зарубежного гостя – брата Фридриха II принца Генриха. Екатерина в этом письме не только выказывает глубокое знание людей, но и дает своему сановнику неназойливые советы, как себя вести с гостем, как ему понравиться: «Надо вам еще сказать, что с первого взгляда принц Генрих отличается чрезвычайной холодностью, но не ставьте в счет эту холодность, потому что она оттаивает. Он очень умен и весел, он знает, что генерал-фельдмаршал граф Салтыков также бывает весел и любезен, когда захочет... Постарайтесь, чтоб принц не скучал. Он любезен и

охотник обогащаться сведениями. Устройте, чтоб он мог видеть все достопримечательное. Наконец, господин фельдмаршал, надеюсь, что вы всем скажете, что вежливость и внимательность никогда никому не вредили и что ими не столько воздаешь почета другим, как внушаешь о самом себе доброе мнение. Я бы желала, чтобы этот принц, возвратившись домой, сказал: „Русские так же вежливы, как и победоносны“ (Салтыков был тем самым полководцем, который победил Фридриха II в знаменитом сражении при Кунерсдорфе в 1759 году. – Е. А.). Вы знаете мою любовь к Отечеству, мне хочется, чтоб народ наш славился всеми воинскими и гражданскими доблестями и чтоб мы во всех отношениях превосходили других».

Как использовал советы Екатерины грубоватый Салтыков, мы не знаем, но после чтения этого письма можно наверняка сказать, что императрица была умна, тонка, умела вести дело с самыми разными людьми, и неизменно – с выгодой для себя и России. Она не требовала от людей невозможного и не раз повторяла свою любимую пословицу: «Станем жить и дадим жить другим». Екатерина умела брать от людей то, что они могли дать. «Пускай один ограничен, – пишет она Гримму в 1794 году, – другой ограничен, но государь от этого не будет глупее». Как-то раз ей доложили о том, что Сенат получил от некоего провинциального воеводы донесение о невероятном, по мнению этого дремучего чиновника, событии – солнечном затмении, и предложили сместить невежду. Императрица отказалась это сделать: «А если он добрый человек и хороший судья? Пошлите ему [лучше] календарь».

Чиновник, облеченный доверием императрицы, мог рассчитывать на ее полную поддержку. Наиболее емко Екатерина сформулировала мысль об этом в инструкции новому генерал-прокурору князю А. Вяземскому в 1764 году: «Совершенно надеетесь на Бога и на меня, а я, видя Ваше угодное мне поведение, Вас не выдам». При этом в отношениях с людьми Екатерина не была ни сентиментальна, ни – в ущерб себе и делу – излишне добра или терпима. Ею владел дух рационализма, и никакие воспоминания и прежние дружеские связи не останавливали гнев императрицы, если она видела леность, бесчестность, обман, что-то недостойное в поведении своего сановника.

Долгие благожелательные отношения связывали Екатерину с графом Я. Е. Сиверсом – новгородским и псковским губернатором. Но в конце 70-х годов Сиверс при разводе с женой повел себя весьма недостойно, силой отобрал у супруги детей, скандалил из-за имущества, игнорировал третейского судью и даже увещания самой Екатерины. Поначалу она пыталась образумить его лаской: «Господин Сиверс!.. Прекратите как можно скорее и с возможно меньшим шумом эти пагубные препирательства, при которых вина обыкновенно бывает на обеих сторонах... Возвратите мне поскорее моего губернатора, каковым я его знаю уже пятнадцать лет».

Но Сиверс уже закусил удила, и тогда императрица взяла другой тон: «Тягостно, прискорбно видеть, как человек в течение нескольких недель изменяется... Вы разрушаете Ваше доброе имя. Вы разрушаете мое доброе мнение о Вас. Вы выказываете неуважение к моим советам... Запрещаю Вам, под страхом моей немилости, позволять себе насилие здесь, в моей резиденции или где бы то ни было. Приказываю Вам в течение этой недели отправиться в Ваши губернии, чтобы успокоить кипение Ваших страстей и увольняю Вас от всякого ответа на это письмо».

Это была опала, разрыв, но человек дельный – пусть работает! В 1770 году, уличив в обмане князя С. В. Гагарина, подавшего ложную челобитную в Юстиц-коллегию, Екатерина

с гневом писала: «Князь Сергей Васильевич! Я в сие дело еще публично мешаться не могу для того, что оно предано законному течению. Но, Ваше сиятельство, между нами сказать, где князя Сергея Васильевича совесть?.. Правда одна меня принудила Вам писать, ибо вижу, что правосудие может быть затемнено другими страстями. Есть ли бы я не была императрица, то бы я, по Вашим речам... главный была против Вас свидетель...»

В цитированном выше письме о мнимом неурожае на людей она раскрывает суть того, что считает важнейшим в работе с «кадрами»: «Нужно только их заставить делать, что нужно, и, как скоро есть такой двигатель, все пойдет прекрасно. Что делает твой кучер, когда ты сидишь в закрытой карете? Была бы добрая воля, так все дороги открыты!» Нужно ставить людей к делу, которое они знают и могут успешно делать, и все будет в порядке, – вот что хочет сказать здесь императрица. В другом письме Гримму она прямо говорит: «Я всегда чувствую большую склонность быть под руководством людей, знающих дело лучше моего, лишь бы только они не заставляли меня подозревать с их стороны притязательность и желание обладать мною». Вероятно, в этом-то умении использовать людей и кроется главное достоинство Екатерины как руководителя. Но не только в этом! Екатерина была сама талантлива, трудолюбива и прекрасно осознавала свои достоинства. Она не боялась соперничества и понимала, что свет чужих талантов не затемнит, а лишь усилит блеск ее собственного дарования. В одном из писем она писала Гримму: «О, как жестоко ошибаются, воображая, будто чье-либо достоинство страшит меня; напротив, я бы желала, чтоб вокруг меня были только герои, и я всячески старалась внушить героизм всем, в ком замечала к тому малейшую способность...».

В 1783 году почти одновременно умерли двое из ее сподвижников начала царствования – Григорий Орлов и Никита Панин. Скорбя об их уходе, Екатерина поделилась с Гриммом такими мыслями: «Они были совсем разных мнений и вовсе не любили друг друга... И оба они столько лет были моими ближайшими советниками! И однако дела шли и шли большим ходом. Зато часто мне приходилось поступать, как Александру с гордиевым узлом, и тогда противоречивые мнения приходили к соглашению. Один отличался отвагою ума, другой – мягким благоразумием, а Ваша покорнейшая услужница следовала между ними укороченным скоком (коротким галопом), и ото всего этого дела великой важности принимали какую-то мягкость и изящество. Вы мне скажете: „Как же теперь быть?“ Ответствую: „Как сможем“. Во всякой стране всегда есть люди, нужные для дел, и, как все на свете держится людьми, то люди могут и управлять». Она могла так говорить, ибо к этому времени во всю силу засверкал талант Потемкина.

Долгое прощание с «кипучим лентяем»

В начале 70-х годов в личной жизни императрицы наступил серьезный кризис. Отношения с Григорием Орловым, начавшиеся еще до переворота 1762 года, стали тяготить ее. А ведь поначалу все было так хорошо. Казалось, что Екатерина наконец нашла свое счастье: рядом с ней был настоящий мужчина, рыцарь – смелый, сильный, красивый и верный, защитник и победитель, блестяще показавший себя в таком опасном деле, как революция 28 июня.

Не буду тратить бумагу, перечисляя титулы, ордена и звания, а также количество денег, поместий и домов, полученных Орловым исключительно за свою верность и мужскую красоту, – перечень этот бесконечен (между прочим, среди пожалований были Гатчина и Ропша). Все пути к славе великого государственного или военного деятеля были открыты перед этим баловнем судьбы. Но он так и не пошел ни по одному из них, и как был во времена своего капитанства кутилой и бузотером, так им и остался, хоть давно титуловался светлейшим графом, а потом – князем, носил генеральский мундир и ордена.

Екатерина и Орлов прожили под одной крышей довольно долго – около одиннадцати лет, до 1773 года. Некоторые авторы считают, что императрица родила Орлову, помимо всем известного графа Бобринского, еще двух сыновей и нескольких дочерей. Около 1763 года по столице ходили упорные слухи о намерении Орлова и Екатерины сочетаться церковным браком. Для этих слухов были основания: императрица была без ума от своего героя, он же был настырен и нетерпелив. Но в какой-то момент здравый смысл, как и опасения за императорскую власть, которая будет неминуемо дискредитирована браком самодержицы со своим подданным, да еще столь малопочтенным, возобладали. Екатерина не решилась пойти против общественного мнения, к которому всегда чутко прислушивалась. Впрочем, это не помешало Григорию властвовать во дворце по-прежнему еще не меньше десятка лет, пока не наступил конец его могущества.

В «Чистосердечной исповеди» Потемкину Екатерина писала об Орлове: «Сей бы век остался, есть ли бы сам не скучал. Я же узнала (об измене. – Е. А.) в самый день его отъезда на конгресс из Села Царского (Орлов возглавлял делегацию на русско-турецких мирных переговорах в Фокшанах летом 1772 года. – Е. А.) и просто сделала заключение, что, о том узнав, уже доверки иметь не могу – мысль, которая жестоко меня мучила и заставила из дешперации (отчаяния. – Е. А.) выбор сделать кое-какой (речь идет об Александре Васильчикове. – Е. А.), во время которого и даже до нынешняго месяца я более грустила, нежели сказать могу... и всякое приласкание во мне слезы возбуждало, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года. Сначала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже... Потом приехал некто богатырь...» Это уже Потемкин, которому и была предназначена «Чистосердечная исповедь».

Екатерине было от чего плакать: разрыв с Орловым оказался болезненным, он тянулся долго и мучительно. Окружающие тщетно уговаривали князя Григория отступить от «матушки»: показное его смирение, готовность подчиниться судьбе вдруг сменялись кутежами и дебошами, приступы глубокого сплина – бурными скандалами, причем императрица опасалась за себя – столь бешеным и непредсказуемым становилось подчас поведение отставного фаворита. Потом наступало затишье, и стороны состязались в

великодушии: она дарила ему Мраморный дворец у Невы, а он отдаривался огромным алмазом Надир-шаха, известным ныне как «Орлов» – ценнейшее сокровище России... А затем снова начинались какие-то эпатажирующие общество и двор выходки Орлова. Екатерина писала Вольтеру осенью 1772 года, что мечтает только о взаимном покое. Екатерина искала покоя, потому что решила окончательно и бесповоротно: вместе не быть.

Причин разрыва было несколько. На одну из них – измену – указывает Екатерина в «Исповеди». В мае 1773 года императрица с обидой говорила дипломату Дюрану, что Орлов в любви так же неразборчив, как в еде: калмычка, финка и самая изящная придворная дама в этом отношении для него безразличны – «такова его бурлацкая натура». Кутежи и непрерывные амурсы Григория, несомненно, оскорбляли Екатерину как женщину и дискредитировали как императрицу – сожительницу этого завсегда публичных домов и кабаков. Но важна и другая причина: Орлов тягостно связывал ее памятью событий июня – июля 1762 года, он был перед глазами как напоминание об их общем грехе и даже не раз этим спекулировал. Конечно, Екатерина была благодарна Григорию и его братьям за все, что они сделали для нее, но, как известно, есть пределы и человеческой благодарности, и Екатерина их однажды достигла.

Весной 1773 года она говорила Дюрану о том, что прекрасно помнит, чем обязана Орловым, и никогда не забудет их заслуг, но что ее решение расстаться с Григорием окончательно: «Я терпела одиннадцать лет, я хочу, наконец, жить так, как мне заблагорассудится и совершенно независимо. Что касается князя, он может делать все, что ему вздумается: он волен путешествовать или оставаться в России, пить, охотиться, он может занять свои прежние должности и заведовать вновь делами. Природа создала его русским мужиком, таковым он останется до смерти... Его интересуют одни пустяки. Хотя он и занимается иногда, по-видимому, серьезными делами, но это делается им безо всякой системы, говоря о серьезных вещах, он впадает в противоречия, и его взгляды свидетельствуют, что он еще очень молод душою, мало образован, жаждет славы, весьма плохо им понимаемой, неразборчив во вкусах, часто проявляет беспричинную деятельность, вызванную простой прихотью».

Эта уничтожающая характеристика умственных и деловых дарований бывшего возлюбленного, которого она в начале их совместной жизни обожала, говорит об одном: оба по-разному использовали время и подошли к расставанию разными людьми. Если Григорий беспечно прожигал годы, лишь эпизодически имитируя некую деятельность, за что получил от Екатерины меткое прозвище «кипучий лентяй», то сама императрица за эти же годы стала, благодаря своим способностям, трудолюбию, терпению, умению учиться, крупным государственным деятелем европейского масштаба, разгоралась ее слава как просвещенной государыни, искушенного и тонкого политика. Она, не поднимая головы, трудилась, а рядом на канapé, как и десять лет назад, храпел пьяный артиллерийский капитан. Конечно, она понимала, что Орлов сделан из другого, чем она, теста. В первые месяцы своего царствования императрица, знакомя Григория с иностранными дипломатами и путешественниками, как бы оправдывалась перед изысканными гостями за свой выбор и поэтому жарко говорила о блестящем уме и способностях нового фаворита, думая со временем поправить дело. Ее вера в силу разума, просвещения была огромна. Как писал граф Бекинхэм, «в начале возвышения Григория Орлова императрица говорила, что сама воспитает и обучит его. Она успела научить его думать и рассуждать, но думать неправильно и рассуждать неверно, так как природа снабдила его лишь тем светом, который слепит, но не

указывает пути».

Неудачна ли была педагогика или ученик был неспособен – мы не знаем, но что Орлов так и не стал крупным государственным деятелем – это факт. Здесь-то и кроется третья причина разрыва – Екатерина устала от шалопайства Орлова, ей очень нужен был доверенный сподвижник, помощник в государственных трудах, под тяжестью которых она изнемогала. Весной 1774 года английский поверенный в делах Гуннинг писал, что от прежней любезности и снисходительности Екатерины не осталось и следа. Затруднительное положение дел угнетает ее здоровье и настроение духа, турецкая война тяжела, проблем много, как и неудовольствий в обществе, нужен помощник. Вот тут-то и явился Потемкин, подхвативший на свои широченные плечи тяжесть российского государственного небосвода.

С появлением Потемкина Орлов еще долго не уходил в тень, а если его и отпихивали подальше от «матушки», он колобродил где-то поблизости, заставляя Потемкина в досаде грызть ногти. Разумеется, у Екатерины было к тому времени достаточно власти, чтобы заслать Григория куда Макар телят не гонял, но в том-то и дело, что поступить так она не могла. Ведь расставание с Орловым было продиктовано не антипатией или ненавистью, а прежде всего государственной необходимостью, судьбой. Этот шалопай уже стал для нее родным человеком, они так долго и близко жили вместе, она рожала ему зачатых в горячей любви детей. Все это просто не забудешь и из сердца не выбросишь! Поэтому Екатерина не спускала глаз с непутевого светлейшего князя до самого конца.

Когда весной 1776 года Орлов вдруг тяжело заболел, императрица бросила все дела и поспешила к его постели, несмотря на недовольство Потемкина. Этот порыв был, по-видимому, выше ее холодного разума, сильнее многолетней педагогической доктрины по укрощению собственного темперамента. И когда сорокатрехлетний Орлов неожиданно для всех, и императрицы в том числе, женился по любви на девятнадцатилетней фрейлине и своей двоюродной сестре Катеньке Зиновьевой, Екатерину это совсем не обрадовало – ведь она думала, что Григорий будет всю жизнь топить в кутежах и вине свою вечную и единственную любовь к ней, а она будет его утихомиривать и радовать иногда своим внезапным появлением. Но получилось иначе.

Молодожены укатили в Европу, были там счастливы, но вскоре из-за границы стали приходить вести о серьезной, а затем и смертельной болезни княгини Орловой и о том, что князь не отходит от постели возлюбленной супруги. В 1782 году она тихо скончалась на руках мужа в Швейцарии, а потом стало известно, что Григория Григорьевича везут в Россию и что с горя он потерял разум. Когда Екатерина приехала к нему, Орлов уже никого не узнавал. Он, «красивейший мужчина Севера», превратился в ребенка, пускающего слюни. В апреле 1783 года болезнь добила Орлова, он умер и был похоронен в своей усадьбе с радостным названием Отрада.

Незаменимый циклоп без панталон

Григорий Александрович Потемкин был похож на Орлова лишь тем, что часто и подолгу леживал на диване, во всем же остальном он резко отличался от отставного фаворита. Все наблюдатели отмечают в Потемкине глубокий ум, феноменальную память, незаурядные способности, властность, волю и масштабность мышления. В точности невозможно сказать, с чего началось его возвышение.

Его жизненный путь до 1773–1774 годов полон неясных зигзагов и поворотов, за которыми он часто скрывается от нас. Выходец из смоленских дворян, Потемкин родился в 1739 году (следовательно, был моложе Екатерины на десять лет), рано покинул отчий дом, некоторое время учился в Московском университете, но потом бросил храм наук и пошел служить Марсу в Конную гвардию и в числе других отличился в дни екатерининской революции. О нем как о смелом, разумном и деятельном унтер-офицере писала Екатерина в одном из писем Понятовскому. Был Потемкин и среди ропшинских убийц, получил награды, а потом весьма неожиданно для многих был назначен помощником обер-прокурора Синода. Нужно отдать ему должное – богословие, история церкви всегда интересовали будущего фельдмаршала, и он был в этих вопросах человеком весьма сведущим. Впрочем, злые языки утверждали, что Потемкин больше выделялся не своей ученостью и неизвестно при каких обстоятельствах потерянным в мирное время глазом, а своей потрясающей способностью имитировать голоса и повадки высших сановников, что открыло ему дорогу в ближний круг Екатерины – женщины с развитым чувством юмора. Но настоящая карьера Потемкина началась 1 марта 1774 года, когда императрица пожаловала его в генерал-адъютанты. А 14 июля того же года Екатерина писала Гримму, что «весьма скучного гражданина» Александра Васильчикова «заменял величайший, забавнейший и приятнейший чудак, какого только можно встретить в нынешнем железном веке». В другом письме она отмечала, что Потемкин «чертовски забавен».



Григорий Александрович Потемкин

Было бы ошибкой думать, что Екатерина привечала его по преимуществу за остроумные выходки. Потемкин шутком не был, и такая роль при дворе ему не нравилась. В 1769 году он, тогда гвардейский поручик, попросился на войну с турками, в конницу, вероятно желая переменить свое амплу шутника и богослова-самоучки на нечто более достойное его

талантов, и тем самым добиться расположения императрицы. Это ему в полной мере и удалось: на войне он быстро сделал карьеру, отличился как храбрый кавалерийский генерал при Фокшанах, Ларге, Кагуле, а также при Силистрии и вскоре удостоился похвалы Екатерины, которая тайно поддерживала с ним переписку.

В 1774 году ревностный генерал-поручик был отозван в Петербург. Екатерина не сразу решила на сближение с Потемкиным. В «Чистосердечной исповеди» она писала: «...мы письмецом сюда призвали его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разобрать, есть ли в нем склонность... та, которой я желаю». Склонность эта у Потемкина оказалась, и он быстро пошел в гору. В отношениях Екатерины и Потемкина много неясного. По мнению издателя «Русского архива» П. И. Бартенева, они негласно обвенчались в Петербурге или осенью 1774, или в январе 1775 года. Их медовый месяц пришелся на весну – лето 1775 года, и они его провели под Москвой. Именно тогда Екатерина купила так понравившееся им обоим село Черная Грязь, ставшее Царицыном. К этому времени относится и адресованная Потемкину «Чистосердечная исповедь», которая завершается уверениями в любви и верности. А после этого происходит, казалось бы, нелогичное: уже в 1776 году у Екатерины появляется статс-секретарь Петр Завадовский, который становится ее новым фаворитом. На смену ему в 1777 году приходит Зорич, век которого в любовниках императрицы был тоже недолог. При этом Потемкин не проявляет никакого беспокойства и находится, как пишет один из дипломатов, на вершине блаженства.

Более того, все были убеждены, что юные фавориты, попадавшие в спальню «матушки», проходили придирчивую проверку у самого светлейшего князя Таврического – таков был последний титул Потемкина. Он отбирал наиболее глупых и поэтому вполне безопасных для него молодых людей, которых все-таки держал, через своих доверенных лиц, под постоянным контролем. Сам же Григорий Александрович не уступал Екатерине и открыто возил с собой небольшой гарем из смазливых девиц и чужих жен, без боязни писавших своему «милюшечке Гришатке» призывные записочки.

Создается впечатление, что между императрицей и ее фаворитом после краткого периода безоблачной любви началась полоса ссор и взаимных неудовольствий, а затем был заключен своеобразный «договор о сотрудничестве», причем обе высокие стороны договорились о предоставлении друг другу полной свободы. Это видно из сохранившейся переписки Екатерины с Потемкиным, пестрящей приветам от очередного «Сашеньки» или нового «дитяти».

Любопытно письмо Екатерины Потемкину, который вознамерился добиться расположения одной дамы с помощью назначения мужа своей избранницы на должность генерал-инспектора. Екатерина, узнав об этом, решительно воспротивилась подобной сделке: «Позволь сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоит того, чтоб ты себя обременял таким человеком, который в короткое время тебе будет в тягость. Тут же не возьмешь ничего, ибо мадам красотка, но ничего не сделаешь, волочась за нею. Это дело известное. Многочисленная родня смотрит за ее репутацией... Друг мой, я привыкла говорить тебе правду, ты также говоришь мне ее, когда представляется случай. Сделай мне удовольствие, выбери на эту должность кого-нибудь пригоднее, кто бы знал службу, так, чтобы твой выбор и мое определение увенчались одобрением публики и армии. Я люблю делать тебе приятное, ровно не люблю тебе отказывать, но мне хотелось бы, чтобы про человека, получившего подобное место, все говорили: „Вот хороший выбор!“».

Об этом письме не скажешь, что его писала женщина, томимая надвигающейся изменой и страдающая от ревности. Ее, как мы видим, интересует практический и весьма нежелательный результат «амура» Потемкина для армии, дела. Именно эти ценности стали со временем определяющими для отношений императрицы и ее фаворита. Екатерина просто и ясно сформулировала это в письме Потемкину 1787 года: «Между тобою и мною, мой друг, дело в кратких словах: ты мне служишь, а я признательна, вот и все тут».

Австрийский император Иосиф II, близко знакомый с Екатериной и Потемкиным, как-то сказал: «Он не только полезен ей, но и необходим». Это совершенно точно – Иосиф как будто прочитал письма императрицы к Потемкину за 1780-е годы. Они полны непрерывных забот и тревог о здоровье светлейшего, и через всю многолетнюю переписку звучит главный рефрен: береги здоровье, оно нужно мне и России. «Вы отнюдь не маленькое частное лицо, которое живет и делает, что хочет, Вы принадлежите государству, Вы принадлежите мне, Вы должны и я Вам приказываю беречь Ваше здоровье. Я должна это сделать, потому что благо, защита и слава империи вверены Вашим попечениям и что необходимо быть здоровым телом и душою, чтобы исполнить то, что Вы имеете на руках». Так императрица писала в 1787 году, так писала она и раньше, и потом.

Письма Екатерины к Потемкину – интересный памятник эпохи и человеческих отношений. Сначала это записочки возлюбленному, которого она в шутку называет «гяур, казак, москов»; потом, с годами, их отношения меняются, и письма императрицы становятся посланиями рачительной хозяйки к своему доброму хозяину, «бате», «батиньке», «папе». Они чем-то неуловимо похожи на письма Пушкина к «женке», которая «свой брат»: тот же грубоватый, шуточный стиль свободного «дружеского письма», в котором видно абсолютное доверие к адресату, нет эпистолярных красотостей, «нежностей», зато много деловых просьб, поручений и наставлений.

Из писем 1780-х годов видно, что Потемкина и Екатерину теперь связывают дела поважнее и посерьезнее «амура» – ведь они оба, напрягая силы, тянут в гору неподъемный воз государственных дел, и он, Потемкин, – коренник в этой упряжке, без него воз встанет. Все остальное не так уж важно, и благодарность «матушки», «хозяйки» за усердие «бати» в делах не знает границ: «Нет ласки, мой друг, которую бы я не хотела сказать Вам, Вы очаровательны за то, что взяли Бендеры без потери одного человека» (из письма 1789 года). И еще один рефрен: «Не опасайся, не забуду тебя», – в том смысле, что врагам его не верит, кредит его надежен и за будущее он может быть спокоен.

Иной читатель спросит: а так ли уж велика была роль Потемкина в системе власти, чтобы самодержица так за него держалась? Да, на протяжении полутора десятков лет – с середины 1770-х годов до своей смерти в 1791 году – Потемкин являлся ключевой фигурой екатерининского царствования. В немалой степени благодаря светлейшему оно стало таким блестящим и победоносным. Но об этом – подробнее в следующей главе. Теперь скажем еще немного о самой личности Григория Александровича.

Спору нет – это был более чем оригинальный человек. «Около семи вечера перед губернаторским домом остановились его сани, – вспоминает путешественник о пребывании светлейшего в Могилеве, – и из них вышел высокого роста и чрезвычайно красивый человек с одним глазом. Он был в халате и его длинные нерасчесанные волосы, висевшие в беспорядке по лицу и плечам, доказывали, что человек этот менее всего заботится о своем туалете. Маленький беспорядок, происшедший в его одежде при выходе из саней, доказал всем присутствующим, что он забыл облачить ту часть одежды, которую считают

необходимой принадлежностью костюма; он обходился без нее во все время пребывания в Могилеве и даже при приеме дам».

Отсутствие у Потемкина важнейшей части мужского туалета не было свидетельством какой-то особой, свойственной ему рассеянности или пренебрежения к могилевскому обществу. Без штанов он принимал и послов, и придворных, и знатных иностранцев. Принц де Линь уговаривал разобидевшихся на светлейшего поляков: «Императрица не должна лишаться вашей дружбы из-за того, что князь Потемкин, принимая на днях многих из вас в Елизаветграде, вышел к вам без панталон. Кто знает князя, тот понимает, что это, с его стороны, только знак доверия».

Продолжим выписки из воспоминаний могилевского очевидца: «Будучи ростом в пять футов и десять дюймов, этот красивый брюнет имел тогда лет около пятидесяти. Лицо его само по себе довольно кроткое, но когда, сидя за столом, он смотрит рассеянно на окружающих и занят в то же время какою-нибудь неприятною мыслию, склонит голову на руку, подперев ею нижнюю челюсть, и в этой позе не перестает смотреть своим единственным глазом на все окружающее, тогда сжатая нижняя часть его лица придает ему отвратительное, звериное выражение».

Двойственное впечатление от персоны светлейшего оставалось у многих. Наиболее ярко, может быть, даже слишком художественно, описал нам Потемкина принц де Линь, видевший его под осажденным Очаковым: «Я вижу здесь предводителя армии, который кажется ленив, но в беспрестанной работе, которому колени служат письменным столом, а пальцы гребнем; он все лежит, но не спит ни днем, ни ночью... Он тревожится перед опасностью и беззаботен, когда она наступает, он скучает во время увеселений, несчастлив от избытка счастья, пресыщен всем, скоро разочаровывается, мрачен и непостоянен, это важный философ, это ловкий министр, это десятилетнее дитя... Одной рукою он манит к себе женщин, которые ему нравятся, другою творит крестное знамение».

Де Линю вторит его приятель, граф Сегюр: «Никогда еще ни при дворе, ни на поприще гражданском или военном не бывало царедворца более великолепного и дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе с тем нерешительного. Он представлял собою самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность. Везде этот человек был бы замечателен своею самобытностью... Этого человека можно сделать богатым и сильным, но нельзя было сделать счастливым... То, чем он обладал, ему надоедало, чего он достичь не мог, – возбуждало его желание».

Слишком много утекло воды с той поры, слишком мало свидетельств, которые помогли бы нам найти ключ к пониманию противоречивой личности Потемкина. Традиции гедонистического XVIII века, вся предыдущая история его жизни, оригинальный психологический тип личности и долгая, безграничная, развращающая самых скромных людей власть – это и, вероятно, многое другое определили именно такое экстравагантное поведение и шокирующие повадки Потемкина. Но справедливости ради скажем, что Григорий Александрович Потемкин вошел в русскую историю не как чудак без панталон, а как имперский деятель исполинского масштаба, не уступающий в этом самому Петру Великому.

Тень России над Босфором

Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года не был долговечным – Российская империя лишь дотянулась до кромки черноморского прибрежья и благословенный Крым – этот перекресток Северного Причерноморья – стал как бы ничьим: власть Турции над ним кончилась, а влияние России еще не утвердилось. В Петербурге ни кому и в голову не приходила мысль, что Крым может быть независимым, и поэтому вступление в конце 1774 года на престол ханства сторонника независимости Крыма Девлет-Гирея очень не понравилось Екатерине.

А дальше схема ее действий была вполне традиционна для имперской политики: осенью 1776 года русские войска, преодолев Перекоп, ворвались на полуостров, везя в обозе «правильного» хана Шагин-Гирея, которого Екатерина до поры до времени держала в Полтаве. Под сенью дружеских штыков он в 1777 году взгромоздился на престол. Этими же штыками было вскоре подавлено восстание его новых подданных. В 1779 году турки скрепя сердце признали независимость Крыма в русской редакции, что означало фактическое господство России над полуостровом.

Вот здесь-то и вышел на первый план Потемкин. Как каждый фаворит, он обладал огромной властью. Вспоминается не совсем корректное с исторической точки зрения, но весьма выразительное место из «Ночи перед Рождеством» Гоголя, когда кузнец Вакула, прилетевший на черте в Петербург, попадает в Зимний и при появлении Потемкина спрашивает соседа-запорожца: «"Это царь?.." – „Куда тебе царь! Это сам Потемкин“, – отвечал тот».

Но сладка доля любимца царицы только издали. Потемкин, занятый неизбежным в его положении придворным интриганством, в сущности, отчаянно скучал. Его энергия, честолюбие, желание славы требовали иных масштабов, иного поприща. И как некогда Петр на берегах Балтики, он нашел его на берегах Черного моря. Здесь, на просторе первобытных степей, вдали от придворной камарильи, завистников и соглядатаев он мог развернуться во всю широту и мощь своей натуры.

Это стремление Потемкина нашло горячую поддержку у Екатерины. Как императрица она была заинтересована в развитии южного, турецкого направления русской экспансии не меньше, чем западного – в сторону Польши. Там, на юге, для империи открывались безграничные возможности, там было ее будущее. Да и по-человечески Екатерина хорошо понимала Потемкина, ведь не случайно она писала Гримму в 1777 году: «Я люблю еще нераспаханные страны. Поверьте мне, они суть наилучшие». Новороссия – так вскоре стало называться русское Причерноморье – в полном смысле была нераспаханной, богатейшей страной, полигоном для испытания любых, самых фантастических проектов. Их-то и начал придумывать и осуществлять Потемкин, благо за спиной стояли «матушка»-императрица и Россия, чьи людские и материальные ресурсы никем не были по-настоящему измерены и сосчитаны.

Первым делом Потемкин начал усиливать свою власть. Он стал генерал-губернатором Новороссии и губернатором соседних с нею губерний, оттеснил от административного и военного руководства Югом графа П. А. Румянцева и князя А. А. Прозоровского. Подвинулся, освобождая фавориту место у руля внешней политики, и граф Никита Панин. Очень быстро Потемкин стал своеобразным вице-императором Юга империи. Ему была

дана полная воля, которой он и воспользовался. Военные завоевания, увенчанные блистательными победами А. В. Суворова, сочетались со стремительным административным, экономическим, военно-морским освоением края.

Все это напоминало времена Петра I с присущим царю-реформатору размахом, гигантизмом, непродуманностью, неоправданной спешкой и неизбежными жертвами. В голой степи возводились города, получавшие звучные греческие названия: Херсон, Севастополь, Мелитополь, Одесса. Десятки тысяч крестьян сгонялись на сооружение крепостей, каналов, набережных. Строились фабрики, заводы, верфи, сажались леса. Потоки русских и украинских поселенцев и немецких колонистов устремились в Новороссию, поднимая богатейшие черноземы южной степи. В рекордные сроки был построен на пустом месте Черноморский флот и сразу начал одерживать победы над турками.

По замыслу Потемкина центром нового края должна была стать роскошная, не уступающая Петербургу столица – Екатеринослав на Днестре (ныне Днепропетровск) с огромным – выше ватиканского Святого Петра – собором, театром, университетом, музеями, биржей, оранжереями, садами и парками. Оркестром в театре должен был дирижировать Вольфганг Амадей Моцарт, переговоры с которым о приеме на русскую службу уже вел русский посланник в Вене... И если бы Моцарт и Потемкин не умерли почти одновременно в 1791 году, то они бы наверняка встретились и подружились – ведь светлейший был тонким меломаном, возил с собой не только гарем, но и оркестр и знал цену музыкальным талантам.

Свежий взгляд Потемкина коснулся и армии. Благодаря ему армия была преобразована так, что могла легко воевать на непривычных русскому человеку жарких пространствах Юга. Фельдмаршал был поборником новой, проверенной в боях тактики и стратегии, поощрял инициативу рядовых и самостоятельность офицеров. Целые поколения русских солдат добрым словом поминали светлейшего, заменившего тесные полунемецкие мундиры на легкое и удобное обмундирование нового образца, сшитое с учетом климата театра военных действий. Он запретил солдатам носить косы и пользоваться пудрой, что было подлинным мучением для служивых. В постановлении Потемкина на сей счет слышны та легкость и афористичность, которой славились суворовские указы: «Завивать, пудриться, плести косы – солдатское ли это дело? У них камердинеров нет. На что же букли? Всякий должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал – и готов».

Все многочисленные прихоти и фантастические планы Потемкина исполнялись незамедлительно, и уже в 1787 году он мог показать приехавшей на Юг императрице свои достижения, которые почему-то у многих ассоциируются преимущественно с пресловутыми «потемкинскими деревнями», хотя ни Херсон, ни Севастополь декорациями с самого начала не были, равно как и Черноморский флот. Справедливости ради все же вспомним слова о цене возведенного, сказанные попутчиком Екатерины в путешествии по Югу австрийским императором Иосифом II: «Впрочем, все возможно, если расточать деньги и не жалеть людей. В Германии или во Франции мы не посмели бы и думать о том, что здесь производится без особых затруднений».

Но Потемкину было тесно даже на просторах Новороссии. Его единственный глаз зорко высматривал в дымке над Черным морем минареты Стамбула, который в России с XV века и до времен Ататюрка упорно именовали Константинополем. Во многом благодаря Потемкину родился на свет так называемый «Греческий проект», согласно которому

предстояло изгнать турок с Босфора и восстановить Греческую империю – Византию. В сущности, это была старая крестоносная идея отобрания у «агарян» Константинополя с его храмом Святой Софии – главной святыней православного мира.

Государственно-религиозная мечта, отлитая в лозунг «Крест на святую Софию!» волновала многие умы, но только Екатерина, опираясь на успехи русского оружия в Причерноморье, как никогда близко подошла к ее исполнению. Идею «Греческого проекта» подал императрице сам Вольтер. Это он в 1769 году грозно стучал сухоньким кулачком в своем уютном фернейском кабинете, призывая Екатерину изгнать турок из Европы, сделать Константинополь русской столицей.

Когда в апреле 1779 года у императрицы появился второй внук, его назвали Константином. Это не случайно: имя ребенку дала сама Екатерина, причем она шутливо объявила, что хотела бы пригласить в воспитанники султана Абдул-Гамида. Кормилицей к младенцу назначили гречанку, в честь рождения цесаревича отчеканили медаль с изображением Айя-Софии. Тогда же был создан Греческий кадетский корпус.

В 1787 году прибывшие в Херсон вместе с императрицей высокопоставленные иностранные гости были поражены, увидев великолепные ворота с надписью, гласившей: «Здесь – путь в Византию». Конечно, царица понимала, что осуществить имперские мечты будет непросто. В октябре 1789 года она сказала о десятилетнем Константине: «Константин – мальчик хороший, он чрез тридцать лет из Севастополя проедет в Царьград. Мы теперь рога [туркам] ломаем, а тогда уже будут сломлены и для него лучше». Иначе говоря, Екатерина предполагала что «Греческий проект» будет осуществлен к 1820-м годам. Любопытно, что летом 1829 года русские войска другого внука Екатерины II, императора Николая I, разбили лагерь в Эдирне (Адрианополе), на пороге Стамбула. Но тогда была уже другая ситуация...

«Греческий проект», возникший из общей идеи изгнания турок с Босфора, постепенно оброс конкретными геополитическими деталями. Автором их был Потемкин. Екатерина в письмах Иосифу II, которого активно пыталась втянуть в эту историю, рассказывает, как все осуществится «на местности». Сокрушение Османской империи предполагало раздел одной части ее владений между русскими и австрийцами. Другая же часть стала бы территориальной основой создания двух новых государств – собственно Византии со столицей в Константинополе, на троне которого будет сидеть Константин III (Константином I Великим был основатель Византийской империи, а Константином II Палеологом – последний византийский император, погибший при взятии Константинополя османами в 1453 году), и Дакии, которая должна была возникнуть на территории северочерноморских владений Турции (Молдавии, Валахии и Бессарабии). На престоле Дакии должна была обосноваться новая династия. И хотя Екатерина не уточняла, кто будет ее основателем, но для многих это был секрет Полишинеля – уж слишком видны были во всем этом амбициозном деле уши светлейшего. Впрочем, был еще один вариант: предполагалось из азиатских владений Турции (на Кавказе и в Прикаспии) создать государство Албанию, трон которого тоже мог бы устроить Потемкина.

Екатерина особо подчеркивала в письмах Иосифу II, что новообразованные государства будут полностью независимы от России, хотя этому верится с трудом. У самой Екатерины в голове бродили смутные геополитические мысли насчет судьбы Российской империи в случае ошеломительных успехов на Юге. Вот что она писала Гримму в 1795 году, то есть незадолго до смерти: «Из истории России видно, что народы, жившие на севере государства,

легко подчиняли себе народы, жившие на юге. Южные же жители, предоставленные самим себе, были всегда слабы и не имели прочного могущества, тогда как Север легко обходился без Юга и без южных стран».

Здесь отчетливо видна довольно распространенная в прошлом (да и ныне) европоцентристская идея о том, что только европейцы – жители Севера – способны создавать цивилизацию, культуру, и их движение на Юг, в края, заселенные скопищами «диких» азиатских, африканских народов, естественно, закономерно и неизбежно. Белый человек, житель Севера, должен господствовать над Югом, Востоком и всем миром. Из этой мысли Екатерины вытекала другая: настоящая столица Российской империи еще не найдена, и, по всей вероятности, не ей предстоит эту столицу найти. Она не уточняет, где должна быть «настоящая столица», – это дело ее преемников, но, вспоминая тут же недавнюю войну со Швецией, когда возникла реальная угроза захвата противником Петербурга, говорит об опасности расположения столицы на границе империи и необходимости передвинуть ее в направлении общего имперского движения на Юг.

Имперская мечта опьяняла царицу. Успехи армии воодушевляли, и Екатерина могла почти без хвастовства написать Гримму: «Победы для нас – дело привычное». И глядя на императрицу, спокойный и расчетливый Иосиф II сказал в Севастополе французскому послу: «Я сделал, что мог, но вы сами видите: государыня увлекается». Иосиф хорошо понимал суть проблемы, он смотрел на нее как один из членов обширного, но недружного, завистливого сообщества европейских держав. Австрийский император не сомневался в том, что нарушение статус-кво в такой важной стратегической зоне мира, как Проливы, дорого обойдется России. Ни Англия, ни Франция, ни другие государства, имевшие свои имперские интересы на Босфоре, ни при каких обстоятельствах не допустили бы резкого одностороннего усиления России в этом районе. Сказки о независимости от России Греческой и Дакийской империй можно было рассказывать только Константину, да и то до тех пор, пока он лежал в люльке. Самой Австрии также было невыгодно иметь соседом Россию и ее сателлитов. Иосиф это выразил просто: «Для Вены, во всяком случае, безопаснее иметь соседей в чалмах, нежели в шляпах».

И это была правда. Со времен подвигов Яна Собеского и Евгения Савойского утекло много воды – турки стали уже не те, что раньше. С ними можно было и договориться. Но все же холодные «компрессы» Иосифа «родителям Греческого проекта» помогали мало. И только внезапная смерть Потемкина осенью 1791 года серьезно подорвала всю программу движения на Босфор. Впрочем, в одном из вариантов завещания Екатерины было написано: «Мое намерение есть возвести Константина Павловича на престол Греческой Восточной империи».

«Гватемала – гать малая», или Слезы Польши

Екатерина II была самой русской императрицей за всю историю России. Можно без особого преувеличения сказать, что бывшая принцесса София Фредерика Августа стала первой русской националисткой. Нетрудно понять, откуда это пришло. Здесь и искренняя любовь и благодарность к стране, которая сделала ее великой императрицей, стала ее второй родиной, принесла ей бессмертную славу («Желаю и хочу только блага стране, в которую привел меня Господь. Слава ее делает меня славною»). Каждый путешественник, позволивший себе неблагоприятные высказывания о России, автоматически становился личным врагом Екатерины. Чего только не говорила вслед ему разгневанная императрица!

Здесь и восхищение русским народом, за которым, при всех передрягах, можно было чувствовать себя как за каменной стеной («Русский народ есть особенный в целом свете, Бог дал ему отличные от других свойства»). Нельзя, наконец, сбрасывать со счета и психологические особенности патриотизма иностранки, так страстно хотевшей, чтобы русские признали ее своей и с успехом достигшей этой цели («Думаю... что существует мало стран, где бы чужеземцы были более легко приняты, чем в России»).

А как любила Екатерина русский язык! У нее на всю жизнь сохранился легкий акцент, но русская речь Екатерины была лексически богата, разнообразна и ярка. В истории русской литературы есть и ее, хотя и весьма скромное, место – ведь императрица стала автором почти десятка пьес. Она первая начала переводить на русский «Илиаду». В письмах Екатерины встречаются русские пословицы, они всегда уместны, не натужны и естественны. В совершенстве она владела и тогдашним сленгом и, вероятно, богатейшей палитрой русских ругательств – некоторые места ее писем позволяют это подозревать.

Любила царица и разные клички, прозвища. Нельзя без смеха читать ее письма времен войны со Швецией (1788–1790 годы), в которых она называет шведского флотоводца герцога Зюдерманландского «Сидором Ермолаевичем», а прусского посланника – «Герцем застегнутым». Императрица была искренне убеждена (и писала об этом Вольтеру), что русский язык богаче французского и в состоянии выразить самые тонкие и сложные политические и правовые материи.

Но все же основная линия «родства» с Россией шла через империю, династию. Екатерина воспринимала себя не как просто вдову Петра III, а как члена династии Романовых. Если императрица пишет: «покойная бабка моя», то не подумайте, что она имеет в виду Альбертину Фредерику Баден-Дурлахскую. Нет! Речь идет о Екатерине I. То же самое можно сказать о ее выражении «предки мои». Это не голштинские или ангальт-цербстские герцоги и князья, а Романовы. Екатерина ощущала себя звеном именно этой генеалогической цепи, здесь, среди русских предков мужа, был ее корень.

Граф Сегюр вспоминает императрицу на Полтавском поле, где Потемкин устроил грандиозную имитацию великой битвы 1709 года: «Удовольствием и гордостью горел взор Екатерины. Казалось, кровь Петра Великого струилась в ее жилах». Неудивительно после этого, что она знать не хотела своих немецких родственников, так и не допустила в Россию родного брата, который, конечно, жадно рвался попробовать жирной русской кулебяки. Наконец, в одном из вариантов завещания она писала: «Для блага империи... советую отдалять от дел и советов... принцев Вюртембергских (братьев Марии Федоровны, жены

Павла. – Е. А.) и с ними знаться как возможно менее...» И в дурном сне Фридриху II не могло привидеться, что та самая застенчивая ангальт-цербстская принцесса, сидевшая за его столом в 1744 году, та скромница, которую он рассчитывал использовать в своей политике, много лет спустя, между делом, успокоит в письме Потемкина: «Плюнь на пруссаков, мы им пакости их отомстим!»

Имперское сознание Екатерины имело своим истоком непоколебимое убеждение в изначальном превосходстве русских не только над другими славянскими народами, но и над остальными жителями планеты. Она упорно занималась филологическими и историческими изысканиями и пришла к выводам, в правоте которых не сомневалась: скандинавский бог Один – уроженец Дона, славянин; скифы – тоже славяне, ибо по внешности – красивы, по характеру – честны, человеколюбивы; раньше славяне (читай – русские) жили по всей земле, и топоним Гватемала – не что иное, как «гать малая»; свои хваленые учреждения высокомерные англичане взяли прямо из Древней Руси и т. д., и т. п.

Ну если уж она была такого мнения об англичанах, то что говорить об украинцах, поляках и прочих народах! В инструкции генерал-прокурору А. Вяземскому в 1764 году было категорически сказано: Малую Россию, Лифляндию и Финляндию «надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу». А в инструкции П. А. Румянцеву об управлении Украиной уточнялось, что таким «легчайшим способом» будет вначале ограничение свободы перемещения крестьян, а потом и распространение на них крепостничества, что и было впоследствии успешно сделано. При Екатерине ликвидировали гетманство, и некогда вольная казачья Украина превратилась в обыкновенную российскую губернию с крепостными и помещиками. В 1791 году императрица подписала и указ об установлении печально известной впоследствии черты оседлости для евреев.

Но все-таки для Екатерины не было в мире более ненавистной нации, чем поляки. Эта ненависть имела какой-то неестественный для гуманной и прозорливой императрицы характер. Екатерина-императрица ненавидела Речь Посполитую за вольнолюбие ее народа, за гордое достоинство ее шляхты, за традиции демократии, которые были органически чужды ее мировоззрению самодержицы.

Та трагедия, которую переживала в XVIII веке Речь Посполитая, интерпретировалась императрицей как неспособность польского народа существовать самостоятельно, как проявление природной порочности поляков. Из каких-то внутренних естественных принципов самоцензуры мне, русскому человеку, помнящему ледяные горы ненависти и взаимных обид, непрерывно нараставших в русско-польских отношениях в течение трех веков, не хочется цитировать постыдные строки, написанные о поляках рукой этой умной, тонкой, здравомыслящей женщины. Лишь с сожалением отмечу, что в драматической судьбе Речи Посполитой, заживо разорванной тремя черными орлами России, Австрии и Пруссии, в той последовательности и жестокости, с какой это делалось во время разделов 1772, 1776 и 1793 годов, Россия сыграла самую позорную роль. Имперское поведение Екатерины было обусловлено не только общими геополитическими соображениями, пользой для ее империи, но и особенной антипатией императрицы к полякам. Какие плоды созрели потом и к чему это привело, мы знаем хорошо: восстания, Суворов над поверженной Варшавой, кровь, ненависть и снова кровь.

Впрочем, гнев государыни на какой-либо народ сразу же стихал, как только он входил в состав Российской империи. Она была искренне убеждена, что поляки должны радоваться

утрате независимости, ибо им следует понимать «отторжение свое от анархии республики Польской за первый шаг к их благоденствию». А как она сердилась на двух французских повес-дипломатов, которые в Бахчисарае, во время пребывания Екатерины в Крыму, подсматривали за снявшими паранджу татарками. «Господа, эта шутка весьма неуместна и может послужить дурным примером, – отчитывала она их, как мальчишек. – Вы посреди народа, покоренного моим оружием, я хочу, чтобы уважали его законы, его веру, его обычаи и предрассудки!»

Блеск северной звезды

На тему «Екатерина и просветители» можно написать целую книгу – так многочисленны письма, которыми долгие годы обменивалась императрица с Дидро, Вольтером, Д'Аламбером, так интересно и разнообразно содержание этих писем. Переписка эта началась вскоре после того, как Екатерина вступила на российский престол. Одним из первых адресатов начинающей императрицы стал великий Вольтер. По мнению французского историка А. Рембо, Екатерина в начале этой переписки была похожа на молоденькую девушку, воспитанную в четырех стенах учебного заведения, которая, прочитав тайком стихотворения какого-нибудь поэта, влюбляется в его личность, долго мечтает о нем и вдруг получает возможность писать своему герою.

Действительно, первые письма императрицы простодушны и откровенны. Она наслаждается самым счастьем переписки с несравненным Вольтером, радуется, что он ей отвечает. Да и потом, до самой смерти Вольтера в 1778 году, Екатерина выдерживает стиль ранних лет эпистолярной дружбы с гением и регулярно шлет в Ферней послушно-покорные письма скромной «ученицы», ищущей одобрения великого Учителя, Патриарха. Мнение его она ценит превыше всего на свете, утверждая, что это он сформировал ее ум.

Когда же фернейский мудрец умер, императрица казалась безутешной: «Я тотчас же почувствовала какой-то общий упадок духа и презрение к делам мира сего... Я хотела бы кричать!» Так она писала Гримму и просила купить для нее сто экземпляров нового издания произведений Вольтера: «Я хочу, чтобы их изучали, чтобы их твердили наизусть, чтобы умы питались ими: это образует граждан, гениев, писателей, это разовьет сто тысяч талантов, которые потеряются среди мрака, невежества и прочая». Прекрасная эпитафия! Собственно, на такую реакцию публики и было рассчитано признание ученицы Вольтера – Гримм не делал из посланий Екатерины тайн.

Многие исследователи переписки Екатерины с Вольтером единодушны: цели императрицы были весьма прагматичны – она добивалась европейского общественного признания. Для Екатерины это было крайне важно. Она, как никто другой до нее на русском престоле, очень дорожила общественным мнением как внутри, так и вне страны. В этом смысле переписка с философами для Екатерины была равна по значению поцелуям с бабами на тракте Петербург – Москва. И первое, и второе приносило ей популярность, необходимую в ее положении узурпатора власти законного царя. Все, что препятствовало этой популярности или умаляло ее, вызывало у императрицы неподдельную ярость.

Сегюр с удивлением отмечал, что терпимая, умная и уравновешенная Екатерина в таких случаях разительно менялась, она с жаром передавала ложные слухи, распускаемые по Европе о ее честолюбии, читала эпиграммы, на нее направленные, и забавные толки об упадке финансов России и расстройстве здоровья императрицы. Она не пропускала ни одного скверного слуха, распускаемого о ней, как она выражалась, «политическими болтунами», и стремилась тотчас его нейтрализовать – либо через подставных лиц заявлением в европейских газетах, либо собственноручным письмом тем своим адресатам, в доброжелательной болтливости которых она не сомневалась. И тут уж Екатерина в выражениях не стеснялась: ее недруги сплошь «сволочи», «мерзавцы», «негодяи» и «скоты». А какие инструкции давал наш «философ на троне», если заткнуть рот книгоиздателю,

автору или газетчику не удавалось! «Прикажите всем нашим министрам, – писала Екатерина в Коллегию иностранных дел в 1763 году по получении французской книги об истории свержения Петра III, – прилежно изыскивать автора, требовать, дабы он наказан был, конфисковать все... и заказать (то есть запретить. – Е. А.) привоз оной книги в Россию».

Как-то раз императрицу встревожила статья в одной из английских газет. В резолюции на донесение А. Р. Воронцова по этому поводу Екатерина указывает четыре способа «работы с автором»: «1. Зазвать автора куда способно и поколотить его; 2. Или деньгами унимать писать; 3. Или уничтожить; 4. Или писать в защищение, а у двора, кажется, делать нечего. И тако из сего имеете выбрать». Переписка с Вольтером была для Екатерины бесценна – в Европе не было лучшего авторитета, чем неподкупный, независимый буквально от всех властей, ядовитый Вольтер. Когда митрополит Платон упрекнул императрицу за переписку с богопротивным атеистом, ответ Екатерины был таков: «Может ли быть что-либо невиннее письменного сношения с восьмидесятилетним стариком, который в сочинениях своих, читаемых во всей Европе, старался прославить Россию, унижить ее врагов, удержать от враждебного проявления своих соотечественников, всегда готовых излить всюду свою ядовитую ненависть против России и которых ему удалось, действительно, сдерживать? С этой точки зрения, я полагаю, что письма, написанные к атеисту, не нанесли ущерба ни церкви, ни отечеству».

Екатерину с Вольтером многое объединяло: атеизм, циничное отношение к вере и церкви, нелюбовь к Бурбонам, евреям, полякам, презрение к туркам, которым, как думали оба адресата, не место на Босфоре. Да и вообще, имеет ли право на существование народ, ничего не смыслящий по-французски? – задавался вопросом в связи с этим Вольтер, и «ученица» разделяла сомнения Патриарха. Впрочем, оба знали цену взаимным откровенностям, шуткам и признаниям, которые становились назавтра достоянием всей читающей Европы. Для обоих это была игра, и никто из партнеров в ней не проигрывал.

Важно подчеркнуть, что игра эта была заочная, и когда Вольтер все же вознамерился потряхнуть стариной и отправиться в Петербург, Екатерина этому решительно воспротивилась. Дело было, конечно, не в трудности пути или слабости здоровья Учителя, о котором так трогательно заботилась Екатерина, а в ее нежелании воочию знакомиться с человеком, который славился дьявольской проницательностью и, казалось, все видел насквозь и на два аршина под землей. Такой наблюдатель был совсем не нужен императрице, она предпочитала кормить фернейского затворника с рук той информацией, которую готовила сама. Посылая ему бодрые письма о своих успехах в войне и мире, она слегка привирала, преувеличивая численность трофеев своей армии или преуменьшая размеры своих неудач. Это тоже входило в правила игры, и мы наверняка не узнаем, доверял ли этим посланиям Вольтер.

Впрочем, сидя в своем Фернее, он вполне мог и поверить мюнхгаузенским рассказам Екатерины о том, что в России нет мужика, который бы не ел курятину, и что с некоторого времени он предпочитает ей индюшатину. Приглашать Вольтера убедиться в справедливости этих слов Екатерина считала излишним, тем более что она уже имела некоторый опыт общения с философом-наблюдателем. Это был Дени Дидро. Он приехал в Петербург в 1775 году и показал себя человеком восторженным, болтливым и доверчивым. Императрица почувствовала свое превосходство над ним и легко, без усилий, вводя простака в заблуждение, отвечала на все его «коварные» вопросы о крепостном праве в России, о самодержавии. И тем не менее этот, казалось бы, обведенный вокруг пальца философ

весьма критично отозвался о ее знаменитом «Наказе», чем, конечно, очень огорчил Екатерину.

Впечатления же от концепций самого Дидро у нее были самые неблагоприятные. «Я долго с ним беседовала, – рассказывала императрица Сегюру о встречах с Дидро, – но более из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами». Дидро же она сказала: «В своих преобразовательных планах вы упускаете из виду разницу нашего положения: вы работаете на бумаге, которая все терпит, ваша фантазия и ваше перо не встречает препятствий; но бедная императрица, вроде меня, трудится над человеческой шкурой, которая весьма чувствительна и щекотлива». В другой раз она потешалась над известным ученым юристом Мерсье де ла Ривером, который, прельстившись приглашением императрицы, прикатил в Россию с намерением построить в этой дикой стране государство по своему плану. Наградив ученого по достоинству, Екатерина со смехом выпроводила его восвояси.

Надо сказать, что у императрицы были непростые отношения с философией и наукой вообще. С одной стороны, она много говорила о пользе знаний и наук, без колебаний предала себя в руки известного врача барона Димсдаля, сделавшего императрице и наследнику осенью 1768 года прививки оспы, а с другой стороны, она считала всех врачей шарлатанами и являлась автором бессмертного афоризма «Доктора – все дураки». К медицине она относилась со свойственным истинно русскому человеку пренебрежением, суеверно полагаясь исключительно на самолечение.

В истории с оспопрививанием ею двигала совсем не вера в науку, а нечто иное. По своей природе Екатерина была человеком риска. Как-то раз она сказала, что если бы была мужчиной, то, несомненно, погибла бы в молодости – ставить собственную голову на кон было ее страстью. Вот и здесь Екатерина решилась: всеевропейский шум от известия о прививке русской царицы стоил риска заболеть оспой. Зато после можно было небрежно написать Гримму по поводу смерти Людовика XV в 1774 году: «По-моему, стыдно королю Франции в XVIII столетии умереть от оспы, это варварство». Если все это имеет отношение к науке, то лишь к науке политики, магистром которой она, несомненно, была.

А в остальном Екатерина считала науку, философию вполне бесполезными. «Философы – престранный народ, – писала она Гримму в разгар тесных отношений с Дидро и Вольтером, – они, мне кажется, на свет родятся для того, чтобы объяснить то, что и без них довольно понятно, что людям кажется несомненным как дважды два четыре, они затемняют и заставляют в том сомневаться». При этом она любила порассуждать о «философском поведении», правилам которого всю жизнь старалась следовать. Из ее писем видно, что под «философским поведением» императрица понимала стоицизм, равнодушие к опасности, искусство скрывать свои чувства, не дать «действовать страстям», пренебрежение к излишнему комфорту, авторитетам и своему здоровью – одним словом, идеал Диогена.

Великая императрица страдала двумя комплексами, которые особенно отчетливо проявлялись в переписке с философами и в разговорах с образованными людьми. След от первого – «комплекса недоучки» – отчетливо виден в высказывании о философам – «престранных людях». Садясь в карету после разговоров с мужиками и бабами, она с апломбом говорила Сегюру: «Гораздо больше узнаешь, беседуя с простыми людьми о делах их, чем рассуждая с учеными, которые заражены теориями и из ложного стыда с забавной уверенностью судят о таких вещах, о которых не имеют никаких положительных сведений».

Жалки мне эти бедные ученые! Они никогда не смеют сказать: „Я не знаю“, а слова эти просты для нас, невежд, и часто избавляют нас от опасной решимости. Когда сомневаешься в истине, то лучше ничего не делать, чем делать дурно». Конечно, много правды в словах императрицы – до сих пор таких ученых попадается немало, но во все века наука была жива именно теми, кто не боялся сомневаться и ставил под жестокую проверку фактами общепринятые истины.

В своем пренебрежении наукой Екатерина была не одинока – в то время всеобщего увлечения естественным развитием, в стиле Руссо и ему подобных, всякая наука считалась путями человека, «ученье, – глубокомысленно писала царица в 1779 году, – часто заглушает собою прирожденную остроту». Эти далекие от оригинальности мысли царицы, равно как и ее явное умственное превосходство над многими окружающими, в том числе – учеными, вкуче с безмерным самомнением – все это делало порой высказывания Екатерины категоричными и, увы, не всегда умными. «Я уважаю ваших ученых, – говорила она французскому посланнику, – но лучше люблю невежд: сама я хочу знать только то, что мне нужно для управления моим маленьким хозяйством». «Маленьким хозяйством» императрица кокетливо назвала здесь Российскую империю, которой она управляла – разумеется, лучше всех, – не кончая при этом Сорбонны или Оксфорда.

«А так как я неученая и в Париже не бывала, – пишет Екатерина Гримму в 1775 году, – и нет у меня ни ума, ни знаний, то, стало быть, я и не знаю, чему нужно выучиться и откуда об этом узнать, как не от вас, ученых». Здесь звучит неприкрытая ирония «неученой», но великой императрицы, притворно снимающей шляпу перед учеными болтунами и явно напрашивающейся на комплимент своему уму и достижениям. Уничуждение паче гордости.

Любопытно, что в приведенной цитате виден еще один, весьма забавный комплекс императрицы. Его можно назвать «комплексом провинциалки». Париж – эта интеллектуальная столица мира и законодатель всех мыслимых и немыслимых мод и увлечений – никогда не давал императрице покоя. Во всем она хотела перецеголять Францию, Париж, Версаль. «Комплекс провинциалки» отражается в кокетливой шутке, обращенной к Сегюру во время путешествия на Юг: «Парижские красавицы, модники и ученые теперь глубоко сожалеют о вас, что вы принуждены путешествовать по стране медведей, между варварами с какой-то скучной царицей».

О том же она пишет госпоже Жоффрен: «Удивляюсь, что вы меня считаете остроумной: мне всегда говорили, что у вас считают остроумными только тех, которые побывали в Париже». Но все это ломанье: «провинциалка» наша была убеждена, что даст сто очков форы всем парижским ученым и неученым дамам, да заодно и их кавалерам, и непременно выиграет: «Парижские дамы занемогли бы, если бы им случилось вести тревожную мою жизнь. Вы же видите, что я легка, как птица». Так она писала мадам Жоффрен.

В переписке с этой почтенной дамой, хозяйкой известного в Париже литературного салона, как и в многолетнем обмене письмами с бароном Фридрихом Мельхиором Гриммом, прослеживается еще одна особенность. Екатерина явно жаждала не только европейской славы, но и просто дружбы, участия. В начале своей переписки с мадам Жоффрен она писала: «Еще раз повторяю Вам, что не хочу коленопреклонений: между друзьями так не водится. Если Вы меня полюбили, то прошу Вас, не обращайтесь со мною, как будто я персидский шах».

И далее она пишет о том, что всегда является проклятием правителей, – одиночество, непонимание окружающими, которые не могут стать друзьями властителя только по

велению сердца: «Поверьте, нет ничего на свете хуже высокого сана. Когда я вхожу в комнату, все приходят в оцепенение, точно при виде головы Медузы, все принимают принужденный вид. Иной раз меня это бесит и я кричу орлом на этих птиц, но надо сознаться, что таким способом ничего нельзя сделать: чем больше я кричу, тем больше стеснения... Напротив, если бы Вы вошли в мою комнату, я бы Вам сказала: „Садитесь, пожалуйста, и давайте болтать“; Вы бы сели в кресло против меня, я бы на другую сторону стола и мы бы поговорили урывками о том, о сем, на это я большая мастерица». О своем одиночестве она писала много лет спустя и принцу де Линю: «Мы, правители, пренесносные особы в обществе, когда я вхожу в комнату...» и далее по тексту письма госпоже Жоффрен, написанному за двадцать лет до письма де Линю. Видно, что это чувство, эта мысль глубоко сидели в Екатерине, если она, раз за разом, к ним возвращалась.

Сделаем небольшое отступление и вспомним, что письма играли колоссальную роль в человеческой культуре XVIII века. Эпистолярная форма литературных произведений была одной из самых распространенных. Читатели плакали над перепиской бедных влюбленных, восхищались чеканным стилем полководцев и глубиной пространственных посланий философов. Нельзя забывать, что люди тогда жили несопоставимо спокойнее нас. Их жизнь, такая короткая в сравнении с нашими семьюдесятью-восемьюдесятью годами, тем не менее, не летела как наша, а тянулась.

Люди XVIII века жили в мире, где ритм жизни задавали ранние пробуждения на восходе солнца, бой часов на городской башне да почтовые дни, когда приходила и уходила из города почта. Готовясь к этому дню, нужно было, никуда не спеша, сесть за стол, зажечь новую свечу, хорошенько очинить перо, разгладить толстый желтоватый лист бумаги и начать очередное письмо далекому адресату, который, как и ты, ждет с нетерпением почтового дня, чтобы получить привет и новость из неизмеримого далека. Не отвечать же на письма считалось невозможным, оскорбительным и недостойным человека.

Все эти чувства вполне владели и Екатериной – человеком своего века. Конечно, часто она писала письма – отметим вновь – с чисто прагматическими целями; конечно, она лукавила, лгала, зарабатывала политический капитал; она читала собственные послания глазами постороннего, как бы через свое же плечо. Но вместе с тем, она оставалась и просто милой, общительной женщиной, и ей хотелось получать не только реплики, но и ласковые письма доброго знакомого, которому можно написать о мелочах, с которым приятно, как с равным, поделиться своими мыслями, поболтать. Когда-то она решила: коли рядом, в толпе придворных льстецов, такого приятеля нет, то пусть им будет далекий адресат. Для Екатерины им стал барон Гримм – писатель, издатель рукописной газеты о жизни Франции, которую он рассылал всем европейским государям.

Он не был оригинальным мыслителем, глубоким ученым или даже остроумным собеседником, но зато отличался аккуратностью и слепым преклонением перед русской императрицей. Этого вполне хватало Екатерине: первое достоинство делало Гримма дисциплинированным корреспондентом, а второе исключало всякую тень насмешки и подвоха в его ответах на неосторожные откровения царицы. В марте 1778 года Екатерина писала Гримму, что у нее на конторке лежит масса неотвеченных писем – и Фридриха II, и Вольтера, и шведского короля, но к ним не тянется рука, «так как они мне не милы потому, что отвечая на них, надо писать, а к вам я никогда не пишу, а просто болтаю, то мне приятнее позабавиться и дать полную волю руке, перу и голове». В другой раз она писала: «Принимаюсь опять за перо. Поболтаем!..»

Переписка с философами многое дала Екатерине. Они ввели ее в высшее интеллектуальное общество Европы, прославили ее государственные дела, вызвали волну похвал в адрес «самой блестящей звезды Севера» – так назвал ее Вольтер. В потоке восторженных славословий мало кто обратил внимание на высказывание Рюльера: «Чрезмерная лесть избаловала ее, и окружающие внушили ей ложное понятие об истинном величии и о средствах сделать народ счастливым. Философы нашего времени, коих мнения требовала она себе как доброго совета, внушили ей такой эгоизм, вредный для всякого человека, не только для государя. Они заставили ее стараться единственно о том, чтоб говорили о ней, научили ее радоваться при слышимых похвалах, которыми ее осыпали со всех сторон, только своею особою занимать свет, не заботясь о том, что будет с государством по смерти ее». Бесспорно, ничтожно в мировой истории число людей, которые выдержали труднейшее испытание медными трубами славы. Екатерина не принадлежит к этой маленькой компании истинно великих.

«Catherine le Grand»

Екатерина оценила по достоинству милую грамматическую «ошибку», не без лести допущенную принцем де Линем: Catherine le Grand» – «Екатерина Великий», что звучало почти так же, как и «Петр Великий». Сопоставляя себя с реформатором России, императрица не видела почти никакой разницы, а кое в чем подчеркивала свое превосходство. Ревниво и пристрастно вела Екатерина «счет» и в европейском, и в мировом масштабе, размышляя о своих преимуществах перед Марией-Терезией и мечтая затмить роскошную славу Людовика XIV. А сколько было ревности в тех взаимных, подчеркнута вежливых реверансах, которыми постоянно обменивались Екатерина и Фридрих II, ее вечный заочный соперник на поле славы. И вот здесь нельзя не задуматься над страницами воспоминаний графа Сегюра, писавшего, что, казалось бы, человек, достигший такой славы, какой достигла Екатерина, должен быть равнодушен к голосу зависти, насмешки и недоброжелательства. Но нет! Екатерина, как и ее учитель Вольтер, остро и нервно реагировала на малейшее сомнение в ее бесчисленных достоинствах.

Суетная погоня за славой была в ее крови с молодости, с тех времен, когда она воскликнула: «Царствовать или умереть!» В переписке с заграничными адресатами она безмерно хвастлива. «Мои солдаты идут на варваров, как на свадьбу», – так примерно она описывала своим приятелям тяжелейшую войну с турками. С годами она все с меньшим и меньшим юмором относилась к собственной особе, покровительствуя всякому, как она называла, «екатеринофильству», и стала падка на лесть, даже самую пошлую и грубую. «Польстите ей! – советовал новому английскому посланнику Потемкин, хорошо знавший свою „добрую мать“. – Это единственное средство добиться у нее чего бы то ни было. И этим достигают всего. Не говорите ей умных речей – она не будет вас слушать. Обратитесь к ее чувствам и страстям. Не предлагайте ей ни сокровищ, ни флота Англии, она этого вовсе не желает. Ей нужны только похвалы и комплименты. Дайте ей то, чего она желает, а она даст вам все силы своего государства». О том, что «льстя ее любви к славе», можно сбить императрицу с толку, писал и граф Сегюр.

Конечно, не следует все упрощать: ни за какие комплименты Екатерина не отдала бы Англии «все силы своего государства». С первого и до последнего дня царствования слава ее, Екатерины, и слава России составляли неразрывное единство. В 1761 году она писала о России: «Слава ее делает меня славною». Можно не сомневаться, что и позор России она переживала бы как личный позор. Как-то раз, путешествуя по югу в одной карете с

иностранными посланниками, она сквозь дремоту слышала их разговор на актуальную тогда тему: не станет ли легче английскому королю Георгу III, если он смирится с потерей 14 американских провинций, превратившихся в независимое государство. Екатерина сразу проснулась и резко сказала, что она, оказавшись в положении Георга, тотчас бы пустила себе пулю в лоб.

Императрицею не владело безумие многих правителей – жажда мирового господства. Завоевание Босфора было пределом ее мечтаний, причем и здесь она понимала трудности осуществления своего «Греческого проекта». Отказывалась она поддерживать русских «землепроходцев» Америки и в ответе на прошение купца Ивана Голикова о предоставлении его компании «пособия» для успешной торговли с «дикими народами» Северной Америки не без остроумия писала: «Пособие монаршее теперь обращено на полуденные (то есть южные. – Е. А.) действия, для которых дикие американские народы и торговля с ними оставляются собственному их жребию». На проекте о завоевательном походе в Индию она начертала нечто подобное: «У России довольно земель и произведений, чтобы не иметь никакой нужды отправляться для завоеваний в Индию».

Понимала она и такие вещи, которые были недоступны многим ее собратьям на поприще искания славы. Так, ей совсем не льстило увидеть памятник своей персоне или исторический труд, написанный каким-нибудь придворным историографом-панегиристом. Что в этом толку! Ведь современники не в силах оценить истинное значение государственного деятеля своей эпохи! Екатерина, умудренная жизненным опытом и знанием истории, понимала различие между дешевой, но непрочной известностью сегодняшнего дня и великой, нетленной славой в будущих веках. Более того, она даже знала, как получить билет в бессмертие. Для нее было несомненно, что нет на свете победы, здания, мирного договора, памятника, которые могли бы состязаться во времени с тихим словом гения. «Хотите, – писала она в декабре 1779 года Гримму, – я скажу вам, что думаю об этом Тешенском мире (договор, которым Россия гарантировала мир Австрии и Пруссии. – Е. А.), который так у вас возвеличен, и о славе, которая, по-вашему, подобает миротворителям. В жизнь мою я не приписывала славы делам, о которых было много крику. Всякий кричит или молчит сообразно своей выгоде. Это не то. Слава, которую я люблю, часто всего менее разглашается, ею творится добро не для настоящего только времени, но и для времен будущих, от поколения к поколению до бесконечности. Эта слава иной раз производится одним словом или одною буквою, прибавленною или опущенною. На поиски ее даже ученые люди пойдут с фонарем в руке и стукнутся об нее носом, ничего в ней не понимая, коль скоро нет в них гения, способного к разъяснению. Ах, милостивый государь, перед долею такой славы меркнут в глазах моих все славишки, о которых бы мне хотелось говорить. Но полно, станем работать втихомолку, будем делать добро ради добра и всем остальным предоставим болтать».

Теперь читателю понятно, почему царица, встав ни свет ни заря, спешила к письменному столу и трудилась над законами – она была опалена страстной мечтой о бессмертной славе великих законодателей Ликурга, Солона, Юстиниана, Ярослава Мудрого, Петра Великого. По утрам она упорно писала свой «Кодекс Екатерины»... И, надо сказать по справедливости, многое ей на этом поприще удалось. Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ее мощным оружием, силой, как тот военный корабль, который назывался «Слава

Екатерины» (отметим попутно, что императрица попросила Потемкина его переименовать, чтобы турки, если захватят корабль, не радовались обладанию славой Екатерины). Французский дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава, которую создала себе императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей искусных государственных людей и опытных генералов.

Да и теперь, двести лет спустя, когда десятки искателей славы уже заслонили собой Екатерину, мы уверенно можем сказать, что императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов. Конечно, можно возразить, что императрице в такой богатейшей стране было нетрудно стать великим реформатором. Австрийский император как-то сказал: «Из всех монархов Европы императрица одна только действительно богата. Она много повсюду издерживает, но не имеет долгов, ассигнации свои она оценивает во сколько хочет, если бы ей вздумалось, она могла бы ввести кожаные деньги».

Но мы-то знаем, что даже безгранично богатую страну можно разорить дотла, если не иметь царя в голове. Екатерина его имела. Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной идеей – максимально способствовать развитию и совершенствованию того «регулярного» государства, основы которого заложил еще Петр Великий. Наряду с реформой высшего и центрального аппарата в годы ее царствования было кардинально преобразовано и местное управление. «Учреждение о губерниях» 1775 года, легшее в основу нового устройства, стало плодом долгих трудов Екатерины, о чем она радостно известила Гримма. Это была одна из важнейших реформ XVIII века. Губернское правление, казенная палата, уездный предводитель дворянства, капитан-исправник, дворянская опека, нижняя расправа, городничий, генерал-губернатор – эти и им подобные учреждения и должности, так хорошо нам известные по русской классической литературе, появились благодаря законодательным усилиям Екатерины.

Огромное значение в судьбе дворянства имела «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», изданная в 1785 году. С тех пор русское дворянство молилось на «матушку-царицу». Грамота закрепляла за дворянством исключительные привилегии: освобождение от обязательной службы, налогов, постоя, телесных наказаний; монополия на земле– и душевладение; право организации дворянских обществ с органами самоуправления. Еще один фундаментальный закон – «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» был издан в том же 1785 году и предоставил горожанам значительные права самоуправления.

Эти главные законодательные акты вместе с неопубликованной Жалованной грамотой государственным крестьянам составляли единый кодекс законов. Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала, вероятно, честолюбивая царица-законодательница.

Абсолютизм с человеческим лицом

Идеология царствования Екатерины опиралась на основы, некогда заложенные Петром Великим. Эти основы были подновлены идеями Просвещения, умело использованными императрицей. Именно поэтому старое самодержавие стало при ней «просвещенным абсолютизмом». Общие идеи этого режима, метко названные историком А. Б. Каменским абсолютизмом с человеческим лицом, предусматривали безграничную власть государства, которое заботится о подданных, ему беспрекословно подчиняющихся. Соответственно, была огромна и власть государя, стоявшего на вершине социальной лестницы. Государь, исходя из высших целей достижения «общего блага», то есть «благоденствия подданных и славы Отечества» (слова Екатерины), считал себя вправе регламентировать жизнь подданных, создавать или ликвидировать сословия, определять их статус как единственных носителей прав.

Говоря о «просвещенном абсолютизме» или его «человеческом лице», не следует думать, что в эти термины вложены сарказм или ирония. Действительно, екатерининская эпоха отличалась гуманностью, терпимостью в сравнении с эпохой Петра Великого или Анны Иоанновны. Да и Екатерину невозможно равнять с ее предшественниками, особенно ближайшими. Были принципы правления, которые императрица считала важнейшими в государстве. Один из них нынче называется «законностью». Характеризуя его, Екатерина писала: «Только сила закона имеет власть неограниченную, а человек, который хочет царствовать самовластно, становится невольником».

Этот принцип уживался в сознании Екатерины с принципом самодержавия, который, по ее мнению, должен быть непоколебим, ибо жизненно важен для России. Такая огромная страна, как Россия, не может существовать без самодержавия, республика ей не подходит: иначе страна рухнет под тяжестью неизбежных внутренних распрей и не сумеет воспротивиться нападению хищных соседей. Всякие другие доказательства Екатерина считала излишними. Естественно, она понимала уязвимость своей позиции, поэтому она часто говорила и писала о себе как о женщине «с душой республиканки», вынужденной быть самодержицей. Но что делать? Противоречие сие неразрешимо.

При этом она не была завзятой монархисткой. В записке о мерах по восстановлению власти короля во Франции она не стоит на твердокаменной позиции воссоздания абсолютизма в том виде, который он имел при Людовике XIV. Жизнь меняется, нужно учитывать перемены в нравах и сознании и «не следует оставаться глухим к общему крику народа...» И далее высказана мысль, делающая честь изощренности и тонкости ее ума политика: «Парламенты – это великий рычаг, могущий принести огромную пользу, когда умеют направлять его и мудро распорядиться его действиями. Так как очень многие фамилии и лица связаны по своему положению с парламентами, то вот и средство образовать из них многочисленную партию для поддержки монархии. Желание свободы можно также удовлетворить добрыми и мудрыми законами». Читая все это, невольно думаешь: «Жаль, что Вы не сидели на месте Николая Второго! Может быть, тогда в России не произошло бы трагедии 1917 года».

Французская революция, развернувшаяся на глазах Екатерины, показала всем худшие примеры охлократии и бесчинства авантюристов и негодяев. В России – стране, народ

которой «от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков» и никогда не имел опыта демократии, – допустить подобное может только безумец. Екатерина же, любящая Россию, на это никогда не пойдет, даже будучи в душе р-р-республиканкой (замечу попутно, что, по мнению Екатерины, республика – это умеренная монархия вроде английской, в которой власть дается и представителям сословий)! «Если монарх – зло, то это зло необходимое, без которого нет ни порядка, ни спокойствия», – так, по словам княгини Дашковой, недвусмысленно выразилась как-то Екатерина.

Нечто похожее происходило и с острой проблемой крепостничества. Екатерина была безусловной противницей крепостничества, но опять же – только в душе. Конечно, проявления крепостного права отвратительны – дело Салтычихи было у всех перед глазами. Граф Сегюр, гуляя в Крыму, вдруг столкнулся с проявлением крепостничества самым неожиданным образом. Навстречу ему попала женщина, поразившая посланника невероятным сходством с его оставленной в Петербурге женой. Потемкин, узнав об этом, захотел сделать приятное французам и сказал, что подарит ему эту женщину. Сегюр благоразумно отказался под тем предлогом, что этот порыв чувств может показаться неприличным его жене. Все это не могло не шокировать европейца. Однако стоило бы гуманной императрице заикнуться об освобождении крестьян, как ее бы действительно сразу же забросали камнями (так она предполагала в «Мемуарах»).

Это был тот порядок, разрушить который в век Екатерины представлялось опасным, и в первую очередь для самой императрицы. Разгул пугачевщины в 1773–1775 годах показал, что свобода понимается огромными массами народа не как равенство, порядок и ответственность, а как кровавая анархия с изуверствами, надругательствами над беззащитными стариками, женщинами и младенцами, разорением храмов и грабежом мирных сел и городов, разбоем на всех дорогах. Немудрено, что крепостное право, с его системой отношений помещика-«отца» и крепостных – его «детей», воспринималось как начало, сдерживающее дикие страсти черни. Оно же было становым хребтом экономики, благосостояния дворянства, и простодушный вопрос Сумарокова о том, откуда же они, дворяне, в случае освобождения крестьян, будут брать себе слуг, не казался тогда наивным, не говоря уже о простых мыслях помещиков насчет оброка и барщины.

Поэтому оставалась надежда только на эволюционный путь перемен: совершенствование законов, разумная регламентация, общее смягчение нравов, распространение просвещения как среди крестьян, так и дворян, нередко выходивших во главе шаек своих крепостных на большую дорогу. «Здравый смысл, добрый порядок, совершенная тишина и гуманность», – вот что было написано на знамени Екатерины. Несмотря на кровавое подавление восстания Пугачева (как будто у власти был иной выход!), царствование Екатерины было достаточно мягким. Ей принадлежат прозорливые слова о том, что «если мы не согласимся на уменьшение жестокости и умерение человеческому роду нестерпимого положения [крепостных], то и противу нашей воли сами оную [волю] возьмут рано или поздно».

На предложение Сената казнить целую деревню за убийство крестьянами помещика последовала такая резолюция императрицы: «Пророчествовать можно, что если за жизнь одного помещика в ответ и наказание будут истреблять целые деревни, то бунт всех наших крепостных деревень воспоследует». О гуманности императрицы ходили легенды. Если их все собрать, то окажется, что императрица просто не могла гулять в любимом ею царскосельском парке – за каждым кустом сидел проситель с челобитной в руке. И тем не менее Екатерина запрещала задерживать письма, которые приходили по городской почте на

ее имя, и все их читала, чтобы потом дать соответствующие приказания чиновникам. Сохранилась и записка Екатерины к Олсуфьеву за апрель 1763 года: «Алексей Васильевич. Я чаю, Ломоносов беден, сговоритесь с гетманом (Кириллом Разумовским, президентом Академии наук. – Е. А.), не можно ли ему пенсион дать, и скажите мне ответ».

Екатерина часто заявляла о своей нетерпимости ко всякой форме насилия. Весной 1771 года она писала в дворцовое ведомство: «Хотя мы с начала нашего царствования уже запретили, чтоб никто при дворе нашем из ливрейных наших служителей, какого б звания ни был, никем и ничем бит не был, но ныне уведомились мы, к немалому удивлению нашему, что, несмотря на сие наше повеление, воля наша не исполнена и паки при дворе нашем возобновилась злая привычка ливрейных служителей бить. Мы, имев в омерзении все суровости, от невежества рожденные и выдуманые, чрез сие накрепко запрещаем, под опасением нашего гнева, всем до кого надлежит, ливрейных наших служителей, какого б звания при дворе не находились, отнюдь никогда и ничем не бить».

Екатерина довольно быстро научилась править Россией. Мало того, что императрица умела работать с людьми (о чем шла речь выше), она определила для себя несколько принципов, из которых исходила в своей царственной работе. Вот некоторые из них: «Воля моя, раз выраженная, остается неизменною. Таким образом, все определено и каждый день походит на вчерашний. Всяк знает, на что может рассчитывать, и не тревожится попустому». «Великие дела всегда совершаются средствами не особенно большими». «Нужно делать так, чтобы люди думали, будто они сами хотят именно этого». «Надобно иметь и волчьи зубы, и лисий хвост».

Наиболее полно эти принципы она выразила в записке о восстановлении монархии во Франции. Незадачливым принцам крови – эмигрантам – она преподала впечатляющий урок: «В деле столь великом... необходимо проникнуться глубоко своим предметом, полюбить его страстно, затем вливать в других свое убеждение и, как скоро решено действовать, то действовать последовательно, не останавливаясь, затем показывать как можно больше спокойствия в тревожные минуты и не обнаруживать ни тревоги, ни беспокойства по поводу совершающихся событий».

Конечно, политика – дело непростое и довольно грязное. И Екатерина не вышла из него чистой. Есть немало документов, говорящих о нарушении императрицей во имя далеких от гуманизма целей многих хороших принципов, которые она проповедовала и в которые искренне верила. Говоря о своей терпимости к свободе выражения мыслей подданных, она широко практиковала перлюстрацию, сурово преследовала недовольных ее режимом. Практика затыкания ртов при ней была самая разнообразная. В 1766 году императрица послала секретный указ генерал-губернатору Москвы, в котором сообщала, что «некто, именем князь Александр Васильевич Хованской не пропускает случай, чтоб все мои учреждения и всех моих поступков не толковать злодейской дерзостию и дать им вид совсем моим намерениям противный». Екатерина просила передать Хованскому, что в случае продолжения им того, что в нашу эпоху называлось «клеветническими измышлениями», он «доведеет себя до такого края, где и ворон костей его не същет».

Тайная экспедиция, пришедшая на смену ужасавшей всех Тайной канцелярии, хотя и работала менее открыто, но была достаточно эффективна. Можно быть уверенным, что Вольтер или мадам Жоффрен никогда не узнали тайного указа своей просвещенной подруги, согласно которому в 1769 году коменданту Динабургской крепости предписывалось некоего Илью Алексева замуровать в каземате, оставив только узкое окно, которое на ночь запирали

железным затвором. Не узнали они, и чем кончила выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны самозванка Тараканова, сгинувшая в казематах Петропавловской крепости. В свойственной правителям нашей страны манере Екатерина подписывала указы о запрещении произносить имя некоего Метельки – главаря восставших крестьян, о переименовании после восстания Пугачева ни в чем не повинной реки Яик в Урал, а родной станицы вождя повстанцев – Зимовейской – в Потемкинскую. Активно поощрялись доносчики и шпионы – дело для России обычное...

Жестокие шутки природы

Неожиданная смерть Потемкина осенью 1791 года стала важной вехой не только в жизни Екатерины, но и в истории ее царствования: отныне вся тяжесть правления легла на нее одну. Так получилось, что уход Потемкина из жизни совпал с процессом, практически неизбежным для каждого политика, даже самого умного и опытного: пройдя период подъема и расцвета, власть его в один прекрасный момент вступает в период гниения, распада и гибели. Как ни была умна и дальновидна императрица, ей также стали изменять разум, воля и чувство меры. Символом последнего периода царствования Екатерины стало постыдное господство при дворе братьев Платона и Валериана Зубовых. История их фавора началась задолго... до их рождения.

Граф Сегюр – тонкий и глубокий наблюдатель – вспоминал: «Эта необыкновенная женщина являла в своем характере удивительное смешение присущей нам, мужчинам, силы со слабостями женской природы; года состарили черты ее лица, но ее сердце и ее самолюбие сохранили свою молодость и в тоже время были глубоко оскорблены». Шел 1789 год, шестидесятый год жизни императрицы. Неожиданно для себя она обнаружила, что ее фаворит Саша – тридцатилетний Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов – не так уж и предан ей, как казалось ранее. Измена Мамонова страшно огорчила государыню: слезы и истерики, объяснения и упреки следовали друг за другом. В чем же дело? О чем плакать и убиваться самодержице, если таким молодым людям несть числа?

И вот здесь мы касаемся очень тонкой материи, рискуя порвать ее неосторожным, грубым движением. Мне кажется, что Екатерина всю свою жизнь была несчастлива в любви. Без любви началась ее семейная жизнь; романы с Салтыковым, Понятовским, Орловым, Потемкиным были неудачны по разным причинам, заканчиваясь печальным исходом для нашей героини. Но она не могла жить без любви, и как раз в этом-то крылись истоки ее драмы, причина ее столь многочисленных неудачных романов. В «Чистосердечной исповеди» она признавалась: «Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви». Как тут не вспомнить Александра Пушкина:

И сердце вновь горит и любит – оттого

Что не любить оно не может.

С определенного времени Екатерина поняла, что человек, способный удовлетворить ее взыскательнейший вкус, еще не родился на свет. Ну, коли так, то нужно его создать, воспитать, научить чувствовать и любить. Это так соответствовало просветительской идее воспитания, «перековки» человеческой природы с помощью знания, доброты, свободы. Некоторый опыт воспитания у нее уже был, но тот педагогический эксперимент закончился неудачно: слишком закостеневшей, застарелой была натура первого ученика Екатерины – Григория Орлова.

Иным был ее «новый ученик» Иван Корсаков, появившийся в 1778 году. Он получил ласковое прозвище Пирр, и императрица была от него без ума: «Когда Пирр заиграет на скрипке, – сообщала она Гримму, – собаки его слушают, птицы прилетают внимать ему, словно Орфею. Всякое положение, всякое движение Пирра изящно и благородно. Он светит, как солнце, и вокруг себя разливает сияние. И при всем том ничего изнеженного, напротив

– это мужчина, лучше которого Вы не придумаете. Словом, это Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармония...» Правда, «царь Эпирский» довольно скоро получил отставку – в нем не было той гибкости и отзывчивости, которую нашла царица в своем новом избраннике Александре Ланском. Красивый, молодой (двадцати четырех лет от роду), он казался Екатерине идеальным материалом для «педагогике сердца». Она была в восторге от молодого кавалергарда, прекрасного, как Иосиф. Я не буду долго распространяться об истинных достоинствах Ланского: думаю, что они были более чем скромны. Но одно из них несомненно – Ланской оказался первоклассным приспособленцем и, как истинный альфонс, зная, «что старухе нужно», стремился под нее подделаться. Вот он, к радости императрицы, «прыгает козой», получив послание обожаемого Екатериной Бюффона, вот он срочно пополняет свое образование, чтобы быть в курсе ее увлечений.

А Екатерина счастлива, ибо исчезло тягостное одиночество и появилась родственная душа, которая кажется открытой для чувств и мыслей, так волнующих ее тонкую, нежную, горячую душу. «Этот молодой человек, – пишет Екатерина Гримму в июне 1782 года, – при всем уме своем и уменьи держать себя, легко приходит в восторг; при том же душа у него горячая». Приводя слова Алексея Орлова: «Вы увидите, какого человека она из него сделает», Екатерина дополняет: «В течение зимы он начал поглощать поэтов и поэмы, на другую зиму – многих историков. Романы нам наводят скуку, и мы жадно беремся за Альгаротти и его товарищей. Не предаваясь изучению, мы приобретаем знаний без числа и любим водиться лишь с тем, что есть наилучшего и наиболее поучительного. Кроме того, мы строим и садим, мы благотворительны, веселонравны, честны и мягкосердечны».

В декабре того же года она просила Гримма достать для Ланского работу художника Греза и обещала, что тот будет опять «прыгать, как коза, и цвет лица его, всегда прекрасный, оживится еще больше, а из глаз, и без того подобных двум факелам, посыплется искры». В другой раз она сообщает барону, что у генерала Ланского чуть не произошел обморок при известии, что Гримм еще не купил заказанную ему коллекцию резных камней. Но вся эта идиллия длилась чуть больше двух лет – 25 июня 1784 года Ланской внезапно умер от злокачественной скарлатины.

В отчаянии Екатерина писала Гримму: «Моего счастья не стало. Я думала, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга, постигшей меня неделю тому назад. Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он усердно трудился над своим образованием, делал успехи, усвоил себе мои вкусы. Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовался моим радостям». Мечта о родственной душе опять рухнула...

Горе Екатерины было столь глубоким, что она, похоронив возлюбленного в царскосельском саду, проливала реки слез возле его урны и, по словам ее доктора Вейкарта, полностью предалась «мизантропическим фантазиям» и даже всерьез намеревалась уйти от мира и заточить себя в усадьбе Пелла, которую поспешно начали строить для нее на берегу Невы в лесистой и дикой местности.

Намерения Екатерины очень не понравились Потемкину, считавшему, что «мать заблуждала», забыв о деле. Светлейший поспешно вернулся в Петербург, вытащил императрицу из уединения и срочно подыскал замену «Саше», который, кстати, был с самого начала его креатурой. Новым «учеником» стал упомянутый выше неверный Мамонов, которому дано было прозвище «Красный кафтан». И в письме тому же Гримму от 2 января 1787 года мы читаем нечто уже знакомое: «Господин Красный кафтан – личность далеко не

рядовая. В нас бездна остроумия, хотя мы никогда не гоняемся за остроумием, мы мастерски рассказываем и обладаем редкой веселостью, наконец, мы – сама привлекательность, честность, любезность и ум, словом, мы себя лицом в грязь не ударим». В письме от 2 апреля Екатерина продолжает: «Впрочем, этот Красный кафтан так любезен, остроумен, весел, такой красавец, такой добрый, приятный, такой мильй собеседник, что Вы очень хорошо сделаете, если полюбите его заочно. Кроме того, он страстно любит музыку».

Стоит ли удивляться, что новый Саша больше всего на свете полюбил любимые императрицей камеи и медали («Красный кафтан больше моего помешан на камнях и на медалях»), так что Екатерина едва могла вытащить его из комнаты, где они хранились. То-то, наверное, Мамонов подремывал между коробок, пока «старухи» не было на горизонте. Ну, и конечно, императрица боялась, что «Красный кафтан с ума сойдет от радости по поводу Кабинета [камей] герцога Орлеанского», купленного по ее заказу.

В середине 1789 года оказалось, что «Красный кафтан» интересуется не только камнями, но и молоденькой княжной Щербатовой. Екатерина поступила великодушно: устроила молодым великолепную свадьбу, хотя была страшно расстроена и еще долго не могла успокоиться, регулярно сообщая Потемкину сплетни о том, как плохо ладят между собой молодожены. Потемкин этой историей был тоже искренне огорчен, но по другой причине – неверный Мамонов подвел его как патрона, «оставил свое место самым гнусным образом». Не успел Потемкин найти ему достойной замены, как у Екатерины, сам собой, появился новый возлюбленный – конногвардейский корнет Платон Александрович Зубов. Именно о нем Екатерина сказала сакраментальное: «Я делаю и государству немалую пользу, воспитывая молодых людей».

А между тем было как раз наоборот: каждый новый фаворит наносил государству огромный ущерб, ибо Екатерина не скупилась на подарки и пожалования и не имела привычки отбирать их после отставки очередного любимца. Вот примерная смета расходов на Ланского, так и не получившего, по причине ранней смерти, всего, что ему полагалось по его «статусу»: 100 тысяч рублей на гардероб, собрание медалей и книг, помещение во дворце, казенный стол на 20 человек стоимостью в 300 тысяч рублей. Все родственники получили повышения и награды, чин же генерал-аншефа или генерал-фельдмаршала с соответствующим содержанием был, почитай, у «Саши» в кармане. За три года он получил 7 миллионов рублей, не считая подарков, два дома в Петербурге, дом в Царском Селе и пуговицы на парадный кафтан стоимостью 80 тысяч рублей. Все эти цифры нужно сложить и умножить минимум на семь – по приблизительному числу «учеников» Екатерины.

Платон Зубов – двадцатидвухлетний шалопай – довольно быстро вошел в фавор к стареющей императрице, и та стала писать о нем Потемкину как о своем «ученикеновичке». 5 августа 1789 года Екатерина сообщает светлейшему нечто интересное: у Платона есть младший брат Валериан, восемнадцати лет, который «здесь на карауле теперь, на место его; сущий ребенок, мальчик писанной, он в Конной гвардии поручиком, помоги нам со временем его вывести в люди... Я здорова и весела, и, как муха, ожила...» Надо понимать, что и «младшой» тоже стал императрицыным «учеником». Через неделю Екатерина отправляет Потемкину курьера с рассказом неизвестно о котором из братьев (думаю, что о Платоне): «Мне очень приятно, мой друг, что вы довольны мною и маленьким новичком; это довольно милое дитя: не глуп, имеет доброе сердце и, надеюсь, не избалуется. Он сегодня одним росчерком пера сочинил вам милое письмо, в котором обрисовался, каким его создала природа».

24 августа известия такие: «Я им и брата его поведением весьма довольна: сии самыя невинные души и ко мне чистосердечно привязаны: большой очень неглуп, другой – интересное дитя». Из письма 6 сентября стало известно, что «дитя» поразительно быстро избаловалось: «Дитяти же нашему не дать конвой гусарской? Напиши как думаешь... Дитяти нашему девятнадцать лет от роду, и то да будет вам известно. Но я сильно люблю это дитя, оно ко мне привязано и плачет, как дитя, если его ко мне не пустят».

И уже 17 сентября – новый оборот: «Дитя наше, Валериана Александровича, я выпустила в армию подполковником и он жадно желает ехать к тебе в армию, куда вскоре и отправится». Причина срочной командировки «дитяти» прозаична – старшой приревновал к меньшому и не без причины. С тех пор «чернуша» и «резвушка» Платон остался во дворце один...

Что же случилось с Екатериной? Да, конечно, под влиянием возраста и неизбежных изменений в организме, в психологической структуре личности императрицы, по-видимому, тоже произошли какие-то изменения. Но не это главное. Ее вечно молодая, жаждущая любви и тепла душа сыграла с ней скверную шутку. Любопытна история, которая случилась в Эрмитажном театре осенью 1779 года. В апреле этого года Екатерина «отпраздновала» за рабочим столом болезненное для каждой женщины пятидесятилетие. И вот в тот день, 12 октября, она смотрела вместе со всем двором пьесу Мольера. Героиня пьесы произнесла фразу: «Что женщина в тридцать лет может быть влюбленною, пусть! Но в шестьдесят?! Это нетерпимо!» Реакция сидевшей в ложе Екатерины была мгновенна и нелепа. Она вскочила со словами: «Эта вещь глупа, скучна!» и поспешно покинула зал. Спектакль прервали. Об этой истории сообщал, без всяких комментариев, поверенный в делах Франции Корберон. Мы же попробуем ее прокомментировать.

Реплика со сцены неожиданно попала в точку, болезненно уколола пятидесятилетнюю императрицу, которая никак не хотела примириться с надвигающейся старостью и сердечной пустотой. Мальчики были нужны ей не сами по себе – из приведенной выше переписки видно, что в ее сознании они сливаются в некий единый образ, наделенный несуществующими достоинствами – теми, которые она сама хочет видеть, воспитывать в них, теми, которые ей нужны для искусственного поддержания ощущения молодости и неуязвимой любви. Они, эти юноши, как весенние цветы в ее вазе: пусть их часто меняют, – аромат весны сохраняется и радуется. Но неумолим закон природы: всему свое время и остановить весну, как и приход старости, невозможно...

«Из бывшего утинового гнезда, ныне Санкт-Петербурга»

Так 25 ноября 1777 года Екатерина пометила свое письмо Гримму. Она могла гордиться городом, ставшим ей родным. Все годы своего правления Екатерина, не жалея сил и средств, украшала Петербург. Восшествие Екатерины на престол совпало с приходом на смену барокко нового художественного стиля – классицизма. Если барокко с его завитушками, капризными изгибами, аллегориями, пышной декоративной отделкой так шло капризнице-императрице Елизавете, оставившей после себя Зимний, Царскосельский, Петергофский дворцы и Смольный собор работы веселого мастера Ф. Б. Растрелли, то эстетике Екатерины II больше соответствовал ясный, гармоничный, соразмерный и благородный стиль классицизма. Смыслом построек, сооружений становится рациональность, простота и естественность.

Неслучайно Екатерина зло высмеивала столь характерные для предшествовавшей эпохи символические храмы «невесть какого дьявола, все дурацкие несносные аллегии и при том в громадных размерах, с необычайным усилием произвести что-нибудь бессмысленное». Она же писала, что ненавидит фонтаны, которые «мучают» воду, делают ее неестественной. Новые эстетические воззрения, как и всегда, находили свое главное воплощение в архитектуре. Об этом можно писать целые тома: так богата русская архитектура второй половины XVIII века зодчими, постройками, идеями – не всегда оригинальными, но зато грандиозными и дорогими. Два блестящих архитектора – В. И. Баженов и М. Ф. Казаков – представляли как бы московское направление в архитектурном классицизме. Баженовские Царицынский дворец и знаменитый Пашков дом на Моховой – несомненные шедевры. Казаков упражнялся в перестройке Кремля (здание Сената), воздвиг Главное здание Московского университета и Петровский дворец, а также столь популярное среди обитателей нашей страны здание Благородного собрания, более известное как Дом союзов, с великолепным Колонным залом.

Если московские постройки классицизма не определяли архитектуры всей Москвы, то сооружения петербургских коллег Баженова и Казакова принципиально изменили вид северной столицы, и к концу XVIII века она выглядела как новый город, который, с гениальными дополнениями Карла Росси, Адриана Захарова, Огюста Монферрана и других, дошел до наших дней. Екатерина не любила Москву с ее, как она писала, утомительным многолюдьем и зловонием. То ли дело Петербург – «эта чопорница, моя столица!» И специальной Комиссии о каменном строении А. В. Квасова была дана полная воля и неограниченные средства. Комиссия разработала перспективный план реконструкции центра столицы, суть которого состояла в перестройке улиц так, «чтоб все дома, в одной улице состоящие, одной сплошною фасадою и вышиною построены были». Конечно, подобные идеи прямо вытекали из концепции «полицейского» государства, основанного еще Петром I. Но эта перестройка, благодаря гению мастеров, не превратила город в скучный плац среди рядов казарм.

Признанным старшиной архитектурного цеха был Александр Филиппович Кокоринов. Он возвел здание Академии художеств на Неве. Ему помогал Жан Батист Мишель Валлен-

Деламот, который начал свою карьеру творческой победой над знаменитым Растрелли и построил Гостиный двор в стиле классицизма, а не барокко, как хотел главный зодчий елизаветинской эпохи. Этот француз был автором и Малого Эрмитажа (1764–1767), и Новой Голландии (1770–1779). Необычайно талантливы были и другие архитекторы Екатерины: Антонио Ринальди с его Китайским дворцом и Каталной горкой в Ораниенбауме, а также дворцом в Гатчине и Мраморным дворцом в Петербурге, Иван Старов с его Таврическим дворцом (1783–1789) и Троицким собором Александро-Невской лавры, Николай Львов – создатель здания Главного почтамта.

Нельзя пропустить и гениального Джакомо Кваренги, работавшего преимущественно в 1780-1790-е годы. Его многочисленные постройки в Царском Селе, Эрмитажный театр, Академия наук, Ассигнационный банк на Садовой – шедевры классицизма. А Камеронова галерея и Павловский дворец англичанина Чарльза Камерона, Румянцевский обелиск Винченцо Бренны, здание Публичной библиотеки Егора Соколова? Эти постройки сделали Петербург заповедником классицизма.

Рискуя обратиться к справочнику, я все же не могу не упомянуть Юрия Матвеевича Фельтена с его изящной Чесменской церковью и всемирно известной решеткой Летнего сада (1773–1784). Фельтену принадлежит и грандиозный проект оформления гранитных набережных Невы, рек и каналов Петербурга. В итоге топкие берега Глухой речки превратились в изящные изгибы набережных Екатерининского канала, засверкала в пышном кружеве чугунных решеток широкая Фонтанка. В тон и стиль этому сооружали каменные мосты через реки, облицовали гранитом Петропавловскую крепость. И наконец, подлинным бриллиантом Петербурга стал знаменитый Медный всадник Э. М. Фальконе, открытый в 1782 году.

Царствование Екатерины – не только время возведения парадных ансамблей. Императрица очень любила природу, деревню. Ей был ненавистен Петергоф не только скверной памятью лета 1762 года, но и его, как она считала, напыщенной архитектурой, фальшивой красотой фонтанов и аллегорических фигур. То ли дело Царское Село с его парком, тихими водами прудов, шелестом деревьев: «Вы не можете себе представить, как хорошо в Царском Селе в хорошую теплую погоду». Так писала она Гримму в июле 1791 года. К счастью, в отличие от Гримма, мы можем себе это представить – любимый ею парк жив и по-прежнему прекрасен.

Во второй половине XVIII века родилась та русская усадьба, которая нам знакома и близка по литературе XIX века. На смену большому неудобному дому, мало в чем отличному от жилищ крестьян, пришли дворянские особняки в стиле классицизма с изящными портиками, пилястрами, колоннами. Расположенные на возвышенности, они были искусно декорированы садами и парками, разбитыми с учетом пейзажа. Отражаясь в неподвижной глади прудов или тихих рек, дворянские особняки приветливо смотрели на мир, несли окрестностям гармонию, покой, демонстрируя, как человеческие сооружения могут быть продолжением природы.

Неудивительно, что такие усадьбы становились любимыми гнездами тысяч дворян, которые спешили в своих экипажах по дороге, с нетерпением ожидая, когда вдали, на холме, сверкнут белизной колонны родного дома, появится ажурная изящная беседка в парке и всплывет из-за крон деревьев купол церкви. Но все же самым ярким явлением екатерининской эпохи стал Эрмитаж. Французская идея уединенного в тиши лесов здания, этакое храма размышлений, места дружественного – «без чинов» – общения, обратилась в

России в идею роскошного дворца по соседству с царским домом – Зимним. Стоило человеку только переступить порог Эрмитажа, как он попадал в иной, непривычный мир, царство прекрасного: картин, книг, скульптуры, музыки и пения, дружества, равенства и доброты. Екатерина, ничего не смыслившая ни в живописи, ни в музыке, не жалела денег на украшение своего Эрмитажа. В 1790 году в Эрмитаже было почти четыре тысячи картин, 38 тысяч книг и 20 тысяч гравюр и резных камней. Чтобы перечислить, какие знаменитые художники писали эти картины, потребуется не одна страница. Проходя по воспроизведенным с точностью копиям Лоджий Рафаэля, посетитель чувствовал себя, как в Италии. Он вообще должен был здесь стать другим – раскрепощенным, веселым, естественным, как птицы, певшие на все голоса под стеклянным куполом Зимнего сада, где никогда не кончалось лето. Правила поведения в Эрмитаже были не менее строгие, чем правила суровых петровских ассамблей. Конечно, людей заставляли за провинность выпивать не чудовищный кубок «Большого орла», а лишь стакан воды или читать целую главу «Телемахиды» Тредиаковского – наказание страшное, но для здоровья не смертельное.

Таким образом, Эрмитаж был и волшебным чертогом, и музеем, и собранием людей, приглашенных разделить досуг с императрицей. Строго говоря, было три вида эрмитажных собраний по количеству посетителей: большой, средний и малый. Мечтой всех было попасть на самый интимный – малый. Это было весьма благопристойное времяпрепровождение – никаких пьяных разгулов в стиле «Всепьянейшего собора» Петра Великого или пошлых шутовских драк времен Анны Иоанновны. Сюда попадала только избранная публика, и многие отдали бы все, чтобы поиграть в жмурки, веревочку или фанты с самой Екатериной или спеть с ней ее любимые русские песни, не говоря уже о счастье оказаться в хороводе рядом с императрицей, одетой в цветастый русский сарафан.

Известно, что редко назначение чиновника на важный пост проходило без приглашения его на смотрины в Эрмитаж. Уж здесь-то, в простой, естественной обстановке, человек, как ни пыжился, был виден насквозь, и если он дурак, то это становилось ясно сразу же. В 1780-1790-е годы собрания в Эрмитаже были особенно веселы и шумны: на них стали появляться внуки, а потом и внучки Екатерины...

О «тяжелом багаже» и счастье быть бабушкой

На протяжении всего нашего рассказа имя сына императрицы Павла упоминалось только в связи с некой тайной, которая окружала его происхождение. По этой или по другой причине, но отношения сына и матери явно не сложились. В них были кратко временные периоды близости, которые сменялись целыми ледниковыми эпохами отчуждения. Сразу после прихода к власти Екатерина была неразлучна с восьмилетним сыном, она возила его с собой, страшно беспокоилась о его здоровье – мальчик действительно рос хилым, непрерывно болел. Потом Екатерина, с головой погруженная в государственные дела и личные проблемы, потеряла контакт с подростком, который очень сблизился со своим воспитателем, графом Никитой Ивановичем Паниным – близким сподвижником Екатерины, но не первым поклонником ее талантов и нрава. Критическое отношение к Екатерине Панин передал и Павлу, смотревшему на мать глазами своего воспитателя и осуждавшему, то ли по молодости, то ли по привитому Паниным ханжеству, многие ее поступки.



А. И. Чернов. Миниатюра «Портрет Екатерины II»

Многие современники свидетельствуют, что между Екатериной и сыном была такая холодность, что цесаревич побаивался матери. Француз Сабатье в апреле 1770 года писал, что Павел боится матери, которая, «охотно жертвуя всем для соблюдения внешних приличий, совершенно игнорирует их по отношению к своему сыну. Она всегда принимает с ним тон и осанку императрицы. Он, в свою очередь, является перед ней преданным и почтительным подданным; государыня оказывает сыну, очевидно, внимание лишь настолько, как того требует приличие».

Осенью 1773 года девятнадцатилетнего цесаревича женили на Вильгельмине, принцессе Гессен-Дармштадтской, ставшей в России Натальей Алексеевной. Невестка оказалась недостойна того выбора, который ей уготовила Екатерина. Она не слушала знакомых нам по начальным главам советов о любви к мужу, народу, доверенности к свекрови и во всем поступала наоборот. Между тем Екатерина видела в своем опыте адаптации в России непревзойденный образец для подражания и единственно возможный путь для приезжей молодой немки.

В 1776 году Наталья умерла при неудачных родах. Она скончалась в страшных муках,

оставив безутешным своего молодого мужа. Екатерина нашла жестокий и малопочтенный способ утешить горевавшего сына: дала ему прочитать любовную переписку покойницы с ближайшим другом Павла графом Андреем Разумовским. Тоска действительно улетучилась, но какова же была душевная травма, нанесенная юноше? Вторая невеста для Павла была найдена тоже Екатериной и там же – в Германии. Ею стала принцесса София Доротея Вюртембергская, вошедшая в русскую историю как императрица Мария Федоровна – мать императоров Александра I и Николая I и еще восьмерых детей обоего пола. Свадьба, сыгранная осенью 1776 года, была для Екатерины радостным событием. В ней будто бы заново расцвели нежные материнские чувства, которыми она многие годы не баловала сына. Но теперь было другое: трогательная юная парочка ей очень нравилась. Сохранилось немало писем императрицы, в которых она необыкновенно ласкова и добра к молодоженам: «Любезный сын! Вчера приехала я сюда (в Царское Село. – Е. А.) здорова. Здесь без вас пусто, лучшего удовольствия мне, а Царскому Селу – украшения, не достает, когда вас в оном нет». В письмах за границу императрица не скупится на похвалы Марии: невестка – и нимфа, и роза, и лилия. Но потом трещина в отношениях матери и сына, которая никогда не исчезала, начала разрастаться, пока не стала пропастью.

Возможно, большую роль в этом окончательном и бесповоротном разрыве матери и сына сыграло весьма радостное обстоятельство: 12 декабря 1777 года у молодой четы появился на свет первенец Александр. И он, к горю родителей, был немедленно взят бабушкой в ее дворец и с тех пор воспитывался вдали от отца с матерью, поселившись в Гатчине. История Павла, которого бабушка Елизавета Петровна некогда также отобрала у Екатерины и Петра Федоровича, повторилась. Судьба Александра стала и судьбой родившегося 27 апреля 1779 года Константина. О том, что его прочили в византийские императоры, уже сказано выше. Александру предназначался иной удел.

Бабушка не расставалась с внучатами надолго и, отправляясь в Крым, была страшно огорчена болезнью мальчиков, которых не смогла взять с собой. С рождением Александра и Константина сын и невестка как бы исчезли для Екатерины. Они ей мешали миловаться с внуками. 20 июня 1785 года она сообщала Гримму из Петергофа: «Ожидаю моих внучат, которых вызвала сюда, тяжелый багаж прибудет сюда лишь 26-го». «Тяжелый багаж» (в другом варианте «тяжелый обоз») – это родители мальчиков, груз для Екатерины неудобный и ненужный.



Д. Г. Левицкий. Портрет великого князя Александра Павловича в детстве

Павел тяжело переживал положение, в котором он оказался. Цесаревича многое

нервировало и оскорбляло: гнусные слухи о его происхождении, многочисленные бесстыдные любовные истории матери, «ученики» которой зачастую были моложе его; наконец, его выводили из себя постоянные унижения, которые он терпел от «ночных повелителей» матери. Унижения и оскорбления от Зубовых были для Павла особенно мучительны. А перспективы? В середине 1790-х годов Павлу пошел уже пятый десяток! Короткая жизнь человека XVIII века стремительно шла к концу, а сделать он, цесаревич, наследник, сын царя ничего не мог.

Поначалу он рвался к полезной деятельности, в его голове клубились неясные, но благородные и возвышенные идеи, грандиозные планы переустройства страны на началах добра, равенства и справедливости. Мечты юноши подогревал граф Никита Панин, с которым Павел горячо обсуждал свои проекты. Но Екатерина ревниво следила за сыном, она всегда видела в нем соперника, к которому «льнет» народ, традиционно недовольный тем правителем, который в данный момент находится у власти. Поэтому она не позволяла сыну заняться настоящим – военным или гражданским – делом. Когда он попросил включить его в Государственный совет, последовал отказ под тем предлогом, что мнения, высказанные в Госсовете, могут не согласовываться с мнением императрицы, и участие цесаревича тем самым создаст ненужные юридические проблемы. Нельзя сказать, что Павел бездельничал, но с годами его желания глохли, он все глубже и глубже погружался в пучину мелких и мелочных военно-хозяйственных дел своего гатчинского «удела» (подаренного ему после смерти Григория Орлова), который стал для него отечеством, домом и островом спасения от враждебного мира, которым окружила его мать. Павел чувствовал, что эта враждебность усиливается по мере того, как подрастал Александр – особенный любимец бабушки.

Александр и Константин воспитывались по особой программе, составленной самой императрицей. Когда Екатерина писала эту программу, перед ее глазами стоял Павел – болезненный, слабый мальчик, испорченный скверным, «бабьим» воспитанием в душных апартаментах Елизаветы Петровны, ставший безвольным, нервным, завистливым, никудышным человеком. Александр станет другим: закаленный, привыкший спать на свежем воздухе, в легкой одежде, этот юный спартанец будет бодро делить время между полезными физическими упражнениями и углубленными занятиями с умным, образованным воспитателем. На это место назначили француза-республиканца Лагарпа.

Читая сегодня «Наставление о воспитании внуков», написанное Екатериной весной 1783 года, поражаешься ее глубокому знанию психологии ребенка, целенаправленному стремлению императрицы-педагога вложить в детей здоровые, гуманные, вечные начала. Вот некоторые места из «Наставления»: «Запрещать и не допускать до того, чтобы их высочества учинили вред себе или жизнь имеющему, следовательно, бить или бранить при них не надлежит и их не допускать, чтоб били, щипали и бранили человека или тварь, или какой вред или боль причиняли. Не допускать их высочеств до того, чтобы мучили или убивали невинных животных, как-то птиц, бабочек, мух, собак, кошек или иное, или портили что умышленно, но поваживать (приучать. – Е. А.) их, чтоб попечение имели о принадлежащей им собаке, птице, белке или ином животном и оным доставляли выгоды свои, и даже до цветов в горшках, поливая оные... Ложь и обман запрещать надлежит как детям самим, так и окружающим их, даже и в шутках не употреблять, но отвращать их от лжи... Ложь представлять им как дело бесчестное и влекущее за собою презрение и недоверие всех людей... Отделять от воспитания разговоры, рассказы и слухи, умаляющие любовь к добру и добродетели или умножающие пороки... Главное достоинство

наставления детей состоять должно в любви к ближнему (не делай другому чего не хочешь, чтоб тебе сделано было), в общем благоволении к роду человеческому, в доброжелательности ко всем людям, в ласковом и снисходительном обхождении ко всякому, в добронравии непрерывном, в чистосердечии и благородном сердце, в истреблении горячего сердца, пустого опасения, боязливости, подозрения».

Бабушка стала главным человеком для мальчиков, которые вместе с ней заучивали алфавит, играли, путешествовали и гуляли. Особенно довольна была Екатерина Александром: «Я от него без ума и, если бы можно, всю жизнь держала бы подле себя этого мальчугана» (из письма Гримму от 30 мая 1779 года). И потом не раз она описывает приятелю телесную и душевную красоту Александра, которого называет «Отрадой нашего сердца». Постепенно многим становится ясно, к чему ведет такая беззаветная любовь бабушки. Особенно встревожился Павел и его сторонники, когда Екатерина женила шестнадцатилетнего внука на четырнадцатилетней принцессе Луизе Баденской (ставшей в православии Елизаветой Алексеевной). Это косвенно подтверждало слухи о намерении императрицы завещать престол «мимо» нелюбимого сына прямо внуку, ставшему теперь главой собственной семьи, полноправным мужчиной. Завещание до нашего времени не дошло, но туман слухов об этом так густ, что до сих пор издали он кажется осязаемой реальностью. Впрочем, кроме слухов об уничтоженном Павлом завещании в пользу Александра, есть и некоторые другие косвенные свидетельства намерений Екатерины передать престол старшему внуку.

В августе 1792 года она писала Гримму, продолжая, по-видимому, уже начатый заочный разговор: «Послушайте, к чему торопиться с коронацией? Мне это не по вкусу. Соломон сказал: „Всеу свое время“. Сперва мы женим Александра, а там со временем и коронуем его со всеми царем, и будут при том такие торжества и всевозможные народные празднества. Все будет блестяще, величественно, великолепно. О, как он сам будет счастлив и как с ним будут счастливы!» Все это адресовано европейскому громкоговорителю, как будто цесаревич Павел давным-давно «почил в Бозе». В сентябре 1791 года Екатерина писала своему приятелю, что если революция охватит Европу, то появится тиран, который ее поработит, «но этого не будет ни в мое царствование, ни, надеюсь, в царствование Александра». Царствование Павла I не предполагалось?

Впрочем, о его судьбе она тоже думала. Вот перед нами заметка Екатерины о трагическом конфликте Петра Великого с царевичем Алексеем, которого отец лишил права наследовать престол. Казалось бы, ничего особенного – историческая заметка и не более. Но как искренне убеждена Екатерина в правильности поступка Петра, сколько страсти и ненависти вложено императрицей в характеристику несчастного царевича, как будто он ее лично оскорбил! Так и просвечивает сквозь неясный лик царевича курносое лицо цесаревича: «Признаться должно, что несчастлив тот родитель, который себя видит принужденным, для спасения общего дела, отрешить своего отродия. Тут уже совокупляется или совокуплена есть власть самодержавная и родительская. Итак, я почитаю, что премудрость государя Петра I несомненна, величайшие имел [он] причины отрешить своего неблагодарного, непослушного и неспособного сына. Сей наполнен был против него ненавистью, злобою, единою завистью, изыскивал в отцовых делах и поступках в корзине добра пылинки худого, слушал ласкателей, отделял от ушей своих истину и ничем на него не можно было так угодить, как понося и говоря худо о преславном его родителе. Он уже сам был лентяй, малодушен, двояк, нетверд, суров, робок, пьян, горяч, упрям, ханжа, невежда,

весьма посредственного ума и слабого здоровья».

Впрочем, Екатерина не торопилась – куда спешить? Еще столько дел и лет впереди, все успеется...

Осенняя гроза над царскосельским парком

Но в середине 1790-х годов старость не только подошла к порогу ее дома, но и переступила через него. Несмотря на оптимизм, радость жизни и бесконечное желание любить, Екатерина чувствовала приближение новых времен, которые она уже не увидит. Кончался XVIII век, потрясенный ужасом кровавой революции во Франции, один за другим уходили выдающиеся деятели, прославившие этот век. В 1786 году умер Фридрих Великий – главный оппонент Екатерины в мировой политике. И без него, без постоянной тонкой игры с этим «Иродом» – так императрица называла прусского короля – стало пусто. В 1790 году умер и давний приятель Екатерины, австрийский император Иосиф II, в 1791 году не стало Потемкина... 15 марта 1792 года на маскараде в Стокгольме был смертельно ранен шведский король Густав III.

С ним у Екатерины были сложные отношения. В 1788 году он начал войну против своей родственницы – российской императрицы. Момент был благоприятный для шведов: русская армия воевала на Юге. Для защиты столицы пришлось срочно собирать все резервы, думать о вооружении горожан. Екатерина, оставшись в столице без Потемкина и Суворова с бездарными генералами – «бздунами» (ее непарламентское выражение), так нервничала, что даже похудела – пришлось перешивать все платья. И было от чего: настоящая война стучалась в высокие окна Зимнего дворца непрерывным грохотом многодневного морского сражения у близкого острова Гогланд, а западный ветер приносил в столицу густой пороховой дым, что позволило императрице написать Потемкину о себе как о человеке, который тоже понюхал пороха. Потом, после победы русских, царственная дружба восстановилась, и Густав был реабилитирован в глазах Екатерины своей последовательной антифранцузской политикой. «Мы с ним, – говорила Екатерина своему статс-секретарю, – часто в мыслях разъезжаем на Сене в канонирских лодках». Но этому было не суждено свершиться: в 1792 году Густава предательски застрелили в суеде придворного маскарада...

Но самую страшную потерю принес 1793 год. Несчастный король Людовик XVI был, к ужасу всей монархической Европы, гильотинирован на Гревской площади. Спустя некоторое время революционеры совершили новое злодеяние – там же казнили королеву Марию-Антуанетту.

Менялись и люди вокруг Екатерины. Она видела, что в рядах придворных появляется все больше новых, свежих лиц, незнакомые молодые люди мелькали на балах и празднествах в Эрмитаже, и это наводило на грустные размышления. Один только старый-престарый Гримм мог понять грусть императрицы, которая написала ему 11 февраля 1794 года: «Скажу вам, во-первых, что третьего дня 9 февраля, в четверг, исполнилось 50 лет с тех пор, как я с матушкой приехала в Россию. Это было в четверг 9 февраля, следовательно, вот уже 50 лет, как я живу в России, и из этих пятидесяти я, по милости Божией, царствую уже тридцать два года. Во-вторых, вчера при дворе зараз три свадьбы. Вы понимаете, что это уже третье или четвертое поколение после тех, которых я застала в то время. Да, я думаю, что здесь, в Петербурге, едва ли найдется десять человек, которые бы помнили мой приезд. Во-первых, слепой, дряхлый Бецкой: он сильно заговаривается и все спрашивает у молодых людей, знали ли они Петра I-го. Потом 78-летняя графиня Матюшкина, вчера танцевавшая на свадьбах. Потом обер-шенк Нарышкин, который был тогда камер-юнкер, и его жена. Далее

его брат обер-шталмейстер (читатель помнит, как он в Риге помогал хохочущей Фике закидывать ногу в необыкновенные русские сани. – Е. А.), но он не сознается в этом, чтоб не казаться старым. Потом обер-камергер Шувалов, который по дряхлости уже не может выезжать из дому, и, наконец, старуха моя горничная, которая уже ничего не помнит. Вот каковы мои современники! Это очень странно – все остальные годились бы мне в дети и внуки. Вот какая я старуха! Есть семьи, где я знаю уже пятое и шестое поколение. Это все доказывает, как я стара; самый рассказ мой, может быть, свидетельствует то же самое, но как же быть? И все-таки я до безумия, как пятилетний ребенок, люблю смотреть, как играют в жмурки и во всякие детские игры. Молодежь, мои внуки и внучки говорят, что я непременно должна быть тут, чтоб им было весело и что со мною они себя чувствуют гораздо смелее и свободнее, чем без меня».

Вряд ли дети уже научились так подобострастно лгать, да их и не обманешь притворной веселостью – молодая душа постаревшей Фике была им открыта, и они хотели, чтобы милая бабушка с голубыми глазами не покидала их шумной компании... Но ее ждали в кабинете дела, шли с докладами статс-секретари. Они приносили плохие вести из Франции. Там лилась кровь, и чувствовалось ожесточение древних религиозных войн или, может быть, наступающего неизведанного железного века. Это ожесточение было непривычно для славного XVIII века, современники которого почти не употребляли так нам знакомое беспощадное, уничтожительное слово «враг», а пользовались лишь некровожадным словом «неприятель», как бы обратным «приятелю». Екатерина внимательно следила за событиями во Франции. Непосредственно Россию они не затрагивали, и поначалу она не разгадала зловещий смысл того, что происходило в Париже начиная с 1789 года. Царица даже была довольна созывом Генеральных штатов и полагала, что наконец безумным тратам Бурбонов будет положен конец – они жили явно не по средствам. Но потом события утратили логику, и вскоре стало ясно, что в величайшей державе Европы началась кровавая чума революции. Франция стремительно покатилась к террору и гражданской войне.

Екатерина не была склонна обвинять в происшедшем своих друзей-просветителей, чьи идеи воодушевили Робеспьера и Дантона. 5 декабря 1793 года она писала Гримму: «Французские философы, которых считают подготовителями революции, ошиблись в одном: в своих проповедях они обращались к людям, предполагая в них доброе сердце и таковую же волю, а вместо того учением их воспользовались прокуроры, адвокаты и разные негодяи, чтоб под покровом этого учения (впрочем, они и его отбросили) совершать самые ужасные преступления, на какие только способны отвратительные злодеи. Они своими злодеяниями поработили парижскую чернь: никогда еще не испытывала она столь жестокой и столь бессмысленной тирании, как теперь, и это-то она дерзает называть свободой! Ее образумят голод и чума и тогда убийцы короля истребят друг друга, тогда только можно надеяться на перемену к лучшему».

И хотя императрица поддерживала французскую эмиграцию, принцев крови морально и материально (правда, взаимнообразно), она почти не скрывала своего убеждения, что именно развратный Версаль виноват в том, что ящик Пандоры был открыт (как и Петр III сам был виновником своей гибели). Конечно, в этом осуждении видна старая неприязнь преуспевающей провинциалки к бедам столицы мира, но мы теперь знаем, что Бурбоны, ничему не научившиеся и позже, сами бросили гранату под свою софу и бездарной политикой привели страну к катастрофе.

У Екатерины не было иллюзий на их счет («Лекарство от глупости еще не найдено,

рассудок и здравый смысл не то что оспа: привить нельзя»). Она полагала, что с прежним абсолютизмом во Франции покончено, что нужно признать существование парламента, дать определенные свободы гражданам, одним словом, жить в новой Франции. Это не означало, что русская самодержица примирилась с тем, что там делалось. Она никогда не пугала законопослушный и ответственный народ с толпой, разнузданной чернью и считала, что, пройдя неизбежный этап самоистребления, господства «духа разнузданности», Франция вернется к идее монархии.

13 января 1791 года она писала Гримму, что там неизбежно появится Цезарь и «усмирит вертеп», а 22 апреля, не без остроумия и проницательности, добавляла: «Знаете ли, что будет во Франции, если удастся сделать из нее республику? Все будут желать монархического правления! Верьте мне: никому так не мила придворная жизнь, как республиканцам». Очень жаль, что императрица не дожила до 5 декабря 1804 года – дня коронации Наполеона I. Ее пророчество исполнилось всего через тринадцать лет! Еще она считала, что революционная зараза расползется по Европе, что придет жестокий Тамерлан или Чингисхан, который поглотит ее, а потом явится Россия и всех спасет.

Точно известно, что Нострадамуса царица не читала, а опиралась только на опыт, интуицию и свою силу. Медью звенят ее слова 1790 года в ответ на похвалу Потемкина за ее «неустрасимую твердость»: «Русская императрица, у которой за спиной шестнадцать тысяч верст, войска, в продолжение целого столетия привыкшие побеждать, полководцы, отличающиеся дарованиями, а офицеры и солдаты храбры и верны, не может, без унижения своего достоинства, не выказывать неустрасимой твердости».

Французские события привели Екатерину к одному, но очень важному выводу: надо сделать все, чтобы революционная зараза не проникла в Россию. Именно поэтому в России появляется цензура, на вполне невинного московского издателя масонских трактатов Н. Новикова обрушиваются репрессии, принесшие ему, в отличие от других, не пострадавших издателей, славу выдающегося русского просветителя. Вполне преуспевающий таможенный начальник, но посредственный писатель Александр Радищев попадает, как часто это бывает в России, под очередную «кампанию по борьбе с (против)...» и отправляется в Сибирь. Задрожали и масоны, чьи занятия рационалистка-императрица всегда презирала и над «тайнствами» которых беспощадно глумилась. Если раньше императрица вполне снисходительно относилась к критике, то теперь она видит в ней потрясение основ. По поводу выхода в академической типографии пьесы Княжнина «Вадим» на сюжет из новгородской «республиканской» истории она устроила головомойку президенту Академии наук княгине Дашковой, которая, как и императрица, не читала пьесы до печатного станка. «Признайтесь, – обиженно восклицала Екатерина, – что это неприятно... Мне хотят помешать делать добро: я его делала сколько могла и для частных людей, и для страны; уж не хотят ли затеять здесь такие ужасы, какие мы видим во Франции?» Не будем забывать, что на дворе был июнь 1793 года, во Франции в это время Конвент принял драконовские законы против спекулянтов, Марию-Антуанетту разлучили с сыном и начали поспешно готовить постыдный процесс против нее, обвиняя мать в противоестественной связи со своим ребенком... Так что императрицу, дувшую на воду, можно понять – в Париже тоже началось с пьесок и прокламаций.



Екатерина Романовна Дашкова

Что происходило внутри страны? Конечно, особых оснований для паники или даже тревоги не было. Дела шли своим чередом. Россия, победив турок, шведов и поляков, наслаждалась миром. Но без Потемкина уже не было прежнего блеска и осмысленности в политике, все шло, во многом, по инерции. Всеми делами теперь заправлял Платон Зубов. Он получил образование, сыпал мудренными словами, но был пуст и ничтожен, хотя тщетно тужился и надувался, чтобы походить на Потемкина. Другой «чернушка» Валериан Зубов убедил ранее столь здравомыслящую императрицу отправить его во главе армии в фантастический и совершенно бесперспективный поход в Индию и положил бесчисленное количество русских солдат при штурмах прикаспийских крепостей. До Индии он, естественно, не добрался.

В том, что именно Платон Зубов оказался наверху, многие видели главное свидетельство разложения и упадка режима. Вот что пишет о последнем временщике Екатерины современник: «По мере утраты государыней ее силы, деятельности, гения, он приобретал могущество, богатства. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждали его двери, наполняли прихожую и приемную. Старые генералы, вельможи не стыдились ласкать ничтожных его лакеев. Видали часто, как эти лакеи толчками разгоняли генералов и офицеров, коих толпа теснилась у дверей, мешала их запереть. Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами, бесцельно устремленными в потолок, этот молодой человек, с лицом холодным и надутым, едва достаивал обращать внимание на окружающих его. Он забавлялся чудачествами своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутком; а в это время старцы, под началом у которых он служил сержантом, – Долгорукие, Голицыны, Салтыковы – и все

остальные ожидали, чтобы он низвел свои взоры, чтобы опять прикинуться к его стопам». Из всех баловней счастья времен Екатерины II ни один не был так тщедушен и наружно, и внутренне, как Зубов. Как это далеко от мечтаний молодой Екатерины о ее царствовании как эпохе правды, законности, справедливости и милосердия. Сама царица всего этого не видела и не знала, а если и знала, то чего не простишь любимому «дитяти» или «чернушке» – я уже совсем запутался, кто из них кто!..

Шли годы, Екатерина не могла не думать о смерти. Она часто представляла себе свой последний час, но вполне романически, по-книжному. То она завещала похоронить себя в Царском Селе подле урны Ланского, то в Донском монастыре в Москве, то возле Стрельны – в Троице-Сергиевской пустыни, непременно в белой одежде с золотым венцом на голове, сочинила она себе и пространную эпитафию, из которой следует, что она умерла не от скромности. Мечтала она и умереть как-то по-особому: красиво и возвышенно. «Когда пробьет мой час, – писала она, – пусть только будут закаленные сердца и улыбающиеся лица при моем последнем вздохе». Но вышло все не так красиво и торжественно, а даже наоборот...

Незадолго до смерти, осенью 1796 года, произошли два события, плохо сказавшиеся на самочувствии императрицы. В сентябре разразился невиданный для двора Екатерины скандал: неуклюжими действиями Платона Зубова и графа Аркадия Моркова был сорван брак внучки императрицы, прелестной Александры Павловны и юного шведского короля Густава IV, причем произошло это накануне обряда помолвки, когда императрица, невеста и двор собрались в тронном зале и напрасно прождали короля несколько часов. Екатерина была этим потрясена и, как описывает современник, несколько минут оставалась с открытым от изумления и возмущения ртом, а потом в страшном гневе два раза ударила тростью Моркова и Безбородко, сбросила мантию и покинула зал. После этого инцидента императрица разболелась, и не мудрено – она никогда не испытывала подобного унижения.

Второе событие было зловещим. Как-то ночью (царица переехала в любимое ею Царское Село) началась страшная гроза. Это было странно – на дворе стояла глубокая осень. И, глядя на голые деревья парка, стонущие в призрачном свете молний, под ливнем, уже не нужным ни людям, ни земле, Екатерина не могла не вспомнить, что вот также поздней осенью 1761 года началась внезапно ночная гроза, а потом за императрицей Елизаветой пришла смерть. Современник свидетельствует, что это предзнаменование очень напугало Екатерину – женщину, как известно, смелую и отчаянную...

Смерть подстерегла ее в 9 часов утра, в среду, 5 ноября 1796 года, в Зимнем дворце, в узком коридорчике при переходе из кабинета в гардеробную. Царица, как обычно, поработав в кабинете за столом, вышла переодеваться. Камер-лакей Зотов, отворив дверь из гардеробной, нашел императрицу без сознания полулежащей на полу. Место было узко, и дверь затворена, а оттого она не могла упасть на пол. Приподняв ее голову, он увидел, что глаза ее закрыты, а лицо багрового цвета. Он призвал камердинеров, и с огромным трудом несколько сильных мужчин вытащили царицу из коридора и перенесли в спальню. Но они были не в состоянии поднять ее на кровать – так тяжела была сильно растолстевшая к концу жизни Екатерина, поэтому положили хрипящую императрицу на расстеленный на полу сафьяновый матрас. Тотчас послали за доктором. Князь Зубов, которого известили первым, совсем растерялся: он не позволил дежурному лекарю пустить кровь императрице. Впрочем, это не помогло бы все равно: диагноз личного врача Екатерины Рожерсона был суров: «Удар последовал в голову и был смертелен».

По-современному говоря, у Екатерины произошел типичный инсульт. В наши дни медицина может спасти такого больного, но в ноябре 1796 года врачи действительно были бессильны. Не приходя в сознание, императрица прожила еще сутки. В 7 часов утра 6 ноября началась агония: «последовало сильное трясение тела, страшные судороги, что продолжалось до 9-ти часов пополудни, в котором [часе] совершенно не стало никаких признаков жизни». В русской истории кончилась целая эпоха...

Императрице не довелось умереть так, как она хотела: в окружении добрых и мужественных друзей. Она лежала на полу, рядом были растрепанные фрейлины, а в кабинет и обратно мимо распростертого тела великой государыни, деловито стуча коваными сапогами, бегал новый император Павел Петрович и его гатчинцы – они рылись в шкафах, на полках и в секретере. Пришло их время...

Краткие сведения об основных персонажах книги

Аббас III, шах Ирана (1732–1736) из династии Сефевидов.

Август II Сильный (1670–1733), польский король (1697–1733), курфюрст Саксонии с 1694 г., союзник Петра I в Северной войне со Швецией.

Август III (1696–1763), польский король (1733–1763), курфюрст Саксонии, сын Августа II.

Александр I Павлович (1777–1825), российский император (1801–1825), старший сын Павла I и Марии Федоровны.

Александра Павловна (1783–1801), великая княжна, старшая дочь Павла I.

Алексей Антонович (1746–1787), сын Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. Родился в Холмогорах и жил там в заточении до 1780 г., когда был выслан в Данию, где и умер.

Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь (1645–1676), сын первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. От первого брака с Марией Ильиничной (Милославской) имел 13 детей, в том числе Федора (царь в 1676–1682 гг.), Ивана (царь в 1682–1696 гг.) и царевну Софью. От второго брака с Натальей Кирилловной (Нарышкиной) имел сына Петра (император Петр I) и дочь Наталью.

Алексей Петрович (1690–1718), царевич, сын Петра I и Евдокии Федоровны (Лопухиной). Бежал в 1717 г. за границу, был возвращен, судим, приговорен к смерти, скончался в Петропавловской крепости при невыясненных обстоятельствах.

Анна Иоанновна (Ивановна) (1693–1740), российская императрица (1730–1740), герцогиня Курляндская с 1710 г., дочь Ивана V и Прасковьи Федоровны (Салтыковой).

Анна Леопольдовна (Елизавета Екатерина Христина) (1718–1746), правительница России при сыне Иване VI Антоновиче в 1740–1741 гг., дочь герцога Мекленбургского Карла Леопольда и царевны Екатерины Иоанновны, внучка Ивана V.

Анна Петровна (1708–1728), цесаревна, дочь Петра I и Екатерины I, герцогиня Голштинская с 1725 г., мать Петра III.

Антон Ульрих (1714–1776), принц Брауншвейг-Беверн-Люнебургский, генералиссимус (1740 г.), муж Анны Леопольдовны, отец Ивана VI. В 1741 г. сослан со всей своей семьей, умер в заточении.

Апостол Даниил Павлович (1654–1734), последний выборный гетман Левобережной Украины (с 1727 г.).

Апраксин Алексей Петрович, граф, шут Анны Иоанновны.

Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728), граф, генерал-адмирал, президент Адмиралтейств-коллегии, член Верховного тайного совета, брат царицы Марфы – жены царя Федора Алексеевича.

Арайя Франческо (1709–1770), итальянский композитор.

Баженов Василий Иванович (1737/38–1799), архитектор, график, теоретик архитектуры, с 1765 г. академик, с 1799 г. вице-президент Академии художеств.

Байер Готлиб Зигфрид (1694–1738), немецкий историк и филолог, с 1725 г. профессор петербургской Академии наук.

Балакирев Иван Алексеевич (1699–1763), камер-лакей, шут. В 1724 г. привлечен к дознанию по делу В. Монса, сослан в Рогервик на каторжные работы, возвращен Екатериной

I в 1725 г.

Балк Матрена (Модеста) Ивановна, урожд. Монс, генеральша, статс-дама Екатерины I. В 1724 г. по делу брата – Виллима Монса – сослана в Сибирь, возвращена Екатериной I в 1725 г.

Бассевич Геннинг Фредерик (1680–1749), граф, голштинский государственный деятель, приближенный герцога Голштинского Карла Фридриха, автор «Записок о России при Петре Великом».

Березовский Максим Созонтович (1745–1777), композитор.

Беринг Витус Ионассен (1681–1741), датчанин, офицер русского флота, капитан-командор. В 1725–1730 и 1733–1741 гг. руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями.

Бернулли Даниил (1700–1782), швейцарский ученый, физик и математик, академик петербургской Академии наук.

Берхгольц Фридрих Вильгельм (1702–1767), камер-юнкер герцога Голштинского Карла Фридриха, обер-камергер Петра III, автор дневника, который он вел во время пребывания в России в 1721–1725 гг.

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693–1766), граф, крупный дипломат, посол в Дании (1734–1740), кабинет-министр (1740), в 1741 г. отправлен Анной Леопольдовной в ссылку. Вернувшись в Петербург, участвовал в возведении на престол Елизаветы Петровны, вице-канцлер, канцлер (1744–1758). Сослан за организацию заговора в пользу будущей императрицы Екатерины II, в 1762 г. возвращен ею из ссылки, произведен в генерал-фельдмаршалы.

Бестужев-Рюмин Михаил Петрович (1688–1760), граф, дипломат, брат А. П. Бестужева-Рюмина, посол в Англии, Швеции, Польше, Пруссии, Франции.

Бестужев-Рюмин Петр Михайлович (1664–1742), граф, представитель России в Курляндии, обер-гофмейстер при дворе герцогини Курляндской Анны Иоанновны. Отец А. П. и М. П. Бестужевых-Рюминых.

Бехтеев Федор Дмитриевич (ум. 1761), русский дипломат во Франции.

Бецкой Иван Иванович (1704–1799), государственный деятель, один из ближайших сподвижников Екатерины II.

Бибиков Александр Ильич (1729–1774), государственный деятель времен Екатерины II, генерал-аншеф.

Бирон Бенигна Готлиб (1703–1782), урожд. фон Тротта-Трейден, герцогиня Курляндская с 1737 г., жена Э. И. Бирона, фрейлина двора Анны Иоанновны. После свержения Бирона сослана вместе с ним, возвращена Екатериной II в 1763 г.

Бирон Гедвига Елизавета (1727-?), дочь Э. И. Бирона. При Анне Леопольдовне сослана вместе с родителями в Ярославль, перешла в православие, вышла замуж за барона А. И. Черкасова.

Бирон Густав (1700–1742), младший брат Э. И. Бирона, майор Преображенского полка, муж А. А. Меншиковой, сослан вместе с братом в Ярославль.

Бирон Карл Магнус (1684–1746), старший брат Э. И. Бирона, генерал-аншеф, генерал-губернатор Москвы (1740), в 1740 г. сослан в Ярославль, а затем в свое лифляндское имение.

Бирон Карл Эрнст (1728–1801), младший сын Э. И. Бирона, сослан вместе с ним в Ярославль, возвращен в 1762 г., жил в Курляндии.

Бирон Петр (1724–1800), старший сын Э. И. Бирона, наследный принц Курляндский, возвращен из ссылки в 1764 г., с 1769 г. герцог Курляндский, в 1795 г. продал свое владение Екатерине II.

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), обер-камергер, фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курляндский с 1737 г., после смерти Анны Иоанновны – регент при Иване VI Антоновиче. В ноябре 1740 г. свергнут и сослан вместе со всей семьей в Ярославль. Возвращен из ссылки Екатериной II в 1762 г., получил в управление Курляндию.

Бобринский Алексей Григорьевич (1762–1813), граф, сын Екатерины II и Г. Г. Орлова.

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825), композитор.

Ботта Адорно Антоний, маркиз де (1693–1745), австрийский посланник при русском дворе времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

Бренна Винченцо (1740–1820), архитектор, автор Румянцевского обелиска в Санкт-Петербурге и др.

Бруин К. де (1652–1727), голландский художник, этнограф, писатель, путешественник, жил в России в 1701–1703 и 1707–1708 гг., автор написанной в форме дневника книги «Путешествия в Московию».

Брюс Яков Вилимович (1670–1735), граф, генерал-фельдмаршал, президент Берг- и Мануфактур-коллегии, дипломат, ученый, известен также как маг и чернокнижник.

Буженинова Авдотья (Евдокия) Ивановна (ум. 1742), шутиха Анны Иоанновны, вторая жена М. А. Голицына-Квасника.

Бутурлин Александр Борисович (1694–1767), денщик Петра I, впоследствии генерал-фельдмаршал, фаворит Елизаветы Петровны.

Бутурлин Иван Иванович (1661–1738), генерал-аншеф, командир Семеновского гвардейского полка.

Бутурлин Петр Иванович (ум. 1724), боярин, князь-папа шутовского Всепьянейшего собора, учрежденного Петром I.

Бюльфингер Георг Бернгард (1693–1750), физик и философ, академик петербургской Академии наук.

Валлен-Деламот Жан Батист Мишель (1729–1800), французский архитектор, в 1759–1775 гг. работал в России.

Вебер Христиан Фридрих, брауншвейг-люнебургский резидент при русском дворе в 1714–1719 гг., автор книги «Преображенная Россия».

Вейтбрехт Иосия (1702–1747), физиолог, академик петербургской Академии наук.

Веселовский Исаак Павлович (ум. ок. 1754), дипломат, начинал службу в Посольском приказе, в 1727 г. был сослан. При Елизавете Петровне – член Коллегии иностранных дел.

Вестфален Ганс Георг, датский посланник в России в 1722–1733 гг.

Вильгельмина Фридерика София (1709–1758), маркграфиня Байрейтская, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма I, сестра Фридриха II Великого. Была дружна с Вольтером, покровительствовала литературе и искусству.

Волков Федор Григорьевич (1729–1763), актер, основатель драматического театра.

Волконский Никита Федорович, князь, шут Анны Иоанновны.

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), философ, писатель, корреспондент Екатерины II.

Волынский Артемий Петрович (1689–1740), государственный деятель, дипломат, генерал-адъютант, обер-егермейстер, с 1738 г. кабинет-министр Анны Иоанновны, казнен по обвинению в заговоре.

Воронцов Михаил Илларионович (1714–1767), граф, канцлер (1758–1762), государственный деятель.

Вратислав Карл Франциск, граф, австрийский посланник в России в 1728–1733 гг.

Гельвеций Клод Адриан (1715–1771), французский философ.

Георг I (1660–1727), английский король (1714–1727), ганноверский курфюрст с 1698 г.

Герман Якоб (Иаков) (1678–1733), математик, академик петербургской Академии наук.

Глебов Степан Богданович (ум. 1718), майор гвардии, казнен за связь с бывшей царицей Евдокией Федоровной.

Глюк Эрнест (ум. 1705), пастор в Мариенбурге, воспитатель Марты Скавронской – будущей императрицы Екатерины I.

Гмелин Иоганн Георг (1709–1755), натуралист, химик, академик петербургской Академии наук.

Гогенгольц Никола Себастьян, австрийский резидент при русском дворе в 1720-1740-е гг.

Голицын Алексей Дмитриевич (1697–1768), князь, сенатор, сын Д. М. Голицына.

Голицын Василий Васильевич (1643–1714), князь, боярин, глава правительства во время правления царевны Софьи, руководитель Крымских походов 1687 и 1689 гг. После свержения Софьи отправлен Петром I в ссылку.

Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737), князь, в 1701 г. чрезвычайный посол в Стамбуле, в 1711–1718 гг. киевский губернатор, с 1718 г. президент Камер-коллегии, сенатор, член Верховного тайного совета (1726–1730), инициатор попытки ограничения самодержавия в 1730 г., судим в 1736 г., умер в Шлиссельбургской крепости.

Голицын Михаил Михайлович (1675–1730), князь, генерал-фельдмаршал, выдающийся полководец. Брат Д. М. Голицына. На службе с 1687 г., с 1714 г. генерал-аншеф, в 1728–1730 гг. президент Военной коллегии, член Верховного тайного совета.

Голицына Настасья Петровна (1655–1729), статс-дама Екатерины I, придворная шутиха Петра I и Екатерины I, князь-игуменя Всепянейшего собора.

Голицын-Квасник Михаил Алексеевич (1688–1775), князь, шут Анны Иоанновны.

Голицыны, княжеский род в России, происходивший от великого князя Литовского – Гедимина.

Головкин Александр Гаврилович (ум. 1760), граф, дипломат, сын канцлера Г. И. Головкина.

Головкин Гаврила Иванович (1660–1734), граф, канцлер с 1709 г., начальник Посольского приказа и канцелярии, президент Коллегии иностранных дел, член Верховного тайного совета.

Головкин Михаил Гаврилович (1705–1775), граф, вице-канцлер (1740–1741), сын Г. И. Головкина.

Гольдбах Христиан (1690–1764), математик, академик, первый конференц-секретарь и советник петербургской Академии наук.

Гордеев Федор Гордеевич (1744–1810), скульптор.

Гримм Фридрих Мельхиор, барон (1723–1807), литератор, издатель рукописного журнала «Литературная корреспонденция», подписчиками которого были многие европейские монархи. Был близок к энциклопедистам. В течение двадцатидвух лет состоял в переписке с Екатериной II.

Густав III (1746–1792), король Швеции (1772–1792).

Густав VI Адольф (1778–1837), король Швеции (1792–1809).

Д'Акоста Ян, шут Анны Иоанновны.

Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810), княгиня, урожд. графиня Воронцова, статс-

дама двора Екатерины II, президент Академии наук.

Девьер Антон Мануйлович (Эммануилович) (1674?-1745), граф, генерал-адъютант. С 1718 г. обер-полицмейстер Санкт-Петербурга. В 1727 г. сослан в Сибирь А. Д. Меншиковым, возвращен Елизаветой Петровной в 1743 г.

Делиль Жозеф Никола (1688–1768), астроном, академик петербургской Академии наук.

Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт, государственный деятель.

Дидро Дени (1712–1784), французский просветитель, в 1750-1770-е гг. издатель Энциклопедии наук, искусств и ремесел.

Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич (1758–1803), фаворит Екатерины II в 1786–1789 гг.

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич (1680?-1730), генерал-аншеф, сенатор, морганатический супруг царевны Прасковьи Ивановны.

Долгорукая Екатерина Алексеевна (1712–1745), княжна, дочь А. Г. Долгорукого, невеста Петра II, при Анне Иоанновне сослана вместе с родными в Березов, затем заточена в томском Алексеевском монастыре. Возвращена Елизаветой Петровной, стала фрейлиной.

Долгорукая Наталья Борисовна (1714–1771), княгиня, урожд. Шереметева, жена князя И. А. Долгорукого. Сослана с мужем в Березов в 1730 г., возвращена после его казни. В 1758 г. постриглась в монахини.

Долгорукий Алексей Григорьевич (ум. 1734), князь, сенатор, гофмейстер, член Верховного тайного совета, в 1730 г. сослан со всей семьей в Березов, где и умер.

Долгорукий Василий Владимирович (1667–1746), князь, генерал-фельдмаршал, в 1726 г. главнокомандующий в Прикаспии, член Верховного тайного совета. Сослан в 1718 г. по делу царевича Алексея, возвращен в 1724 г., вновь сослан при Анне Иоанновне, возвращен Елизаветой Петровной в 1742 г., стал президентом Военной коллегии.

Долгорукий Василий Лукич (1670–1739), князь, действительный тайный советник, дипломат, член Верховного тайного совета, один из инициаторов ограничения самодержавия в 1730 г., сослан Анной Иоанновной на Соловки, казнен в 1739 г. в Новгороде.

Долгорукий Иван Алексеевич (1708–1739), князь, сын А. Г. Долгорукого, майор гвардии, гоф-юнкер, затем обер-камергер, фаворит Петра II, муж Н. Б. Долгорукой (Шереметевой). Сослан в 1730 г. в Березов, в 1739 г. казнен в Новгороде.

Дюбарри Мари Жанна (1746–1793), графиня, любовница Людовика XV.

Дювернуа Иоганн Георг (1691–1759), анатом, медик, зоолог, академик петербургской Академии наук.

Евдокия Федоровна (1669–1731), урожд. Лопухина, царица, первая жена Петра I (с 1689 г.), в 1698 г. сослана мужем в суздальский Покровский монастырь, в 1699 г. пострижена там под именем Елена. После суздальского розыска сослана в ладожский Успенский монастырь, а затем в Шлиссельбург (1725). В 1727 г. переведена в Новодевичий монастырь в Москве, где умерла и похоронена.

Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684–1727), российская императрица (1725–1727), вторая жена Петра I.

Екатерина II Алексеевна (София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская) (1729–1796), российская императрица (1762–1796), жена Петра III.

Екатерина Антоновна (1741–1807), дочь Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, сестра Ивана VI. В 1741 г. сослана вместе с родителями и братом, до 1780 г. находилась в заточении, затем выслана в Данию, где умерла и похоронена.

Екатерина Иоановнна (1691–1733), царица, дочь Ивана V и Прасковьи Федоровны (Салтыковой), герцогиня Мекленбургская с 1716 г., мать Анны Леопольдовны.

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794), статс-секретарь Екатерины II, литератор.

Елизавета Алексеевна (Луиза Мария Августа принцесса Баден-Баденская) (1779–1826), жена Александра I (с 1793 г.).

Елизавета Антоновна (1743–1782), дочь Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, сестра Ивана VI. Родилась в Динамюндской крепости и всю жизнь провела в заточении, в 1780 г. выслана в Данию, где и умерла.

Елизавета Петровна (1709–1761), российская императрица (1741–1761), дочь Петра I и Екатерины I.

Елизавета Христина, королева, жена прусского короля Фридриха II Великого, сестра Антона Ульриха.

Еропкин Петр Михайлович (1698–1740), архитектор, учился в Италии, возглавлял Комиссию о Санкт-Петербургском строении. Казнен вместе с А. П. Вольнским по обвинению в заговоре против императрицы Анны Иоанновны.

Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811), архитектор, создатель Адмиралтейства (1806–1823).

Земцов Михаил Григорьевич (1688–1743), архитектор, руководил строительством в Петербурге, занимая должность архитектора Главной полицмейстерской канцелярии.

Зотов Никита Моисеевич (1644–1718), думный дьяк, в 1670 – начале 1680-х гг. учитель («дядька») Петра I. С 1701 г. заведовал Ближней канцелярией и Печатным приказом. С 1710 г. граф. Князь-папа, Всешутейший патриарх, глава Всепьянейшего собора.

Зубов Валериан Александрович (1771–1804), брат фаворита Екатерины II Платона Зубова, генерал-аншеф, в 1793 г. командовал карательным отрядом в Польше, был главнокомандующим в Персидском походе 1796–1797 гг., участник заговора против Павла I в 1801 г.

Зубов Платон Александрович (1767–1822), последний фаворит Екатерины II, приближен в 1789 г., после смерти Г. А. Потемкина в 1791 г. обладал огромной властью, участник убийства Павла I в 1801 г.

Иван V Алексеевич (1666–1696), русский царь, соправитель Петра I в 1682–1689 гг., сын царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны (Милославской).

Иван (Иоанн) VI Антонович (1740–1764), российский император (1740–1741), свергнут Елизаветой Петровной, сослан вместе с родителями (Анной Леопольдовной и Антоном Ульрихом), затем отделен от них и переведен в Шлиссельбургскую крепость. Убит там стражей при попытке его освобождения, предпринятой подпоручиком В. Я. Мировичем.

Иоганна-Елизавета (1712–1760), урожд. принцесса Голштинская, княгиня Ангальт-Цербстская с 1712 г., мать Екатерины II.

Иосиф II (1741–1790), австрийский император (1765–1790), сын и соправитель Марии Терезии.

Каин Ванька (1718? – после 1760-х), московский вор и бандит.

Камерон Чарльз (1730-е – 1812), архитектор эпохи классицизма.

Кампредон Жан-Жак, посланник Франции в России в первой половине 1720-х гг.

Кардель Бабетта, гувернантка принцессы Софьи Фредерики Августы – будущей Екатерины II.

Карл VI (1685–1740), австрийский эрцгерцог и император Священной Римской империи

германской нации (1711–1740).

Карл XII (1682–1718), король Швеции (1697–1718).

Карл Леопольд (ум. 1747), герцог Мекленбургский, муж Екатерины Иоанновны, отец Анны Леопольдовны. В 1736 г. лишен герцогского престола, арестован и умер в заключении в замке Демниц.

Карл Петер Ульрих, герцог Голштинский, см. Петр III.

Карл Фридрих (1700–1739), герцог Голштинский, племянник Карла XII, муж Анны Петровны, отец Петра III. При Екатерине I пользовался большим влиянием при русском дворе, входил в Верховный тайный совет. После смерти Екатерины I по настоянию А. Д. Меншикова вынужден был вместе с женой вернуться на родину.

Кваренги Джакомо (1744–1817), архитектор, автор Смольного института, Александровского дворца в Царском Селе и др.

Кейзерлинг Георг Иоганн Гебгардт, граф фон (ум. 1711), прусский посланник в России, муж Анны Монс.

Кенигсен (ум. 1703), польско-саксонский посланник в России, возлюбленный Анны Монс.

Кикин Александр Васильевич (ум. 1718), денщик Петра I, учился в Голландии, с 1707 г. управлял петербургским Адмиралтейством, с 1712 г. – адмиралтейств-советник. Казнен по делу царевича Алексея. До наших дней сохранился один из его домов в Петербурге – Кикины палаты, где первоначально размещалась Кунсткамера.

Кокоринов Александр Филиппович (1726–1772), архитектор, строитель здания Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Константин Павлович (1779–1831), цесаревич, второй сын Павла I.

Коробов Иван Кузьмич (1700 или 1701–1747), архитектор, представитель раннего барокко.

Крафт Георг Вольфганг (1701–1754), физик и математик, академик петербургской Академии наук.

Куракин Борис Иванович (1676–1727), князь, действительный тайный советник, дипломат, посол в ряде стран Европы.

Ланской Александр Дмитриевич (1754–1784), генерал-адъютант, фаворит Екатерины II.

Ласси Петр Петрович (1678–1751), генерал-фельдмаршал.

Левашов Василий Яковлевич (1667–1751), генерал-аншеф, сенатор, главнокомандующий русскими войсками в Персии.

Левенвольде Карл Густав (ум. 1735), граф, обер-шталмейстер двора Анны Иоанновны.

Левенвольде Рейнгольд Густав (1693–1758), камергер Екатерины I, ее фаворит, обер-гофмаршал. Сослан Елизаветой Петровной в Соликамск.

Лесток Иоганн Германн (1692–1767), граф, лейб-медик Елизаветы Петровны, в 1741 г. участник дворцового переворота, возведшего ее на престол. В 1750 г. сослан в Углич, освобожден Петром III в 1762 г.

Лефорт Иоанн, саксонско-польский посланник в России в 1730–1734 гг., племянник Франца Лефорта.

Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699), генерал-адмирал, друг Петра I. В России с 1675 г., участвовал в Крымских и Азовских походах, возглавлял Великое посольство.

Линар Карл Мориц, граф, саксонский посланник в России, фаворит Анны Леопольдовны.

Линь Шарль Жозеф де (1735–1814), бельгийский принц, выполнял дипломатические поручения Иосифа II в России в 1780-е гг.

Лириа Фицджеральд Стюарт, герцог де (1695–1733), испанский посланник в России в 1727–1730 гг., автор мемуаров о пребывании при российском дворе.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), физик, химик, поэт, академик петербургской Академии наук.

Лосенко Антон Павлович (1737–1773), художник, представитель классицизма.

Людовик XV (1710–1774), французский король (1715–1774) из династии Бурбонов.

Людовик XVI (1754–1793), французский король (1774–1792), осужден Конвентом и казнен.

Мазепа Иван Степанович (1644–1709), гетман Левобережной Украины в 1687–1708 гг. В октябре 1708 г. после вторжения шведских войск в Россию перешел на сторону Карла XII. После Полтавского сражения 1709 г. бежал в турецкую крепость Бендеры, где и умер.

Макаров Алексей Васильевич (1674–1740), кабинет-секретарь Петра I, с 1727 г. президент Камер-коллегии.

Манштейн Христофор Герман (1711–1757), генерал, адъютант Б. Х. Миниха, автор «Записок о России».

Мардефельд Аксель, барон, прусский посланник в России в 1728–1746 гг.

Мареш Йоганн Антон (1719–1794), музыкант, изобретатель рогового оркестра.

Мария (1703–1768), урожд. Лещинская, королева Франции, жена Людовика XV, дочь польского короля Станислава I.

Мария Алексеевна (1660–1723), царевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны (Милославской).

Мария-Терезия (1717–1780), австрийская императрица (1740–1780), до 1765 г. ее соправителем был муж Франц Стефан Лотарингский (Франц I), с 1765 г. – ее сын Иосиф II. Мать французской королевы Марии-Антуанетты – жены Людовика XVI.

Мария Федоровна (София Доротея Августа Луиза принцесса Вюртембергская) (1759–1828), императрица (с 1796 г.), вторая жена Павла I (с 1776 г.), мать Александра I, Николая I и цесаревича Константина.

Марфа Алексеевна (1652–1707), царевна, дочь Алексея Михайловича и Марии Ильиничны (Милославской).

Марфа Матвеевна (1664–1715), урожд. Апраксина, царица, жена царя Федора Алексеевича, сестра Ф. М. Апраксина.

Мельгунов Алексей Петрович (1722–1788), генерал-лейтенант, приближенный Петра III, наместник Ярославской губернии, видный деятель культуры и меценат.

Менгден, барон, камергер, приближенный Э. И. Бирона, президент Коммерц-коллегии, тесть Эрнста Миниха, сослан в Сибирь Елизаветой Петровной.

Менгден Юлиана (1719–1786), фрейлина и ближайшая подруга Анны Леопольдовны, сослана в ссылку Елизаветой Петровной, освобождена Екатериной II.

Менгден Якобина, сестра Юлианы Менгден, сослана в 1741 г. вместе с брауншвейгским семейством.

Меншиков Александр Александрович (1714–1764), светлейший князь, сын А. Д. Меншикова, обер-камергер Петра II. В 1727 г. сослан с отцом в Березов, возвращен Анной Иоанновной в 1730 г., при Елизавете Петровне – генерал-лейтенант, при Екатерине II – генерал-аншеф.

Меншиков Александр Данилович (1673–1729), светлейший князь, герцог Ижорский, генералиссимус (1727 г.), сенатор, президент Военной коллегии, член Верховного тайного совета, ближайший сподвижник и друг Петра I и Екатерины I. В 1727 г. сослан Петром II в Березов, где и умер.

Меншикова Александра Александровна (1712–1735), княжна, младшая дочь А. Д. Меншикова. Сослана с отцом в Березов, возвращена Анной Иоанновной в 1731 г., сделана фрейлиной двора и выдана замуж за младшего брата фаворита Густава Бирона, умерла в родах.

Меншикова Мария Александровна (1711–1729), княжна, старшая дочь А. Д. Меншикова, невеста Петра II, в 1727 г. сослана с отцом в Березов, где и умерла.

Мессельер, граф де ла (1710–1777), французский дипломат.

Мессершмидт Даниил Готлиб (1685–1735), немецкий естествоиспытатель, исследователь Сибири, в 1716 г. приглашен в Россию Петром I, в 1720–1727 гг. по его заданию совершил путешествие по Сибири.

Миллер Герард Фридрих (1705–1783), историк и археограф, член петербургской Академии наук.

Миних Бурхард Христофор (1683–1767), граф, генерал-фельдмаршал, в царствование Анны Иоанновны – президент Военной коллегии, организатор свержения Бирона в ноябре 1740 г., при Елизавете Петровне сослан в Сибирь, возвращен Петром III.

Миних Эрнст (1707–1788), граф, сын Б. Х. Миниха, камергер Ивана VI, гофмейстер, затем обер-гофмаршал Анны Леопольдовны, автор «Записок».

Мирович Василий Яковлевич (1740–1764), подпоручик Смоленского пехотного полка, инициатор неудачной попытки освободить летом 1764 г. из Шлиссельбургской крепости бывшего императора Ивана VI. Казнен в Санкт-Петербурге 15 сентября 1764 г.

Михаил Федорович (1596–1645), русский царь (1613–1645), родоначальник династии Романовых.

Монс Анна (ум. 1714), фаворитка Петра I примерно с 1692 по 1703 г.

Монс Виллим Иванович (1688–1724), младший брат Анны Монс, с 1711 г. личный адъютант Петра I. С 1716 г. камер-юнкер при дворе Екатерины I, руководил Вотчинной канцелярией, с мая 1724 г. камергер. Фаворит Екатерины I. По обвинению во взяточничестве казнен 16 ноября 1724 г.

Монтескье Шарль Луи (1689–1755), французский философ, автор книги «Дух законов».

Мориц Саксонский (1696–1750), граф, сын польского короля Августа II и графини Авроры Кенигсмарк. Поступив на французскую службу, одержал ряд блестящих побед во время войны за австрийское наследство, получил звание маршала Франции.

Мусин-Пушкин Платон Иванович, граф, сенатор, в 1740 г. арестован вместе с А. П. Волынским, бит кнутом, отправлен в ссылку.

Надир-шах Афшар (1688–1747), шах Ирана (1736–1747), с 1726 г. на службе у шаха Тахмаспа II. Возглавил борьбу с афганскими завоевателями, в 1732 г. низложил Тахмаспа II и объявил шахом его малолетнего сына Аббаса III, при котором стал регентом. В 1736 г. провозгласил себя шахом. Убит в Хорасане заговорщиками.

Нартов Андрей Константинович (1693–1754), механик, личный токарь Петра I, впоследствии советник канцелярии петербургской Академии наук, автор соч. «Достопамятные повествования и речи Петра Великого».

Нарышкин Лев Александрович (1733–1799), обер-шталмейстер двора.

Нарышкина Наталья Федоровна, фрейлина Елизаветы Петровны.

Наталья Алексеевна (1673–1716), царица, дочь царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны (Нарышкиной), младшая сестра Петра I.

Наталья Алексеевна (1714–1728), великая княжна, дочь царевича Алексея Петровича, сестра Петра II.

Наталья Алексеевна (Августа Вильгельмина принцесса Гессен-Дармштадтская) (1755–1776), первая жена Павла I, умерла при родах.

Наталья Кирилловна (1651–1694), урожд. Нарышкина, царица, вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I.

Наталья Петровна (1718–1725), царица, младшая дочь Петра I и Екатерины I.

Нолькен Эрик Матиас, шведский посол при Иване VI.

Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783), светлейший князь, генерал-фельдцейхмейстер, камергер, фаворит Екатерины II.

Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737–1807), граф, генерал-аншеф, военный и государственный деятель, брат Г. Г. Орлова.

Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоанн Фридрих) (1686–1747), граф (1730 г.). Родился в Вестфалии, принят на русскую службу в 1708 г. С 1723 г. вице-президент Коллегии иностранных дел, тайный советник. При Екатерине I – вице-канцлер, член Верховного тайного совета, обер-гофмаршал Петра II, его воспитатель, при Анне Иоанновне – вице-канцлер Кабинета министров, генерал-адмирал (1740 г.). При Елизавете Петровне сослан в Сибирь, умер в ссылке.

Павел I Петрович (1754–1801), российский император (1796–1801), сын Петра III и Екатерины II.

Панин Никита Иванович (1718–1783), граф, дипломат, гофмейстер и воспитатель великого князя Павла Петровича, государственный деятель, дипломат.

Петр I Великий (1672–1725), русский царь с 1682 г. (правил самостоятельно с 1689 г.), первый российский император (1721–1725), младший сын царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны (Нарышкиной).

Петр II Алексеевич (1715–1730), российский император (1727–1730), сын царевича Алексея Петровича и Шарлотты Христины Софии, кронпринцессы Вольфенбюттельской.

Петр III Федорович (Карл Петер Ульрих) (1728–1762), российский император (1761–1762), сын цесаревны Анны Петровны и герцога Голштинского Карла Фридриха, муж Екатерины II. Свергнут ею с престола, убит в заключении в Ропше (близ Петергофа).

Петр Антонович (1745–1798), сын Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, с самого рождения был в заточении вместе с родителями, в 1780 г. выслан в Данию, где и умер.

Петр Петрович (1715–1719), царевич, сын Петра I и Екатерины I. В 1718 г. был объявлен наследником престола.

Позье Иеремия (1716–1779), ювелир российских императриц.

Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764), фаворитка Людовика XV.

Понятовский Станислав Август (1732–1798), фаворит Екатерины II, последний польский король (1764–1795).

Поповский Николай Никитич (1730–1760), профессор Московского университета.

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), светлейший князь Таврический, генерал-фельдмаршал, фаворит и сподвижник Екатерины II.

Прасковья Ивановна (1694–1731), царица, дочь Ивана V и Прасковьи Федоровны.

Прасковья Федоровна (1664–1723), урожд. Салтыкова, царица, жена Ивана V, мать царевен Екатерины, Анны и Прасковьи.

Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771), граф, генерал-фельдмаршал, с 1742 г. морганатический супруг Елизаветы Петровны.

Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803), граф, гетман Украины, президент петербургской Академии наук, генерал-фельдмаршал, брат А. Г. Разумовского.

Растрелли Бартоломео Карло (1675–1744), скульптор, архитектор.

Растрелли Франческо Бартоломео (1700–1771), архитектор, сын Б. К. Растрелли.

Репнин Аникита Иванович (1668–1726), князь, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии в 1724–1725 гг., рижский губернатор.

Ринальди Антонио (ок. 1710–1794), архитектор эпохи классицизма, автор Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, Гатчинского дворца и др.

Романовы, боярский род, с 1613 г. – царская, а с 1721 г. – императорская династия в России.

Ромодановский Федор Юрьевич (ок. 1640–1717), князь, с 1686 г. глава Преображенского приказа, ведавшего с 1718 г. делами тайного сыска, князь-кесарь Всепьянейшего собора.

Рондо, леди (1699–1783), жена английского резидента в Петербурге Клавдия Рондо.

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796), граф, генерал-фельдмаршал, полководец и государственный деятель, с 1764 г. президент Малороссийской коллегии.

Салтыков Василий Федорович (1675–1755), генерал-полицмейстер Петербурга, сенатор, генерал-аншеф, брат царицы Прасковьи Федоровны.

Салтыков Петр Семенович (1700–1772), генерал-фельдмаршал, победитель Фридриха II под Кунерсдорфом в 1759 г., генерал-губернатор Москвы в 1764–1771 гг.

Салтыков Семен Андреевич (1672–1742), граф, сенатор, генерал-аншеф, «главнокомандующий» Москвы.

Салтыков Сергей Васильевич, камергер, дипломат, фаворит Екатерины II.

Салтыкова Дарья Николаевна (Салтычиха) (1730–1801), помещица-садистка.

Сапега Петр, граф, жених М. А. Меншиковой, потом камергер и фаворит Екатерины I, муж племянницы Екатерины! – Софьи Скавронской.

Сегюр Луи Филипп, граф де (1753–1830). С марта 1785 г. по 11 октября 1789 г. был представителем Франции в России. Автор «Записок графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789)». СПб., 1865.

Синклер Малькольм (ум. 1739), барон, шведский майор.

Скорняков-Писарев Григорий Григорьевич, генерал-майор, обер-прокурор Сената, в 1727 г. сослан А. Д. Меншиковым в Сибирь.

Соймонов Федор Иванович (1692–1780), государственный деятель, ученый, обер-прокурор Сената, вице-президент Адмиралтейств-коллегии. В 1740 г. арестован вместе с А. П. Вольнским, бит кнутом и отправлен в ссылку. Возвращен в 1742 г. В 1757–1766 гг. губернатор Сибири.

Софья Алексеевна (1657–1704), царевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны (Милославской). Правительница России с 1682 г. В 1689 г. пострижена в монахини под именем Сусанны, умерла и похоронена в Новодевичьем монастыре в Москве.

Станислав I (Лещинский) (1677–1766), польский король (1704–1711 и 1733–1734), герцог Лотарингский, тесть Людовика XV.

Старов Иван Егорович (1745–1808), архитектор, автор Троицкого собора Александропо-

Невской лавры и Таврического дворца.

Суворов Александр Васильевич (1729–1800), князь Итальянский, генералиссимус (1799 г.), выдающийся полководец.

Суда Жан (Иван) де ля, секретарь Коллегии иностранных дел, в 1740 г. арестован вместе с А. П. Вольнским, сослан в Сибирь.

Сумароков Александр Петрович (1717–1777), писатель, драматург.

Татищев Василий Никитич (1686–1750), историк, автор «Истории Российской с древнейших времен», в 1720–1722 и 1734–1737 гг. управляющий казенными заводами на Урале, в 1741–1745 гг. астраханский губернатор.

Тахмасп II, иранский шах (1722–1732) из династии Сефевидов.

Толстой Петр Андреевич (1653 или 1654–1729), граф, действительный тайный советник, сенатор, дипломат, начальник Тайной канцелярии, член Верховного тайного совета, один из ближайших сподвижников Петра I. Весной 1727 г. был арестован по обвинению в заговоре против Екатерины I и А. Д. Меншикова, сослан в Соловецкий монастырь, где и умер.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768), поэт, филолог, академик петербургской Академии наук.

Трезини Доменико Андреа (ок. 1670–1734), архитектор, инженер, выходец из Швейцарии. Приглашен в Россию в 1703 г., проектировал и строил в Санкт-Петербурге Александро-Невский монастырь, Петропавловский собор, возводил здание Двенадцати коллегий и др.

Ушаков Андрей Иванович (1672–1747), граф, генерал-аншеф, начальник Тайной канцелярии, с 1730 г. сенатор.

Фальконе Этьен Морис (1716–1791), французский скульптор, создатель памятника Петру I в Санкт-Петербурге – Медного всадника.

Федор Алексеевич (1661–1682), русский царь (1676–1682), старший сын Алексея Михайловича и Марии Ильиничны (Милославской).

Фельтен Юрий Матвеевич (1730 или 1732–1801), архитектор, автор решетки Летнего сада в Санкт-Петербурге и др.

Феодосий (Яновский) (ум. 1726), архиепископ Новгородский, вице-президент Синода.

Феофан (Прокопович) (1681–1736), архиепископ Псковский, вице-президент Синода, теолог, историк, литератор, один из организаторов и проводников церковной политики Петра I.

Фридрих Август (1734–1793), владетельный князь Ангальт-Цербстский, брат Екатерины II.

Фридрих II Великий (1712–1786), прусский король (1740–1786).

Фридрих Вильгельм I (1688–1740), прусский король (1713–1740).

Фридрих Вильгельм (ум. 1711), герцог Курляндский, муж Анны Иоанновны.

Христиан Август (1690–1747), князь Ангальт-Цербстский, отец Екатерины II.

Черкасский Алексей Михайлович (1680–1742), князь, сенатор, канцлер Кабинета министров при Анне Иоанновне.

Чернышев Иван Григорьевич (1726–1797), граф, генерал-фельдмаршал, дипломат.

Чичагов Василий Яковлевич (1726–1809), адмирал, флотоводец и мореплаватель.

Шарлотта Христина София (1694–1715), крон-принцесса Вольфенбюттельская, жена царевича Алексея Петровича, мать Петра II.

Шафиров Петр Павлович (1669–1739), барон, сенатор, дипломат, вице-канцлер. Сослан

Петром I в 1723 г., возвращен Екатериной I.

Шаховской Юрий Федорович, шут Петра I.

Шаховской Яков Петрович (1705–1777), князь, генерал-прокурор Сената.

Шепелева (в замужестве Шувалова) Мавра Егоровна (1708–1759), статс-дама Елизаветы Петровны, жена П. И. Шувалова.

Шереметев Борис Петрович (1652–1719), боярин, с 1706 г. граф, генерал-фельдмаршал, командующий русскими войсками в Северной войне.

Штелин Якоб (Яков Яковлевич) (1709–1785), филолог, искусствовед, гравер, академик петербургской Академии наук.

Штеллер Георг Вильгельм (1709–1746), естествоиспытатель и путешественник, адъюнкт петербургской Академии наук.

Шубин Федот Иванович (1740–1805), скульптор, автор скульптурных портретов деятелей екатерининской эпохи.

Шувалов Александр Иванович (1710–1771), граф, начальник Тайной канцелярии, генерал-фельдмаршал (с 1760 г.).

Шувалов Иван Иванович (1727–1797), камергер, фаворит Елизаветы Петровны, меценат.

Шувалов Петр Иванович (1710–1762), граф, генерал-фельдмаршал (с 1761 г.), государственный деятель.

Шумахер Иван Данилович (1690–1761), библиотекарь петербургской Академии наук.

Щербатов Михаил Михайлович (1737–1790), князь, историк.

Эйлер Леонард (1707–1783), математик, механик, физик, астроном, выходец из Швейцарии, академик петербургской Академии наук.

Эйхлер Иоганн, секретарь Кабинета министров Анны Иоанновны, в 1740 г. арестован по делу А. П. Волынского, бит кнутом и сослан на каторгу.

Ягужинский Павел Иванович (1683–1736), граф (с 1731 г.), генерал-аншеф, генерал-прокурор Сената, в 1718–1734 гг. посол в Австрии, Польше, Пруссии, затем кабинет-министр Анны Иоанновны.

Источники и литература

- Андреев В. Екатерина Первая // Осмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869.
- Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994.
- Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. М., 2002.
- Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М., 2002.
- Арсеньев К. И. Царствование Екатерины I. СПб., 1856.
- Бассевич Г. Ф. Записки о России при Петре Великом. М., 1866.
- Белозерская Н. А. Происхождение Екатерины Первой // Исторический вестник. Т. 87. СПб., 1902.
- Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. Ч. 4. М., 1903.
- Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 1–2. СПб., 1890–1891.
- Брикнер А. Г. Императрица Екатерина I (1725–1727 гг.) // Вестник Европы. 1894. Т. 1.
- Брикнер А. Г. История Петра Великого. Т. 1–2. СПб., 1882.
- Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891.
- Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел. Т. 1–3. СПб., 1871–1874.
- Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1990.
- Гордин Я. А. Меж рабством и свободой: 19 января – 25 февраля 1730 года. СПб., 1994.
- Дашкова Е. Р. Записки. Л., 1985.
- Долгоруков П. В. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. М., 1909.
- Екатерина II. Записки. М., 1989.
- Екатерина II. Сочинения. Т. 1–12. СПб., 1901–1907.
- Екатерина II. Письма барону Ф. М. Гримму // Русский Архив. 1878. № 3; Сборник Русского исторического общества. Т. 23. 1878 (на франц. языке).
- Есипов Г. В. Царица Евдокия Федоровна. М., 1863.
- Ешевский С. В. Очерк царствования Елизаветы Петровны // Соч. Ч. 2. М., 1870.
- Записка о кончине государыни императрицы Екатерины Алексеевны и о вступлении на престол государя императора Петра II Алексеевича 1727 года. 2-е изд. СПб., 1913.
- Каменский А. Б. «Под сению Екатерины...»: Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.
- Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 4–5 // Соч.: В 9 т. М., 1989–1990.
- Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880.
- Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань, 2003.
- Курукин И. В. Бирон. М., 2006.
- Лириа де. Записки. М., 1845.
- Манштейн Х. Г. Записки о России. СПб., 1875.
- Миних Б. Х. Очерк, дающий представление об образе правления Российской империи // Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). Л., 1991.
- Миних Э. Записки // Безвременье и временщики. Л., 1991.
- Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1990.
- Павленко Н. И. Полудержавный властелин. М., 1988.

Переписка Петра I с Екатериной Алексеевной // Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1861.

Писаренко К. А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003.

Письма Екатерины II Г. А. Потемкину. Предисловие Н. Я. Эйдельмана // Вопросы истории. 1989. № 7.

Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века // Соч.: В 10 т. 4-е изд. Т. 8. Л., 1978.

Пушкин А. С. История Петра I. Подготовительные тексты // Соч.: В 10 т. 4-е изд. Т. 9. Л., 1979.

Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию // Безвременье и временщики. Л., 1991.

Ростопчин Ф. В. Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1864. Т. 2.

Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева // Безвременье и временщики. Л., 1991.

Сегюр Л. Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865.

Семевский М. И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс: Очерк из русской истории XVIII в. СПб., 1884.

Семевский М. И. Царица Прасковья (1664–1723). СПб., 1883.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 10–13. Т. 19–26. М., 1993–1994.

Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. М., 1909.

Феофан (Прокопович). Краткая повесть о смерти Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского // Петр Великий. М.; СПб., 1993 (серия «Государственные деятели России глазами современников»).

Феофан (Прокопович). Слово на погребение Петра Великого // Петр Великий. М.; СПб., 1993.

Храповицкий А. В. Дневник с 18 января 1782 по 17 сентября 1793 года. М., 1901.

Черникова Т. В. Государево слово и дело во времена Анны Иоанновны // История СССР. 1989. № 5.

Щмурло Е. Ф. Кончина Петра Великого и вступление на престол Екатерины I. Казань, 1913.

Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1986.

Эйдельман Н. Я. Мгновенье славы настает... год 1789-й. Л., 1989.

Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век. М., 1986.

Эпизод из посещения Берлина Петром Великим, рассказанный маркграфиней Вильгельминой Байрейтской в ее мемуарах // Петр Великий. М.; СПб., 1993.